ИНСТИТУТ К. МАРКСА и Ф. ЭНГЕЛЬСА

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

БИБЛИОТЕКА НАУЧНОГО СОЦИАЛИЗМА
ПОД ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ Д. РЯЗАНОВА

Г. В. ПЛЕХАНОВ
СОЧИНЕНИЯ

ТОМ VI

ПОД РЕДАКЦИЕЙ
Д. РЯЗАНОВА

ИЗДАНИЕ 2-ОЕ
(11—25 тысячи)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1925 ЛЕНИНГРАД

ТИПОГРАФИЯ
„К О М И Н Т Е Р Н"
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА
ЛЕНИНГРАД.
Екатерингофский пр., 87.

Гиз. № 7879. Ленинградский гублит. № 21270. Тираж 15.000—26 л.

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

(КНИГА ВТОРАЯ)

Содержание

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

Часть вторая

Политические и политико-экономические взгляды Н. Г. Чернышевского.

Отдел I. Политические взгляды Н. Г. Чернышевского.

Стр.

Гл. I. Утопический социализм..... 3
Гл. 2. " " "(продолжение)..... 16
Гл. 3. „Собственный" план Чернышевского и вопрос о поземельной общине. 25
Гл. 4. Социализм и политика..... 42

Отдел II. Политико-экономические взгляды Н. Г. Чернышевского.

Гл. 1. Общие замечания.— Гипотетический метод..... 65
Гл. 2. Стоимость..... 79
Гл. 3. Деньги и денежное хозяйство..... 104
Гл. 4. Капитал..... 109
Гл. 5. Заработная плата..... 114
Гл. 6. Прибавочная стоимость 135
Гл. 7. Поземельная рента..... 170
Гл. 8. Закон народонаселения.— Мальтус..... 181
Гл. 9. Закон народонаселения. — Чернышевский..... 206
Гл. 10. Кризисы..... 231
Гл. 11. Заключение..... 236
Примечание к изд. „Шиповника"

СТАТЬИ И РЕЦЕНЗИИ

Стр.
Эстетическая теория Н. Г. Чернышевского..... 245
(Сборник „За 20 лет")
Н. Г. Чернышевский..... 290
(„История Русской Литературы", изд. „Мир", т. III)
Н. Г. Чернышевский (К двадцатилетию со дня кончины)... 338
(„Современный Мир", 1919 г., XI)
Еще о Чернышевском..... 346
(„Современный Мир", 1910 г., IV)
Чернышевским в Сибири..... 371
(„Современник", 1913 г., III)

ПРИЛОЖЕНИЯ

Вступительное замечание редактора..... 391
Из статей о Чернышевском, напечатанных в „Социал-Демократе" за 1890–1892 гг. 393

Г. В. ПЛЕХАНОВЪ.

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКІЙ.

САНКТПЕТЕРБУРГЪ.
1910.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

ОТДЕЛ ПЕРВЫЙ

Политические взгляды Н. Г. Чернышевского

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Утопический социализм

В нашем предыдущем изложении мы уже не раз замечали, что Чернышевский в своих общественных взглядах стоял на точке зрения утопического социализма. Теперь нам нужно подробнее обосновать это замечание.

В философии Чернышевский был последователем Фейербаха. Через философию Фейербаха прошел также и Маркс, который подверг ее коренной переработке. Взгляды Маркса, — правда, в тот период их развития, когда они еще почти ничем не отличались от взглядов Фейербаха, — были отчасти известны Белинскому, которому, как это видно из его переписки, доставило огромное удовольствие знакомство с знаменитыми теперь Deutsch-Französische Jahrbücher. Но влияние зарождавшегося марксизма на русскую читающую публику было тогда еще слишком слабо для того, чтобы определить собой направление зарождавшейся русской социалистической мысли. Она еще долго, к сожалению, слишком долго, не поддавалась решительному влиянию трудов Маркса и Энгельса. При выработке своих социалистических воззрений Чернышевский совсем не принимал в расчет *научного социализма,* который уже в конце 40-х годов играл значительную роль в истории немецкого рабочего движения, а в 60-х годах, — со времени основания Международного Товарищества Рабочих, — стал мало-помалу приобретать прочное влияние на весь европейский пролетариат. Во всех его сочинениях мы не находим решительно ни одного указания на какое-нибудь, хотя бы

самое отрывочное, его знакомство с сочинениями Маркса и Энгельса. Его мысль еще не вышла за пределы утопи-

ческого социализма, хотя в этих пределах она обнаруживала огромную ясность, смелость и критическую силу.

Сказав это, мы спешим напомнить читателю то, что было сказано нами в предисло-вии, то есть, что эпитет: *«утопический»,* прилагаемый нами к социализму в известной фазе его развитая, совсем не имеет у нас смысла *порицания.* Он просто-напросто характеризует под нашим пером ту *точку зрения,* с которой смотрел на общественную

жизнь социализм в первой фазе своего развития. Эта точка зрения стала неудовлетвори-тельной с тех пор, как социализм перешел, благодаря Марксу и Энгельсу, на точку зрения науки. Но в свое время утопический социализм оказал огромные услуги делу развития общественной мысли; в числе его представителей мы встречаем целый ряд поистине гениальных людей, и относиться к нему с пренебрежением могут только самодовольные филистеры, не имеющие ни малейшего понятая о том, как развивается человеческая мысль. По той же самой причине нелепо было обижаться на нас, — как обиделись некоторые, не по разуму усердные поклонники Чернышевского, — за то, что мы отнесли нашего великого «просветителя» к числу утопистов. Утопистами были также Сен-Симон, Фурье, Р. Оуэн, а мы смеем думать, что находиться в их компании — значит быть в очень и очень хорошем обществе.

В своей книге «История русской общественной мысли» г. Иванов-Разумник утверждает, что утопическим социалистом Чернышевский не был никогда [1]). Г. Иванов-Ра-зумник подкрепляет это свое мнение ссылками на 6-ю главу «Очерков гоголевского периода русской литературы» и на библиографическую заметку Чернышевского об известной книге Гакстгаузена. И он приходит к тому выводу, что Чернышевский считал утопический социализм «пережившим самого себя», вследствие чего находил лишним сражаться с ним.

Разбирая книгу г. Иванова-Разумника, мы разобрали и этот его взгляд [2]); однако здесь мы вынуждены вернуться к нему.

Г. Иванов-Разумник не понимает, что означают слова: утопический социализм. И это его непонимание гармонически дополняется в его книге не понимаем того, что именно говорил об утопическом социализме Чернышевский

1) «История русской общественной мысли», т. II. изд. 2, стр. 8.
2) См. нашу статью «Идеология мещанина нашего времени» в июльской книжке «Современного мира» за 1903 год.

В 6-й главе «Очерков гоголевского периода русской литературы» Чернышевский утверждает, что в то время, когда складывалось миросозерцание Огарева и Герцена, т. е. в тридцатых годах, во Франции возникла новая наука (подчеркнутое нами выражение принадлежит самому Чернышевскому. *Г. П.*), положения которой высказывались еще в фантастических формах, но на самом деле скрывали в себе «истины и глубокие и благо-детельные». И он с большою похвалою указывает на то, что Герцен и Огарев обратили свое внимание на эти истины, не поверив пристрастным и поверхностным отзывам экономистов, которые, не поняв их смысла, осмеивали их, как несбыточную утопию [1]). Уже отсюда ясно, что Чернышевский считал отжившими только те формы, в которые облека-ли свои мысли социалисты-утописты. Содержание же этих мыслей не вызывает возра-жений с его стороны. Напротив, он считает его «новой наукой», и он не замечает того коренного недостатка, которым отличались самые глубокие из утопических систем и который мешал им, в самом деле, перейти на почву науки.

Так же неудачна ссылка г. Иванова-Разумника на заметку о книге Гакстгаузена. В этой заметке Чернышевский писал, что Гакстгаузен очень ошибся, вообразив, будто бы в 1847 году, когда была издана его книга, еще находились во Франции серьезные люди, державшиеся системы Сен-Симона. В действительности, времена этой системы, «действительно мечтательной и неосуществимой, прошли задолго до 1847 года, и что в этом году разве какая-нибудь невинная старая девушка держалась во Франции системы Сен-Симона» [2]).

Этот отзыв не оставляет никакого сомнения в том, что Чернышевский не был после-дователем Сен-Симона. Это так.

Но ведь утопический социализм еще не исчерпывается сенсимонизмом. Отвергая сенсимонизм, Чернышевский мог быть последователем *какой-нибудь* другой, француз-ской, английской или немецкой утопической системы. Наконец, отвергая *все* существовавшие до него утопические системы, он мог придумать свою собственную. Следовательно, для понимающего дело человека главный вопрос заключается не в том, одобрял или не одобрял Чернышевский учения того или иного социалиста-утописта, а в том, видел ли он коренную ошибку, свойственную всем без различия системам утопического социализма. Но,

[1]) Сочинения, II, 194.
[2]) Сочинения, III, 293

чтобы поставить вопрос таким образом, нужно быть именно понимающим дело челове-ком, т. е. знать, в чем же заключается слабая сторона утопического социализма. Г. Ива-нов-Разумник этого не знает. Неудивительно, что ничего, кроме путаницы, не вышло из его попытки дать нам характеристику социалистических взглядов Чернышевского.

Отношение Чернышевского к Сен-Симону и сенсимонизму лучше всего видно из его статьи «Процесс Менильмонтанского семейства» («Современник», 1860 г., № 5). В этой статье Чернышевский отзывается о Сен-Симоне, как о человеке необыкновенного ума, редкого благородства и исполненного самого глубокого сочувствия к народу. Основной идеей, выкупающей все ошибки и странности теории Сен-Симона, он считает следующую, «простую и чистую» идею: «для успокоения общества необходимо наискорейшее возможное улучшение материальной и нравственной жизни многочисленнейшего и беднейшего класса. Обязанность каждого хорошего гражданина, каждого честного человека состоит в том, чтобы посвятить все силы этому делу». Главная же ошибка Сен-Симона состояла, по мнению Чернышевского, в том, что он, составив себе неправильное понятие об исторической роли католицизма, в идеях которого он был воспитан, плохо выяснил себе значение авторитета. «Авторитет существует в рутине, т. е., в

делах, в которых не участвует рассудок, — говорит Чернышевский, — рассудок знает факты, убеждается доказательствами, но ничего не принимает по авторитету. В человеческих действиях часто может не бывать смысла, но если они совершаются с участием смысла, они бывают результатом собственного самостоятельного соображения обстоятельств и доказательств, а не внушением авторитетов. Думать иначе, верить в возможность авторитета, которому свободно подчинялся бы развитый разум, мог только энтузиаст, экзальтированный фальшивыми рассказами о прежней благотворительности папизма» [2]). Но как ни велика эта ошибка Сен-Симона, Чернышевский не считает позволительным насмехаться над его наивностью; он думает, что серьезный человек не должен останавливаться на частных промахах Сен-Симона, а скорее обратить внимание на его правильную основную идею.

Что касается сенсимонистов, то наш автор приводит следующие «три формулы», в которых они выражали результаты своих исторических исследований

[1]) Сочинения, VI, 128.
[2]) Там же, 134.

«Человечество идет к учреждению всеобщей ассоциации, основанной на любви. Оно идет к тому, чтобы каждый получал по своей способности, а каждая способность по своим делам. Оно идет к организации промышленности» [1]).

Чернышевский думает, что в этих формулах основная мысль сенсимонизма выражается не вполне удачно, и он так критикует их.

Человечество, действительно, идет к замене товариществом или союзом той вражды, которая принимает в промышленности вид конкуренции. Но не любовь ляжет в основу такого союза, а выгода, расчет: «Любовь только в редкие минуты, и только в немногих, особенно способных к экзальтации, людях берет верх над расчетом, да и то может побеждать его только в одном, в двух отдельных фактах, а общий характер действий все-таки остается под властью расчета или рутины, обычая, т. е. того же расчета, только сделанного не лично нами, а целым обществом и сделанного не в эту минуту, а давным-

давно и усвоившегося нами по воспитанию» [2]). Сенсимонисты, которые, подобно своему учителю, сами были энтузиастами, думали, что и над всеми людьми энтузиазм может иметь такую же власть, какую он имел над ними.

Ослепленные энтузиазмом, они не заметили и того, что их вторая формула крайне одностороння. Они хотели, чтобы каждый человек пользовался житейскими благами сообразно своим способностям. Это несправедливо. В таком случае Ньютон должен был бы получить сотни миллионов, а какой-нибудь учитель арифметики в приходской школе, имеющий лишь самые ограниченные дарования, должен оставаться нищим. «А что же будет, — спрашивает Чернышевский, — с большинством людей всякого сословия, в которых не обнаруживается способности ни к чему кроме механического исполнения рутины, у которых совершенно нет никаких умственных прав?» [3]). Но это еще не все. Так как у сенсимонистов каждая способность получает по своим делам, то Чернышевский спрашивает кроме того, что же было бы при осуществлении их планов с больными или вообще так или иначе лишенными способности к труду. В противоположность сенсимонистам, он выставляет другой принцип, говоря: «Если общество располагает такими средствами, что за достаточным удовлетворением всех закон-

[1]) Там же, 137.
[2]) Там же, та же стр.
[3]) Там же, 138.

ных потребностей каждого человека остается у него излишек, пусть оно распределяет этот излишек на каком ему угодно основании: раздает ли его по способностям, или по результатам деятельности, или, может быть, по другим расчетам, более выгодным для общественного благосостояния; но прежде всего каждый человек имеет право на удовлетворение своих человеческих потребностей; общество только потому и существует, что предполагается надобность его для обеспечения каждому из его членов полнейшего удовлетворения человеческих нужд» [1]).

Не удовлетворяет его и третья формула сенсимонистов — организация промышленности. Такая организация, по его мнению, необходима и даже неизбежна. Весь вопрос в том, как придти к ней и как ее поддерживать. Сенсимонисты хотели действовать авторитетом. Они думали, что люди, облеченные властью, будут стоять выше всяких правил, подобно тому, как воля папы была, по их мнению, верховным законом для католиков в Средние века. После того, что сказано им о Сен-Симоне, Чернышевский не считает нужным делать какие бы то ни было новые замечания об этой «очевидной нелепости» [2]).

Далее в его статье идет рассказ о том, до каких странных и подчас смешных поступков доходили сенсимонисты в своей крайней экзальтации. Он называет их салонными героями, подвергшимися припадку филантропизма. Но, произнося над ними этот суровый приговор, он оговаривается. Сенсимонистское движение было первым проявлением мысли о преобразовании общества, и это первое ее проявление имеет большую историческую важность. Оно показывает, что пора уже обществу заняться теми реформаторскими идеями, которые на первый раз явились в неудовлетворительной форме сенсимонизма.

В заключение Чернышевский говорит о реформаторских идеях: «Скоро мы увидим, что они стали проявляться в формах более рассудительных и доходить до людей, у которых бывают уже не восторженною забавою, а делом собственной надобности, а когда станет рассудительно заботиться о своем благосостоянии тот класс, с которым хотели играть кукольную комедию сенсимонисты, тогда, вероятно, будет лучше ему жить на свете, чем теперь» [3]). Это — в высшей степени важное замечание. Оно показывает, что в своих рассуждениях о будущности западноевропейского социализма, Чернышевский очень

[1]) Там же, 138.
[2]) Там же, 138 — 139.
[3]) Там же, 150.

летариев в собственном смысле слова? Он говорит и о тех, и о других, и о третьих. Он говорит о всех вообще, не делая никакого различия между различными классами трудящегося населения. И это потому,

что зачатки материалистического объяснения истории остаются у него зачатками, и он продолжает в целом смотреть на историю с той точки зрения, которая характеризуется словами: *«миром правят мнения».* Отсталость европейского «простолюдина» объясняется у него тем, что до народа не дошли еще известные научные понятия. Когда они дойдут до него, когда «простолюдины» ознакомятся с философскими воззрениями, «соответствующими их потребностям», тогда уже не далеко будет торжество новых начал в общественной жизни Запада [1]). Чернышевский не ставит себе вопроса о том, существуют ли в этой жизни такие явления, которые могли бы послужить объективным ручательством за то, что до «простолюдина» в самом деле дойдут, наконец, новые философские идеи. Ему нет надобности в *таком* ручательстве, потому что совершенно достаточным залогом торжества новых начал является в его глазах сама природа этих начал, а также и природа человека. В мартовской книге «Современника» за 1861 год напечатана рецензия на книгу Бруно Гильдебранда «Политическая экономия настоящего и будущего». В этой рецензии говорится: «То, что истинно человечно, истинно разумно, найдет себе симпатию во всех народах... Разум один и тот же под всеми широтами и долготами, у всех чернокожих и светлорусых людей. Конечно, в американских степях живут другие люди, чем в русских деревнях, и на Сандвичевых островах обитают господа, не похожие на английских джентльменов; но ведь и русскому мужику и дикарю так же, как и высокопочтенному римскому кардиналу, хочется, думаем мы, есть, а затем, чтобы есть, хочется что-нибудь иметь. Стремление к улучшению своего положения составляет существенное свойство всего человечества. Если бы новые теории были противны природе человека, они и не пошли бы дальше той страны и тех людей, которым угодно было выдумать их, не стремились бы к ним все народы образованного мира».

Когда мы писали свою первую статью о Чернышевском осенью 1889 года, мы цитировали эту рецензию, как, несомненно, ему принадлежащую, но мы не находим ее в полном собрании его сочинений, изданном М. Н. Чернышевским. Можно предположить,

конечно, что она не вошла туда просто по какой-нибудь случайности. Но мы охотно

[1]) Там же, 205—206.

признаем более вероятным, что мы ошиблись, приписав рецензию, о которой идет речь, Н. Г. Чернышевскому. Тем не менее выраженная в ней мысль не перестает быть очень характерной для тогдашних взглядов «Современника», между сотрудниками которого Чернышевский играл такую блестящую и такую влиятельную роль. Притом рецензия en question только повторяет в более яркой форме то, что сказано насчет безусловной общедоступности раз завоеванной истины в рецензии на книгу Новицкого, цитированной нами выше и вошедшей в 6-й том полного собрания сочинений Чернышевского.

Мы предполагаем, что в 60-х годах, когда Чернышевский уже обладал репутацией чрезвычайно выдающегося экономиста, всякая такая статья, которая противоречила бы его экономическим и социальным взглядам, могла бы быть напечатана в «Современнике» разве только с критическими примечаниями от редакции. Поэтому мы процитируем еще другую статью, тоже, как видно, не принадлежащую Чернышевскому, но очень характер-ную для взгляда на социальный вопрос кружка «Современника» вообще, а следовательно, и для Чернышевского в частности. Статья эта напечатана в майской книжке названного журнала за 1861 год, в отделе иностранной литературы.

В начале ее высказываются очень дельные замечания о том, что пролетариат представляет собою явление, свойственное исключительно новой истории. «Только в нынешнем столетии он явился, — говорит автор, — на Западе Европы в виде сознательного, самостоятельного целого. До XIX столетия бедных, нуждавшихся в общей помощи, было, может быть, больше, чем теперь, но о пролетариате не было речи. Он плод новой истории». Далее автор делает справедливое замечание о том, что женский промышленный труд послужит залогом семейного освобождения женщины. Читая это, можно подумать, что имеешь дело с человеком, вполне стоящим на точке зрения современного научного социализма. Но как только речь

заходит о практических способах улучшения участи пролетариата, тотчас становится очевидным, что это совсем не так. Именно, говоря о лионских ткачах шелковых изделий, автор видит спасение их в «децентрализации производства», в заведении мастерских вне города, в соединении ткацкого труда с сельским хозяйством. По мнению автора, соединение занятий ткацким ремеслом с сельским хозяйством сильно увеличит благосостояние рабочего. Другой источник возможного увеличения благосостояния ткачей видит он в дешевизне сырых припасов в деревнях. Вот подлинные слова его:

«Для лионского рабочего начало освобождения его от хозяина заключается в устройстве своей собственной мастерской вне города. Но как завести ее? На чьи деньги? На хозяев и на фабрикантов можно надеяться в виде исключения, и вот почему нужно искать поддержки в правительстве, его деньгах. Только при кредите, открытом правительством лионскому пролетарию, он освободится от эксплуатации его труда капиталистом и получит возможность встать на свои ноги». Автор опасается, однако, что рабочие не захотят переселиться в деревни. «Городская жизнь для многих из них представляет приятные особенности, которых они не найдут в сельской жизни... Но это зло переходное. Нельзя ожидать, разумеется, чтобы все рабочие сразу переселились из Лиона в его окрестности, но и нет никаких оснований думать, чтобы польза такого переселения не входила все более и более в общее сознание рабочих. Несколько удачных примеров, и рабочий увидит выход из своего настоящего печального положения. Для начала будет достаточно, если образуются маленькие хозяйства и мастерские отдельных семейств, а там уже не труден переход к товариществу и к устройству на общий счет фабрик с механическими двигателями».

Мы совсем не удивились бы, если бы встретили подобный план в «Отечественных Записках» того времени, когда г. В. В. излагал в них, с благословения Н. Михайловского, свои соображения насчет «судеб капитализма в России». Но в журнале Н. Г. Чернышевского он производит неожиданное и, — надо говорить правду, — даже тяжелое впе-

чатление. Видно, что человеку, придумавшему такой план, равно как и людям, от которых зависело напечатать или не напечатать его в «Современнике», совсем еще не ясно было, от наличности каких *политических* условий зависит возможность *экономического* освобождения пролетариата. Автору плана кажется, что экономическое освобождение лионских ткачей могло бы совершиться по почину правительства Наполеона III. Автор плана и одобрившие этот план соредакторы «Современника» как будто еще не знали, что освобождение рабочего класса должно быть делом самого рабочего класса. А если и известна им была эта истина, то она получила у них такое истолкование, с каким совершенно нельзя согласиться в настоящее время.

Впрочем, это неудивительно. Те года, в течение которых складывалось миросозерцание Чернышевского, относятся к тому мрачному периоду истории Европы, когда пролетариат, подавленный после 1848 — 1849 гг., не подавал никаких признаков сознательной жизни [1]).

[1]) Напоминаем читателю, что Чернышевский родился в 1829 году.

Поэтому у Чернышевского и не могло быть высокого мнения о способности этого класса к политической инициативе. А ведь на пролетариат он все-таки смотрел, как на самый передовой слой в массе «простолюдинов». Мы уже знаем, что о крестьянах всей Европы он отзывался, как о настоящих варварах. И от этого своего взгляда он, насколько мы знаем, не отказался до самого конца своей жизни. Во всяком случае можно утверждать, что он твердо держался его в шестидесятых годах. Это видно, между прочим, из его статьи «Июльская монархия» («Современник», 1860 г., кн. 1 и 2).

Чернышевский там обращается к тем «лучшим людям», которые, увидев, что введением всеобщего избирательного права во Франции воспользовались реакционеры и обскуранты, перестали придавать ему значение. Он успокаивает их не тем соображением, что реакционеры и обскуранты могли воспользоваться результатом всеобщего избирательного права только после избиения июньских инсургентов. Он не говорит им, что всеобщее избирательное право безусловно необходимо

для политического самовоспитания рабочего класса. Он просто указывает на неразвитость «поселян». «Прямой результат декрета (вводившего названное право во Франции), говорит он, противоречил ожи-

даниям всех честных французов. Но что же из этого? Разве все-таки не послужил этот факт на некоторую пользу французскому обществу? Теперь увидели, что невежество поселян губит Францию. Пока не имели они голоса, никому не было заботы об этой страшной беде. Никто не замечал, что в основе всех событий французской истории всегда лежало невежество поселян. Болезнь была тайная и оставшаяся без лечения; но все-таки она изнуряла весь организм. Когда поселяне явились на выборы, тогда замечено было, наконец, в чем сущность дела. Увидели, что ничего истинно полезного не может быть осуществлено во Франции, пока честные люди не займутся воспитанием поселян. Теперь это делается, и усилия все же не остаются совершенно бесплодными. Раньше или позже поселяне станут рассудительнее, и тогда прогресс для Франции станет легче. Успокоимся же: хотя бы всеобщее избирательство и не удержалось при восстановлении законных учреждений во Франции, хотя бы горькие плоды, принесенные декретом о нем, и заставили общественное мнение на время отвергнуть всеобщее избирательство, все-таки декрет о нем, при великом прямом вреде, принес косвенным образом несравненно большую пользу»

[1]) Сочинения, VI, 182.

Мы видим: вся надежда Чернышевского возлагается на «лучших людей», которые займутся воспитанием поселян, вследствие чего «прогресс для Франции станет легче». Это опять тот чисто идеалистический взгляд, в силу которого интеллигенция является как бы Демиургом истории, и который, не помешав нашему автору подметить некоторые слабые стороны учения Сен-Симона и сенсимонистов, не дал ему, однако, возможности обнаружить коренной недостаток этого учения, свойственный ему вместе со всеми другими утопическими системами и состоявший в том, что данный идеал общественного устройства рассматривался с точки зрения его

желательности для данной группы интеллигенции, а не с точки зрения отношения его к объективному ходу общественного развития и не с точки зрения народной самодеятельности, в большей или меньшей степени поощряемой этим развитием. Критикуя идеал сенсимонистов, Чернышевский не спрашивает себя о том, обеспечивается ли осуществление этого идеала объективным ходом общественного развития. Его интерес ограничивается рассмотрением того, насколько хорош этот идеал сам по себе, насколько он удовлетворителен с точки зрения понятия (данной группы интеллигенции) об общественной пользе, справедливости и т. д. Эта черта свойственна ему со всеми социалистами-утопистами. И, — повторяем, — при обстоятельствах его времени эта черта его критических приемов являлась совершенно неизбежной. Чтобы убедиться в этом, посмотрите, например, как характеризует он положение дел в современной ему Западной Европе. «Масса народа и в Западной Европе еще погрязает в невежестве и нищете; поэтому она еще не принимает разумного и постоянного участия ни в успехах, делаемых жизнью достаточного класса людей, ни в умственных его интересах. Не опираясь на неизменное сочувствие народной массы, зажиточный и развитой класс населения, поставленный между страхом вулканических сил ее и происками интриганов, пользующихся рутиною и невежеством, предается своекорыстным стремлениям, по невозможности осуществить свой идеал, или бросается в излишества всякого рода, чтобы заглушить свою тоску. Многие из лучших людей в Европе до того опечалены этим злом, что отказываются от всяких надежд на будущее». Сам Чернышевский, конечно, не принадлежал к лучшим людям этого разряда: он совсем не отказывался от всяких надежд на будущее. Но довольно естественно было то обстоятельство, что он приурочивал все свои упования к другому разряду лучших людей, к тому разряду, который, сохранив веру в лучшее будущее, занимался разработкою «новой

науки» и посильным распространением ее выводов в массе. Вся сила людей этого разряда заключалась в силе отвлеченной истины, в правильности тех или других предлагавшихся ими «формул». Поэтому

внимание Чернышевского и сосредоточивалось на критике этих последних, как это ясно показывает сделанный им разбор учения Сен-Симона и сенсимонистов.

Когда Чернышевский защищал русскую общину, то в числе выгодных сторон этой формы землевладения он указывал на то, что она спасает нас от «болезни пролетариатства» [1]). Подобное указание могло быть сделано только таким человеком, который видел в «пролетариатстве» только болезнь и еще не научился смотреть на него, как на источник самого великого изо всех исторических движений, какие только знает история. Очень возможно, правда, что когда он заговаривал об этой болезни, то ему вспоминались иногда мнения реакционеров вроде Тенгоборского или барона Гакстгаузена, тоже опасавшихся «пролетариатства», но опасавшихся его, главным образом, потому, что оно делает непрочным дорогой им старый порядок. И, может быть, ему приходили подчас сомнения насчет тех выгод, которые будто бы приносило с собой отсутствие у нас названной болезни. Нам кажется вероятным, что именно на подобные сомнения отвечал он самому себе следующим замечанием: «Землевладельческий класс, хотя и всегда пользовался у нас землею по общинному порядку, не всегда являлся в русской истории с тем неподвижным характером, какой воображает видеть в нем Тенгоборский, слишком доверившись общей обычной фразе о неподвижности, свойственной землевладельцу в Западной Европе, и применив эту бездоказательную фразу к русскому поселянину. Нам здесь нет нужды толковать, каков характер западноевропейского поселянина. Напомним только о том, что казаки были большей частью из поселян и что с начала XVII века почти все драматические эпизоды в истории русского народа были совершены энергией земледельческого населения». Здесь крестьянские войны ставятся по своему значению на одну доску с движениями новейшего пролетариата — смешение, совершенно невозможное для настоящего времени. И кто же не видит теперь, что историческая роль казачества не имеет ничего общего с историческою ролью рабочего класса.

[1]) Сочинения, III, 151 (статья, из которой мы делаем эту выписку, относится к 1857 году).

ГЛАВА ВТОРАЯ

Утопический социализм

(Продолжение.)

Чернышевский смотрит на вопрос о социализме, как и на все другие общие вопросы исторического развития, с точки зрения *идеализма.* И это идеалистическое отношение к важнейшим историческим явлениям свойственно было социализму всех стран в утопический период его развития. Эта черта утопического социализма имеет такую огромную важность, что на ней необходимо остановиться, не опасаясь некоторых, вполне возможных в этом случае, повторений.

Главным признаком научного отношения к явлениям природы и общественной жизни служит понятие о законосообразности этих явлений. История мысли показывает, что понятие о законосообразности явлений природы усваивается людьми раньше и легче, чем понятие о законосообразности общественных явлений. Просветители XVIII века вполне усвоили себе первое из этих понятий. Оно лежало в основе всего их миросозерцания, было главным доводом в их спорах с людьми старого образа мыслей. Но достаточно припомнить исторические взгляды огромного большинства просветителей, чтобы видеть, как далеки они были от правильного понятия о законосообразности общественного развития. Общественная деятельность человека казалась им областью свободного выбора, областью решений, основанных на приговоре рассудка, который подчиняется лишь законам формальной логики. Если в течение всей истории человечество жило в бедности и угнетении, то это происходило оттого, что оно, по своему невежеству, не знало, как должны быть устроены нормальные общественные отношения. История оказывалась, таким образом, простой ошибкой рассудка. Мы уже знаем, что буржуазные экономисты, — частью сами принадлежавшие к числу просветителей, частью унаследовавшие их взгляды на историю, — точно так же смотрели на экономическую жизнь человечества: люди жили прежде при ненормальных

экономических условиях, потому что не имели правильного понятия об естественных законах народного хозяйства. И точно тот же взгляд на происхождение общественных отношений встречаем мы у социалистов первой половины нашего века. Считая буржуазный строй несправедливым и неразумным, они объясняли себе его историческое возникновение промахом мысли, ошибочным расчетом человечества. На вопрос: — почему ошибалось

человечество? — у них всегда был готов ответ: по своему невежеству, простому или ученому. Вопрос же о том, почему оно ошибалось именно в эту, а не в какую-нибудь другую сторону? — или вовсе не приходил в голову социалистам, или решался ими с помощью ссылок на разного рода исторические случайности.

Такова была их точка зрения на общественную жизнь. Они твердо держались ее, хотя в их теориях было уже много элементов правильного, научного объяснения исторического движения человечества. Эти элементы не сложились еще в стройную систему и потому сами являлись чем-то отрывочным и случайным в миросозерцании социалистов.

Так, например, Фурье говорил, что человечество необходимо должно было пройти известные фазисы в своем экономическом развитии. (По Фурье их было четыре: дикое состояние, варварство, патриархат и цивилизация. Следующие периоды будут различными степенями применения принципа ассоциации.) А между тем, посмотрите, до какой степени случайным кажется Фурье происхождение его собственной социальной теории. «Мне возразят, — пишет он: — итак, все и каждый ошибались до сих пор, а вы один знаете больше, чем все ученые всех веков? Все и каждый ошибались! А почему бы и нет? Разве это было бы в первый раз? И разве не то же возражали Колумбу и всем изобретателям, которые, однако, доказали, что, действительно, все ошибались до них. *«Всем и каждому»* свойственно было ошибаться в течение целых тысячелетий относительно таких простых и необходимых вещей, как, например, стремя. Кажется, всякому легко было сделать это столь простое и вместе с тем столь драгоценное изобретение, и, однако, его забывали, на счет его ошибались вплоть до

XII века. Одного этого примера было бы довольно, чтобы показать, что *«все и каждый»* могут быть глупы и слепы как относительно мелочей, так и относительно великих вещей. Но еще убедительнее показывает это пример ассоциации. Если бы ее принципа не сумели открыть, несмотря на усердные исследования, то одно это обстоятельство свидетельствовало бы уже о человеческой неловкости, потому что к открытию этого принципа можно было придти, как я показал, шестнадцатью различными путями. Но что сказать об ослеплении людей, когда никто из них даже не подумал выступить на один из этих путей, никто не позаботился об открытии принципа, от которого зависело их счастье?.. Нечего удивляться тому, что *«все и каждый»* ошибались относительно судеб общества... Не будучи гением, легко можно знать больше, чем *«все и каждый»,* в осо-

бенности в областях знания, вроде той, к которой относится ассоциация и которой никогда не занимались. В этой области всякий, кто вздумает, наконец, взяться за исследования, находится в положении первых европейцев, приехавших в Перу: он легко откроет золотые россыпи». Далее Фурье рассказывает, как в 1799 году в Лондоне одному заехавшему туда из Египта негру удалось объездить дикую лошадь, приводившую в отчаяние лучших наездников Англии, и говорит, что этот случай является как бы эмблемою того положения, в котором оказались патентованные ученые после его открытия. «Природная способность может превзойти все ухищрения науки, — прибавляет он, — и привести вовсе неученого человека к драгоценному открытию, ускользавшему до тех пор от опытного глаза ученых. Природа распределяет как попало изобретательный гений, научные и художественные инстинкты. Неудивительно потому, что в среде темных людей нашелся человек, обладающий способностью к открытиям в социальной механике» [1]).

Правда, по наивному признанию Фурье, эти «фамильярные наставления» предна-значались для того, чтобы вызвать доверие к нему в «благожелательных читателях», непосвященных в науки. Поэтому можно было бы подумать, что он умышленно изображает здесь дело в слишком уж простом виде. Но это не так. Хотя в своих

«фамильярных наставлениях» Фурье и приспособляет свое изложение к умственному уровню необразованных читателей, но он высказывает в них тот самый взгляд, какого он всегда держался. Его открытия всегда казались ему делом случая, независимым от определенных исторических условий. Ему было непонятно, почему люди не пришли к таким открытиям многими веками раньше. Это обстоятельство он объясняет, как мы видели, просто ослеплением людей. Не легко согласить подобный взгляд с вышеупомянутым учением Фурье о различных фазисах исторического движения человечества. Но рассудок обладает удивительною способностью устанавливать прочный и продолжительный мир между самыми непримиримыми понятиями. «Если люди так долго упорствовали в своем восхищении перед цивилизацией, — говорит Фурье, — то это было потому, что никто не последовал совету Бэкона и не сделал критического анализа пороков каждой профессии и недостатков каждого учреждения» [2]). Здесь долгое пребывание человечества в фазисе циви-

[1]) «Oeuvres complètes» de Ch. *Fourier,* t. 4, Théorie de l'unité universelle, 1 édition, pp. 3-4-5.

[2]) Ibid, p. 121.

лизации выставляется простым следствием его недогадливости и как бы наказанием за нее. Таким же следствием случайных промахов и ошибок мысли могло представиться Фурье и все историческое скитание человечества по различным фазисам развития. Скитание это стало неизбежным лишь благодаря недогадливости людей, как сорокалетнее скитание в пустыне стало обязательным для сынов Израиля лишь потому, что они согрешили. История приняла бы совершенно другой и гораздо более отрадный вид, если бы люди догадались взяться за изучение принципа ассоциации несколькими столетиями раньше. Им очень легко было сделать это, но случилось так, что они этого не сделали, а потому история и пошла известной нам дорогой. Так или приблизительно так соглашались в миросозерцании Фурье зачатки научной философии истории с понятием о случайности.

Цивилизованное человечество держится за существующие общественные учреждения лишь потому, что никто не потрудился

показать нелепость этих учреждений и возможность заменить их лучшими. Если это так, то задача всякого искреннего друга человечества, открывшего или усвоившего истинные принципы общежития, определяется сама собой. Она естественно разделяется на две части: во-первых, следует показать людям, в чем именно заключается их ошибка, а во-вторых, — научись их, как можно ее поправить. Для достижения первой из этих целей, надо сделать «критический анализ недостатков каждого учреждения», существующего в современном обществе. Но так как недостатки общественных учреждений отражаются на характере человека в виде его пороков, — что выяснили еще просветители восемнадцатого века, — то критический анализ названных недостатков надо дополнить анализом пороков, свойственных каждой из тех профессий, которым предаются люди в существующем обществе. За критикой общественного строя должна следовать картина и критика нравов, создаваемых этим строем. Сделав это, необходимо перейти ко второй части задачи, т. е., показать, какими именно общественными учреждениями следует заменить существующие ныне. К этому нужно подходить с большой осмотрительностью и осторожностью; проект будущей общественной организации должен быть разработан во всех подробностях; история показала, что в этом отношении на догадливость людей полагаться совершенно невозможно: они наверное наделают много важных ошибок, а между тем, каждая, даже вовсе незначительная, по-видимому, ошибка может повести за собой коренную порчу всего общественного механизма. Реформатор ничего не должен упускать из виду: организация

производства и распределение продуктов, пища и одежда, семейные отношения и воспитание, увеселения и прием гостей, архитектура зданий, — одним словом, все, решительно все, должно быть предусмотрено им, до утешения несчастных любовников, включительно. Общественные отношения зависят от взглядов людей. Люди выбирают такие об-щественные порядки, которые справедливо или ошибочно кажутся им наиболее разумными и выгодными. Поэтому не может встретиться никаких непреодолимых препятствий к

осуществлению подробно разработанного проекта общественной реформы, если он только сам по себе разумен и сообразен с человеческими интересами. Конечно, по своей косности и непонятливости «цивилизованные» не сразу оценят преимущества предлагаемого им общественного порядка, они будут осмеивать и даже преследовать реформаторов. Не легко бороться с подобными препятствиями, но побороть их, в конце концов, вполне возможно: нужно только энергически отстаивать свое дело и не упускать случая оттенить перед людьми выгодные и приятные стороны предлагаемого им общественного устройства. А так как люди подчиняются не только голосу рассудка, но и соблазнам воображения, то не следует щадить красок, рисуя перед ними картину будущего общества. Она непременно должна быть блестящей и увлекательной. Но и это еще не все. Трудно предвидеть, какого характера люди скорее и более всего соблазнятся этой картиной. Надо, следовательно, позаботиться о том, чтобы она по возможности соответствовала всем мельчайшим оттенкам вкусов и наклонностей. Вы скупы или даже, с позволения сказать, жадны; вы не прочь бы заняться ростовщичеством, — это не беда, содействуйте скорейшему осуществлению нового строя: он даст вам возможность без вреда для других получать такие проценты на ваш капитал, каких вы никогда не получите в современном обществе; в доказательство этого вот вам небольшой примерный расчет. Вы непостоянны в любви, вы склонны часто менять предметы своего любовного обожания, — и это не беда: в будущем обществе самые прихотливые любовные вкусы получат полнейшее удовлетворение; помогите только нам устроить это общество, — вы, наверное, не останетесь в накладе. Или, может быть, вы любите поесть сытно и вкусно? У нас будет такая кухня, о какой не имеют понятия самые тонкие гастрономы «цивилизации». Переходите же на нашу сторону, это как раз лежит в ваших интересах. Наконец, вы большой охотник до плодов, или до овощей, положим, до артишоков, или до дынь. Нет ничего труднее, как достать хорошую дыню в современной Западной Европе.

и, наоборот, прекраснейшие дыни будут всякому доступны в будущем обществе. Таким образом торжество наших идей сулит вам много приятного [1]).

Это смешно. Но мы не затем упоминаем об этом, чтобы смеяться над людьми, до-стойными всякого уважения. Мы хотим показать, каким образом отсутствие строго выработанного понятия о законосообразности общественного развития делало социалистов старого времени *утопистами.* Но не у одних только социалистов недоставало этого понятия. Его недоставало и у просветителей восемнадцатого века, и у буржуазных экономистов. Если просветители и буржуазные экономисты не отличались склонностью к утопиям, то на это были свои особые причины, не имеющие ничего общего с большею или меньшею степенью научности их миросозерцания. Ни просветителям, ни экономи-стам в утопиях не было надобности, так как совсем или почти совсем готовый буржуазный порядок казался им нормальным порядком вещей. Социалистам же были утопии необходимы, потому что они стали в отрицательное отношение к окружающему их общественному порядку. Но отрицание буржуазного строя является не ошибкой, а огромной заслугой с их стороны. Поэтому несправедливо и неразумно смеяться и над их утопиями. Филистеры, которые осыпали насмешками социалистов-утопистов, доказали этим свою буржуазную ограниченность, а вовсе не трезвость или научность своих воззрений. Нельзя винить социалистов-утопистов за те недостатки их миросозерцания, которые были свойственны не им одним, а всем их современникам, за самыми редкими исключениями. Пока понятие о законосообразности общественного развития не сделалось краеугольным камнем общественной науки, до тех пор всякий реформатор необходимо должен был становиться *утопистом,* если только предлагаемые им реформы не ограничивались частностями существующего строя, а распространялись на все его основания. Доказательством этого служит вся история политических и социальных учений. Что такое утопия? Это идеальный общественный строй, который предполагается годным для всех народов, независимо от исторических условий их существования. Но с историческими условиями существования народов вообще очень мало считались в те

времена, когда разгадки всех социальных явлений искали в понятиях и чувствах людей.

[1]) См. в цитированном уже томе соч. *Фурье,* стр. 43 — 46, Note B. sur le triplement spécial de richesse effective. Application au Melon et à l'Artichaut.

Мы уже видели, что, по Чернышевскому, раз открытая истина становится доступной всем людям, имеющим материальную выгоду в понимании. Это — уже очень хорошо знакомый нам теперь утопический взгляд на вопрос. И этот утопический взгляд совер-шенно не совместим с тем отношением к любому вопросу исследования, которое, по словам самого Чернышевского, завещано нам диалектическою философиею Гегеля и со-ставляет главное теоретическое завоевание этой философии. «В действительности все зависит от обстоятельств, от условий места и времени, — и потому Гегель признал, что прежние общие фразы, которыми судили о добре и зле, не рассматривая обстоятельств и причин, по которым возникало данное явление, что эти общие, отвлеченные изречения неудовлетворительны. Отвлеченной истины нет, истина конкретна, т. е. Определитель-ное суждение можно произносить только об определенном факте, рассмотрев все об-стоятельства, от которых он зависит». Это так, но такое отношение к действительности бесповоротно осуждало всякие произвольные построения планов идеального обществен-ного устройства. Окружающая нас действительность существует в силу определенных условий места и времени. В ней совершаются и имеют совершиться не те перемены, которые кажутся нам наиболее полезными или наиболее согласными с нашими «идеалами», а те, которые вызываются данными, совершенно определенными условиями времени и места. Зная эти условия, мы можем предвидеть и зависящие от них изменения окружающей нас действительности, а предвидя эти изменения, мы можем и должны сообразно с ними направлять свою общественную деятельность. Но наша деятельность будет целесообразна только в том случае, если мы не ошиблись в оценке окружающей нас действительности. И нужно заметить, что здесь речь идет не о той поверхностной оценке действительности, которая заключается в сравнении ее с нашими

«идеалами». Что действительность не удовлетворяет требованиям идеала, — это понятно само собой, иначе идеал не был бы идеалом. Весь вопрос в том, *куда идет действительность* по *условиям места и времени:* в ту сторону, где лежат наши идеалы, или в какую-нибудь другую сторону? Если она идет в сторону наших идеалов, другими словами, если наши иде-алы совпадают с историческим ходом действительности, то мы будем полезными историческими работниками; если — нет, то нам суждено быть Дон-Кихотами. Да и это еще не все. Общественный деятель может всю жизнь оставаться Дон-Кихотом даже в том случае, если действительность идет как раз туда, где находятся его идеалы. Это бывает всякий раз, когда человек, пра-

вильно определив свою цель, не умеет найти верное средство ее достижения. Тогда его деятельность является мнимой величиной, и хотя жизнь придет туда, куда ему хотелось привести ее, но придет совершенно независимо от его усилий. Наши крестьяне служат молебны во время засухи и заставляют священников читать молитвы, предохраняющие от «червя» капусту. После молебнов идет иногда дождь; после прочтения священником молитвы «червь» иногда исчезает. Но оттого ли идет дождь, что крестьяне отслужили молебен? Оттого ли пропадает червь, что священник прочитал молитву? Все это проис-ходит по причинам, ни мало не зависящим ни от священников, ни от молебнов. То же самое и с общественным развитием. Ему случается осуществлять «заветные думы, вожделенные грезы» общественного деятеля. Но если его думы не опирались на внима-тельное изучение действительности; если его грезы обязаны были своим происхождением только тому, что ему хотелось грезить, то он мог бы спокойно сидеть, сложа руки: дело и без него пришло бы к тому же концу. Чтобы влиять на действительность, нужно относиться к ней так же, как естествоиспытатель относится к природе: изучать ее законы и, вполне подчиняясь им, заставлять их служить своим целям.

Но где же коренятся законы окружающей нас общественной жизни? В ней самой и только в ней самой, в условиях места и времени

и только в условиях места и времени. А эти условия имеют свою особую, внутреннюю логику, независимую от логики и воли человека. В самом деле, возьмем хотя бы экономические отношения. Дурно или хорошо то, что на известной степени развития товарного производства сама рабочая сила человека становится товаром, но так было и будет, пока будет существовать товарное производство. Дурно или хорошо то, что в капитализме подъемы промышленной деятельности сменяются кризисами, но так было и будет до самого падения капитализма. Дурно или хорошо то, что крупные капиталисты побивают мелких, но они побивали и будут побивать их до тех пор, пока не исчезнет нынешний экономический строй. А исчезнет он опять-таки не потому, что мы убедились в его негодности, а потому, что ему присущи особые законы развития, неотвратимое действие которых и приведет к его устранению. Наше убеждение в его негодности само является лишь результатом действия этих внутренних законов развития капитализма.

Все вообще *диалектическое* (если хотите, в известном смысле — *прогрессивное*) движение понятий и явлений совершается в силу *противоречий,* возникающих в этих понятиях или явлениях по законам

их внутреннего развития. Взаимное противоречие составных элементов данного понятия, взаимный антагонизм внутренних сил данною явления составляют главнейшую пружину всякого развития, где бы мы его ни наблюдали: в природе, в логике или в истории. Классовая борьба гонит цивилизованное общество вперед, спасая его от застоя. Еще Гизо говорил, как мы знаем, что вся Франция создана войною классов. Но социалисты-утописты не понимали исторического значения борьбы классов. И это вполне понятно. Со своей идеалистической точки зрения они могли оправдывать только один род борьбы: борьбу *«истины»* с *«заблуждением».* Мы знаем теперь, что «отвлеченной истины нет», что «истина конкретна», что истинное для одного времени становится ложным для другого. Нам разъяснила это немецкая философия, которая, ставши на эту новую, конкретную точку зрения, вызвала целый переворот в науке. Ж. Б. Сэй находил, что бесполезно изучать историю предшествовавших Адаму Смиту экономических учений, так как все они ошибочны. Гегель же

придавал огромное значение истории философии, потому что для него каждая философская система была законным детищем своего времени. Стоило только распространить этот взгляд на историю общественной науки, чтобы придти к тому простому и ясному заключению, что различные социальные и политические системы являлись лишь теоретическим выражением фактических отношений и нужд современного им общества, или хотя бы только одного класса, одного слоя общества. А отсюда не далеко уже было и до понимания того, что борьба «истины» с «заблуждением» является в истории лишь теоретическим выражением развития общественных отношений и связанной с ним борьбы классов, стремящихся к господству или просто к более полному удовлетворению своих нужд и потребностей. Раз взглянувши на общественные отношения с точки зрения развития, нельзя уже было оценивать их с помощью одного неизменного масштаба: отношения, хорошие для одной ступени развития, оказывались негодными для другой, все дело и здесь зависело от данных условий времени и места.

Но все это стало ясно только после того, как Маркс и Энгельс сделала социализм *наукою,* поставив его на твердую почву материалистического объяснения истории. А когда социализм еще оставался утопией, когда его последователи еще продолжали стоять на точке зрения исторического идеализма, тогда им были еще совершенно неясны все эти, теперь такие простые для нас истины. Н. Г. Чернышевский не составлял исклю-чения из общего правила. Подобно всем другим социалистам-

утопистам, он тоже склонен был забывать об условиях времени и места. И хотя он совсем не оправдывал фантастических увлечений различных основателей утопических систем, хотя он старался все приурочить к расчету пользы, но самый этот расчет делался им по большей части в полусвете утопической абстракции. Поэтому и он, как мы это увидим ниже, не мог не придавать преувеличенного значения рассуждениям о том, каково должно быть будущее, правильно устроенное общество.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

«Собственный» план Чернышевского и вопрос о поземельной общине

Мы закончили предыдущую главу указанием на то, что Чернышевский, подобно всем прочим социалистам-утопистам, рассматривал вопрос общественного переустрой-ства в полусвете абстракции, независимо от условий времени и места. Если эти наши строки прочтет какой-нибудь новый г. Иванов-Разумник, отличающийся от автора «Истории русской общественной мысли» лучшим знанием сочинений Чернышевского, но похожий на него упорным непониманием *содержания* этих сочинений, то он укажет нам, пожалуй, на статью «Капитал и труд» и предложит нашему вниманию следующие, взятые из нее строки.

«Идеи, предписывающие что-нибудь делать, стремиться к чему-нибудь, словом, имеющие практический характер, по обширности своего применения разделяются на два разные рода. Одни имеют значение общее, требуют применения ко всякому данному случаю, всегда и везде. Таковы, например, принципы: человек обязан искать истины,

поступать честно; общество обязано стремиться к водворению в себе справедливости, законности. Цель действия указывается такими принципами; но говорят ли они о способе, которым надобно стремиться к ней? Нет, способ исполнения задачи нимало не определяется ими. Как скоро мысль указывает способ исполнения, она теряет характер всеобщей, безысключительной применимости... Цель практической деятельности поста-новляется природою человека, то есть элементом, присутствующим постоянно. Способ действия есть элемент, зависящий от обстоятельств, а обстоятельства имеют характер временный и местный, разнородный и переменчивый»

[1]) Сочинения, т. VI, 8.

Посмотрите, скажет нам наш воображаемый, значительно улучшенный, но не окончательно исправленный, г. Иванов-Разумник: Чернышевский очень хорошо знал, что способ действия зависит от

обстоятельств, а обстоятельства переменчивы. Но мы ответим, что весь вопрос здесь в том, по какому поводу заговаривает здесь Чернышевский о переменчивости обстоятельств. Он заговаривает о них по поводу идей, «имеющих значение общее, абсолютное, требующих применения по всякому данному случаю всегда и везде». В этих общих истинах и заключается у него вся сущность социализма. «Лучшие люди» данного общества, — группа или группы его интеллигенции, — открывают эти истины и принимаются сначала за их распространение, а потом за их осуществление. В процессе этого осуществления они, разумеется, считаются с условиями времени и места. Но не говоря уже о том, что осуществляемая ими истина остается безусловною, сама историческая возможность ее осуществления зависит в конце концов от ее собственной безусловной и отвлеченной природы. Чернышевский категорически отказывается выбрать какой-нибудь один способ осуществления социалистического идеала. Но почему же собственно отказывается? Ответ: «Способ зависит от нравов народа и обстоятельств государственной жизни его. Англичанину кажется удобным расположение квартиры в два или три этажа, о чем и не думают другие народы. Строить его дом по одному плану с русским или французским значило бы напрасно тревожить его привычки. Можно сказать вообще только то, что каждый дом должен быть опрятен, сух и тепел» И этим ответом решается весь наш спор с воображаемым г. Ивановым-Разумником: *план* дома зависит от обстоятельств: но самое намерение его построить возникает не в зависимости от них, а просто потому, что этого требует безусловная природа раз завоеванной истины. Общая историческая *возможность* постройки дома тоже очень мало зависит от переменчивых обстоятельств: она определяется, как нам уже хорошо известно, той же природой отвлеченной истины, да еще общей природой человека. Маркс недаром говорил (см. его 3-ю тезу о Фейербахе), что социалист-утопист считает себя стоящим над обществом. И тоже недаром Чернышевский заканчивает свое рассуждение о способах осуществления социалистического идеала такой фразой: «Различных планов для исполнения требований новой теории находится много, и

который из них вы захотите предпочитать другому, почти все равно, по-

[1]) Там же, 44.

тому что каждый из них в существенных чертах своих сходен с другими и удовлетвори-телен, и из каждого легко могут быть удалены те подробности, которые составляют причину споров между его приверженцами и защитниками других планов» [1]).

Не подумайте, что Чернышевский рассуждает здесь, как эклектик, выбирающий из каждой утопической системы то, что он находит в ней хорошего, но не умеющий подвести под один всеохватывающий принцип то, что заимствуется им из различных систем. У Чернышевского, несомненно, есть свой объединяющий принцип; но принцип этот заключается именно в том, что главное дело вовсе не в переменчивых обстоятельствах времени и места, а в отвлеченных достоинствах известных отвлеченных истин. Он рассуждает как «просветитель», обратившийся к изучению «социального вопроса», а мы уже знаем, что «просветители» всегда рассуждали отвлеченно. Чернышевский сам подтверждает это в той же статье, говоря, что просвещение имеет в виду субъективное развитие истины в индивидуумах [2]). Когда человек задается целью субъективного развития истины в индивидуумах, он по необходимости отвлекается от того объективного процесса, который подготовляет индивидуумов к усвоению известных истин или, иначе говоря, обусловливает собою приспособление общественного *сознания* к данному виду общественного *бытия.*

Чем отвлеченнее была точка зрения Чернышевского в вопросах социализма, тем легче ему было отвлекаться от индивидуальных особенностей каждой данной социали-стической системы и беспристрастно защищать только то, что составляло, по его мнению, общую душу всех этих систем, т. е. отвлеченные положения вроде того, что наука должна заботиться об интересах трудящейся массы, а не об интересах людей, эксплуатирующих эту массу и т. п. И тем естественнее было для него, нисколько не противореча себе, излагать, под видом своего собственного плана общественного переустройства,

план того или другою, более или менее случайно выбранного социалиста-утописта. Так, например, в статье «Капитал и труд» он изложил план Луи Блана, придав своему изложению, — как этого и надо было ожидать, — до послед-

[1]) Там же, 45.

[2]) Там же, 11. В другом месте необходимость этого субъективного развития истины в индивидуумах доказывается у него так: «Полнота, теоретическое изложение системы известного быта, основанного на известном принципе, — вещь необходимая: нужно же знать, что в самом деле хорошо и справедливо»... («Основания политической экономии Д.С. Милля». Примечания. Т. VII, стр. 634).

ней степени отвлеченный характер [1]). А в другом месте он поясняет, почему ему вздумалось взять в пример тогда Лун Блана. Он говорит: «мы хотели только сказать, что по особенному историческому случаю его мысли приобрели историческую важность, которой иначе бы и не имели, потому что оригинального в них мало» [2]). Таким образом «собственным» планом Чернышевского на самом деле вовсе не был план Луи Блана. При других обстоятельствах он назвал бы своим собственным планом план какого-нибудь другого социалиста. Ему, как уже сказано, важно было бы не то, что составляло особенность того или другого из этих планов, а то, что составляло основу, общую им всем: отрицательное отношение к существующему экономическому порядку и убеждение в том, что возможен экономический строй, основанный на союзном, товарищеском труде работников. Эти основные черты, общие всем социалистическим системам, он горячо отстаивал в спорах с экономистами «отсталой школы», о которых он говорил, что каждый из них «скорее согласится пойти в негры и всех своих соотечественников тоже отдать в негры», нежели сказать, что в том или другом социалистическом плане нет ничего слишком дурного или неудобоисполнимого. К этому можно прибавить, правда, что по характеру своего ума, преобладающей чертой которого являлась рассудочность, он более склонен был сочувствовать тем из великих основателей социалистических систем, которые меньше поддавались увлечениям фантазии. Так, например, Роберт Оуэн был, несомненно, ближе к нему, нежели Фурье.

Спешим, однако, заметить, что, несмотря на отвлеченный характер своей социали-стической мысли, Чернышевский при своем трезвом

уме и при своем всегдашнем стремлении к практической деятельности, не мог принадлежать к числу тех утопистов, которые требуют, чтобы человечество целиком приняло их утопии, и считают бесплодными или даже вредными все частные экономические реформы. Таковы, например, анархисты. Чернышевский едко смеется над подобными фантазерами. «Во имя высших идеалов отвергать какое-нибудь, хотя бы и

[1]) Главною особенностью этого плана является у Чернышевского то, что его осуществление не стеснило бы ничьей свободы: обязательности нигде нет никакой, «кто чем хочет, тот тем и занимается» (Там же, стр. 47), «Живи, где хочешь, живи, как хочешь, только предлагаются тебе средства жить удобно и дешево и, кроме обыкновенной платы, получать дивиденд. Если и это стеснительно, никто не запрещает отказываться от дивиденда» (Там же, стр. 49).

2) Сочинения, т. VII, 640.

не вполне совершенное улучшение действительности — значит слишком уже идеализи-ровать и потешаться бесплодными теориями». По его мнению, у людей, склонных к таким потехам, «дело кончается большей частью тем, что после напряженных усилий подняться до своего идеала, они опускаются так, что уже вовсе не имеют пред собою никакого идеала». Это уже не в бровь, а прямо в глаз анархистам, да, если говорить правду, и не одним анархистам...

После всего сказанного понятно, что программа желательных для Чернышевского частных реформ не могла отличаться определенностью: она до такой степени зависела в его представлении от переменчивых условий времени и места, что по необходимости лишена была той тесной и органической связи с конечною целью, какую мы наблюдаем в программах современных нам рабочих партий Запада. В общем можно, однако, сказать, что так как идеалом Чернышевского был товарищеский труд производителей, то он готов был поддерживать все, и чем видел малейший намек на принцип ассоциации. Устройством ассоциации занимается и героиня его романа «Что делать?», Вера Павловна, которую Лопухов горячо хвалит за это: «мы все говорим и ничего не делаем. А ты позже нас всех стала думать об этом, и раньше всех решилась приняться за дело» [1]).

Очень интересен тот исторический факт, что проповедь ассоциации велась тогда одновременно в России и в Германии. В 1863 году появился роман Чернышевского, с выходом которого начинается у нас целый ряд попыток устройства производительных ассоциаций. В том же году Лассаль рекомендует немецким рабочим ассоциации, как единственное средство хоть некоторого улучшения их быта. Но какая разница в постановке этого вопроса у нас и в Германии! В романе Чернышевского, ставшем на время программой русских социалистов, устройством ассоциаций занимаются отдельные, гуманные и образованные личности: Вера Павловна и ее друзья. К этому делу привлекается даже просвещенный священник Мерцалов, играющий, по его собственному выражению, роль «щита» в устроенных Верой Павловной мастерских. О политической самодеятельности класса, заинтересованного в устройстве таких ассоциаций, роман не говорит ни слова. Не говорили о ней ни слова и те люди 60-х годов, которые пытались осуществить предложенную Чернышевским программу. И, наоборот, первым словом Лассалевской агитации было указание рабочим на необходимость для

[1]) Сочинения, т. IX, 103.

них политической самодеятельности. Лассаль требовал, чтобы рабочие, сплотившись в особую политическую партию и приобретя влияние на ход дел в стране, заставили правительство дать им необходимые для обзаведения ассоциации деньги. В проекте Лас-саля дело заведения ассоциаций имеет широкий общественный характер. Ассоциациям, вводимым усилиями отдельных просвещенных лиц, Лассаль не придавал ровно никакого значения. По сравнению с Лассалем Чернышевский является в своем романе настоящим утопистом. По сравнению с Чернышевским Лассаль является в своей агитации истинным представителем новейшего социализма. Это различие происходит не от того, чтобы Лассаль был в умственном отношении выше Чернышевского. Можно с уверенностью сказать, что по своим умственным силам Чернышевский нимало не уступал Лассалю. Но великий русский социалист был сыном своей страны, политическая и экономическая отсталость которой придавала всем

его практическим планам и даже многим теоретическим взглядам характер утопий. В своих практических планах заведения ассоциаций он был гораздо ближе к Шульце-Деличу, чем к Лассалю. Но, с другой стороны, заметим, что и Лассаль в своих практических планах является истинным представителем новейшего социализма только по сравнению с Чернышевским. Те люди, которые на самом деле были истинными представителями и основателями новейшего социализма, Маркс и Энгельс, находили, что и Лассалевские планы представляют собою не более как утопию. Они отказались поддержать знаменитого агитатора именно потому, что не хотели питать в немецком рабочем классе склонность к экономическим утопиям.

С точки зрения большей легкости устройства ассоциаций отстаивал Чернышевский и русское общинное землевладение. Он не раз говорил, что у него нет ни малейшего желания приносить нынешние экономические интересы народной массы в жертву будущим ее интересам. И он, конечно, говорил это совершенно искренно. Если б он не думал, по крайней мере, в течение некоторого времени. — впоследствии он, как мы увидим, перестал это думать, — что разрушение общины было бы вредно для интересов крестьянства, то он не ополчился бы на ее защиту. Но что навело его на мысль о той пользе, которую сможет принести поземельная община нашей народной массе? На этот вопрос мы, не колеблясь, отвечаем: то психологическое соображение, что община поддерживает и воспитывает дух ассоциации, необходимый для рациональной экономии будущего. Это как нельзя более ясно показывают, например, следующие слова нашего автора: «Введение лучшего порядка

дел чрезвычайно затрудняется в Западной Европе безграничным расширением прав отдельной личности... Не легко отказываться хотя бы от незначительной части того, чем привык уже пользоваться, а на Западе отдельная личность привыкла уже к безгранично-сти частных прав. Пользе и необходимости взаимных уступок может научить только горький опыт и продолжительное размышление. На Западе лучший порядок экономических отношений соединен с

пожертвованиями, и потому его учреждение очень затруднено. Он противен привычкам английского и французского поселянина» [1]).

Взгляд на общину, как на учреждение, воспитывающее дух ассоциации, привел Чернышевского к сближению со славянофилами, которые, как это всем известно, тоже были убежденными ее защитниками. Сочувственное отношение славянофилов к общине ставило их, в глазах Чернышевского, «выше многих из самых серьезных западников» [2]). Так было, по крайней мере, в первые годы его литературной деятельности [3]). Интересно проследить тот логический путь, который привел его в данном случае к предпочтению славянофилов некоторой части западников.

Исходным пунктом его рассуждений являются следующие положения, очень напо-минающие известную теорию Кавелина о развитии личного права в Западной Европе.

Обеспечение частных прав отдельной личности было существенным содержанием западноевропейской истории в последние столетия. Теперь цель эта в высокой степени достигнута. Право собственности почти исключительно перешло на Западе в руки отдельных лиц и ограждено прочными гарантиями. Не менее прочными гарантиями ограждены там юридическая независимость и неприкосновенность отдельного лица. Но это исключительное развитие личного права имеет свои невыгоды, особенно заметные в земледелии и промышленности. Явилось экономическое неравенство, возникло «пролетариатство», капиталы сосредоточились в руках предпринимателей. Наконец, все отрасли экономической деятельности находятся под властью безграничного взаимного соперничества отдельных предпринимателей. Это тяжелое и, как выражается Чернышевский, противоестественное положение дел вызвало появление новых стремлений, которыми устранялись слабые стороны прежнего односто-

[1]) Сочинения, т. III, стр. 183.
[2]) Там же, стр. 181.
[3]) Выписки, сделанные нами сейчас, взяты из его «Заметок о журналах», напечатанных в «Современ-нике», в апреле 1857 года.

роннего идеала. Возникла идея о союзном пользовании средствами производства и о союзной его организации. В земледелии союзное пользование средствами производства равносильно общинному землевладению. Чернышевский доказывает, что это стремление к союзному пользованию и производству является не более, как дополнением прежнего стремления к обеспечению прав отдельной личности. «В самом деле, — говорит он, — не надобно забывать, что человек не отвлеченная юридическая личность, но живое существо, в жизни и счастьи которого материальная сторона (экономический быт) имеют великую важность; и что потому, если должны быть для его счастья обеспечены его юридические права, то не менее нужно обеспечение и материальной стороны его быта. Даже юридические права, на самом деле, обеспечиваются только исполнением этого последнего условия, потому что человек, зависимый в материальных средствах существования, не может быть независимым человеком на деле, хотя бы по букве закона и провозглашалась его независимость» [1]).

До сих пор все рассуждение Чернышевского ведется в духе последовательного западничества. Более того, можно подумать даже, что в этом своем рассуждении он вполне переходит на точку зрения материалистического объяснения истории, он указывает, каким образом новый общественный идеал возник на Западе под влиянием новых условий экономической жизни [2]). Но дальше начинается сближение Чернышевского со славянофилами, и тут становится очевидным, что он в сущности не переставал держаться идеалистического принципа «просветителей»: «миром правят мнения».

«То, что представляется утопией в одной стране, существует в другой, как факт... — говорит он. — У нас есть землевладельцы с юриди-

[1]) Там же, стр. 183.

2) У Чернышевского мы встречаем тут даже знаменитую теперь «теорию обнищания». Он пишет: «С одной стороны возникли в Англии и Франции тысячи богачей, с другой — миллионы бедняков. По роковому закону безграничного соперничества, богатство первых должно все возрастать, сосредоточиваясь все в меньшем и меньшем числе рук, — а положение бедняков должно становиться все тяжеле и тяжеле». (Соч., т. III, 182). Эта теория встречается почти у всех выдающихся социалистов-утопистов, обращавших некоторое внимание на

экономические вопросы. Маркс нашел ее готовою и переделал так, что она совершенно перестала быть теориею обнищания в старом смысле этого слова (См. нашу 3-ю статью против г. Струве в сборнике «Критика наших критиков»). Но гг. «критикам» Маркса выгодно теперь приписывать ему в политических целях именно теорию обнищания, как она существовала в литературе утопического социализма.

веским полновластием английского и французского землевладельца... но они составля-ют, сравнительно с массой народа, еще очень немногочисленный класс, понятия которого о полновластной собственности отдельного лица над землею еще не проникли в сознание массы нашего племени... Масса народа до сих пор понимает землю как общинное достояние, и количество земли, находящейся в общинном владении, или пользование им под общинною обработкою, так велико, что масса участков, совершенно выделившихся из него в полновластную собственность отдельных лиц, по сравнению с ним, незначительна. Порядок дел, к которому столь трудным и долгим путем стремится теперь Запад, еще существует у нас в могущественном народном обычае нашего сельского быта» [1]).

Отсюда делается тот вывод, что так как «мы видим печальные последствия разруше-ния общины на Западе, то мы должны сохранить общину в России. Пример Запада не должен быть потерян для нас» [2]).

«Мы видим»... Кто *ты?* Опять все та же интеллигенция, все та же единственная действующая армия человеческого прогресса, которая изучает историю и пользуется ее уроками. Но русская интеллигенция не имеет власти. Как же может она воспользоваться примером Запада? Она может воспользоваться им, *если* ей удастся повлиять на людей, власть имеющих. Поэтому Чернышевский и старается показать этим людям, какие боль-шие выгоды извлечет Россия из сохранения поземельной общины.

Это уже совсем идеалистический взгляд на дело. Но сам по себе этот взгляд пока еще не заключает в себе ровно ничего славянофильского. Сильный славянофильский оттенок придается ему лишь тем соображением Чернышевского, что у нас уже существует, как факт, то учреждение, к которому только еще стремится Запад и которое представляется многим западным людям просто утопиею. В этом соображении почти дословно повторяется тот довод, который некогда выдвинут был славянофилом Самариным против западника

Кавелина и который сводится к тому, что «западный мир выражает теперь требование органического примирения начала личности с началом объективной и для всех обязательной нормы — требование *общины* (автор разумел новейшие социальные движения) и что это требование «совпадает с нашей суб-

[1]) Там же, стр. 184.
[2]) Там же, стр. 185.

станцией», что «в оправдание формулы мы приносим быт» и что в этом точка соприкосновения нашей истории с западной [1]).

Как мы уже видели, этот славянофильский взгляд до такой степени нравился Черны-шевскому, что он в виду его готов был поставить славянофилов выше многих серьезных западников. Надо думать, что ему не было известно мнение Белинского, который под конец своей жизни решительно восстал против уступок, делавшихся его друзьями славянофилам в вопросе об общине. Если бы это мнение Белинского было известно нашему автору, то он, наверно, не стал бы выражаться так решительно о превосходстве славянофилов над теми западниками, которые не возлагали на общину никаких надежд.

Однако, оставляя область более или менее вероятных предположений, надо признать тот исторический факт, что Чернышевский, никогда не бывший народником [2]), был одним из тех писателей, у которых народники заимствовали сильнейшие свои доводы. Охотнее всего ссылались они, — по крайней мере в период выработки их учения, — на знаменитую статью «Критика философских предубеждений против общинного земле-владения», появившуюся первоначально в 12-й книжке «Современника» за 1858 год. Мы сейчас увидим, что собственно на эту статью они сослались только по недоразумению: она была написана Чернышевским уже в то время, когда он уже совершенно махнул рукой на русскую общину. Тем не менее мы все-таки находим нужным сказать здесь несколько слов об этой во многих отношениях замечательной статье.

Чернышевский спорит в ней с «экономистами отсталой школы», находившими, что общинное владение землею достойно лишь диких или варварских племен. Он опровергает это мнение, ссылаясь на

знаменитую мысль Гегеля о том, что третья и конечная фаза в развитии всякого данного явления по своей форме похожа на первую. Народы

[1]) Не имея под рукой сочинений Ю. Самарина, мы цитируем этот его взгляд по книге *Пыпина:* «Харак-теристика литературных мнений», стр. 298.

[2]) Аристов, в своей книге о Щапове, рассказывает, что Чернышевский, заинтересовавшись сочинения-ми Щапова, искал знакомства с ним и, встретив его у одного общего приятеля, вел с ним длинный спор. Спор этот показал Чернышевскому, что сотрудником «Современника» Щапов быть не может: так сильно расходились их взгляды. Но как относились к Щапову впоследствии те самые люди, которые считали себя горячими поклонниками Чернышевского? Щаповские взгляды на русскую историю явились составною частью народнического учения, и наши народники, продолжая «уважать» Чернышевского, даже не потрудились спросить себя, — не существует ли противоречия между его взглядами и Щаповской идеализаци-ей старинной народной жизни.

начали с общинного землевладения и они снова вернутся к нему в своем дальнейшем развитии. На это можно заметить, что Чернышевский пошел здесь гораздо дальше Гегеля. Гегель говорит о формальном сходстве третьей фазы развития с первою, но он не говорил о полном *тождестве* этих фаз. Чернышевский же как будто предполагает полное тождество. Следуя Гегелю, действительно можно предположить, что народы, начав с *общественной* собственности, возвратятся к ней впоследствии, но нельзя сказать, что народы возвратятся именно к тем формам *общинного владения,* с которых они начали свое развитие. А если можно ожидать этого, то зачем останавливаться на сельской общине с переделами? Надо предполагать в таком случае, что народы вернутся к первобытным родовым учреждениям, так как первобытный коммунизм был коммунизмом кровного союза. Но на такое предположение едва ли кто отважится в настоящее время. Ссылаясь на Гегеля, Чернышевский упустил из виду две важнейшие особенности Гегелевской философии. Во-первых, у Гегеля всякое развитие, — и в логике, и в природе, и в общественных отношениях, — совершается само из себя, силой внутренней, «имманентной» диалектики. Чернышевскому следовало показать, что в русской общине есть именно та внутренняя логика отношений, которая со временем должна привести ее от общинного *владения* землею к общинной ее *обработке* и к общинному *пользованию* ее продуктами. Ведь именно в интересах такой формы общественной собственности и отстаивал он общинное

землевладение: ему казалось, что община облегчит переход к ней. Но Чернышевский не сделал этого, так как, вообще, он приурочивал свои ожидания к субъективным, а не к объективным факторам развития, к распространению знаний, а не ко внутренней логике общественных отношений. Но этим он изменял духу той самой философии, на которую ссылался в своей полемике с противниками общины.

Справедливо считая частную собственность лишь промежуточной формой в историческом развитии экономических отношений, Чернышевский сильно напирал на то обстоятельство, что, по мнению Гегеля, промежуточные фазы развития могут при изве-стных обстоятельствах значительно сократиться или даже совсем не иметь места. За это в особенности ухватились впоследствии наши народники, вся программа которых основывалась именно на том предположении, что капитализм, — эта промежуточная фаза в развитии **экономики** цивилизованного общества, — не будет иметь места в России.

Отвлеченно говоря, подобные сокращения промежуточных фаз вполне возможны. Но, во-первых, что касается сокращения известных

фаз развития, то сам Чернышевский прекрасно понимал, что не всегда данная фаза, при своем сокращении, приводит к таким же результатам, к каким приводит она при большей продолжительности. В «Полемических Красотах» он указывает на сигары, которые приобретают особенно ценные для курильщиков качества, подвергаясь медленному про-
цессу высыхания и связанным с ним химическим изменениям. Но попробуйте сократить продолжительность этого процесса высыхания и сразу искусственно высушить свежие сигары. По словам нашего автора, хорошего в таких сигарах будет не много. Что же это значит? Это значит, что иной ход процесса ведет за собою иные химические результаты.

Не то ли же и в общественной жизни? Нет ли основания думать, что более или менее продолжительный процесс капиталистического развития создает такие политические, умственные и нравственные качества трудящегося класса, каких мы вовсе не найдем в народе, не покидавшем в течение всей своей истории допотопных «устоев»

своего быта? И нет ли основания опасаться, что народ, не усвоивший себе культурных приобретений капиталистической фазы, окажется совершенно неспособным к организации общественного производства в тех размерах, которые предполагаются огромным развитием современных производительных сил. Но народники, ухватившиеся за аргументацию Чернышевского, совсем даже и не подозревали ее слабых сторон.

Во-вторых, от возможности известного явления еще очень далеко до его действи-тельности. Чтобы то или иное, возможное в теории, явление совершилось в действительности, необходимы известные конкретные условия. Спрашивается, были ли налицо в тогдашней России такие конкретные условия, которые позволили бы русскому народу миновать капитализм и от общины сразу перейти к социалистической форме общежития? Мы задаем этот вопрос не потому, что на него давно ответила уже сама жизнь, беспощадно осмеяв народнические упования, а потому, что на него отвечал в той же самой статье сам Чернышевский, проливая этим очень яркий свет на чисто гипотетический характер своих доводов в пользу общины.

В самом деле, уже в начале этой статьи читателя поражают, — вернее должны были бы поражать, хотя народники ухитрились их не заметить, — следующие знаменательные строки: «Возобновляя мою речь об общинном владении, я должен начать признанием совершенной справедливости тех слов моего первого противника, г. Вернадского, кото-
рыми он объявлял в самом возникновении спора, что напрасно взялся я за этот предмет, что не доставил я тем чести своему здравому смыслу.

37

Я раскаиваюсь в своем прошлом благоразумии, и если бы ценою униженной просьбы об извинении могло покупаться забвение совершившихся фактов, я не колеблясь стал бы просить прощения у противников, лишь бы этим моим унижением был прекращен спор, начатый мною столь неудачно» [1]).

Что же это такое? В чем дело? Ведь, не доводы же противников смутили Чернышевского? Конечно, нет. Он говорит: «Слабость

аргументов, приводимых противниками общинного владения, так велика, что без всяких опровержений с моей стороны начинают журналы, сначала решительно опровергавшие общинное владение, один за другим делать все больше и больше уступок общинному поземельному принципу» [2]). Его смущало обстоятельство совершенно другого рода, не имевшее никакого касательства к отвлеченному принципу общинного землевладения. «Как ни важен представляется мне вопрос о сохранении общинного землевладения, — заявляет. Чернышевский, — но он все-таки составляет только одну сторону дела, к которому принадлежит. Как высшая гарантия благосостояния людей, до которых относится, этот принцип получает смысл только тогда, когда уже даны другие, низшие гарантии благосостояния, нужные для доставления его действию простора. Такими гарантиями должны считаться два условия. Во-первых, принадлежность ренты тем самым лицам, которые участвуют в общинном владении. Но этого еще мало. Надобно также заметить, что рента только тогда серьезно заслуживает своего имени, когда лицо, ее получающее, не обременено кредитными обязательствами, вытекающими из самого ее получения... Когда человек уже не так счастлив, чтобы получить ренту, чистую от всяких обязательств, то, по крайней мере, предполагается, что уплата по этим обязательствам не очень велика по сравнению с рентою... Только при соблюдении этого второго условия люди, интересующиеся его благосостоянием, могут желать ему получения ренты» [3]). Но это условие не могло быть соблюдено в деле освобождаемых крестьян, поэтому Чернышевский и считал бесполезным защищать не только общинное землевладение, но и самое наделение крестьян землею. У кого оставалось бы какое-нибудь сомнение на этот счет, того совершенно убедит следующий пример, приводимый нашим автором. «Предположим, — говорит он, обращаясь к своему любимому способу объяснения посредством «парабол», — предположим, что я был заинтересован

[1]) Сочинения, т. IV, стр. 304 — 305.
[2]) Там же, стр. 306.
[3]) Там же, стр. 306.

принятием средств для сохранения провизии, из запаса которой составляется ваш обед. Само собою разумеется, что если я это делал собственно из расположения к вам, то моя ревность основывалась на предположении, что провизия принадлежит вам и что приготовляемый из нее обед здоров и выгоден для вас. Представьте же себе мои чувства, когда я узнаю, что провизия вовсе не принадлежит вам и что за каждый обед, приготовляемый из нее, берутся с вас деньги, которых не только не стоит самый обед, но которых вы вообще не можете платить без крайнего стеснения. Какие мысли приходят мне в голову при этих столь странных открытиях?.. Как я был глуп, что хлопотал о деле, для полезности которого не обеспечены условия! Кто кроме глупца может хлопотать о сохранении собственности в известных руках, не удостоверившись прежде, что собственность достанется в эти руки и достанется на выгодных условиях?.. Лучше пропадай вея эта провизия, которая приносит только вред любимому мною человеку! Лучше пропадай все дело, которое приносит вам только разорение! Досада за вас, стыд за свою глупость, — вот мои чувства» [1]).

Укажем еще на разговоры Волгина с Нивельзиным и Соколовским, в «Прологе Пролога». Они касаются освобождения крестьян: «Пусть дело освобождения крестьян будет передано в руки помещичьей партии. Разница не велика, — говорит Волгин Соко-ловскому, и на замечание его собеседника о том, что, напротив, разница колоссальная, так как помещичья партия против наделения крестьян землею, он решительно отвечает: нет, не колоссальная, а ничтожная. Была бы колоссальная, если бы крестьяне получили землю без выкупа. Взять у человека вещь или оставить ее человеку — разница, но взять с него плату за нее — все равно. План помещичьей партии разнится от плана прогрессистов только тем, что проще, короче. Поэтому он даже лучше. Меньше проволочек, *вероятно меньше и обременения* для *крестьян* [2]). У кого из крестьян есть деньги — тот купит себе землю. У кого нет — тех нечего обязывать и покупать ее. *Это будет только разорять их.* Выкуп тоже покупка. Если сказать правду, лучше пусть будут освобождены без земли... Вопрос поставлен так, что я не нахожу причин горячиться даже из-за того, будут или не

будут освобождены крестьяне; тем меньше из-за того, кто станет освобождать их, либералы или помещики. По-моему, все равно. Или помещики даже лучше» [3]).

[1]) Там же, стр. 307.
[2]) Курсив повсюду в этой выписке наш.
[3]) Сочинения, т. X, ч. 1, стр. 164.

В разговоре с Нивельзиным Волгин выставляет другую сторону своего отношения к тогдашней постановке крестьянского дела. «Толкуют: освободить крестьян, — восклицает он. — Где силы на такое дело? Еще нет сил. Нелепо приниматься за дело, когда нет сил на него. А видите к чему идет: станут освобождать. Что выйдет, — сами судите, что выходит, когда берешься за дело, которого не можешь сделать... Испортишь дело, выйдет мерзость. Ах, наши господа эмансипаторы, все эти ваши Рязанцевы с компаниею! вот хвастуны-то; вот болтуны-то; вот дурачье-то...» [1]).

Эти разговоры Волгина, а также и длинные выписки, приведенные нами из статьи «Критика философских предубеждений», заключают в себе драгоценный материал для суждения о том, как отвечал Чернышевский самому себе на вопросы: были ли налицо в тогдашней России конкретные условия, необходимые для того, чтобы поземельная община могла сразу перейти в социалистическую форму производства. *Их не было,* и Чернышевский увидел это уже к концу 1858 года. Увидев это, он показал себя несравненно более проницательным, нежели народники, которые еще в середине 90-х годов старательно разводили свои рацеи насчет того, что Россия может избежать капитализма. Вполне естественно, что очень большой человек гораздо больше людей очень маленьких: странно было бы удивляться тому, что Чернышевский оказался несравненно проницательнее г. В. В. Но все-таки позволительно удивиться тому, что Чернышевский мог в течение некоторого времени питать иллюзии насчет вероятной судьбы общины. И это можно объяснить только тем, что для него, как для человека, стоявшего на точке зрения утопического социализма, главный вопрос всегда заключался в отвлеченной правильности принципа, а не в тех конкретных условиях, при которых могло бы совершиться его осуществление. Ошибка,

сделанная им в этом случае, повторялась весьма значительною частью русских социалистов вплоть до конца прошлого века, а отчасти и до наших дней, и ввиду этого неоспоримого факта необходимо отдать Чернышевскому ту справедливость, что он уже при самом начале своей литературной деятельности обнаружил в рассуждениях об общине гораздо больше вдумчивости, нежели многие и многие «русские социалисты» даже в середине 90-х годов, когда уже, казалось бы, только слепой мог не видеть, что наши пресловутые «вековые устои» разлезаются по всем швам. Уже в апреле 1857 года он писал: «Но нельзя скрывать от себя, что Россия,

[1]) Там же, стр. 91.

доселе мало участвовавшая в экономическом движении, быстро вовлекается в него, и наш быт, доселе оставшийся почти чуждым влиянию тех экономических законов, которые обнаруживают свое могущество только при усилении экономической и торговой деятельности, начинает быстро подчиняться их силе. Скоро и мы, может быть, вовлечемся в сферу полного действия закона конкуренции»

Это как раз то, что после него так долго и старательно скрывали от себя и своих читателей теоретики нашего народничества. Правду говорит Писание: звезда от звезды разнствует во славе... Убедившись в том, что у нас нет налицо тех условий, которые сделали бы общинное землевладение источником благосостояния народа, Чернышевский должен был увидеть, что его сочувственное отношение к общине в действительности очень мало походит на симпатию к ней славянофилов. В статье «О причинах падения Рима» он говорит, что хотя община могла бы принести известную долю пользы в дальнейшем развитии России, однако гордиться ею все-таки смешно, потому что она все-таки есть признак нашей экономической отсталости. Он берет пример: европейские инженеры, — говорит он, — пользуются теперь прикладной механикой для постройки висячих мостов. Но вот оказывается, что в какой-то, он сам хорошенько не помнит в какой, отсталой азиатской стране туземные инженеры давно уже строили висячие мосты в подходящих для этого местностях. Значит ли это, что

азиатскую прикладную механику можно поставить на один уровень с европейской? Мост мосту — рознь, и висячий мост азиатских инженеров бесконечно далеко отстоит от европейского висячего моста. Конечно, когда в азиатской стране, издавна знакомой с висячими мостами, явятся европейские техники, то им легче будет убедить иного мандарина в том, что новейшие висячие мосты не представляют собою безбожной затеи. Но и только. Несмотря на свои висячие мосты, азиатская страна все-таки останется отсталой страной, а Европа все-таки будет ее учительницей. То же с русской общиной. Она, может быть, облегчит дело развития нашей родины, но главный толчок для него все-таки придет с Запада, и обновлять человечество нам, даже с помощью общины, все-таки не пристало.

Это уже совсем не по-славянофильски. Но теперь Чернышевский уже не щадит славянофилов. Он прямо говорит, что с такими чудаками, как они, не стоит и спорить о судьбах Запада. А когда все-таки он вступает в рассуждения с ними, то выражается уже совсем непочтительно.

[1]) Сочинения, III, 185.

Так, например, в статье «Народная бестолковость», напечатанной в 10-й книжке «Современника» за 1851 год, он читает им нотацию за их отношение к славянам. Грубость выбранного им заглавия он объясняет тем, что, проникшись славянофильскими доводами, он решился избегать употребления иностранных слов, которые могли бы, не изменяя названия статьи по существу, придать ему более вежливую форму. По мнению славянофильской газеты Ивана Аксакова «День», Россия должна была преподнести славянам «дар самостоятельного бытия под сенью крыл русского орла». Чернышевский доказывает, что у русского орла много своих собственных дел. «Если вы хотите войны, — говорит он, — то рассудите же, дозволяют ли нам думать о войне наши обстоятельства» [1]). Кроме того, он полагал, что если бы славянофилы действительно желали добра турецким славянам, то они постарались бы внушить западным державам уверенность, что падение турецкой власти в Европе не послужит к поглощению Дунайских княжеств Россией и не поведет к обращению

Константинополя в русский губернский город. Если бы славянофилы сделали это, то турецкие славяне освободились бы и без нашей помощи. То же и относительно австрийских славян: «Как ваши слова о прикрытии турецких славян могущественными крыльями русского орла возбуждают Англию и Францию поддерживать турок, точно так же подобные ваши речи об австрийских славянах возбуждают Германию поддерживать австрийцев. Неужели вы думаете, что при нынешних стремлениях немцев к политическому единству было бы мило для немцев существование нынешней Австрийской империи, являющейся сильнейшим препятствием к достижению немецкого единства, — было бы мило немцам поддерживать Австрию, если б не опасались они, что при падении этой империи восточная половина ее подпадет под власть России? Вы восстановляете немцев против освобождения австрийских славян» [2]). Далее Чернышевский прибавляет и показывает, что военный задор славянофильской газеты И. Аксакова вызывается не сочувствием к славянам, а стремлением подчинить славянские племена русской власти. Мимоходом он опровергает также и славянофильские разглагольствования о будто бы коварном и злостном отношении Запада к России. Он говорит, что все серьезные органы европейской печати отнеслись с большим сочувствием к важнейшим реформам в России, и что сочувствовать успехам общественной жизни какой-либо страны совсем не значит желать ей зла.

[1]) Сочинения, т. VIII, стр. 328.
[2]) Там же, стр. 328 — 329.

Все это было как нельзя более справедливо и показывало, что, несмотря на времен-ные иллюзии насчет возможной судьбы общины, Чернышевский, подобно Белинскому, остался убежденным и дальновидным западником.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Социализм и политика

Тот, кто на основании сочинений Чернышевского старается составить себе понятие об его политических взглядах, сначала испытывает некоторое смущение, если только он сам не равнодушен к

политике. В самом деле, человек, который был после Белинского наиболее ярким представителем передовых стремлений в нашей литературе, кажется сначала политическим индифферентистом. И не потому, что из-под его пера выходит несколько неудачных выражений; не вследствие какой-нибудь описки, а в силу тех общих принципов, на основании которых он судит иногда о важнейших явлениях западноевропейской жизни. В доказательство мы сошлемся на статью «Борьба партий во Фракции при Людовике XVIII и Карле X» («Современник», 1858 г., №№ 8 и 9). Мы там читаем:

«У либералов и демократов существенно различны коренные желания, основные побуждения. Демократы имеют в виду по возможности уничтожить преобладание высших классов над низшими в государственном устройстве, с одной стороны, уменьшить силу и богатство высших сословий, с другой, — дать более веса и благосостояния низшим сословиям. Каким путем изменить в этом смысле законы и поддержать новое устройство общества, для них почти все равно. Напротив того, либералы никак не согласятся предоставить перевес в обществе низшим сословиям, потому что эти сословия по своей необразованности и материальной скудости равнодушны к интересам, которые выше всего для либеральной партии, именно, к праву свободной речи и конституционному устройству. Для демократа наша Сибирь, в которой простонародье пользуется благосостоянием, гораздо выше Англии, в которой большинство народа терпит сильную нужду. Демократ из всех политических учреждений непримиримо враждебен только одному — аристократии; либерал почти всегда находит, что при только известной степени аристократизма общество может достичь либерального устройства. Потому либералы обыкновенно питают к демократам смертельную не-

приязнь, говоря, что демократизм ведет к деспотизму и гибелен для свободы» [1]).

Тут прежде всего бросается в глаза, что слово: демократы употреблено Чернышевским не в его настоящем смысле. Демократ

стремится к «народоправству», а для человека, стремящегося к «народоправству», вопрос о политическом строе всякой данной страны отнюдь не может быть второстепенным вопросом. Да и можно ли уничтожить преобладание высших классов над низшими в *«государственном* устройстве» иначе, как с помощью известных *политических* реформ. Наконец, неверно то, что из всех политических учреждений демократ непримиримо враждебен только аристократии. Трудно представить себе демократа, который уживался бы с абсолютизмом. Чернышевский был слишком образованным человеком для того, чтобы все это могло остаться ему неизвестным. Поэтому приходится вспомнить, как часто вынуждаемы были русские писатели пользоваться эзоповским языком. Если мы в только что сделанной нами выписке заменим слова: «демократ», «демократы», — словами: «социалист», «социалисты», и если мы к этим словам прибавим эпитет: утопический, утопические, то все станет ясным и понятным. Социалисты-утописты в самом деле были, за немногими исключениями, совсем, или почти совсем, равнодушны к политике, и им в самом деле было «почти все равно», при каких политических условиях начнется введение нового общественного строя. Понятно поэтому, что Чернышевский, который сам стоял на точке зрения утопического социализма, мог, нисколько не изменяя своим передовым стремлениям, отодвигать вопросы политического строя на самый задний план и даже находить, что наша Сибирь гораздо выше Англии.

Далее Чернышевский разъясняет свою мысль с помощью таких доводов, которые еще больше подтверждают наше предположение о том, что под демократами он понимает социалистов. Он говорит: «С теоретической стороны либерализм может казаться привлекательным для человека, избавленного счастливою судьбою от материальной нужды:

свобода — вещь очень приятная. Но либерализм понимает свободу очень узким, чисто формальным образом. Она для него состоит в отвлеченном праве, в разрешении на бумаге, в отсутствии юридического запрещения. Он не хочет понять, что юридическое разрешение для человека имеет цену только тогда, когда у человека

есть материальные средства пользоваться этим разрешением [2]). Народ не имеет материальной возмож-

[1]) Сочинения, т. IV, стр. 157.
[2]) Там же, та же стр.

ности пользоваться политической свободой. Почти во всех странах большинство его безграмотно. С какой же стати станет он дорожить правом свободной речи? Нужда и невежество осуждают его на полное непонимание государственных дел. С какой же стати будет он интересоваться парламентскими прениями? Чернышевский категорически говорит, что «нет такой европейской страны, в которой огромное большинство народа не было бы совершенно равнодушно к правилам, составляющим предмет желаний и хлопот либерализма» [1]). Этим объясняется то, что либерализм везде бессилен. «Из теоретической узкости либеральных понятий о свободе, как простом отсутствии запрещения, вытекает практическое слабосилие либерализма, не имеющего прочной поддержки в массе народа, не дорожащей правами, воспользоваться которыми она не может по недостатку средств» [2]).

Масса не только не дорожит, но и не может дорожить политическими правами. Ее бедственное материальное положение совершенно лишает ее возможности обнаружить сколько-нибудь серьезную политическую самодеятельность. Таковы те основные положения, опираясь на которые, Чернышевский судит о современной ему политической жизни Европы. Это те самые положения, с которыми почти на каждом шагу встречается человек, изучающий историю *утопического* социализма. Утопический социализм никогда не мог разрешить той антиномии, первая половина которой гласит, что масса не может интересоваться политикой, а вторая утверждает, что серьезные политические преобразования могут быть совершены только при энергичной поддержке со стороны масс. Поэтому практические планы социалистов-утопистов никогда не имели широкого,— национального, как говорят на Западе, — характера: они всегда сводились к основанию частными средствами земледельческих колоний, производительных ассоциации и т. п. Спустя какой-нибудь

десяток лет, — даже менее того, — после появления статьи «Борьба партий во Франции», европейский пролетариат в лице наиболее сознательных своих элементов разрешил указанную антиномию, заявив, что смотрит на политическое движение, как на средство достижения своих экономических целей. Первый же манифест Международного Товарищества Рабочих говорил, что «первый долг рабочего класса заключается в завоевании политического могущества». Интересно, что к тому времени, когда началась литературная деятельность Чернышевского, даже

[1]) Там же, стр. 158.
[2]) Там же, та же стр.

некоторые из социалистов-утопистов начали принимать более или менее деятельное участие в политической жизни. Это можно сказать, например, о многих французских фурьеристах. Но Чернышевский, как видно, еще не дал себе ясного отчета в этом, правда, тогда еще мало заметном, повороте социалистической мысли. Политическим индифферентистом он, на самом деле, не был никогда; напротив, он всегда живо интересовался политикой. Но, не веря в способность «простонародья» к политической инициативе, он не мог задумываться о выработке для него сколько-нибудь определенной политической программы. Этим и объясняется заключение его статьи, в котором так характеризуется период внутренней жизни Франции, простиравшийся от восстановления Бурбонов до июльской революции. «Напрасная борьба династии против новых интересов, нимало не враждебных выгодам королевской власти; напрасный союз ее с партиею, от торжества которой не могла она желать никакой пользы для себя, против партии, искренно желавшей союза с династиею, выгодного для династии; оставления народа беззащитным и безнадежным вследствие противоестественного союза династии с феодалами; увлечение народа отчаянием к восстанию, — гибель династии без пользы для народа, — вот в коротких словах история Реставрации. Реакционеры понесли наказание, которого заслуживал их эгоизм; но грустно то, что династия ради удовольствия этих бездушных эгоистов готовила себе ненужную погибель» 1).

Неужели Чернышевский в самом деле мог в конце 1858 г. грустить о том, что династия Бурбонов погибла ради удовольствия французской аристократии? В этом, конечно, очень позволительно усомниться. Всего естественнее предположить, что это заключение статьи Чернышевского было написано со специальною целью показать русскому правительству, что оно сделает большую ошибку, если отождествит интересы монархии с интересами дворянства, упорно защищавшего свои классовые интересы при отмене крепостного права. Точно так же отмеченные выше рассуждения о том, в каком смысле для «демократа» Сибирь выше Англии, должно было, по-видимому, намекнуть кому следовало на то, что наша крайняя партия готова будет энергично поддерживать правительство, если только оно сумеет избежать указанной ошибки. Подобные же заявления делались в то время, как известно, М. А. Бакуниным и А. И. Герценом. Пусть не подумает читатель, что мы обвиняем нашего автора в политическом иезуитизме.

[1]) Там же, стр. 219.

Совсем нет! Мы именно доказываем, что Чернышевскому не было никакой надобности кривить душою, чтобы высказывать подобные соображения.

До какой степени тесно и крепко связаны были соображения этого рода с его основными общественными взглядами, показывает следующий факт. Уже в 1860 году, т. е. в то время, когда он и сам твердо убедился в том, что советы, дававшиеся нашей радикальной интеллигенцией правительству, не имели ровно никакого влияния на политику этого последнего в крестьянском вопросе, Чернышевский счел нужным подробно доказывать в октябрьской книжке «Современника», что вожаки крайней партии в Италии не настолько дорожат республиканскою формою правления, чтоб не сделать уступок монархии, если только она станет серьезно защищать интересы народа. «В теории они действительно республиканцы, — говорил он, — но в практике всегда были готовы всеми силами поддерживать государей, проникнутые национальным чувством. Им кажется, что вопрос о форме правления в Италии далеко не имеет

того значения, как вопрос о национальном единстве. Не только теперь им кажется это, но и всегда они так думали, всегда они готовы были быть ревностнейшими приверженцами монархического правительства, посредством которого могла бы получить государственное единство Италия. Так действовал и сам Маццини, глава так называемых итальянских республиканцев» [1]).

Мы не говорим, что Маццини действовал или стремился действовать иначе. Мы только утверждаем, что частые у нашего автора указания на возможность союза крайних партий с тою или другою династией дают весьма важный материал для характеристики его собственных политических взглядов. Если ему «грустно», что французские Бурбоны приготовили себе «ненужную» погибель, то единственно потому, что участие французской народной массы в июльских событиях 1830 г. кажется ему совершенно бесполезным для ее интересов. Он как будто даже сожалеет о том, что она выказала готовность поддержать либерала. И по этому поводу он делает интересное тактическое замечание уже не частного, а общего характера. «Враг наших врагов друг нам. — Это заключение, — говорит он, — слишком часто ведет к самым горьким разочарованиям; очень часто случается людям, руководясь им, попадать из Сциллы в Харибду, или, по русской поговорке, из огня в полымя; но тем не менее редко успевают оберечь себя от него

[1]) Сочинения, т. VI, стр. 691.

даже такие опытные в политических делах, такие осторожные и недоверчивые люди, как дипломаты. Что же удивительного, если простой народ мало-помалу поддался этой мысли? Феодалы нападали на новые учреждения, дорогие народу, — либералы защищали эти учреждения, — чего же больше? Масса стала доверчива к ним. Правда, защищались эти учреждения либералами вовсе не в том духе, не с теми целями, с какими вводились; смысл одних и тех же слов не был в 1820-х годах таков, каков был тридцать, сорок лет тому назад. Но где же было народу разбирать такие тонкости? Не у него, однако, а у большинства людей образованных, сильнейший элемент в

умственной жизни — рутина; народ привык любить известные слова и не иметь симпатий к защищавшим эти слова» [1]).

Итак, только в силу рутины парижский народ поддержал либералов в 1830 году? А как поступил бы он, если бы не находился под властью рутины? Ответ мы находим в следующих словах Чернышевского: «Простой народ сражался без всяких определенных собственных требований; он увлекся тяжестью своего положения к участию в вопросах, чуждых его интересам; он не озаботился продать свое содействие, не выторговал себе никаких условий прежде, чем примкнуть к той или другой стороне. Разумеется, он не получил ничего» [2]).

Отсюда прежде всего следует, что парижский народ должен был лишь на известных условиях оказать свою поддержку либералам в июле 1830 года. Против этого спорить невозможно: когда два деятеля соединяют свои усилия против третьего, то они, очевидно, должны предварительно сговориться насчет того, на каких взаимных условиях они это делают. Но Чернышевский говорит не только это. Он утверждает, что политические вопросы вообще были «чужды интересам» парижского народа. Стало быть, этот народ должен был, по мнению Чернышевского, предъявлять либералам требования чисто экономического характера. Тут мы опять видим тот своеобразный «экономизм», — как выразились бы у нас лет 10 или 8 тому назад, — которым отличались все социалисты-утописты, и ошибка которого становится ясною лишь с точки зрения научного социализма. Маркс еще в своем споре с Карлом Гейнценом накануне революции 1848 года писал: «Рабочие прекрасно знают не только то, что буржуазия должна будет сделать им более значительные уступки, чем абсолютизм, но и то, что она против своей воли создает в интересах собственной про-

[1]) Сочинения, т. VI, стр. 206.
[2]) Там же, стр. 219.

мышленности и торговли почву для сплочения рабочего класса; сплочение же рабочих есть первое условие их победы. Рабочие знают, что уничтожение буржуазных имущественных отношений не достигается сохранением феодальных. Они знают, что революци-онное

движение буржуазии против феодальных сословий и абсолютной монархии [только может ускорить их собственное революционное движение. Они знают, что их собственная борьба с буржуазией] может начаться лишь в тот день, когда победит буржуазия».

Основатели научного социализма хорошо знали, что рабочему классу не раз приходилось выступать на историческую арену под предводительством буржуазии и бороться с врагами своих врагов. Но они не видели в этом достойной сожаления ошибки пролетариата, объясняемой лишь его неразвитостью, лишь преобладанием «рутины» в его умственной жизни. Они считали, напротив, что, борясь с врагами своих врагов, пролетариат совершал свое собственное политическое воспитание. Они писали в манифесте: «Несогласия внутри старого общества всегда способствуют, так или иначе, развитию пролетариата. Буржуазия ведет постоянную борьбу; сначала — против аристократии, потом — против тех слоев своего класса, интересам которых противоречит развитие крупной промышленности; борьба ее против буржуазии других государств не прекращается никогда. В каждом из этих случаев буржуазия вынуждена обращаться к пролетариату, просить его помощи и толкать его таким образом на путь политических движений. Она сообщает, следовательно, пролетариату свое политическое воспитание, т. е. вручает ему оружие против самой себя».

Ошибку Чернышевского можно характеризовать кратко словами: ему не ясна была связь экономических интересов пролетариата с его политическими задачами. Эта ошибка, свойственная, как мы уже не раз говорили, всему утопическому социализму [1]), имеет не только исторический интерес. Она до сих пор, то здесь, то там, повторяется теми идеологами пролетариата, — а иногда и целыми, более или менее обширными, рабочими организациями, — которым по той или другой при-

[1]) Напомним читателю, что Р. Оуэн предостерегал своих последователей от увлечения политической агитацией. Он находил, что завоевание всеобщего избирательного права отнюдь не подвинет вперед дела создания трудовых ассоциаций (ср. *E. Dolléans,* «R. Owen», Paris 1905, pp. 208—209) Его мечты о

патриар-хальном режиме под управлением выборного «социального отца» недурно характеризованы г. Еленой Симон («R. Owen», Jena 1905, S. 255). Известно, как часто обращается Р. Оуэн к современным ему прави-тельствам с просьбой содействовать ему в осуществлении его социалистических планов.

чине не удается постигнуть связь политики с экономикой. В последние годы самым ярким примером этой теоретической неясности могла бы служить теория так называемого революционного синдикализма, распространяющегося преимущественно во Франции и в Италии. Так как Чернышевский считал, что политические вопросы чужды интересам массы, то он мог, оставаясь верным себе, не только ставить Сибирь выше Англии, но и удивляться тому, что на самом деле вовсе не удивительно, т. е. тому, что ни одна из политических партий во Франции не попыталась опереться на социализм для упрочения своего господства. «Какова бы ни была, — говорит он, — форма политического устройства, предпочитаемая известною партиею, все равно, эта форма могла получить прочность только от разрешения вопросов, составлявших предмет исследования для тех мыслите-лей, которые заботились приискать средства к удовлетворению потребностей массы. Но все политические партии — абсолютисты, конституционалисты, республиканцы — одинаково восставали против этих попыток, которыми пролагался единственный путь к успокоению общества. Республиканцы сделали такую ошибку в 1848 году; теперь, при июльской монархии, делали ее консерваторы и умеренные либералы» [1]).

Недоумение нашего автора разрешилось бы очень скоро, если б он принял во внима-ние, что все старые политические партии были партиями, выражавшими стремления таких классов или слоев французского общества, интересы которых были противопо-ложны интересам пролетариата или, по крайней мере, очень сильно расходились с ними, между тем как социализм даже в своей утопической фазе был, правда, иногда довольно фантастическим, выражением именно пролетарских интересов. Все старые партии прекрасно понимали это, и потому все они восстали против социализма. Из этого положения был только один выход: возникновение самостоятельной политической партии, служащей

интересам пролетариата. И этот выход был найден историей: мало-помалу рабочие партии возникли во всех передовых странах Европы. Но Чернышевский, как видно, еще не терял надежды на то, что выход найдется в примирении с социализмом одной из старых политических партий.

Напоминаем читателю, что мы указываем на ошибки Чернышевского вовсе не для того, чтобы нападать на этого в высшей степени замечательного человека, а единственно для того, чтобы как можно лучше выяснить себе сильные и слабые стороны его миросозерцания.

[1]) Сочинения, т. VI, стр. 126.

Ошибки Чернышевского были не его личными ошибками: они объясняются не отсутствием у него внимания к предмету или логической последовательности, а общими недостатками той точки зрения, на которой во всех странах стояли даже самые гениальные социалисты утопического периода. В сочинениях Чернышевского эта неудовлетворительность обнаруживается подчас с особенною силою именно потому, что он был человек чрезвычайно выдающегося ума. Построив свою философию истории на том идеалистическом принципе, что миром правят мнения, он не мог не применять этого принципа и к политике. И только тот поймет во всей их полноте его политические взгляды, кто будет помнить, что имеет дело с человеком, который, несмотря на свою материалистическую философию, держался в общем идеалистического объяснения истории. Вот очень наглядный образчик, показывающий, каким образом исторический идеализм Чернышевского проникал собою ею политические рассуждения.

«Все на свете, — говорит он, — требует для своего осуществления силы. Дурное и хорошее одинаково ничтожно, когда бессильно. Что же такое сила? В теории сила дается логикою. Кто имеет совершенно определенные принципы, кто развивает их последовательно, тот всегда одерживает в теоретическом споре верх над людьми непоследовательными, говорящими в одно время об одном и том же и «да» и «нет». Все великие теоретики были люди крайних мнений. Но

другое дело — практическая жизнь. В ней важно то, на чьей стороне большинство. А у большинства господствующий принцип — рутина. Редки бывают минуты, когда овладевает обществом сильная идея, и оно скоро утомляется непривычным для него напряжением умственных сил и снова впадает в рутину; а рутина, это — вовсе не логическая смесь старого и нового, смесь мыслей, принадлежащих совершенно разнородным принципам, которым никак нельзя ужиться вместе в последовательной теории, но которые очень ладно набиваются рядом в головы, мало способные мыслить. Силен в обществе тот, кто имеет за себя большинство. Вот причина тому, что в конституционных государствах власть принадлежит обыкновенно партии так называемых умеренных людей, — людей непоследовательного образа мыслей, желающих лишь наполовину все то, к чему стремятся» [1]).

Сам Чернышевский делает отсюда тот вывод, что люди крайних мнений всегда работают не в свою пользу, а в пользу умеренной пар-

[1]) Сочинения, т. VIII, стр. 208.

тии, несмотря на то, что истинными двигателями истории являются именно они, люди крайних мнений. Но для нас важна здесь другая сторона вопроса. Для нас имеет существенную важность указание на то, что в этих, так сказать, «пролегоменах» ко всем политическим рассуждениям Чернышевского весь его материализм сводится лишь к тому положению, что все на свете осуществляется силой. А как только возникает вопрос о том, что такое сила, наш автор сразу переходит на точку зрения идеализма. Силен тот, за кем большинство, а большинство всегда поддается рутине, всегда держится умеренных и отсталых мнений. Вот почему в конституционных государствах власть принадлежит умеренным людям. «Миром правят мнения», а масса плохо разбирается во мнениях — в этом разгадка хода всемирной истории и в этом же объяснение современных нам политических событии. Последняя наша выписка сделана нами из статьи «Граф Кавур». Посмотрите же, как применяются заключающиеся в этой выписке общие положения к тому, что происходило в Италии во время ее последней борьбы за свое освобождение.

«В Италии по национальным делам есть, как и везде, два противоположные образа мыслей, очень последовательные каждый своему принципу. Представителями одного надобно назвать покойного короля неаполитанского Фердинанда и нынешнего правителя римских дел Антонелли; известнейший представитель другого — Мацини. Которого из них вы ни захотите послушать, он рассуждает гораздо логичнее Кавура и его сотова-рищей. Но один принцип уже не удовлетворяет рутинному образу мыслей большинства, другой еще не вошел в рутину. От этого при обыкновенном настроении итальянского общества ни тот, ни другой не могут удовлетворить ему. Удовлетворительна только та смесь, которая составляет рутину, образовавшуюся из клочков прежнего принципа, еще уцелевших, и клочков нового принципа, уже успевших сделаться общими местами... Фердинанд неаполитанский и Антонелли, а на противоположном конце Гарибальди и Мацини одинаково трудились в пользу Кавура, потому что масса общества не расположена идти далеко ни по какому правлению: она рада останавливаться подле тех, которые в дурном ли, в хорошем ли одинаково говорят: „остановимся; мы уже далеко ушли; отдохнем, успокоимся"» [1]).

Несколько ниже Чернышевский говорит, что если бы Кавур и другие предводители умеренной партии в Италии взяли на себя ини-

[1]) Там же, стр. 208.

циативу движения, а не были бы подталкиваемы крайней партией, та масса отбросила бы их от себя, как людей, не соответствующих неопределенности ее тенденций и вялости ее желаний. «Иметь обдуманную, ясную программу! — восклицает он. — Может быть, это и хорошо само по себе, может быть это и полезно для нации, но масса общества никогда не поставит, не будет иметь своими представителями таких людей. Стало быть, нечего порицать Кавура за то, что был он таким, каким был, занимая место, какое занимал: такие люди требуются этим местом; другие не годятся для него» [2]).

Здесь у Чернышевского понятие «нация» не совпадает с понятием: «масса общества». А ввиду того, что под обществом понимались и до сих пор иногда понимаются у нас так называемые образованные

классы, то можно подумать, что вышеприведенная, весьма не лестная характеристика массы относится только к этой части населения. Мысль эту можно было бы подтвердить выписками из других его статей [2]). Но неправильно было бы заключать отсюда, что Чернышевский подобно нашим народникам ставил «простолюдинов» выше интеллигенции. Мы уже знаем, каким низким представлялся ему умственный уровень «простонародья» даже в самых передовых странах Европы; мы видели, что поддержка, оказанная французским народом либеральной буржуазии в 1830 году, объяснялась у него тем соображением, что масса везде

[1]) Там же, стр. 210.

[2]) Удовольствуемся одной. «До февраля 1848 г. Виктор Гюго не знал, какой у него образ мыслей в политике, ему не приходилось думать об этом; а впрочем он был прекраснейший человек и отличный семьянин, добрый, честный гражданин, и сочувствовал всему хорошему, в том числе, славе Наполеона I и рыцарскому великодушию Александра I, доброму сердцу герцогини Орлеанской, матери наследника тогдашнего короля Луи-Филиппа, и несчастиям благородной герцогини Беррийской, матери соперника этому королю и этому наследнику, сочувствовал прекрасному таланту Тьера, соперника Гизо, гениально простому красноречию Гизо (едва ли не величайшего из тогдашних ораторов), честности Одилона Барро, противника Гизо и Тьера, гению и честности Араго, знаменитого астронома, главного представителя республиканцев в тогдашней палате, благородству фурьеристов, добродушию Луи Блана, великолепной диалектике Прудона, любил монархические учреждения, и, кроме того, все остальное хорошее, в том числе и Спартанскую республику, и Вильгельма Телля, — образ мыслей известный и заслуживающий всякого почтения уже и по одному тому, что из сотни честных образованных людей чуть ли не 99 человек во всех странах света имеют наверно такой образ мыслей» (т. X, ч. 2, отд. 2, стр. 95 — 96). Тут уже Чернышевский сам говорит, что, характеризуя «массу общества», он имеет в виду собственно обработанные классы.

живет рутиною. Значит, если он в своих отзывах о массе делает иногда молчаливо подразумеваемое исключение для «простолюдинов», то то происходит по какой-нибудь особенной причине, а вовсе не потому, что он ставит их выше общества. Какая же это причина? Та, что «простолюдины», вообще говоря, не занимаются, по его мнению, политикою, а потому и не имеют случая обнаружить свою склонность к рутине. В политическом обозрении 6-й книжки «Современника» за 1859 год, он, сообщив о том, что в Германии усиливается движение, требующее вмешательства Немецкого Союза в пользу Австрии, замечает: «Мы говорили не о простолюдинах, а собственно о классах, в которых сосредоточивается общественное мнение, которые заняты политическими делами, читают газеты и обнаруживают влияние на

ход дел, — эта толпа, повсюду служащая игрушкою своекорыстия и интриги» [1]).

«Простолюдины» не читают газет, не занимаются политическими делами и не имеют влияния на их ход. Так обстоит дело теперь, пока еще глубоко спит их сознание. А когда оно пробудится под влиянием передового отряда действующей исторической армии, состоящего из «лучших людей», усвоивших себе выводы современной науки, тогда «простолюдины» поймут, что их задача состоит в коренном переустройстве общества, и тогда они возьмутся за дело этого переустройства, не имеющее прямого отношения к вопросам о формах политического устройства. Таков был преобладавший взгляд Чернышевского, который и обнаруживается в большинстве его многочисленных политических обозрений [2]). Если иногда этот, по существу своему идеалистический, взгляд на политику уступает место другому взгляду, являющемуся как бы зачатком материалистического понимания, то это есть лишь исключение, совершенно подобное тому, с которым мы встречались при изучении исторических взглядов Чернышевского: читатель помнит, что в этих взглядах, тоже идеалистических по своему существу, тоже встречались зачатки материалистического взгляда на историю. Поясним же теперь двумя примерами, какой характер должны были принимать политические обозрения Чернышевского под влиянием только что указанного нами и преобладавшего у него взгляда на отношение политики к главным задачам рабочего класса.

[1]) Сочинения, т. V, стр. 249.

[2]) Эти обозрения составляют по объему, по крайней мере, два тома полного собрания его сочинений.

Первый пример. В январе 1862 года он в своем политическом обозрении вступает в спор с прусской либеральной «National Zeitung» по поводу внутренней политики Австрии. «National Zeitung» писала: «Судьба Австрии да послужит для других государств уроком, чтобы они не делали расходов, превышающих финансовую их силу. Причиною разорения Австрии служит безмерность расходов ее на войско». Чернышевскому не нравится это размышление «National Zeitung». Он сознается, что не имеет возможности опровергнуть

данные, на которых оно построено. Эти данные засвидетельствованы, «к сожалению», самим австрийским правительством, которое имело неосторожность «объявить цифру своего дефицита». Но, «к счастью», спор можно перевести в область принципов и на почву исторической необходимости. При таком его обороте окажется, что австрийское правительство право. Чернышевский рассуждает так:

Расходы на войско в Австрии действительно очень велики. Но, ведь иначе и быть не может: австрийская армия многочисленнее французской, а ее содержание обходится почти вдвое дешевле. Стало быть, нельзя обвинять австрийское правительство в излишней расточительности. Правда, можно сказать, что Австрия могла бы уменьшить свою армию. Но Чернышевский утверждает, что австрийское правительство решительно не в состоянии сделать это. Чтоб иметь возможность уменьшить армию, оно должно было бы отказаться от Венеции и удовлетворить требования венгров. Но какое же правительство отказывалось когда-нибудь добровольно от обладания какою-нибудь землею. Англия никогда не отказывалась от господства над Ирландиею; Пруссия — от господства над Познанью. «Значит, — заключает Чернышевский, — обскурантизм и деспотизм австрийского правительства остается тут не при чем: либеральное правительство точно так же старалось бы сохранить власть над Венециею» [1]). То же и насчет Венгрии. Советовать австрийскому правительству удовлетворить ее желаниям, это все равно, как если бы советовать купцу, чтоб он не брал торговой прибыли, или советовать землевладельцу, чтобы он не брал дохода со своей земли, или советовать «National Zeitung», чтобы она отказывалась от подписчиков. Даже более того: Чернышевский находит, что даже эти нелепые советы менее странны, чем советы, даваемые ав-

[1]) Сочинения, т. IX, стр. 205.

стрийскому правительству либералами. Австрийское правительство не может последовать этим советам [1]).

Подобные доводы, приводившие к тому заключению, что деспотическое австрийское правительство поступает совершенно правильно, должны были поражать и в самом деле поражали очень

многих читателей «Современника». Они производили впечатление даже не равнодушия к вопросам политической свободы, а прямого сочувствия обскурантам. Противники не раз обвиняли Чернышевского в таком сочувствии. Именно ввиду подобных обвинений он в конце своего мартовского политического обозрения 1862 года делает ироническое признание: «для нас нет лучшей забавы, как либерализм, — так вот и подмывает нас отыскать где-нибудь либералов, чтобы потешиться над ними». Но на самом деле он писал свои парадоксальные обозрения, разумеется, не за тем, чтобы «потешиться» над либералами, и не за тем, чтобы защищать деспотические правительства. В их основе лежала та мысль, что при наличности данных общественных отношений дела не могут идти иначе, чем они идут, и что тот, кто желает, чтобы они шли иначе, должен направить свои усилия на коренную переделку общественных отношений. Поступать иначе значит только даром тратить свое время. Либералы вызывали насмешки Чернышевского именно тем, что они предлагали паллиативы там, где нужно было радикальное лечение [2]).

Второй пример. В апреле того же года по поводу столкновения прусского правитель-ства с прусскою палатою депутатов, Чернышевский опять как будто берет сторону абсолютизма в его борьбе с либерализмом. По его словам, либералы напрасно удивлялись тому, что прусское правительство не сделало им добровольной уступки, а предпочло волновать страну распущением палаты. «Мы находим, — говорит он, — что прусскому правительству так и следовало поступить» [3]). Это опять должно было поразить наивного читателя и показаться ему из-

[1]) Там же, стр. 206.

[2]) В своих «Очерках политической экономии» Чернышевский, указывая на несоответствие существую-щего экономического порядка с «требованиями здравой теории», прерывает иногда свое изложение вопросом: «Должен ли оставаться такой быт, при котором возможна подобная несоответственность?». (См., например, Соч., т. VII, стр. 513). На такой же вопрос должны были наводить его читателей и политические его обозрения — особенно те, из которых следовал тот несообразный» вывод, что правы не враги деспотизма, а его защитники. Такой вывод являлся у Чернышевского только лишним доводом *против нынешнего «быта»*. Но либералы часто не понимали этого.

[3]) Там же, стр. 236.

меною делу свободы. Само собою понятно, однако, что и тут наш автор вовсе не ополчался на защиту деспотизма, а только хотел воспользоваться прусскими событиями для сообщения наиболее догадливым из своих читателей правильного взгляда на то главное условие, от которого зависит в последнем счете исход всех крупных общественных столкновений. И вот что говорит он на этот счет:

«Как споры между различными государствами ведутся сначала дипломатическим путем, точно так же борьба из-за принципов внутри самого государства ведется сначала средствами гражданского влияния или так называемым законным путем. Но как между различными государствами спор, если имеет достаточную важность, всегда приходит к военным угрозам, точно так и во внутренних делах государства, если дело не маловажно. Если спорящие государства слишком неравносильны, дело обыкновенно решается уже одними военными угрозами: слабое государство исполняет волю сильного, и этим отвращается действительная война. Точно так же и в важных внутренних делах война отвращается только тем, если одна из спорящих сторон чувствует себя слишком слабою, сравнительно с другой: тогда она смиряется, лишь только увидит, что противная партия действительно решилась прибегнуть к военным мерам. Но если два спорящие государства не так неравносильны, чтобы слабейшее из них не могло надеяться отразить нападение, то от угроз доходит дело и до войны. Обороняющийся имеет на своей стороне очень большую выгоду, и потому, если он уже не слишком слаб, то не падает духом от решимости более сильного противника напасть на него» [1]).

С этой точки зрения он и смотрел на то, что происходило тогда в Пруссии. Он защищал и хвалил прусское правительство, — необходимо заметить это, — единственно потому, что оно «действовало как нельзя лучше в пользу национального прогресса», разрушая политические иллюзии тех наивных пруссаков, которые, неизвестно на каком основании, воображали, что система истинно конституционного правления водворится у них сама собою, без борьбы со старым порядком. И если он не обнаруживал ни малейшего сочувствия к прусским либералам и даже потешался над ними, то это объясняется тем, что и они, по его справедливому мнению, хотели

добиться своих целей без решительной борьбы со своими политическими врагами. Говоря о возможном исходе столкновения между палатою и правительством, он с

[1]) Там же, стр. 241.

большою проницательностью замечает, что «судя по нынешнему настроению общественного мнения в Пруссии, надобно полагать, что противники нынешней системы находят себя слишком слабыми для военной борьбы и готовы смириться при первой решительной угрозе правительства, что оно прибегнет к военным мерам» Так оно и вышло. Чернышевский был прав в своем презрении к прусским либералам. Они действительно хотели, чтобы конституционный порядок утвердился в Пруссии сам собою. Они не только не прибегли к решительным действиям, — за это их нельзя было бы винить, так как при тогдашнем соотношении общественных сил это было невозможно, — но в принципе осуждали всякую мысль о таких действиях, т. е. препятствовали, насколько это зависело от них, такому изменению общественных сил, которое позволило бы прибегнуть к таким действиям в будущем. Чернышевский не мог простить им это, как не простил и Лассаль. Замечательно, что именно в то время, когда Чернышевский осмеивал прусских либералов в своих политических обозрениях, Лассаль громил их в своих речах. И еще более замечательно, что в этих речах германский агитатор иногда теми же словами, как и Чернышевский, говорил о соотношении общественных сил, как об основе политического строя каждой данной страны. Лассаль имел во многих отношениях тех же учителей, что и Чернышевский. Естественно, что политическая мысль обоих работала в одном и том же направлении и приходила к результатам, отчасти совпадающим между собою. Мы потому говорим: *«отчасти»,* что, отмечая большое *сходство* между взглядами Лассаля, с одной стороны, и Чернышевского, с другой, не следует закрывать глаза и на *различие* между ними. Лассаль не ограничивается тем выводом, что конституция каждой данной страны служит юридическим выражением существующего в ней соотношения общественных сил. Он старается найти те причины, которыми определяется это

соотношение, и находит их в общественной экономике. Относящиеся к этому вопросу речи Лассаля проникнуты материалистическим духом, чего совсем нельзя сказать, например, об его речи о философии Фихте или об его *«Системе приобретенных прав».* Чернышевский тоже не игнорирует вопроса о причинах, обусловливающих собою соотношение общественных сил, но в своем анализе он останавливается, дойдя до общественного самосознания, т. е. не переступает той границы, которая отделяет исторический идеализм от исторического материализма.

[1]) Там же, стр. 241.

В противоположность Лассалю, он в своих рассуждениях о прусских делах выступает гораздо более последовательным идеалистом, чем во многих других своих статьях политического или исторического содержания. Эта разница тоже должна быть целиком отнесена на счет «соотношения общественных сил». В Пруссии, как ни слаб был прусский капитализм сравнительно с тем, что он представляет собою в настоящее время, все-таки уже начиналось *рабочее движение* в новейшем смысле этого слова; а в России только начинало расцветать то *движение разночинцев,* которое называется обыкновенно движением *интеллигенции.* Под влиянием нужд рабочего движения даже *идеалисты* нередко оказываются вынужденными рассуждать по *материалистически.* Примеров такого влияния нужд рабочего движения можно не мало насчитать в современной Франции. Движение интеллигенции, наоборот, даже *материалистов* толкает иногда на путь чисто *идеалистических* рассуждений. Это особенно хорошо наблюдается в нынешней России.

Политические обозрения Чернышевского предназначались для «лучших людей», которым нужно было знать, чему они должны учить отсталую массу. Дело «лучших людей» сводилось, *главным образом, к* пропаганде. Однако, не *исключительно* к ней. «Простонародье», вообще говоря, не фигурирует на политической сцене. И то, что происходит на этой сцене, — тоже говоря вообще, — мало касается его интересов. Но бывают исключительные эпохи, в течение которых народная масса пробуждается от своей обычной спячки и делает

энергичные, хотя нередко малосознательные, попытки к улучшению своей судьбы. В такие исключительные эпохи деятельность «лучших людей» более или менее утрачивает свой преимущественно *пропагандистский* характер и становится *агитационной.* Вот что говорит Чернышевский о подобных эпохах:

«Исторический прогресс совершается медленно и тяжело... так медленно, что если мы будем ограничиваться слишком короткими периодами, то колебания, производимые в поступательном ходе истории случайностями обстоятельств, могут затемнить в наших глазах действие общего закона. Чтобы убедиться в его неизменности, надобно сообразить ход событий за довольно продолжительное время... Сравните состояние обществен-ных учреждений и законов Франции в 1700 году и ныне, — разница чрезвычайная, и вся она в выгоду настоящего; а между тем, почти все эти полтора века были очень тяжелы и мрачны. То же самое и в Англии. Откуда же разница? Она постоянно подготовлялась тем, что лучшие люди каждого поколения находили жизнь

своего времени чрезвычайно тяжелою; мало-помалу хотя немногие из их желаний становились понятны обществу, и потом, когда-нибудь, через много лет, при счастливом случае, общество полгода, год, много три или четыре года, работало над исполнением хотя некоторых из тех немногих желаний, которые проникли в него от лучших людей. Работа никогда не была успешна: на половине дела уже истощалось усердие, изнемогала сила общества и снова практическая жизнь общества впадала в долгий застои, и по-прежнему лучшие люди, если переживали внушенную ими работу, видели свои желания далеко не осуществленными и по-прежнему должны были скорбеть о тяжести жизни. Но в короткий период благородного порыва многое было переделано. Конечно, переработка шла наскоро, не было времени думать об изяществе новых пристроек, которые оставались не отделаны начисто, некогда было заботиться о субтильных требованиях архитектурной гармонии новых частей с уцелевшими остатками, и период застоя принимал перестроенное здание со множеством мелких

несообразностей и некрасивостей. Но этому ленивому времени был досуг внимательно всматриваться в каждую мелочь, и так как исправление не нравившихся ему мелочей не требовало особенных усилий, то понемногу они исправлялись; а пока изнеможенное общество занималось мелочами, лучшие люди говорили, что перестройка не докончена, доказывали, что старые части здания все больше и больше ветшают, доказывали необходимость вновь приняться за дело в широких размерах. Сначала их голос отвергался уставшим обществом, как беспокойный крик, мешающий отдыху; потом, по восстановлении своих сил, общество начинало все больше и больше прислушиваться к мнению, на которое негодовало прежде, понемногу убеждалось, что в нем есть доля правды, с каждым годом признавало эту долю все в большем размере, наконец, готово было согласиться с передовыми людьми в необходимости новой перестройки, и при первом благоприятном обстоятельстве с новым жаром принималось за работу, и опять бросало ее, не кончив, и опять дремало, и потом опять работало» [1]).

Политические обозрения Чернышевского имели целью именно показать «лучшим людям», что старое здание современного общественного порядка все более и более ветшает, и что необходимо «вновь приняться за дело в широких размерах». И, как это по всему видно, ему к концу первого, — т. е. досибирского, — периода его литературной

[1]) Сочинения, т. V, стр. 490 — 491.

деятельности стало казаться, что общество все больше и больше прислушивается к его мнению и все больше и больше соглашается с ним. Другими словами, он стал думать, что и в русской истории приближается один из тех благодетельных скачков, которые редко совершаются в истории, но зато далеко подвигают вперед процесс общественного развития. Настроение передовых слоев русского общества в самом деле быстро поднималось, а вместе с ним поднималось и настроение Чернышевского. Он, находивший когда-то возможным и полезным разъяснять правительству его собственные выгоды в деле крестьянского освобождения, теперь уже и не думает

обращаться к правительству. Всякие расчеты на него кажутся ему вредным самообольщением. В статье «Русский реформатор» («Современник», 1861 года, октябрь), написанной по поводу выхода книги Н. Корфа: «Жизнь графа Сперанского», Чернышевский подробно доказывает, что никакой реформатор не должен обольщаться у нас подобными расчетами. Враги называли Сперанского революционером. Этот отзыв смешит Чернышевского. У Сперанского, действительно, были очень широкие планы преобразования, но смешно называть его революционером по размеру средств, какими он думал воспользоваться для исполнения своих намерений. Он держался только тем, что успел приобресть доверие имп. Александра I. Опираясь на это доверие, он и думал осуществить эти планы. И именно поэтому Чернышевский называет его мечтателем. Он был человеком очень тонкого ума, но горячность его стремлений ввела его в ошибку. Мечтатели часто бывают смешны; но они становятся вредны обществу, когда обольщаются в серьезных делах. «В своей восторженной хлопотливости на ложном пути, — говорит Чернышевский, — они как будто добиваются некоторого успеха и тем сбивают с толку многих, заимствующих из этого мнимого успеха мысль идти тем же ложным путем. С этой стороны деятельность Сперанского можно назвать вредною» [1]).

Не поддается вредным увлечениям в политике только тот, кто постоянно помнит, что ход общественной жизни определяется соотношением общественных сил. Тому, кто хочет действовать сообразно с этим основным положением, приходится иногда переживать тяжелую нравственную борьбу. Чернышевский старается предупредить на этот счет «лучших людей» своего времени ввиду приближавшегося, как он думал, скачка. Так, еще в январе 1861 года, разбирая одну книгу известного американского экономиста Кери, ничтожество которого, мимоходом

[1]) Сочинения, т. VIII, стр.319.

сказать, разоблачается у него самым лучшим образом, он неожиданно переходит к известной еврейской героине Юдифи и горячо оправдывает ее поступок. Он говорит: «Исторический путь не тротуар

Невского проспекта; он идет целиком через поля, то пыльные, то грязные, то через болота, то через дебри. Кто боится быть покрыт пылью **и** выпачкать сапоги, тот не принимайся за общественную деятельность: она — занятие благородное для людей, когда вы думаете действительно о пользе людей, но занятие не совсем опрятное. Правда, впрочем, что нравственную чистоту можно понимать различно: иному, может быть, кажется, что, например, Юдифь не запятнала себя... Расширьте круг ваших соображений, и у вас по многим частным вопросам явятся обязанности, различные от тех, какие следовали бы из изолированного поставления тех же вопросов» [1]).

В начале 60-х годов правительство вознамерилось несколько ослабить цензурные стеснения. Решено было написать новый цензурный устав, и печати позволили высказаться по вопросу об ее собственном обуздании. Чернышевский не замедлил выразить по этому поводу свой собственный взгляд, по обыкновению сильно расходившийся с обычным либеральным взглядом. Правда, Чернышевский сам едко смеется над теми людьми, которые полагают, что типографский станок имеет какую-то специфическую силу вроде белладонны, серной кислоты, гремучего серебра и т. п. «Наше личное мнение не расположено к ожиданию ненатурально вредоносных результатов от предметов и действий, в которых нет силы производить такие бедствия. Мы думаем, что для произведения общественных бед типографский станок слишком слаб. Ведь нет на нем столько чернил, чтобы, прорвавшись как-нибудь, затопили они страну, и нет в нем таких пружин, чтобы, сорвавшись как-нибудь и хлопнув по литерам, стрельнули они ими, как картечью». Однако Чернышевский признает, что бывают такие эпохи, когда печать может оказаться опасною для правительства данной страны не менее картечи. Это именно такие эпохи, когда интересы правительства *расходятся с интересами общества* и приближается революционный взрыв. Находясь в подобном положении, правительство имеет все основания стеснять печать, потому что печать, наравне с другими общественными силами, готовит его падение. В таком положении постоянно находились почти все часто сменявшиеся французские правительства нынешнего века.

Все это очень обстоятельно и спокойно изложено Чернышевским. О русском прави-

[1]) Сочинения, т. VIII, стр. 37 — 38.

тельстве до самого конца статьи нет и речи. Но в заключение Чернышевский неожиданно спрашивает читателя, — а что если бы оказалось, что законы о печати действительно нужны у нас? «Тогда мы вновь заслужили бы имя обскурантов, врагов прогресса, ненавистников свободы, панегиристов деспотизма и т. д., как уже много раз подвергали себя такому нареканию». Поэтому он и не хочет исследовать вопроса о надобности или ненадобности специальных законов о печати у нас. «Мы опасаемся, — говорит он, — что добросовестное исследование привело бы нас к ответу: да, они нужны» [1]). Вывод ясен: нужны потому, что и в России приближается время «скачка».

В той же мартовской книжке «Современника», в которой была напечатана только что цитированная нами статья, появилась также полемическая заметка: «Научились ли?» по поводу известных студенческих беспорядков 1861 года. Чернышевский защищает в ней студентов от упрека в нежелании учиться, который делали им наши «охранители», и по пути высказывает также много горьких истин правительству. Ближайшим поводом к этой полемике послужила статья неизвестного автора в «С.-Петербургских Академических Ведомостях» под заглавием: «Учиться или не учиться?». Чернышевский отвечает, что по отношению к студентам такой вопрос не имеет смысла, так как они всегда хотели учиться, но им мешали стеснительные университетские правила. Студентов, — людей, находящихся в том возрасте, когда по нашим законам мужчина может жениться, принимается на государственную службу и «может быть командиром военного отряда», — университетские правила хотели поставить в положение маленьких ребят. Неудивительно, что они протестовали. Им запрещали даже такие совершенно безвредные организации, как товарищества взаимной помощи, безусловно необходимые при материальной необеспеченности большинства учащихся. Студенты не могли не восстать против таких порядков, так

как тут дело шло о «куске хлеба и о возможности слушать лекции. Этот хлеб, эта возможность отнимались». Чернышевский прямо заявляет, что составители университетских правил именно хотели отнять возможность учиться у большинства людей, поступающих в студенты университета. «Если автор статьи или его единомышленники считают нужным доказать, что эта цель нисколько не имелась в виду при составлении правил, пусть они напечатают документы, относящиеся к тем совещаниям, из которых произошли правила». Безыменный автор статьи «Учиться или

[1]) Сочинения, т. IX, стр. 130, 155 — 156.

не учиться?» направил свой упрек в нежелании учиться не только против студентов, но и против всего русского общества. Этим и воспользовался Чернышевский, чтобы свести спор о беспорядках в университете на более общую почву. Противник его допускал, что существуют некоторые признаки желания русского общества учиться. Доказательством
этому служили, по его мнению, «сотни» возникающих у нас новых журналов, «десятки» воскресных школ. «Сотни новых журналов, да где же это автор насчитал сотни? — восклицает Чернышевский. — А нужны были бы действительно сотни, и хочет ли автор знать, почему не основываются сотни новых журналов, как было бы нужно? Потому, что по нашим цензурным условиям невозможно существовать сколько-нибудь живому
периодическому изданию нигде, кроме нескольких больших городов. Каждому богатому торговому городу было бы нужно несколько хотя маленьких газет; в каждой губернии нужно было бы издаваться нескольким местным листкам. Их нет потому, что им нельзя быть... Десятки воскресных школ... Вот это не преувеличено, не то, что сотни новых журналов: воскресные школы в империи, имеющей более 60 миллионов населения, действительно считаются только десятками. А их нужны были бы десятки тысяч, и скоро могли бы точно устроиться десятки тысяч, и теперь же существовать; по крайней мере, много тысяч. Отчего же их только десятки? Оттого, что они подозреваются,

стесняются, пеленаются, так что у самых преданных делу преподавания в них людей отбивается охота преподавать».

Сославшись на существование «сотен» новых журналов и «десятков» воскресных школ, как на кажущиеся признаки желания общества учиться, автор разобранной Черны-шевским статьи поспешил прибавить, что признаки эти обманчивы. «Послушаешь крики на улицах, — меланхолически повествовал он, — скажут, что вот там-то случилось то-то, и поневоле повесишь голову и разочаруешься»... «Позвольте, г. автор статьи, — возражает Чернышевский, — какие крики слышите вы на улицах? Крики городовых и квартальных, — эти крики и мы слышим. Про них ли вы говорите? Скажут, что вот там-то случилось то-то... — что же такое, например? Там случилось воровство, здесь превышена власть, там сделано притеснение слабому, здесь оказано потворство сильному, — об этом беспрестанно творят. От этих криков, слышных всем, и от этих ежедневных разговоров в самом деле поневоле повесишь голову и разочаруешься».

Обвинитель студентов нападал на их мнимую нетерпимость к чужим мнениям, на то, что они в своих протестах прибегают к свисткам,

моченым яблокам и тому подобным «уличным орудиям». Чернышевский возражает ему, что «свистки и моченые яблоки употребляются не как уличные орудия: уличными орудиями служат штыки, приклады, палаши». Он предлагает своему противнику вспомнить, «студентами ли употреблялись эти уличные орудия против кого-нибудь, или употреблялись они против студентов... и была ли нужда употреблять их против студентов».

Понятно, какое впечатление должны были производить подобные статьи Чернышевского на русское студенчество. Когда впоследствии студенческие беспорядки повторились в конце шестидесятых годов, то статейка «Научились ли?» читалась на сходках студентов, как лучшая защита их требований. Понятно также, как должны были встречать подобные вызывающие статьи гг. «охранители». «Опасное» влияние великого писателя на учащуюся молодежь все более и более

становилось для них несомненным. Мы уже знаем, как было устранено это влияние.

Стоя на точке зрения утопического социализма, Чернышевский находил, что те планы, к осуществлению которых стремились его западные единомышленники, могли осуществиться при самых различных политических формах. Так говорила теория. И пока Чернышевский не уходил из ее области, он не обинуясь высказывал этот свой взгляд. В начале его литературной деятельности наша общественная жизнь как будто обещала дать некоторое, хотя бы только косвенное, подтверждение справедливости этого взгляда: у наших передовых людей явилась тогда надежда на то, что правительство возьмет на себя почин беспристрастного решения крестьянского вопроса. Это была несбыточная надежда, от которой Чернышевский отказался едва ли не ранее, чем кто-либо другой. И если в теории он и впоследствии неясно видел связь экономики с политикой, то в своей практической деятельности, — говоря это, мы имеем в виду его деятельность, как *публициста,* — он выступал непримиримым врагом нашего старого порядка, хотя его своеобразная ирония продолжала вводить многих либеральных читателей в заблуждение на этот счет. На деле, — если не в теории, — он стал человеком непримиримой политической борьбы, и жажда борьбы сказывается едва ли не в каждой строке каждой из его статей, относящихся к 1861 г. и, в особенности, к роковому для него 1862 году.

ОТДЕЛ ВТОРОЙ

Политико-экономические взгляды Н. Г. Чернышевского

———

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Общие замечания. — Гипотетический метод

В исторических взглядах нашего автора случайности отводится вообще очень широкое место. Это мы видели в одном из предыдущих отделов.

Теперь мы скажем, что даже современный нам экономический строй представлялся Чернышевскому продуктом исторических случайностей. «По истории оказалось, — го-ворит он в цитированной уже рецензии на книгу Рошера, — что нынешние экономические формы возникли под влиянием отношении, противоречащих требованиям экономической науки, не совместимых ни с успехами труда, ни с расчетливостью потребления, словом сказать, представляют собою результат причин, враждебных и труду, и благосостоянию. Например, в Западной Европе экономический быт основался на завоевании, на конфискации и монополии». Никто не скажет, разумеется, что завоевания, конфискации, монополии не имели места в Западной Европе. Но ввиду решающего значения, приписываемого Чернышевским завоеванию, нам невольно припоминаются слова Энгельса: «Даже в том случае, если мы исключим всякую возможность грабежа, насилия и обмана, если мы допустим, что всякая частная собственность первоначально основывалась на личном труде ее обладателя и затем во все дальнейшее время только равные стоимости обменивались на равные, то тем не менее, с дальнейшим развитием производства и обмена, мы необходимо придем к современному капиталистиче-

скому способу производства, к монополизированию средств производства и существования в руках одного малочисленного класса, к пригнетению другого, составляющего огромнейшее большинство, класса до положения лишенных всякой собственности пролетариев, к периодической смене производительной горячки и торговых кризисов и ко всей современной анархии в производстве. Относя различные исторические формы экономического быта на счет завоевания и считая их противоречащими «требованиям экономической науки», наш автор естественно не мог придавать большой цены их изучению. Знакомясь с так называемым историческим методом в экономической науке лишь по трудам таких его представителей, как Вильгельм Рошер и проч. Zitaten-Professoren, он относился к нему очень пренебрежительно и считал его плодом реакции против освободительных стремлений рабочего класса [1]).

Отрицая исторический метод, наш автор пользовался в своих экономических иссле-дованиях другим методом, который он называл *гипотетическим.* Мы характеризуем его собственными словами Чернышевского. «Этот метод состоит в том, — говорит он в своих замечаниях на первую книгу «Политической экономии» Милля, — что, когда нам нужно определить характер известного элемента, мы должны на время отлагать в сторону запутанные задачи и приискивать такие задачи, в которых интересующий нас элемент обнаруживал бы свой характер самым

[1]) Опираясь на историю, Рошер и его единомышленники были принципиальными противниками «скачков»; они держались того мнения, что эволюция не оставляет для них места. Это взгляд столь же ошибочный, как и взгляд некоторых революционеров, восстающих, — теперь уже, пожалуй, вернее будет сказать некогда восставaвших, — против эволюции. Обе эти крайности совершенно исключают правильное понимание истории. На самом деле *«скачки»* составляют необходимый момент *эволюции.* Медленные изменения подготовляют «скачки», скачки расчищают путь для дальнейших медленных изменений. Принятый в особенности германскими учеными исторический метод совершенно произвольно ограничивал свое поле зрения одним из моментов эволюции: моментом медленных постепенных изменений.
О представителях *такого* исторического метода Маркс с полным правом писал еще в 1844 году: «Они оправдывают низости, совершаемые сегодня, низостями вчерашнего дня; объявляют мятежом всякий протест крепостного против кнута, если только этот кнут исторический; при всяком куске, вырезываемом из народного сердца, эти верноподданные Шейлоки ссылаются на исторический вексель» и пр. Однако сам Маркс, в таких сильных и метких выражениях разоблачавший сервилизм официальных представителей «исторического метода», не только не игнорировал исторической эволюции, но первый обнаружил ее наиболее глубокие пружины.

несомненным образом, приискивать задачи самого простейшего свойства. Тогда, узнав характер занимающего нас элемента, мы можем уже удобно распознать ту роль, какую играет он и в запутанной задаче, отложенной нами на время. Например, вместо многосложной задачи: были ли войны с Францией в конце прошлого и начале нынешнего века полезны для Англии, берется простейший вопрос: может ли война быть полезна не для какой-нибудь шайки, а для многочисленной нации? Теперь, как же решить этот вопрос? Дело идет о выгоде, то есть о количестве благосостояния или богатств, об уменьшении или об увеличении его, то есть о величинах, которые измеряются цифрами. Откуда же возьмем мы цифры? Никакой исторический факт не дает нам этих цифр в том виде, какой нам нужен, то есть в простейшем виде, так, чтобы они зависели единственно от определяемого нами элемента, от

войны... Итак, из области исторических событий мы должны перенестись в область отвлеченного мышления, которое вместо статистических данных, представляемых историею, действует над отвлеченными цифрами, значение которых условно и которые назначаются просто по удобству. Например отвлеченное мышление поступает так. Предположим, что общество имеет 5.000 человек населения, в том числе 1.000 взрослых мужчин, трудом которых содержится все общество. Предположим, что 200 из них пошли на войну. Спрашивается, каково экономическое отношение этой войны к обществу? Увеличила или уменьшила она благосостояние общества? Лишь только мы произвели такое простейшее построение вопроса, решение становится столь просто и бесспорно, что может быть очень легко отыскано каждым и не может быть опровергнуто никем и ничем... По термину «предположение», «гипотеза», самый метод называется гипотетическим» [1]). Такого метода Чернышевский держится во всех своих экономических исследованиях, которые принимают, благодаря этому, совершенно особенный, до крайности отвлеченный характер. Известно, что главное экономическое сочинение нашего автора представляет собою частью перевод, частью изложение «Политической экономии» Милля, сопровождаемое очень обширными замечаниями и самостоятельными дополнениями. Читая это сочинение, интересно следить за тем, как принятый автором метод исследования постоянно увлекает его из области действительных, существующих экономических отношений в область отвлеченного мышления. В том, что касается существующих отношений, Чернышевский редко оспаривает Милля. Он большею частью

1) Сочинения, т. VII, стр. 56—57.

довольствуется его анализом, который, как известно, оставляет желать очень многого по своей неясности и непоследовательности. Он не расходится с Миллем даже в таких существенных вопросах, как вопросы о стоимости, о цене, о деньгах, о законе рабочей платы и т. п. Милль совершенно прав в том, что касается существующего, говорит обыкновенно Чернышевский, но посмотрим, так ли должно быть, того

ли требует здравая экономическая теория? «Предположим» и т. д. — следует обыкновенно блестящая критика существующих отношений, критика, опирающаяся, однако, исключительно только на совершенно отвлеченные соображения и предположения. Недостатки метода кидаются, таким образом, в глаза, и его, конечно, не одобрит ни один из современных научных противников капитализма, так как противники эти опираются теперь не на требования отвлеченной «теории», а на те внутренние противоречия существующего ныне строя, которые в своем дальнейшем развитии необходимо должны повести к его устранению.

Современная социалистическая литература чуждается утопии. Иногда приходится слышать, что в этом заключается важный недостаток ее. Но это не так. Утопии имели смысл лишь до тех пор, пока социалисты стояли на идеалистической точке зрения, пока они считали понятия и чувства людей главным источником существующих обществен-
ных отношений. Тогда подробно разработанный и привлекательно раскрашенный план «нормального» общественного устройства, способный убедить людей в выгодах предлагаемой им реформы и подействовать на их воображение, казался необходимым средством социалистической пропаганды. Теперь, когда социалисты знают, что «идеальное» есть отражение в человеческих головах «материального», они не верят более в магическую силу утопий. Люди будут поступать не так, как приглашают их поступать утопии, а так, как заставит их поступать суровая экономическая необходимость. Чтобы принимать полезное и деятельное участие в ходе общественно-исторического развития, надо не соблазнять людей блестящими картинами «справедливых» общественных отношений, а понимать и разъяснять характер современных нам материальных условий человеческого существования. Если мы изучили эти условия, если мы умеем предсказать дальнейший ход их развития, то мы можем также предвидеть, в какую сторону будут изменяться понятия и чувства наших современников. А сообразно с этим мы можем направить и нашу практическую деятельность. Сила нашего влияния на дальнейший ход событий будет прямо пропорциональна ясности

нашего понимания сущности современных нам экономических отношений. Наша

«программа» должна быть особого рода философией, той философией, которая в понятиях и практических требованиях выражает предстоящий ход общественно-экономиче-ского движения. Социалисты должны быть акушерами нового общества, элементы которого развиваются внутри существующего буржуазного порядка. Но акушер представля-ет собою прямую противоположность утописту. Он не рассуждает о том, как должно было бы рождаться человечество. Он наблюдает то, что есть в действительности; он изучает механизм родов и, вполне подчиняясь его законам, пользуется ими для своей практической цели.

Таким образом социализм из *утопического* делается *критическим.* Социалистическое отрицание буржуазного общества становится в теснейшую связь с пониманием этого общества, т. е. с выяснением его исторического значения. Сообразно с этим классическая буржуазная экономия (т. е. та экономия, которая одна заслуживает названия науки) получает совсем другой смысл в глазах социалистов. Она представляется им тем, чем она была в действительности, т. е. не сплетением лжи и софизмов, сбивших с толку человечество, а учением о законах, управляющих экономической жизнью общества на известной ступени его развития. Теории буржуазных экономистов служат социалистам необходимым пособием при изучении того общественного порядка, который подготовляет условия социалистической революции. Не довольствуясь утопиями, Маркс начинает в сороковых годах свою критическую работу внимательным изучением буржуазной экономии. И с этих пор в истории экономической науки начинается новая эпоха. Диалектическая критика Маркса устранила односторонние, метафизические взгляды буржуазных экономистов, пополнила пробелы и исправила ошибки их теорий и поставила политическую экономию на совершенно новое основание. Быстрые теоретические успехи социализма были в то же время теоретическими успехами экономической науки. Теперь политическая экономия стала наукой об экономическом развитии

общества. Что касается буржуазного порядка, то она изучает его историю, его законы и показывает, как постоянное и неотвратимое их действие подрывает этот порядок и подготовляет материальные условия для нового общественного устройства. Иначе сказать, буржуазная политическая экономия изучала буржуазный порядок в его готовом законченном виде, который она считала неизменным. Современная нам политическая экономия изучает буржуазный порядок с точки зрения развития, с точки зрения его возникновения и уничтожения.

70

Чернышевский не оставил ни одного описания социалистического общества; только в одном из снов Веры Павловны, в романе «Что делать?», перед нами проходят роскошные картины будущей общественной жизни. Наивный г. Иванов-Разумник сделал из этого обстоятельства тот архикомический вывод, что Чернышевский только в названном романе, да и то из презрения к читающей публике, перешел на точку зрения утопического социализма. Оспаривать этот вывод здесь бесполезно. Мы уже знаем, что, если Чернышевский готов был признать своим «собственным» планом план то одного, то другого выдающегося социалиста-утописта, то это происходило единственно потому, что все планы этого рода казались ему тождественными в своих общих чертах. Нам известно также, что он смотрел на социальную науку вообще и на политическую экономию в частности глазами социалиста-утописта. А это значит, что для него, как и для всех других социалистов-утопистов, главная задача науки заключалась не в изучении объективного хода развития *нынешнего* общества, а в исследовании того, каким должно быть будущее общество. Он прямо высказывает это в заключительных строках своих «Очерков из политической экономии». — «Не успела войти в наши очерки та часть теории, которая, по нашему мнению, наиболее важна в науке. Критикою господствующих понятий нам удавалось приводить читателя к общим принципам устройства, наиболее выгодного для людей. Но мы не успели изложить, в каких главных подробностях должны некогда осуществиться эти принципы и какими переходными ступенями могут уже теперь люди приближаться к наилучшему

устройству своих материальных отношений. Нам пришлось в этом отношении довольствоваться неопределенными очерками, представленными у Милля в главе о вероятной будущности рабочих сословий. Мысли его верны, но слишком бледны. И мы очень жалеем, что не успели дополнить их очерками, более точными. Но что же делать!» [1]) Анализ экономиче-

[1]) Сочинения *Н. Чернышевского,* т. VII. стр. 616. В другом месте того же тома Чернышевский определяет задачу «экономической теории» так: разложив продукт на доли, соответствующие разным «элементам» производства, она должна искать, какое сочетание этих элементов и долей дает наивыгоднейший практический результат. В чем тут состоит задача, понятно каждому: надобно отыскать, при каком сочетании элементов производства данное количество производительных сил дает наибольший продукт. Когда теория найдет такую форму сочетания, то само собою будет разуметься, что безусловного совершенства в осуществлении этой формы достичь невозможно человеку не только теперь, но и решительно никогда; таково уже общее свойство всех требований всякой науки; ни одно из них не может

ских явлений в современном обществе, изложение законов буржуазного хозяйства имели для Чернышевского второстепенное значение, обусловленное преимущественно полемическими целями: «критика господствующих понятий» должна была «приводить читателя к общим принципам устройства, наиболее выгодного для людей», оттенять эти принципы. Сообразно с этим, Чернышевский равнодушно относится к тем противоречиям, в которые впадает Милль при изложении важнейших политико-экономических теорий. Трудно представить себе, чтобы он при своем ясном уме мог не заметить этих противоречий, обратив на них некоторое внимание. Но ему до них было мало дела. Его досадовало не то, что Милль плохо понимает современную экономическую жизнь цивилизованных обществ, а то, что он слишком много занимается этой жизнью и слишком мало думает о требованиях «здравой теории», т. е. о принципах будущего общественного устройства. Чернышевский сравнивает Милля с человеком, который, решившись покинуть Петербург, не знает, куда ему следует направиться, в Берлин или в Казань, и, даже признав, наконец, что в Берлин ехать было бы разумнее, все-таки сворачивает на Казань. Это очень остроумное сравнение. Но оно характеризует только практическое отношение Милля к великому спору между пролетариатом и буржуазией. Теоретических ошибок английского экономиста оно вовсе не указывает, да и не имеет их в виду. Несмотря

на всю неясность своих экономических понятий, Милль все-таки кажется Чернышевскому «достойным учеником Рикардо».

Под влиянием современного ему рабочего движения, Милль уже не смотрел на буржуазное общество, как на вечное и неизменное. Он допускал, что буржуазный общественный порядок может быть, пожалуй, заменен другим, более соответствующим интересам массы. О будущности «рабочих сословий» он высказывал даже мысли, которые казались верными социалисту Чернышевскому. Поэтому наш автор и выбрал его книгу для перевода на русский язык. Но «верные» мысли Милля были, во-первых, слишком «бледны», а во-вторых, он высказывал их только мимоходом, занимаясь почти исключительно «условиями быта и прогресса, принадлежащими обществу, основанному на частной собственности» (слова Милля). Поэтому Чернышевский решил снабдить перевод

быть осуществлено в безусловном совершенстве, потому что безусловного совершенства вообще никогда ни в чем не бывало и не может быть» и т. д. Там же, стр. 364.

его книги дополнениями и примечаниями, излагающими более правильные принципы общежития. Таково было происхождение главного экономического труда нашего автора.

Типическим образчиком отношения Чернышевского к спорным теориям буржуазных экономистов может служить следующее замечание его о государственных займах: «Разумеется, бывают разные роды займа, как бывают разные роды налога, и некоторые из них более обременительны для нации, чем другие. Но место не дозволяет нам здесь вдаваться в эти подробности, которые, впрочем, теряют значительную часть своей важности для теоретического исследования, если мы твердо убедимся в общей невыгодности самого принципа заменять налог займами. Теория говорит, что займов не следует заключать; после этого, какую степень серьезности могли бы иметь рассуждения о том, в каких обстоятельствах и в каком размере можно заключать займы?» [1]). Рассуждая таким образом, можно было равнодушно проходить мимо важнейших вопросов буржуазного хозяйства. Какую степень серьезности могут иметь наши рассуждения о стоимости, если

мы твердо убедимся в общей несостоятельности современного обмена? Какую степень серьезности могут иметь споры о законе заработной платы, если теория говорит, что рабочая сила не должна быть продаваема на рынке? Читатель уже знает, что именно так рассуждали социалисты-утописты, и что такое отношение их к теориям буржуазной экономии было одной из главных ошибок утопического социализма, препятствовавших дальнейшему развитию общественной науки.

В 1866 году в английском журнале «Common Wealth» началось печатание ряда статей рабочего Георга Эккариуса, который задался целью подробно разобрать экономические учения Милля. Статьи Эккариуса появились в виде отдельной брошюры на немецком языке под заглавием: «Eines Arbeiters Widerlegung der national-ökonomischen An-sichten John Stuart Mill's». Эккариус был деятельным членом Международного Общества Рабочих и долгое время находился под сильным влиянием Маркса [2]). По его отношению к Миллю можно судить о том, как относятся к этому писателю современные нам социалисты, т. е. после-

[1]) Соч., т. VII, стр. 585. *Примечание к настоящему изданию* (изд. «Шиповник»). Подобно этому, он нередко рассуждал, как мы видели, и в своих политических обозрениях; теория говорит, что нынешний порядок вообще никуда не годится. После этого какой смысл имеют рассуждения и споры о подробностях этого порядка?

[2]) Впоследствии он разошелся с ним, как это видно, между прочим, из переписки Маркса и Энгельса с Зорге.

дователи Маркса. Эккариус нападал на Милля со стороны совершенно противоположной той, с которой нападал на него Чернышевский. Его возмущало не то, что Милль слишком мало говорил о будущем обществе, а то, что английский экономист слишком плохо понимал законы современного буржуазного порядка. Главный недостаток книги Милля заключается, по мнению Эккариуса, в том, что автор ее не сумел стать на историческую точку зрения, с которой все категории буржуазной экономии представляются преходящими, историческими категориями. Эккариус старался осветить «реакционные стремления Миллевской экономии с рабочей точки зрения». Он мог относиться к Миллю *только* полемически. Излагать

свои собственные взгляды в виде дополнения к теориям Милля было бы для Эккариуса невозможно и в логическом и в психологическом смысле: он слишком далеко, слишком резко с ним расходился. Откуда же эта разница в отношении к Миллю двух социалистов, писавших о нем почти в одно и то же время? Эти социалисты-современники по взглядам своим принадлежали к различным периодам истории социализма. Эккариус был марксист; Чернышевский держался взглядов домарксовой, утопической эпохи.

Предпринятая Чернышевским «критика господствующих понятий» по своим приемам и по своим результатам совершенно сходится с той критикой общественных «учреждений», которой так деятельно занимался, например, Фурье. Но что такое общественные учреждения? Это юридическая надстройка, возвышающаяся на данном экономическом базисе, характер которого определяется степенью развития общественных производительных сил. При данной степени развития производительных сил люди, занимающиеся производством, необходимо должны становиться в известные, определенные взаимные отношения. А этими взаимными отношениями производителей в процессе производства определяются, как мы знаем, все их общественные отношения, т. е., следовательно, и все общественные учреждения. Критиковать данное учреждение, значит стараться понять, какая степень развития производительных сил вызвала его к жизни, какая степень его упрочила и какая - приведет к его падению. Так смотрят на задачи своей критики современные социалисты. Даже в агитационных речах главными доводами против того или другого учреждения является у них указание его несоответствия с нынешними экономическими нуждами человечества. Но современные социалисты смотрят так потому, что теперь уже выяснена зависимость общественных учреждений от хода экономического развития. Для социалистов утопического периода зависимость эта была

совсем еще неясной, а чаще всего они вовсе ее не подозревали. Поэтому они смотрели на «учреждения», как на нечто, вполне зависящее от воли людей, определенное более или менее разумным

выбором со стороны членов данного общества. Поэтому же критика общественных учреждений сводилась для них к выяснению тех невыгодных сторон данных учреждений, которые в действительности являются только на известных ступенях экономического развития, а им казались совершенно безусловными. В утопической критике отсутствует самый важный, т. е., *исторический,* элемент. Совершенно то же видим мы и у Н. Г. Чернышевского.

В первых двух главах второй книги своей «Политической экономи. Милль вдается в пространные рассуждения о частной собственности. Изложив взгляды английского экономиста, Чернышевский, по своему обыкновению, дополняет их собственными замечаниями. Но у него нет ни слова об историческом значении частной собственности. Он старается только показать, что частная собственность и связанный с нею принцип наследственности невыгодны, потому что ведут к неравенству имуществ. По его справедливому замечанию, частная собственность действует, как разрушительная революционная сила, обогащая немногих счастливцев и ведя к материальному порабощению большинства. Но если частная собственность и принцип наследственности действуют так всегда, «неотступно, каждый день и каждый час»; если невыгоды их так осязательны, то спрашивается, каким же образом возникли они в истории? На это Чернышевский отвечает так же, как отвечали все социалисты-утописты: по недостатку у людей здравого экономического расчета.

Недостатком расчета или влиянием злой воли, — насилия, завоеваний, — объясняет наш автор все вообще современное, несправедливое распределение продуктов. «Рутинные политико-экономы выставляют все части экономического быта одинаково независящими в своих чертах от соображений человека о лучшем устройстве человеческого быта. На самом же деле принципы только одной части экономического быта, именно производство, налагаются на человека с необходимостью физических законов, остальные же элементы экономического быта устраиваются уже самим человеком и вполне подлежат его власти» [1]). Если люди плохо распределяли до сих пор продукты своего производства, то это происходило потому, что они не знали истинных экономических принципов,

[1]) Там же, стр. 617; ср. стр. 307.

или сами у себя отнимали фактическую возможность соображаться с ними. «Разве политико-экономическими принципами был устроен общественный быт при завоевании Рим-ской империи варварами, или во времена феодализма, или даже в позднейшие, хотя бы в наши времена? — спрашивает Чернышевский. — Разве он еще не подчинен господству влияний, гораздо сильнейших, чем здравый экономический расчет? Разве из здравого экономического расчета велись войны при Наполеоне I, — войны, развязкой которых решен был экономический быт Европы? Разве по экономическому расчету завладела и хочет продолжать владеть Алжириею Франция? Разве по здравому экономическому расчету упрочились и сохраняются поземельные отношения Англии?» [1]). Материальная, объективная возможность нормального устройства человеческих отношений существует с давних времен, а может быть существовала даже с самого начала истории. «В обществах, не то что цивилизованных, — говорит Чернышевский, — а даже во всех тех, которые успели выйти хотя из грубейшего дикарства, стали оседлыми, земледельческими, — не только в нынешней Англии, или в Германии, а даже в Англии IX века, в Германии X века, в нынешней Персии, в нынешней Малой Азии труд по своей внутренней успешности уже мог бы содержать общество в благосостоянии. А человеческая натура опять-таки невиновата, если дело выходит плохо, когда человек действует безрасчетно, наудачу: тут виноват только недостаток расчета» [2]). Таким образом вся экономическая история человечества объясняется, по мнению Чернышевского, как и всех социалистов-утопистов, простыми ошибками в «расчете».

Такой взгляд вел за собою то, что Чернышевский, как и Милль, считал возможным рассматривать законы производства совершенно независимо от распределения и от обмена. Изучать законы производства, значило — на языке Милля и Чернышевского — рассматривать его независимо от его общественных условий, т. е. независимо от тех взаимных отношений, в которых стоят производители продуктов. Поэтому весь вопрос о производстве

сводится у них к вопросу об отношении человека к силам природы, т. е. к вопросу о более или менее целесообразном применении сил природы к нуждам человека, да еще к вопросу о некоторых технологических условиях успешности труда. А так как все важнейшие категории политической экономии — «капитал», «труд» и т. д. — выражают собою лишь взаимные отношения

[1]) Там же, стр. 309 — 310.
[2]) Там же, стр. 333.

производителей, — и притом не *в мастерской, а в общественном процессе производ-ства,* — то рассматривать производство независимо от его общественных условий значит добровольно затруднять себе путь к пониманию названных категорий. Ниже мы увидим это яснее. Мы увидим также, что по отношению ко многим категориям политической экономии наш автор разделял взгляды буржуазных экономистов [1]).

Так как законы распределения, в противоположность законам производства, вполне зависят от воли людей, то в особенности в учении о распределении экономисты должны были бы, по мнению Чернышевского, излагать требования здравой теории. Школа Смита поступала иначе. Она довольствовалась исследованием существующих ныне законов распределения. Это и мешало успехам экономической науки. Благодаря этому теория распределения выходит у школы Смита «не результатом строгого научного анализа, а просто изложением довольно безобразной рутины, материальным основанием которой служит факт завоевания, доныне владычествующей своими последствиями над экономическою сферою того положения вещей, нравственною поддержкою которому служит невежество массы» [2]); чтобы стать научной теорией, теория распределения должна была бы превратиться в учение о распределении продуктов сообразно требованиям разума и справедливости.

Метод исследования явлений вообще подсказывается тою точкой зрения, с которой смотрит на них исследователь. Маркс смотрел на общественные явления с точки зрения их внутреннего развития, с точки зрения присущей им диалектики. Поэтому он и держался

конкретного, *диалектического* метода. Социалисты-утописты смотрели на общественную жизнь с отвлеченной точки зрения «здравой теории», т. е. с точки зрения того общественного устройства, которое казалось им нормальным. Поэтому они в своих исследованиях придерживались *отвлеченного* метода сравнения действительности с идеалом. Именно таков тот метод, который называется у Чернышевского *гипотетическим.* Читатель помнит, вероятно, как характеризовал свой метод Н. Г. Чернышевский. Чтобы правильно судить об экономических явлениях, мы должны, по его словам, переноситься «из области исторических событий в область отвлеченного мышления, которое вместо статистических данных, пред-

[1]) *Примечание к настоящему изданию* (изд. «Шиповник»). Ср. главу «Distributionsverhältnisse und Produktionsverhältnisse» в III томе «Капитала» (немецк. подлинника часть II, стр. 413 — 421); по-русски: «Условия распределения и условия производства), стр. 727 и следующие русского перевода (Спб. 1896).

[2]) Соч. *Чернышевского,* стр. 29.

ставляемых историей, действует над отвлеченными цифрами, значение которых условно, и которые назначаются просто по удобству» [1]). Таким образом метод Чернышевского сводится к отвлечению от всех конкретных условий данного явления. Но таким образом не может быть изучено никакое явление. Чернышевский полагает, что он, посредством своего метода, окончательно решил вопрос о том, «были ли войны с Франциею в конце прошлого и в начале нынешнего века полезны для Англии». С помощью очень несложных соображений, показывающих, что война всегда отвлекает производительные силы от полезного употребления, он решает, что «война вредна для благосостояния общества». Иначе и нельзя ответить на вопрос о полезности войны с отвлеченной точки зрения. Но историческая действительность вносит в это абстрактное решение очень существенные поправки. Она показывает нам, во-первых, что явление, вредное для всего общества, в его целом, может быть очень полезно для господствующего класса этого общества. А так как международная политика цивилизованных обществ всегда зависела от их господствующих классов, то разгадки воинственности, проявленной Англией в конце прошлого и в начале нынешнего столетия, нужно

искать в тогдашних интересах английской аристократии и английской буржуазии, а вовсе не в плохой способности англичан к экономическому расчету. Во-вторых, еще Джемс Стюарт (James Steuart) в своем замечательном сочннении «Inquiry into the Principles of political Economy», появившемся за десять лет до выхода книги Смита «О богатстве народов», справедливо замечает, что торговая страна может вести продолжительные войны и одерживать блестящие победы, не проливая ни одной капли крови своих собственных граждан. Все дело сводится в таком случае к более или менее значительной затрате денежных средств, с помощью которых торговая нация заставляет воевать за себя своих союзников или наемников. Выгодны ли для нее подобные затраты? Может быть — нет, может быть — да; все зависит от фактического хода и исхода войны, а не абстрактных соображений о том, что затраченные на войну деньги могли бы быть израсходованы с большей пользой для человечества. Если бы мы хотели спорить с Чернышевским, то мы сказали бы его собственными словами, что здесь, как и везде, все решается обстоятельствами времени и места. Но нам нет надобности спорить с ним, потому что теперь едва ли кому придет в голову отстаивать его метод. Теперь уже всякий согласится, что

Чернышевский ошибался; спор возможен только относительно того, почему он ошибался, и почему ошибался именно в эту, а не в другую сторону. А это вполне удовлетворительно объясняется общей точкой зрения социалистов-утопистов на общественную жизнь человечества.

Мы уже видели, что в своей литературной пропаганде социалисты-утописты ставили себе совершенно определенную, хотя и очень одностороннюю задачу: **им** нужно было прежде всего, как выражается Чернышевский, «критикою господствующих понятий приводить читателя к общим принципам устройства, наиболее выгодного для людей». А это всего удобнее было делать с помощью отвлеченных расчетов, примерных математических выкладок. Еще Фурье очень любил такие выкладки, к которым сводится на деле весь гипотетический метод Чернышевского. Трудно открыть что-либо с помощью такого метода, но очень удобно, опираясь на него,

разъяснять **истины,** открытые другим, и в сущности вовсе не «гипотетическим» путем, в особенности, когда эти истины имеют отвлеченный, математический характер, когда, — говоря словами нашего автора, — весь вопрос заключается только в том, «увеличилась или уменьшилась известная пропорция от перемены в цифре того элемента, характер которого мы хотим узнать», или когда, — как выражается он же, — «больше будет, меньше будет, вот все, что нам нужно узнать, чему мы придаем важность». Социалистам-утопистам именно только и нужно было показать, что *«больше будет»* в рекомендуемом тем или другим из них идеальном обществе, а *«меньше будет»* при современном порядке. Для достижения этой цели нельзя было придумать приема доказательства более удобного, чем тот, к которому так охотно прибегал Чернышевский. Гипотетический метод — в том виде, как он понимал его — не имеет ровно никакого значения, как метод исследования, но на известной ступени развития социализма он был самым лучшим методом *разъяснения* (все равно, себе или другим) социалистических учений. Поспорить с ним в убедительности могли только свойственные Фурье сатирические приемы.

Чернышевский думал, что гипотетического метода держались самые знаменитые экономисты. Он приписывает его Давиду Рикардо. Рикардо действительно любил прибегать к «гипотезам». Но у него эти «гипотезы» были именно только приемом разъяснения *понятий,* а не методом изучения *явлений.* Для Рикардо критерием истинности той или другой теории служила окружавшая его буржуазная действительность. Для Чернышевского и его учителей требования отвлеченной теории ре-

шали все вопросы. Рикардо никогда не покидал реальной почвы. Чернышевский и все вообще социалисты-утописты не считали нужным держаться ее, по крайней мере, в «теории». Лорд Брум говорил о Рикардо, что он как будто смотрит на землю с другой планеты. О социалистах-утопистах можно сказать, что земля уходила из их поля зрения, уступая место другим, более привлекательным планетам.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Стоимость

I.

В буржуазном обществе разделение труда доведено, как известно, до очень высокой степени. Разделением труда гордятся буржуазные экономисты. И несмотря на это, роль и характер разделения труда в современном обществе оставались плохо выясненными вплоть до появления главных трудов Маркса. Дело в том, что буржуазные экономисты в большинстве случаев подходили к вопросу о разделении труда совсем не с той стороны, на которую нужно было прежде всего обратить внимание. На разделение труда можно смотреть с различных точек зрения. «Если мы будем иметь в виду только самый труд, — говорит Маркс, — то мы можем назвать разделение общественного производства на его крупные роды, каковы земледелие, индустрия и пр. — разделением труда вообще; разделение этих родов производства на виды и разновидности — разделением труда в частности, а разделение труда внутри мастерской — разделением труда в отдельности» [1]). При изучении того, что они называли законами производства, буржуазные экономисты имели в виду преимущественно только разделение труда внутри мастерской, т. е. разделение труда «в отдельности». Но при буржуазном экономическом порядке разделение труда «в отдельности» не похоже на разделение труда «вообще» и на разделение труда «в частности». Другими словами, при этом порядке разделение труда внутри мастерской имеет совсем другой характер и другое экономическое значение, чем общественное разделение труда.

При общественном разделении труда каждый производитель, занимаясь изготовлени-ем одного какого-нибудь продукта, производит не

[1]) См. «Капитал», стр. 306 русского перевода (изд. 1892 г.).

те предметы, которые нужны лично ему для удовлетворения его собственных потребностей, а те, которые нужны для других производителей, одновременно с ним занимающихся выделкой других

предметов [1]). В этом заключается взаимная зависимость производителей. Но, с другой стороны, при буржуазном порядке вещей производители совершенно независимы один от другого. Средства производства составляют частную собственность производителей, точно так же как и изготовляемые с их помощью продукты. При таком положении дел *обмен* является единственной общественной связью между производителями. Только вывозя свой продукт на рынок и обменивая его на другие, производитель получает возможность удовлетворять своим собственным потребностям. Таким образом продукты буржуазных производителей становятся товарами. Товары обмениваются один на другой в известной пропорции: за данное количество товара *А* можно получить такое-то количество товара *Б,* товара *В,* товара *Д* и т. д. Каждого производителя естественно интересует прежде и больше всего вопрос о том, какое именно количество других товаров может он получить в обмен за свой собственный, иначе сказать, какова меновая стоимость его товара. А когда в обществе, основанном на товарном производстве, появляются ученые, занимающиеся исследованием законов экономической жизни этого общества, то вопрос о меновой стоимости получает огромное теоретическое значение, он становится одним из основных вопросов буржуазной политической экономии. Посмотрим же и мы, чем определяются меновые отношения товаров.

Иван трудится над производством мебели, Семен трудится над производством сукна. Они обмениваются своими продуктами. За стул Иван получает 1 аршин сукна. У нас является, следовательно, равенство: 1 стул = 1 аршину сукна. Что же показывает это равенство? В каком смысле и почему стул может равняться аршину сукна? Ясно, что в этом случае сравниваются между собою не физические свойства этих предметов, не потребительная стоимость стула с потребительною стоимостью сукна, а какие-то другие свойства, независимые от только что названных. Какие же именно? Стул есть продукт труда Ивана; сукно — продукт труда Семена. Если стул приравнивается к 1 или 2 аршинам сукна, то это значит, что труд, необходимый на производство стула, приравнивается к труду, необходимому на производство

[1]) При разделении труда внутри мастерской работники производят не отдельные предметы, а *отдельные* части предмета, выделкой которого занимается мастерская.

1-го или 2-х аршин сукна. Следовательно, отношение стула к сукну выражает собою лишь отношение труда Ивана к труду Семена. Выражая это в более общей форме, можно сказать, что меновые отношения товаров выражают собою взаимные отношения людей (их производительных деятельностей) в общественном процессе производства. Теперь далее: каким образом труд мебельщика может быть сравниваем с трудом суконщика? Ведь это совершенно различные виды производительной деятельности. Что общего между ними? Общее между ними то, что и тот и другой вид производительной деятельности, при всех своих различиях, сводится в сущности к одному и тому же: к известному расходу человеческой силы, к известной работе мускулов и нервов. Следовательно, равенство: 1 стул = 1 аршину сукна показывает, что на приготовление стула потрачено столько же человеческой силы, сколько — на приготовление аршина сукна. Итак, меновые отношения товаров выражают взаимные общественные отношения их производителей, или, — как говорит Маркс, — «меновая стоимость есть известный общественный способ выражения труда, употребленного на какую-нибудь вещь». А это, очевидно, означает, что труд есть единственный источник меновой стоимости, и продолжительность его служит ее мерилом. Но это становится очевидным только тогда, когда мы смотрим на вопрос о меновой стоимости с точки зрения общественных отношений производителей. Если же мы отвлечемся от взаимных отношений людей и станем искать ключа к пониманию меновой стоимости в свойствах обмениваемых вещей, то необходимо придем к самым нелепым выводам. Этим и объясняется то обстоятельство, что о меновой стоимости написано невероятнейшее количество всякого вздора: просто вздора, вздора педантического, вздора красноречивого, вздора наивного, вздора благонамеренного и даже вздора, окрашенного некоторою склонностью к потрясению основ, как мы это видим у Прудона. Впрочем, лучшим представителям науки в вопросе о меновой стоимости удалось выяснить, по крайней мере, количественную сторону дела. Рикардо решительнее и определеннее

всех других высказал ту мысль, что величина меновой стоимости предмета определяется количеством труда, нужного на его производство. Приближался к этой мысли и Адам Смит, но его сбило с толку распределение продуктов в современном обществе. Он думал, что в первобытном обществе (in early and rude state of society) меновая стоимость продуктов определялась единственно количеством труда, затраченного на их производство, а с тех пор, как явились капиталисты

и лендлорды, дело происходит иначе [1]). «Адам определяет стоимость товара заключающимся в нем рабочим временем, но относит действительное существование такого определения стоимости к доадамовским временам» [2]). Как бы там ни было, после Рикардо вопрос о величине меновой стоимости мог считаться хоть приблизительно решенным.

Нападок на учение Рикардо о стоимости было много, но серьезных возражений не сделал никто, да, разумеется, никто и не мог сделать.

Вот, например, против определения величины стоимости количеством труда возражали иногда, что в таком случае, чем менее ловкости имеет производитель, тем большую стоимость получает его товар, потому что тем более времени употребит он на его приготовление. Но это, разумеется, чистейшая нелепость. «Стоимостиобразовательным трудом считается только общественно-необходимое рабочее время. Общественно-необходимое рабочее время есть время, требующееся для создания какой-нибудь потребительной стоимости с помощью наличных общественных нормальных условий производства и среднею общественною степенью искусства и напряженности труда. Например, после введения парового ткацкого станка в Англии сделалась, может быть, достаточной половина того труда, какой был прежде нужен для превращения данного количества пряжи в ткань. Хотя английский ручной ткач употреблял для этого превращения то же количество рабочего времени, как и прежде, но продукт его собственного рабочего часа стал представлять теперь только *половину* общественного рабочего часа и упал потому в своей стоимости наполовину в сравнении с прежним» [3]).

Мы видим, что это недоразумение очень легко устранимо. Но определение стоимости трудом вело иногда к другим недоразумениям, разрешить которые несколько труднее. Некоторые писатели рассуждали так: стоимость товара определяется трудом, употребленным на его производство; рабочее время есть внутренняя мера стоимостей. Зачем же все товары измеряют свою стоимость в особом товаре, называемом *деньгами?* Почему они не обмениваются непосредственно один на другой по количеству затраченного на них рабочего времени? Не происходит ли это вследствие какой-нибудь ошибки, какого-нибудь злоупотребления? И если — да, то нельзя ли поправить эту ошибку, устра-

[1]) «Wealth of nations», B. I, ch. VI.
[2]) *Карл Маркс,* «Zur Kritik», S. 37. Ср. также «Теории прибавочной стоимости» *К. Маркса,* перевод Стрельского под редакцией Г. Плеханова, Спб., 1906, стр. 140 и след.
[3]) «Капитал», стр. 4 русского перевода.

нить это злоупотребление? При поверхностном взгляде на дело казалось, что — можно. Отсюда и выросли проекты «организации обмена», организации, которая должна была лишить деньги принадлежащей им теперь «привилегии». Но достаточно понять свойственные буржуазному порядку отношения производителей, чтобы видеть, до какой степени несостоятельны подобные проекты.

Возьмем хоть того же английского ручного ткача, о котором говорит Маркс в вышеприведенной выписке. Вследствие введения парового ткацкого станка продукт рабочего часа ткача стал представлять только половину общественного рабочего часа, а потому и упал в своей стоимости на половину. Каким же образом совершилось это приведение индивидуального труда ткача к норме общественно-необходимого рабочего времени? Было ли оно сознательным действием людей? Не было и не могло быть — при том отсутствии всякой планомерности в общественном производстве, которое свойственно буржуазным отношениям. В буржуазном обществе производители работают независимо один от другого, каждый из них трудится, как хочет, как может и как умеет, на свой собственный риск и по своему собственному усмотрению [1]). Поэтому и отношение труда каждого из них ко всему общественно-производительному механизму

определяется на рынке, по выражению Маркса, за спиною людей, действием слепой экономической силы, называемой конкуренцией. Но это еще не все. Каждый производитель старается, разумеется, создать такой продукт, который был бы кому-нибудь нужен, который представлял бы собою общественную потребительную стоимость. Если продукт его не удовлетворяет этому условию, то он не будет товаром, а труд, затраченный на него, не будет «стоимостиобразовательным» трудом. Но буржуазные производители не знают и не могут точно знать общественных потребностей ни с количественной, ни даже с качественной их стороны. Из этого и проистекают все те многочисленные опасности, которые угрожают продуктам буржуазных производителей на рынке. Может быть, продукт данного производителя «есть продукт нового рода труда, который намеревается удовлетворить какой-нибудь новой явившейся потребности или сам хочет вызвать новую потребность. Какое-нибудь занятие, может быть, вчера только бывшее одним из многих занятий одного и того же производителя товаров, сегодня отрывается от этого целого, обособляется

[1]) Читатель понимает, что мы говорим здесь не о наемных рабочих, а о самостоятельных производителях, то есть о хозяевах и предпринимателях. Об экономической «самостоятельности» рабочих речь будет ниже.

и именно потому посылает свой частичный продукт, как самостоятельный товар, на рынок. Обстоятельства могут быть зрелы или не зрелы для этого процесса обособления. Продукт удовлетворяет сегодня общественной потребности. Завтра, может быть, он вполне или частью вытеснится сходным родом продукта» [1]). Конечно, есть такие продукты, которые всегда нужны обществу и которые Маркс называет привилегированными членами общественного разделения труда. Производители *таких* товаров не могут ошибиться относительно *качественной* стороны общественных потребностей. Но знают ли они количественную сторону их? Известно ли всем им вообще, какое количество их продуктов нужно обществу? Известно ли каждому производителю в отдельности, какое количество приготовлено другими производителями, его соперниками? Нет, неизвестно, а потому только случайно может выйти, что они произведут как раз

столько продукта, сколько его было нужно; а часто, очень часто этого продукта окажется или больше, или меньше, чем надо. Положим, что его произвели больше, чем следует. Как отразится это обстоятельство на дальнейшей судьбе нашего продукта? Его цена упадет, и это покажет, что слишком большая доля всей суммы общественного рабочего времени потрачена в форме производства нашего продукта. «Действие будет то же самое, как если бы каждый производитель употребил на свой индивидуальный продукт рабочего времени более, чем это было необходимо по общественным условиям производства» [2]). Наказанные падением цены их продукта, производители постараются вперед лучше сообразоваться с размером удовлетворяемой ими общественной потребности; они должны будут позаботиться о том, чтобы на производство их продукта тратилась как раз та доля всей суммы общественного рабочего времени, какая должна тратиться на это при существующих обстоятельствах. Положим, что под влиянием горького опыта они произведут затем слишком мало продукта. Действие будет обратное только что указанному: цена продукта поднимется, а возвышение цены заставит их производить более, чем они произвели, или привлечет к их делу новых производителей. Таким образом колебание цен указывает на анархическое состояние буржуазного производства; но в то же время оно является регулятором его, и притом единственным и необходимым регулятором. Если бы цены не колебались и если бы каждый отдельный производитель мог, без дальних околичностей, обменивать свой продукт на другие, сообразно тому

[1]) «Капитал», стр. 53.
[2]) «Капитал», стр. 54

количеству времени, какое на него затратил, то существование буржуазного общества сделалось бы совершенно невозможным: оно тотчас же пало бы жертвой самой неверо-ятной путаницы в производстве.

Продукты могли бы непосредственно обмениваться на другие продукты по количеству времени, затраченного на их изготовление, только в том случае, если бы общественное производство было

организовано и велось по определенному плану. Тогда труд каждого отдельного производителя всегда имел бы общественный характер, потому что всегда создавал бы только нужные для общества продукты, только «общественные потребитель-ные стоимости». Тогда труд каждого из них непосредственно имел бы «стоимостиобразовательный» характер. Но дело в том, что тогда обмен товаров на рынке отошел бы в область предания. Как распределялись бы тогда продукты — это вопрос другой. Распределение их соответствовало бы «высоте исторического развития производителей». Но несомненно, что продукты не делались бы тогда товарами, в купле-продаже их на рынке не было бы ни смысла, ни надобности. Невозможно говорить об «организации обмена» в таком обществе, в котором обмена не существует. Ясно, стало быть, что все рассуждения об обмене продуктов без посредства денег так же неприменимы к подобному обществу, как несостоятельны они по отношению к современному буржуазному порядку.

Свойственные буржуазному порядку общественные отношения производителей возникли тогда, когда производительные силы были уже достаточно велики, чтобы сделать необходимым широкое разделение труда в обществе, но *еще* не были достаточно велики для того, чтобы сделать необходимым общественное присвоение производительных средств и соответствующую ему планомерную организацию производства. При буржуазном порядке труд планомерно организован только внутри мастерской, общественное же разделение труда является делом случая и слепой экономической необходимости. Буржуазные экономисты очень гордятся планомерной организацией труда в мастерской. Но, когда заходит речь об организации всего общественного труда, они с ужасом говорят, что такая организация превратила бы все общество в одну большую мастерскую.

Буржуазный порядок вещей содействует развитию производительных сил в небыва-лой прежде степени. Теперь они уже так развиты, что им не соответствуют более буржуазные отношения производителей. Теперь все более и более сказывается необходимость

общественного присвоения производительных средств, т. е. устранение самих буржуаз-

ных отношений. И чем более растут производительные силы, тем более созревают для погибели буржуазные отношения. Бывшие *необходимыми* на одной ступени развития производительных сил, буржуазные отношения сделаются *невозможными* на другой, более высокой.

Но мы должны вернуться к вопросу о стоимости и, чтобы покончить с ним, просим у читателя еще одну минуту внимания.

Цена товара есть только денежное выражение его стоимости. Против этого никто не станет спорить. Но, с другой стороны, товарные цены постоянно колеблются, и поэтому товары в своем обмене постоянно отступают от того закона стоимости, в силу которого они должны были бы обмениваться по количеству труда, затраченного на их производство. Колебание товарных цен показывает, что отношение единичного труда всякого данного производителя товаров ко всему общественно-производительному механизму постоянно изменяется; что удельный вес этого труда то приближается к нормальному, то отклоняется от него в ту или другую сторону. Мы уже знаем, что иначе и быть не может в буржуазном обществе. А зная это, мы без труда ответим на вопрос: *каким образом проявляется закон меновой стоимости?*

Он проявляется лишь посредством постоянных «переворотов», посредством постоянных отклонений от нормы, посредством своей *собственной противоположности.* «Частные работы, исполняемые независимо друг от друга, но в то же время всесторонне зависящие друг от друга (потому что они суть члены естественного разделения труда), постоянно приводятся к своей общественной относительной мере тем, что управляющий ими *закон природы,* — т. е. рабочее время, общественно-необходимое для производства их продуктов, — насильственно прорывается сквозь случайные и вечно колеблющиеся меновые отношения продуктов, подобно, напр., закону тяжести, когда кому-нибудь на голову обрушивается дом» [1]). «Закон, управляющий стоимостью товаров, определяет, сколько может данное общество

издержать на производство каждого особенного рода товаров из всего того количества рабочего времени, которым оно может располагать. Но это постоянное стремление различных сфер производства к устойчивому равновесию проявляется лишь, как реакция против постоянного нарушения этого равновесия» [2]). Смешны, потому, те экономисты, которые думают

1) «Капитал», стр. 31.
2) Ibid., стр. 310. При товарном способе производства, вследствие анархического характера этого способа, «равновесие само есть только случайность», — замечает Маркс во II томе «Капитала» (стр. 496 немецкого издания).

опровергнуть закон стоимости ссылкою на колебание цен, между тем как посредством колебания цен он именно и проявляется.

II.

Как же смотрит на стоимость Д. С. Милль, взгляды которого излагал и дополнял Н. Г. Чернышевский?

У Милля была большая склонность к соглашению совершенно не согласимых между собою понятий. Поэтому даже верно понятые им теории сочетались в его голове с другими, тоже, пожалуй, верно понятыми, но прямо противоположными им теориями. В результате получалось нечто совершенно непостижимое. С величайшим трудом гло-

таете вы эту логически невозможную микстуру и воочию видите, какой ужасный народ господа эклектики. Уж лучше твердо держаться ошибочных взглядов, чем стараться примирить ошибочные взгляды с верными. Если бы Милль твердо и последовательно держался какого-нибудь одного ошибочного учения о стоимости, то это было бы, конечно, плохо, но сравнительно легко поправимо. Усвоив его рассуждение, читатель имел бы хотя и ошибочный, но все-таки определенный взгляд на стоимость. Со временем он мог бы ознакомиться с другим, тоже определенным и вдобавок еще верным взглядом на нее. Сравнивая эти два взгляда, он, при доброй воле, без большого труда мог бы добраться до истины. Но представьте себе, что Милль преподносит своему читателю смесь, где сначала на первый план выступает ошибочная теория, потом эта ошибочная теория как будто несколько стушевывается: проглядывает что-то похожее на

истину; в заключение делается попытка привести истину к одному знаменателю со вздором, и получается какое-то среднее учение, в котором верное окончательно испорчено ложным, а ложное возведено в квадрат незаконным сожительством с истиной. Разбирайтесь, как хотите, — вы никогда не поймете, с полной ясностью, в чем дело. Учась политической экономии по Миллю, вы ровно ничему не научитесь, хотя будете думать, что вы знакомы со всеми главнейшими взглядами на данный экономический вопрос, так как все главнейшие взгляды излагались перед вами. В учении о стоимости, может быть, яснее чем где-нибудь видно, как трудно было Миллю дойти до ясных и определенных взглядов на вещи.

Милль знал, что, по учению Рикардо, труд является единственным источником стоимости товаров. Он не мог совершенно игнорировать великого экономиста. Но в то же время он, по складу своего ума, не мог

и согласиться с ним всецело. Поэтому он постарался переделать его учение на свой лад. «Читатель заметит, — говорит он, — что Рикардо выражается так, как будто *количество* труда, которого стоит производство предмета и доставка его на рынок — единственная вещь, определяющая стоимость товара. Но издержки производства сводятся для капиталиста не к труду, а к рабочей плате, и количество труда остается одинаково при высокой и при низкой рабочей плате». Что же? Это показывает, что Рикардо ошибался? Нет, он не ошибался: следуют рассуждения, которые должны, по-видимому, защитить теорию Рикардо. Ну, так, стало быть, Рикардо прав? Да, он прав, но только в том смысле, что труд есть *главный элемент* стоимости, а кроме него есть и другие, второстепенные. В конце концов, Милль благополучно приходит к следующему положению: «Если оставить в стороне случайные элементы стоимости, то предметы, количество которых может возрастать неопределенно, естественным и постоянным образом обмениваются друг на друга по пропорции количества рабочей платы, какую надобно употребить на их производство, и количеству прибыли,

какая должна быть получена капиталистами, выдающими эту плату». Здесь нет уже и следа учения Рикардо о стоимости; оно бесследно скрывается в тумане эклектизма, который позволяет относить *прибыль* предпринимателя к *издержкам* производства. Прибыль предпринимателя есть часть стоимости, созданной неоплаченным трудом работника. Зависит ли *величина* этой стоимости от ее распределения между работником и предпринимателем? Она так же мало зависит от него, как величина урожая зависит от раздела жатвы между землевладельцем и половником-арендатором, или размеры шкуры убитого медведя — от взаимных отношений между охотниками, принимавшими участие в облаве. Всякий понимает, что, как ни дели медвежью шкуру, она в целом не будет ни больше, ни меньше, чем она была прежде. Но когда заходит речь о величине стоимости, то экономистам начинает казаться, что она, — хоть «немного», хотя бы только «отчасти», — зависит от обмена или от распределения. В этом случае экономистов сбивает с толку коммерческая точка зрения единичного предпринимателя. Единичный предприниматель в своих расчетах, действительно, имеет в виду «не труд», т. е. не трату человеческой силы, а издержки производства (которые, заметим мимоходом, сводятся вовсе не к одной только заработной плате) и прибыль. Но ведь мало ли что имеет, мало ли чего не имеет в виду единичный предприниматель! Ведь вот по собственному замечанию Милля слово «богатство» имеет два значения: «оно имеет один смысл, применяясь к имуществу

отдельного человека, другой смысл, применяясь к имуществу нации или человеческого рода». Может быть, и выражение «издержки производства» имеет «один смысл» в применении к отдельному предпринимателю, а «другой смысл», применяясь «к нации»? И если, действительно, выражение это имеет два смысла, то какой именно смысл должен иметь в виду экономист, рассуждающий о wealth of nations? Единичный предприниматель может иметь в виду даже штрафы, которые позволят ему уменьшить его расходы на рабочую силу. *Неужели нам придется и штрафы отнести к «случайным» (отрицательным)* элементам стоимости? Этого до сих пор, насколько

мы знаем, никто еще не сделал. Но мы не видим, почему бы не сделать этого тем экономистам, которые не могут расстаться с точкой зрения единичного предпринимателя.

Нам заметят, пожалуй, что Милль не так уже далеко расходился **с** Рикардо, как мы думаем. Сам Рикардо признавал, что стремление прибыли к одному уровню во всех предприятиях видоизменяет действие его закона стоимости. Называя прибыль «элементом» стоимости, Милль, может быть, только иначе выражал мысль своего учителя. Но это не так. Нельзя сказать, что Милль только иначе выразил взгляд Рикардо на противоречие двух экономических законов. Он существенно исказил этот взгляд. Рикардо видел, что закон равенства прибылей противоречит закону стоимости, и постарался разрешить, как умел, это противоречие. Но он не отказывался от своего взгляда на стоимость. Он понимал, что, отказавшись от этого взгляда, он лишил бы себя возможности выяснить природу и происхождение самой прибыли. Милль поступил как раз наоборот. Из столкновения закона стоимости с законом равенства прибылей он выкроил какой-то средний закон стоимости, который совершенно в ложном свете выставляет как природу *стоимости,* так и природу *прибыли.* Указанное Рикардо противоречие двух законов отразилось в голове Милля в виде *путаницы двух понятий.*

Но допустим, что Милль прав; положим, что предметы обмениваются «по пропорции количества рабочей платы... и количеству прибыли» и т. д. Как согласить с этим взглядом уверенность Милля в том, что «стоимость — явление относительное»? Почему же — «относительное»? Разве «издержки производства» (как понимает их Милль) не могут служить внутренней мерой стоимости? Прежде для производства данного продукта нужно было два рабочих дня, за которые предприниматель платил, положим, 2 рубля. Его прибыль равнялась *а* руб. Стоимость продукта, по Миллю, была 2 руб. + *а* руб. Теперь для производства того же продукта нужен только один день. Если уровень заработной

платы остался без перемены, то при его выделке он заплатит рабочим только один рубль. На этот рубль он уже не получит а руб. прибыли, а получит, положим, только ½ *а*. Значит, стоимость его продукта будет теперь равна 1 руб. + ½ *а* руб. Ничего не зная о меновом отношении своего продукта к другим товарам, он видит, однако, что стоимость его упала на половину. И вы все-таки скажете, что она — «явление» совершенно относительное? Для этого нет никакого логического основания даже в ошибочных взглядах Милля.

Если бы законы буржуазного хозяйства имели самостоятельный интерес в глазах Н. Г. Чернышевского, то он, конечно, понял бы их гораздо лучше и гораздо глубже, чем понимал их Милль. По характеру своего ума он всегда был, как небо от земли, далек от эклектизма. При некотором внимании к вопросу, он легко увидел бы, как неоснова-
тельно учение Милля о стоимости. Но его, как мы уже знаем, почти исключительно интересовали вопросы будущего общественного устройства. Поэтому учение Милля казалось ему удовлетворительным, хотя и неполным. Он с удовольствием оттеняет свое согласие с английским экономистом. «В теории распределения встречали мы такие отделы, — говорит он, — которые достаточно разработаны основателями господствующей теории и у Милля изложены удовлетворительно. Еще больше мы найдем подобных отделов в теории обмена» Приводя те семнадцать; положений, в которых Милль резюмирует свое учение о стоимости, наш автор замечает, что все они совершенно верны, но что их нужно дополнить другими, не менее важными положениями. И вот как дополняет он выводы Милля:

«XVIII. Все предшествующие выводы относятся исключительно к меновой ценности [2]). Она отделяется от внутренней, когда товаром бывает человеческий труд. Но такое состояние вещей не выгодно ни для самого работника, ни для общества, при низком качестве наемного труда сравнительно с трудом на самого себя.

«XIX. Если же труд не считать товаром, то меновая ценность совпадает с внутрен-нею, и понятия запроса, снабжения, стоимости производства получают точнейший характер, возводясь прямо к

основным элементам экономической деятельности, к потребностям человека.

[1]) Соч., т. VII, стр. 416.

[2]) Чернышевский везде употребляет выражение «ценность» вместо *стоимость.* Под стоимостью же товара Чернышевский понимает то, что экономисты называли издержками производства.

Размер снабжения тут определяется количеством производительных сил; размер запроса — интенсивностью надобности производителя в продукте; стоимость производства определяется прямо количеством труда. Уравнение запроса и снабжения получается через расчет о том, по какой пропорции должны быть распределены производительные силы по разным занятиям, для наилучшего удовлетворения надобностей человека» [1]).

В этих двух дополнительных тезисах Чернышевского содержится много вполне верных мыслей. Но верные мысли частью не вполне точно выражены в них, частью сопровождаются утопическими взглядами на предмет.

Читатель понимает, что именно хочет сказать Чернышевский словами: «если не считать труд товаром». Под этим неудачным выражением скрывается вполне верный взгляд на отличительные признаки современного хозяйства. Конечно, характер этого хозяйства не изменится от того, будем или не будем мы *«считать»* труд товаром. Но если бы труд действительно перестал *быть* товаром, то буржуазное общество сделалось бы немыслимым. Буржуазное общество основано на эксплуатации класса производителей классом присвоителей; людей, выносящих свою рабочую силу на рынок в виде товара — людьми, покупающими этот товар и употребляющими его на производство других товаров; короче, оно основано на эксплуатации пролетариата буржуазией. Хотя общество товаропроизводителей и не есть непременно капиталистическое общество, но полного развития своего товарный способ производства достигает только тогда, когда превращается в капиталистический способ, т. е. тогда, когда труд становится товаром. Поэтому и выводы буржуазных экономистов относятся почти исключительно к капиталистическому обществу, основанному на продаже и покупке труда. Вопрос о меновой

стоимости товаров имеет значение только там, где продукты становятся товарами. Чернышевский понимает, что товарное производство не есть альфа и омега экономического развития, что оно не существовало на низших ступенях этого развития и что оно перестанет существовать на более высокой. А когда перестанет существовать товарное производство, то, действительно, в основу сознательно организованного народного хозяйства ляжет «расчет о том, по какой пропорции должны быть распределены производительные силы по разным занятиям, для наилучшего удовлетворения потребностей человека».

[1]) Стр. 452.

Это не подлежит сомнению. Но это не выясняет нам законов *товарного обмена.* Зная, что продукты не всегда делались и не всегда будут делаться товарами, мы еще не знаем, как происходит обмен их, когда *они являются в виде товаров,* или, как выражается Чернышевский, когда меновая стоимость отделяется от внутренней. Что же такое меновая стоимость? Хотя наш автор и признает относящийся к ней анализ Милля вполне удовлетворительным, но, может быть, он все-таки смотрит на нее несколько иначе?

«Есть прием, посредством которого очень легко усвоить себе понятие меновой ценности, несмотря на его высокую отвлеченность, — говорит Чернышевский [1]). — Что такое цена вещи, это ясно для каждого. Теперь: цена вещи и есть ее меновая ценность, выраженная в денежном счете. Замените именованные числа рублей и копеек отвлеченными числами, проще сказать, отбросьте эти слова — рубль и копейка, оставьте только цифры, при которых они стоят, и вы будете иметь меновую ценность вещи. Положим, что в известное время в известном месте четверть пшеницы стоит 5 рублей, за рабочий день плотнику платится один рубль, за кубическую сажень березовых дров 15 рублей. Это цены. Отбросьте теперь слово рубль, и у вас останутся меновые ценности, состоящие в цифрах 5, 1, 15. Имея только эти цифры, вы уже будете рассматривать не то, сколько денег нужно на покупку известной вещи, а то, в какой пропорции одна вещь обменивается на другую. Понятие о деньгах отвлекает ваше внимание

от того факта, что четверть пшеницы (5) обменивается на 5 рабочих дней плотника (1) и на одну третью часть кубической сажени березовых дров (15). А вот в этом самом отношении, в этой пропорции и заключается сущность дела. Меновая ценность вещи есть покупательная сила вещи, степень власти к приобретению других вещей взамен за эту вещь. При нынешнем устройстве общества меновая ценность вообще совпадает с ценою, потому очень долго эти два понятия смешивались не только практикой, а даже и теориею. Но наука должна стремиться к разложению всякого сложного понятия на основные. Мы видим, что понятие цены составляется из двух понятий: меновая ценность и деньги. Потому наука должна отдельно исследовать каждое из этих двух понятий» [2]).

Мы видим отсюда, что для Чернышевского, как и для Милля, стоимость товара есть нечто совершенно относительное, или, иначе

[1]) Мы напоминаем читателю, что по терминологии Чернышевского ценность означает стоимость товара.

[2]) Там же, стр. 418.

сказать, понятие о стоимости предмета совершенно совпадает для него с понятием об его относительной стоимости. Но это последнее понятие крайне бессодержательно. Оно не выясняет не только природы стоимости, но даже и ее величины. «Четверть пшеницы (5) обменивается на 5 рабочих дней плотника (1) или на одну третью часть кубической сажени березовых дров (15)... В этой пропорции и заключается сущность дела». Положим, что это так. Но откуда же берется эта пропорция? Почему четверть пшеницы обменивается на 5, а не на 3, не на 6, не на 10 рабочих дней плотника, не на две трети и не на одну восьмую часть кубической сажени березовых дров? Ответа на эти неизбежные вопросы Чернышевский ищет в «основном законе ценности».

«Если количество известного предмета может быть увеличаемо по произволу, — говорит он, — меновая ценность его определяется уравнением снабжения и запроса, то есть меновая ценность этой вещи имеет такую величину, при которой снабжение и запрос равны друг другу... От увеличения ценности запрос уменьшается, а снабжение возрастает, от уменьшения ценности бывает противное. Потому, если

при известной высоте ценности запрос будет больше снабжения, — ценность предмета станет возвышаться, пока снабжение увеличится, а запрос уменьшится настолько, что оба эти элемента сравняются. Если же, наоборот, снабжение будет больше запроса, тот же результат будет произведен принижением ценности. Таков основной закон ценности» [1]).

Итак, меновая стоимость вещи имеет такую величину, при которой снабжение и запрос равны друг другу. Этот мнимый ответ есть в сущности не более, как выраженный в утвердительной форме вопрос о том, чем определяется величина стоимости, когда запрос покрывается снабжением. Чернышевский сам чувствует, что его «основной закон» еще ничего не говорит на этот счет, и потому он делает оговорки. По его словам, «прямым образом и с физическою необходимостью» основной закон стоимости «действует лишь в немногих товарах, количество которых вовсе не может увеличиваться. Но искусственным образом может быть подводим под его прямое действие всякий предмет при монополии, если монополист имеет возможность производить или продавать не все количество товара, какое мог бы производить или продавать, а лишь то количество, при котором товар дает ему наибольшую сумму чистой прибыли, за вычетом издержек производства. А все остальные товары

[1]) Там же, стр. 420.

подводятся под силу уравнения запроса и снабжения косвенным путем, посредством элемента, называемого стоимостью производства» [1]).

Таким образом основной закон стоимости получает теперь другой вид. Теперь оказывается, что меновая стоимость предмета определяется издержками его производства. Это несколько ближе к истине, хотя все-таки далеко от нее. Но почему же наш автор прямо не обратился к издержкам производства, почему он предпочел подойти к ним окольной дорогой запроса и снабжения? Неужели он не замечал, что, делая этот обход, он отклоняется в сторону Ж. Б. Сэя, к которому всегда относился, — и разумеется с полным правом на это, — очень презрительно? Формулируя «основной закон ценности»,

Чернышевский более думал о будущем общественном устройстве, чем о существующих ныне экономических отношениях. Он принимал в соображение исключительно то, что, будучи понят надлежащим образом, закон «уравнения запроса и снабжения» может лечь и ляжет в основу социалистического общества.

«Что такое запрос, и что такое снабжение? — спрашивает себя наш автор. — Запрос — это известная энергия человеческих побуждений к приобретению предмета, — отвечает он; снабжение — это известная энергия человеческих побуждений к производству предмета. Таким образом все сводится к одному общему знаменателю — к энергии человеческих побуждений. Вот мы и нашли коренную форму всякого экономического расчета; она заключается в человеческих побуждениях, наклонностях и потребностях. Сообразно этому анализу, уравнение запроса и снабжения обозначает ни больше, ни меньше, как тот факт, что сила побуждений к производству предмета бывает соразмерна силе побуждений к пользованию предметом. Чем сильнее у человека надобность в продукте или влечение к нему, тем сильнее человек и обращается к производству его. Только и всего. А этот факт известен каждому из ежедневного житейского опыта» [2]).

По отношению к потребностям продукты производства разделяются Чернышевским на три разряда: 1) предметы первой потребности, 2) предметы комфорта и 3) предметы роскоши. Пока нет достаточного количества предметов необходимости, общество, держащееся правильного экономического расчета, не будет тратить своих производительных сил на предметы комфорта; пока нет достаточного количества предметов комфорта, не будут производиться предметы роскоши. Так установится необходимое соответствие между «си-лой побуждений к пользованию

[1]) Там же, стр. 421.
[2]) Там же, стр. 439 — 440.

предметом» и «силой побуждений к его производству», т. е. Между запросом и снабжением. Рутинные политико-экономы тоже признают, что «основная пружина и коренная норма всех экономических явлений заключается в потребностях человека». С этой истины

начинается каждый курс политической экономии. Но в рутинных курсах она не проникает дальше первого параграфа. «Наше дело только в том и состоит, — говорит о себе Чернышевский, — что мы не забываем этого основного принципа и стараемся возводить к нему каждый вопрос, между тем как рутинная школа совершенно забывает о нем, заменяя его по каждому частному вопросу какой-нибудь рутинною иллюзиею» [1]).

Следовательно, уравнение запроса и снабжения потому *является* основным законом меновой стоимости, т. е., иначе сказать, одним из основных законов всего *буржуазного хозяйства,* что в *социалистическом обществе* производство будет основываться на правильной *классификации* предметов и потребностей. Такой способ решения спорных теорий буржуазной экономии как нельзя лучше характеризует утопическую точку зрения Чернышевского.

Так же характерны для его утопического взгляда на вещи и все остальные рассуждения его о меновой стоимости. Ему кажется, что «по сущности дела меновая стоимость должна совпадать с внутреннею и отклоняется от нее только *вследствие ошибочного признания* труда за товар [2]), которым труду никак не следует быть. Поэтому возможность отличать меновую ценность от внутренней свидетельствует только об экономической неудовлетворительности быта, в котором существует разность между ними. Теория должна смотреть на раздельность меновой ценности от внутренней точно так же, как смотрит на невольничество, монополию, протекционизм. Она может и должна изучать эти явления со всевозможною подробностью, но не должна забывать, что она тут описывает уклонения от естественного порядка. Она может находить, что устранение того или другого из этих феноменов экономической жизни потребует очень долгого времени и очень значительных усилий; но как бы далек ни представлялся срок излечения от той или другой экономической болезни, не должна же она не представлять, каково должно быть здоровое положение вещей. Точно так и мы говорим об отделении меновой ценности от внутренней, как о феномене болезненном, отвергаемом теориею... Скоро ли могут произойти в быте

[1]) Там же, стр. 440.

[2]) Курсив наш.

и привычках какой-нибудь нации такие перемены, после которых труд перестанет быть товаром и меновая ценность совпадет с внутреннею, — это вопрос о будущем, историю которого с обозначением годов мы не беремся рассказывать». — Само собою разумеется, что подобного рассказа ни от кого нельзя требовать. Но можно спросить себя, как же представлял себе Чернышевский «совпадение меновой ценности с внутренней»? Взятое в буквальном смысле слова, подобное совпадение совершенно невозможно, если под внутреннею ценностью продукта понимать то, что называется теперь *потребительном его стоимостью:* меновая стоимость хлеба никак не может *«совпасть»* с его питательными свойствами, меновая стоимость касторового масла не может совпасть с его способностью производить всем известные явления в желудочно-кишечной области. Но дело в том, что выражение «внутренняя ценность» употребляется Чернышевским очень неразборчиво. «Чтобы предмет имел меновую ценность, — говорит он, — нужно быть ему годным на известное употребление, — по мнению покупателя. Никто ничего не дает за то, что ему ни для чего не пригодно. На языке политической экономии это выражается так: меновую ценность имеют только те предметы, которые имеют внутреннюю ценность» [2]). Здесь под внутреннею ценностью он понимает потребительную стоимость предмета. Но иногда он выражается совсем иначе, называя внутреннюю ценность стоимостью (т. е. издержками) производства [3]). Эту-то «стоимость производства» он и имеет в виду, говоря о совпадении меновой ценности с внутреннею в социалистическом обществе. И мы должны обратить на нее большое внимание, если хотим уяснить себе его экономические взгляды.

Как станут определять стоимость производства в будущем обществе, — показывает следующий примерный расчет:

«Предположим семейство, состоящее, например, из 20 человек, сумма труда которых равна труду 10 работников. Полагая в год по 300 рабочих дней, мы будем иметь 3.000 рабочих дней. Предположим, что

все предметы необходимости подведены под следую-щие четыре разряда:

«1) Пища, переведенная в. счет на пшеницу; пшеницы нужно семейству в год 60 четвертей; это количество производится трудом 1.500 рабочих дней.

[1]) Там же, стр. 441.
[2]) Там же, стр. 420.
[3]) Там же, стр. 489.

«2) Одежда, переведенная в счет на аршины сукна; его нужно в год 100 аршин; они добываются трудом 500 дней.

«3) Топливо, в кубических саженях дров; нужно 10 саженей, добываемых трудом 500 дней.

«4) Жилище с принадлежностями, переведенное в счет тысяч кирпича: нужно в год 5 тысяч, добываемых трудом 500 дней.

«Все 3.000 дней идут на эти предметы необходимости; предметов комфорта некогда производить; они не имеют никакой ценности, потому что не существуют. Угодно ли вам знать ценность предметов необходимости? Вы видите сами, как она определяется:

Четверть	(1500	60) — 25	дней
Аршин сукна	(500	100) 5	»
Кубическая	(500	10) — 50	»
Тысяча кирпича .	(500	5) — 100	»

«Предположим теперь, что, благодаря усовершенствованиям, предметы необходимости стали производиться количеством труда, меньшим прежнего на одну пятую долю. Из 3.000 рабочих дней на эти предметы стало нужно только 2.400; остальные 600 дней могут (и почему же теперь не должны?) употребляться на предметы комфорта. Подведем их для краткости под один разряд хорошей мебели, переложенной в счет диванов, положим, что диван производится 60 днями работы; счет ценностей будет:

Четверть пшеницы	20
Аршин сукна . .	4
Куб. саж. дров .	40
Тысяча кирпича .	80
Диван	60 » [1])

Ограничимся этим, не следя за Чернышевским в его определении стоимости производства предметов роскоши. Читатель и сам видит, чем будет она определяться: совершенно тем же, чем определяется стоимость производства всех других предметов, т. е. числом рабочих дней, количеством труда, которого требует их приготовление.

Так будет в социалистическом обществе. Но разве не так же происходит дело теперь? Разве «стоимость производства» предмета не сводится теперь, как всегда сводилась и как всегда будет сводиться,

[1]) Там же, стр. 447-448.

к количеству труда, нужного на выделку данного предмета? Нет, отвечает Чернышевский. Во-первых, в настоящее время стоимость производства «слагается из меновой ценности труда, употребленного на предмет, и прибыли на этот труд» [1]). А во-вторых, теперь вообще совершенно неизвестно, сколько именно труда требуется для выделки того или другого предмета. «Спросите кого хотите, никто не умеет сказать вам, сколько рабочих дней нужно, чтобы производить обильное снабжение всех серьезных надобностей для известного числа людей. Только по постройке жилищ делаются сметы подобного рода архитекторами, да и тут счет не доводится до конца: считается, сколько рабочих дней должны употребить на постройку дома каменщики, столяры, кровельщики, работники, прямо трудящиеся над этим домом, а какого количества работ стоит ремонт орудий, ими употребляемых, и производство материалов постройки, этого никто не скажет: кирпич, лес, железо вносятся в смету не количеством рабочих сил, каких стоили, а своею рыночною ценою; ремонт орудий не составляет особенной статьи, а без всякого расчета входит в оценку рабочей платы. Стало быть, и по постройке жилищ не подведен расчет способом, какого требует наука... А по удовлетворению других надобностей домашнего быта ни о чем подобном еще и не думал никто, ни из экономистов школы Адама Смита, ни из людей, имеющих прямое влияние на общественные дела» [2]). В социалистическом обществе, с одной стороны, будет точно узнано количество труда, необходимое на производство любого предмета, и таким образом явится объективная возможность безошибочного определения

стоимости производства. А с другой стороны, социалистическое общество не будет знать ни продажи труда на рынке, ни предпринимательской прибыли: там не будет предпринимателей. Следовательно, «остается только коренное понятие о количестве труда» [3]).

Все это относится к стоимости производства. Посмотрим теперь, как повлияет ее точное определение на меновую стоимость продуктов.

Здесь читатель заметит, что, по нашим собственным словам, Чернышевский считал невозможным существование обмена в социалистическом обществе. Действительно, он несколько раз очень определенно высказывался на этот счет. Но мы думаем, что определенным выражениям у него соответствовали в этом случае не очень определенные представления.

[1]) Там же, стр. 438.
[2]) Там же, стр. 333.
[3]) Там же, стр. 437 — 438.

В его реформаторских проектах производительною единицею является большая рабочая община, — фаланстер Фурье или ассоциации Р. Оуэна или Луи Блана, — работающая не для сбыта своих продуктов па рынке, а для удовлетворения своих собственных потребностей. Внутри общины нет обмена. Но обмен продолжает существовать между общинами. «Как не быть и зачем не быть между ними обмена? Ведь происходит же обмен продуктов и между целыми странами, — тем больше в нем надобности и удобства между отдельными провинциями, городами, селами... Теория требует, чтобы в каждой группе производителей главная масса продуктов производилась на внутреннее употребление самой этой группы; а если затем некоторая часть продуктов обменивается, это ничему не помешает, — напротив, может быть очень полезно» [1]). На каких же основаниях будет совершаться этот обмен? «Меновая ценность не является различною от внутренней, внутренняя ценность прямо превращается в меновую без всякого увеличения или уменьшения» [2]). Таким образом в обмене продуктов между общинами у Чернышевского

выступает что-то вроде «valeur constituée» Прудона, известная книга которого не осталась, очевидно, без сильного влияния на него.

В каком неясном виде представлялось Чернышевскому «совпадение меновой ценно-сти с внутреннею», показывают следующие строки:

«Если меновая ценность должна совпадать с внутреннею, а внутренняя измеряется потребностями человека, то нетрудно дойти до следующих выводов, — рассуждает он. — Соразмеряться между собою прямым образом могут только потребности однородные, — например, разные виды потребностей, относящиеся к физическому благосостоянию орга-низма. Потому должны иметь меновую ценность относительно друг друга предметы первой необходимости. Но не должны быть сравниваемы прямо между собою потребности совершенно разнородные. Например, как вы будете определять отношение между потребностью еды и потребностью чтения или между потребностями в обуви и в музыке? Потому и продукты, удовлетворяющие разнородным потребностям, прямо не должны иметь меновой ценности относительно друг друга. Во сколько раз меньше или больше, чем сапоги, нужна человеку скрипка? Во сколько раз меньше или больше, чем жилище, нужна ему бронза? Это вещи несоизмеримые прямым образом». Пополнив затем свою классификацию потребностей и заметив, что «с экономической точки зрения» они делятся на потребности материального благосостояния,

1) Там же, стр. 450.
2) Там же, стр. 492.

потребности умственной деятельности и потребности эстетического наслаждения, Чернышевский продолжает: «Потребности эстетического наслаждения никак не могут уже и сами по себе идти в сравнение с потребностями материальною благосостояния. Наслаждаться чем-нибудь изящным удобно человеку лишь тогда, когда его материальные потребности удовлетворены. Выражаясь, быть может, слишком сурово, но совершенно верно, надобно сказать, что эстетическое наслаждение годится собственно лишь на то время, которого уже ни на что другое не способен употребить человек или по отсутствию всяких надобностей, или истощению сил предшествующим

трудом; оно всегда бывает или отдыхом, или праздностью. Но отдых и праздность, конечно, не должны иметь меновой ценности. Потому не следует иметь ее и предметам эстетического наслаждения. Разумеется, мы очень хорошо знаем, что они имеют ее теперь: за вход в театр собирается плата, картина или статуя продается. Но мы говорим, что этим оскорбляется самая природа подобных вещей... Деятельность, производящая предметы эстетического наслаждения, не должна иметь никакого другого вознаграждения, кроме удовольствия, чувствуемого занимающимся ею человеком. О меновой ценности не должно быть тут никакого помина...». С такой же точки зрения рассматривается и умственная деятельность, деятельность ученого и деятельность учащегося: их труд не должен иметь меновой ценности. «Но есть умственная деятельность другого рода, составляющая не самонаслаждени[е], а жертву для занимающегося ею. Это деятельность педагогическая... Педагог — такой же чернорабочий, как землекоп или портной. Его труд должен иметь экономическую ценность» [1]).

Все это, надо сознаться, довольно неясно. Мы уже знаем, что «внутренняя ценность» измеряется не «потребностями человека», а количеством труда, нужным на изготовление предмета. Вышеприведенные выкладки Чернышевского не оставляют места ни малейшему сомнению на этот счет. Но предположим, на этот раз, что внутренняя ценность измеряется потребностями человека. С точки зрения потребностей нельзя решить, «во сколько раз меньше или больше, чем сапоги, нужна человеку скрипка». Но ведь скрипка есть продукт производства. На ее выделку, как и на выделку сапогов, нужно известное количество рабочего времени. Почему же скрипка «не должна иметь меновой ценности» относительно сапогов? Для этого может быть только одно ос-

[1]) Там же, стр. 444 — 445.

нование: в социалистическом обществе не будет обмена, а следовательно, и труд, затраченный на производство предметов, не будет выражаться в виде их меновой стоимости. Это совершенно достаточное основание. Но его достаточно для того, чтобы *ни один*

продукт не имел меновой стоимости «относительно» других, какому бы роду потребностей они ни удовлетворяли. У Чернышевского же выходит иначе: «должны иметь меновую ценность относительно друг друга предметы первой потребности», но не могут иметь ее предметы, удовлетворяющие разнородным потребностям. Как бы ни подразделялись «с экономической точки зрения» потребности, ясно, что раз зашла речь о том общественном устройстве, при котором предметы имеют меновую стоимость, то их меновые отношения должны определяться вовсе не характером потребностей, удовлетворяемых этими предметами. Говоря, что предметы, удовлетворяющие разнородным потребностям, *не могут* иметь «меновой ценности относительно друг друга», Чернышевский в сущности высказывает только свое неодобрение подобному явлению: ему не *хотелось бы,* чтобы оно имело место в социалистическом обществе. Но экономическая невозможность явления и нежелательность его для человека того или другого образа мыслей — совершенно различные вещи, очень часто, впрочем, смешиваемые социалистами-утопи-стами.

Вообще, только что приведенные рассуждения Чернышевского сводятся к тому, что так называемая духовная деятельность должна находить свое вознаграждение в самой себе, — и еще, пожалуй, к тому, что не следует думать о приятном, когда нет необходимого. Это, конечно, верно. Но, поясняя эту верную мысль, Чернышевский окончательно затемняет вопрос об экономических последствиях «совпадения меновой стоимости предметов с внутреннею».

Повторяем, «система экономических противоречий» Прудона не осталась без сильного влияния на взгляды нашего автора. Если Адам Смит относил, по замечанию Маркса, определение стоимости трудом к доадамовским временам, то Чернышевский, вместе с Прудоном, относит его ко временам лучшего будущего. А между тем мы уже знаем, что это определение соответствует не более и не менее, как современной нам некрасивой буржуазной действительности. Чернышевскому казалось невероятным, чтобы труд мог быть единственным источником стоимости в обществе предпринимателей,

не заботящихся ни о чем, кроме прибыли, и обращающихся с «трудом» [1]), как с простым

[1]) Т. е., собственно, с рабочей силой.

товаром. Он говорил, как мы знаем, что количество труда, необходимое на приготовление продуктов, никому не известно в буржуазном обществе [1]).

Кроме того, Чернышевского сбивали еще и колебания товарных цен. Он знал, что «цена вещи именно и есть ее меновая стоимость, выраженная в деньгах». Но он знал также и то, что цены постоянно колеблются, и притом каждый производитель всеми правдами и неправдами старается получить за свой товар как можно больше, не стесняясь соображениями о так называемой «законной прибыли». Это, с одной стороны, заставило нашего автора признать, по примеру Милля, стоимость «явлением относительным», а с другой, — дало ему новый повод для нападок на буржуазное общество. «Чтобы оценка продукта делалась по его стоимости, — замечает он, — для этого нужно, чтобы некому было выигрывать от оценки предмета выше его стоимости, т. е. опять нужно, чтобы потребитель сам был и производителем. А при нынешнем экономическом устройстве это чистая невозможность». Та

1) Мы не возразили на это, полагая, что читатель и сам увидит ошибку Чернышевского. Во избежание недоразумений сделаем, однако, здесь несколько замечаний. Что экономисты и «люди, имеющие прямое влияние на общественные дела», не знают, «сколько рабочих дней нужно, чтобы производить обильное снабжение всех серьезных надобностей для известного числа людей» — это очень вероятно, но это и совершенно понятно: им нет необходимости знать это; однако каждый рабочий, каждый мастер, каждый директор фабрики или завода, если не каждый фабрикант и заводчик, хорошо знают, какое среднее количество времени нужно для выделки единицы продукта, производящегося в их мастерской. Они могут не иметь подобных сведений относительно материалов, обрабатываемых у них, или орудий труда, употребляемых ими в дело, но производители этих материалов и этих орудий хорошо осведомлены на этот счет. Таким образом, если вся *сумма* труда, употребленного на данный продукт, и неизвестна, то хорошо известны отдельные *слагаемые,* т. е. количества труда, прибавляемые к продукту на каждой ступени его производства. Прядильщику известно, во сколько времени можно приготовить фунт пряжи, ткачу известно, во сколько времени можно соткать ее, портной знает, сколько рабочих дней нужно ему, чтобы сделать из данной материи данный костюм и прочее. Сбывая свою пряжу ткачу, прядильщик должен принимать в соображение лишь то *слагаемое,* то количество труда, которое он сам прибавил к продукту, до остальных ему нет никакого дела.

Мы говорили, правда, что труд отдельного производителя может и не быть средним, общественно-необходимым, трудом. Но это решается *конкуренцией:* если *х* тратит на приготовление своего товара вдвое больше времени, чем нужно по общественным условиям производства, то соперничество других производителей

того же товара тотчас же покажет ему, как сильно он отстал «от века». Замечательно, что разбираемую нами мысль Чернышевский высказал именно в статье о

самая конкуренция, которая в действительности приводит товары к норме рабочего времени, кажется Чернышевскому главным препятствием, не позволяющим стоимости определяться трудом [1]). По его мнению, «коренной недостаток соперничества — тот, что нормою расчета берет оно не сущность дела, а внешнюю принадлежность его, не стоимость, а цену» [2]). Выясняя различие взглядов на стоимость, свойственных Рикардо, с одной стороны, и А. Смиту и Мальтусу — с другой, Милль делает очень справедливое замечание: «Когда Рикардо и другие политико-экономы говорят, что стоимость вещи определяется количеством труда, они говорят не о том количестве труда, за какое обменивается вещь, а о том количестве, какое нужно на ее производство... Но, когда Адам Смит и Мальтус говорят, что труд — мера стоимости, они разумеют не тот труд, каким была или может быть сделана вещь, а то количество труда, какое обменивается или покупается за эту вещь». Чернышевский прибавляет к этому, что Адам Смит и Мальтус искали в труде «верного мерила не меновой, а внутренней ценности, или стоимости производства», и таким образом приближались «к истинному смыслу вопроса, который понят был их последователями, как вопрос о меновой ценности» [3]). Выходит, что Рикардо только вследствие плохого понимания им Адама Смита и Мальтуса искал причинной связи между трудом и *меновою* стоимостью! Это уже совершенно неправильное понимание истории политической экономии.

конкуренции. Его внимание было поглощено соображениями о том, что производство возможно было бы и без конкуренции. Критикуя конкуренцию с утопической точки зрения, т. е. оттеняя ее невыгодные для общества последствия и вовсе не затрагивая вопроса об ее историческом происхождении и значении, Чернышевский, естественно, проглядел важнейшую сторону дела: ту роль, которую играет конкуренция в деле приведения меновой стоимости товаров к норме общественно-необходимого рабочего времени. Одной этой ошибки было бы достаточно, чтобы спутать все его экономические взгляды.

Заметим здесь также, что то соображение его, по которому меновая стоимость не может определяться количеством труда, нужным на производство каждой данной вещи (потому что это количество никому не известно теперь в точности), напоминает подобное же соображение Родбертуса. Убежденный доводами этого последнего, один немецкий архитектор решился исправить этот важный недостаток

буржуазного общества и принялся высчитывать среднюю производительность труда рабочих, занимающихся строительным делом (каменщиков, плотников, столяров и т. д.). Нет надобности прибавлять, что эта затея архитектора-родбертусианца не имела никаких серьезных последствий.

[1]) Само собою разумеется, что, говоря это, мы имеем в виду *простое товарное производство.*

[2]) То есть не издержки производства, а цену. Соч., т. VII, стр. 326.

[3]) Там же, стр. 439.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Деньги и денежное хозяйство

Мы подробно изложили и разобрали учение Чернышевского о стоимости, сопоставив его с современными научными взглядами на тот же предмет. Мы потому считали нужным сделать это, что учение о стоимости по справедливости считается краеугольным камнем науки о законах буржуазного хозяйства. Кто ошибается относительно этой простейшей категории буржуазной экономии, тот необходимо должен ошибаться и относительно других ее категории. Меновая стоимость выражает самое *простое отношение* производителей в общественном процессе производства. Другие категории, как, например, *капитал,* выражают собою уже гораздо более *сложные* и притом *производные отношения.* Поэтому правильное понимание *их* невозможно без правильного понимания стоимости. Смотря на буржуазную политическую экономию глазами утописта, — т. е. не находя нужным внимательно и хладнокровно изучать экономические законы буржуазного общества, которое представляет собою лишь печальное уклонение от «естественного порядка» и «противоречит всем требованиям теории». — Чернышевский, естественно, приходил к ошибочным выводам как насчет ныне существующих экономических отношений, так и насчет судьбы, ожидающей их в будущем. Сбивчивость его соображений о совпадении «меновой ценности с внутреннею» в социалистическом обществе является логическим следствием ошибочности посылок, лежащих в основе этих соображений. В своей критике буржуазной действительности он счел возможным взять за исходную точку политико-экономические теории Милля. Неудивительно, что в своих планах относительно будущего он сблизился с Прудоном. Его учение о стоимости служит

поразительным доказательством этого сближения. В других отделах своего главного экономического сочинения Чернышевский, несомненно, имеет очень мало общего с Прудоном. Но и там коренной недостаток той точки зрения, с которой он смотрел на общественную жизнь, очень сильно дает себя чувствовать. И там он, недостаточно критикуя свои посылки, приходит к ошибочным, утопическим заключениям.

Мы не станем долго останавливаться на его учении о «покупательной силе», т. е. о *деньгах.* Читатель, хоть немного знакомый

с политической экономией, и сам понимает, что, разделяя взгляд Милля на меновую стоимость, Чернышевский ни в каком случае не мог пойти дальше его в уяснении экономической роли денег. И действительно, он согласен с Миллем во всем, что тот говорит о деньгах. Милль, подобно другим буржуазным экономистам, говорит о них много несообразностей. Чернышевский не замечает этих несообразностей. Он думает, что вопрос о деньгах почти совершенно исчерпан буржуазной экономией. «Господствующая теория очень ясно выставляет затруднительность прямого обмена продукта на продукт и необходимость такого общего орудия обмена всяких продуктов, каким являются деньги. Она превосходно объясняет свойства, нужные для хорошего орудия обменов, или для денег, и очень основательно доказывает, что лучше всех других продуктов и предметов годятся для исполнения роли денег благородные металлы. Все, что они говорили об этих сторонах вопроса, мы предполагаем известным читателю или предоставляем узнать из обыкновенных курсов политической экономии» [1]).

При таком взгляде на деньги, нашему автору оставалась открытой только одна область критики, т. е. опять-таки *утопическая* критика буржуазных отношений: оттенение невыгодных сторон денежного хозяйства, указание несоответствия этого хозяйства с требованием «теории». На этот счет он делает несколько весьма метких замечаний, которые, однако, ввиду неудовлетворительности общего понятия его о деньгах, не могли не сопровождаться совершенно ошибочными

соображениями. Он справедливо утвер-ждает, что при естественном хозяйстве, по самой логике отношений, невозможно такое экономическое подчинение человека человеку, какое возникает при денежном. По своему обыкновению он поясняет свою мысль примером.

«Представим себе, — говорит он, — отношение между человеком очень богатым и человеком очень зажиточным при так называемом, в противоположность «денежному», — «естественном» хозяйстве, в котором деньги не играют важной роли. В табунах киргиза Абдаллы 10.000 голов; у киргиза Юсуфа весь табун состоит из 100 голов. Какую экономическую власть над Юсуфом может иметь Абдалла своим богатством, если они кочуют в такой части степи, куда еще не проникло денежное хозяйство? Предположив Юсуфа человеком обыкновенного

[1]) Там же, стр. 452-453.

характера, мы не можем не сказать, что он не имеет ни малейшего расчета становиться в экономическую зависимость от своего богатого соплеменника. Что такое, особенно нужное для него, может дать ему Абдалла? Лошадей и кумыса у Юсуфа довольно, он не нуждается в этих предметах. А кроме них, ничего не может предложить ему Абдалла. Предположим теперь, что введено в этом племени денежное хозяйство. Пусть лошадь круглым счетом стоит 10 руб. Абдалла располагает суммою имущества на 100 тысяч. Юсуф имеет его только на 1 тысячу рублей. Каждому из ежедневного опыта известно, каково при денежном хозяйстве отношение небогатого человека к соседу, который в 100 раз богаче его. Это отношение зависимое. Из чего возникает зависимость? Из того самого, что деньги служат всеобщею покупательного силою, дают возможность удовлетворения не одной какой-нибудь потребности, как дает продукт, прямо служащий для потребления, а общую возможность удовлетворения всяким вообще наклонностям и желаниям. Человек может чувствовать, что ему нет нужды в том или другом предмете, что этот известный предмет был бы для него лишний: но он никак не может чувствовать уверенности, что ему никогда не понадобится ничего. А чтобы не желать денег, надобно

иметь такую уверенность, и не только за настоящее или ближайшее будущее, а за всю свою будущность» [1]). Развивая далее эту мысль, Чернышевский говорит, что «только в деньгах приобретается человеком экономический источник совершенно праздного наслаждения». Это совершенно верно, в том смысле, что развитие денежного хозяйства, т. е. товарного производства, необходимо приводит на известной ступени своего развития к превращению в товар рабочей силы и тем самым к эксплуатации одного класса другим. Но экономические свойства «денег» означают не что иное, как взаимные отношения людей в общественном процессе производства. Между тем, Чернышевский, по-видимому, склонен объяснять их свойствами того *материала,* из которого делаются деньги. Он рассуждает так: «Почти все предметы, прямо служащие для потребления, очень недолговечны. Значительным исключением из этого правила можно назвать только благородные металлы, материал, из которого делаются деньги, от которых довольно мало отличаются и золотые или серебряные слитки, хотя бы и не имели штемпеля, делающего их деньгами в строгом смысле слова (Чернышевский хочет сказать — монетой). Остальные важные в экономическом отношении пред-

[1]) Там же, стр. 453—454.

меты не имеют свойства долго сохраняться сами собой, — это свойство принадлежит только деньгам. Есть многочисленный разряд продуктов, которые не могут быть далее нескольких лет сбережены никакою заботливостью. Сюда принадлежит хлеб, во всех земледельческих странах самый главный по своей ценности продукт. Эти продукты сохраняются только воспроизведением, то есть посредством переработки продукта такою же массою труда, какая была нужна на первое производство. Другие предметы долго остаются целы, — например, каменные здания, — но требуют ремонта, который за несколько лет в сложности составит сумму труда, равную той массе его, которая требовалась на первоначальное производство предмета. Без этого они быстро теряют годность и ценность. Таким образом, говоря вообще, деньги отличаются от других продуктов тем, что

продолжают существовать сами собой, без надобности в дальнейшем производительном труде, дают полное увольнение от него человеку, их имеющему, — между тем как сохранение всех других предметов требует продолжения работы, которою они первоначально приобретены».

Почти излишне доказывать неудовлетворительность подобных объяснений. Читатель, вероятно, видит их и без наших указаний. Он видит, что Чернышевский повторяет здесь ошибку многих и многих экономистов, приписывавших *вещам* те свойства, которые в действительности принадлежат *общественным отношениям.* Значение денег так же мало определяется физическими свойствами благородных металлов, как меновая стоимость товара определяется его вещественными особенностями. Физические свойства благородных металлов делают лишь то, что они оказываются более подходящими для роли денег. Точно так же подчинение человека человеку, экономическое порабощение одного класса другим происходит при денежном хозяйстве не оттого, что деньги не требуют для своего сохранения никакого труда со стороны своего обладателя, а оттого, что развитое товарное производство приводит, как мы уже сказали это выше, к превращению рабочей силы в товар, к ее продаже и покупке, т. е. к ее *эксплуатации.* Только в силу такой эксплуатации деньги и могут служить «источником праздного наслаждения» не только для отдельных лиц, но и для целых классов; и, наоборот, без посредства такой эксплуатации деньги могли бы явиться источником «праздного наслаждения» разве лишь в том случае, когда производителю, трудом целой жизни, удалось бы скопить себе

[1]) Там же, стр. 454.

«малую голику» под старость. Но Чернышевский, конечно, имеет в виду не этого рода «праздное наслаждение».

Очень характерно для Чернышевского, державшегося утилитарного учение о нравственности, то обстоятельство, что, нападая на денежное хозяйство, он опасается, как бы не заподозрили его в излишней сентиментальности. «В признании принципа личной пользы за основное побуждение и за последнюю норму всей экономической

деятельности человека мы не уступим ни одному писателю школы Адама Смита и идем гораздо дальше большинства рутинных политико-экономистов, которым предоставляем толковать вслед за моралистами о необходимости идеальных стремлений, — оговаривается он... — Мы находим, что расчет личной пользы есть один из главных руководителей человека, и рассуждаем только о том, что наиболее сообразно с личной выгодой человека, и желаем лишь того, чтобы люди стали расчетливее... Порядок дел, при котором над всеми господствуют деньги, мы находим неудовлетворительным не потому, что люди при нем своекорыстны,— они всегда будут да и должны больше всего думать о своей личной выгоде, — а просто потому, что при нем слишком плохо удовлетворяется потребность материального благосостояния у огромного большинства людей, что для этого огромного большинства он не выгоден» [1]).

Каким именно экономическим порядком должно быть заменено, по мнению Чернышевского, невыгодное для большинства денежное хозяйство — это мы уже сказали, излагая его учение о стоимости. Больших размеров хозяйственная единица, собственными силами удовлетворяющая большую часть своих потребностей и обменивающая лишь незначительное меньшинство своих продуктов — таков идеал нашего автора. Но обмен этого меньшинства продуктов между отдельными хозяйственными единицами должен вестись посредством денег. «Иначе вестись ему слишком неудобно, и само по себе употребление денег или равнозначительных им общих знаков ценности — дело очень полезное. Восставать против них значит то же самое, что вооружаться против носовых платков, которые сами по себе тоже вещь превосходная и необходимая в порядочном обществе для дела, к которому предназначены. Мы вовсе не желаем возвратить людей к тому состоянию, когда они обходились без посредства носового платка. Но совершенно иной вопрос то, хорошая ли вещь насморк, при котором роль носового платка становится очень велика. Мы полагаем, что человеку следует лечиться

[1]) Там же, стр. 455.

от насморка, и что когда насморк пройдет, носовой платок потеряет сам собою ту излишнюю занимательность, в которой виноват вовсе не он сам» [1]). Таким образом, по учению Чернышевского, социалистическая организация производства не устранит денег, а только сузит роль их, отводя ей надлежащие пределы.

Заметим еще мимоходом, что Чернышевский разделял то, долго господствовавшее между буржуазными экономистами, мнение, по которому цены товаров определяются количеством обращающихся в стране денег. В действительности происходит как раз наоборот: количество находящихся в обращении денег определяется ценами товаров. Но это уже слишком специальный вопрос, и мы не можем его здесь рассматривать [2]).

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Капитал

Перейдем теперь к учению Чернышевского о *капитале.*

Что такое капитал? Капитал есть общественное отношение производства, — говорит Маркс, — приводя таким ответом буржуазных экономистов в величайшее и, на этот раз, искреннейшее удивление [3]). Ка-

[1]) Там же, стр. 455 — 456.

[2]) Об этом см. «Zur Kritik der politischen Ökonomie», стр. 138 — 170.

[3]) «Общественные отношения, при которых люди занимаются производством, *общественные отноше-ния производства изменяются, следовательно, преобразуются с изменением и развитием материальных средств производства, производительных сил. Отношения производства, в своей совокупности, образуют то, что называют общественными отношениями, обществом, образуют общество, находящееся на определенной ступени исторического развития,* — общество с своеобразным, отличительным характером. *Античное* общество, *феодальное* общество, *буржуазное* общество представляют собою такие совокупности отношений производства, — совокупности, каждая из которых вместе с тем отмечает особенную ступень развития в истории человечества.

«*Капитал* есть также общественное отношение производства, а именно, *буржуазное отношение производства,* отношение производства в буржуазном обществе.

«Известное количество товаров, меновых стоимостей, превращается в капитал, выступая в качестве самостоятельной общественной *силы,* т. е. силы *одной части общества,* сохраняясь и умножаясь при этом путем *обмена на непосредственную живую рабочую силу. Существование класса, не имеющего ничего, кроме способности к труду, есть необходимое предварительное условие существования капитала.*

ким образом капитал может быть общественным отношением? — недоумевают они. Капитал, это — или деньги, или товар, или вообще средства производства; капитал, это — вещь, или вещи, а вовсе не

«отношение». Буржуазные экономисты не хотят даже и спорить против такого определения, как спорят они, например, против определения величины стоимости товара количеством труда, нужного для его производства; они просто пожимают плечами, убежденные в том, что знаменитый социалист просто хотел поразить своих читателей неожиданным парадоксом [1]).

Посмотрим, однако, что означает этот мнимый парадокс.

Каковы признаки «капитала»? Всем известно, что самым главным отличительным признаком его служит его способность приносить «доход», периодически обрастать прибылью, подобно тому, как овца обрастает шерстью. Когда «капитал» не приносит дохода, он считается «мертвым капиталом», капиталом, утратившим душу, не соответствующим более своему истинному понятию. Спрашивается теперь, указывают ли буржуазные экономисты этот главный признак капитала, когда говорят, что капитал есть накопленный труд, служащий средством для нового производства? Нисколько; а между тем это определение — самое распространенное и наименее несостоятельное. Говорим, *наименее несостоятельное* — потому что состоятельным признать его невозможно: хорошо определение, упускающее из виду главный отличительный признак предмета! Но если это определение несостоятельно и если мы знаем, почему оно несостоятельно, то какое же новое определение поставим мы на его место? Заметим прежде всего следующее

«Только господство накопленного, прошедшего, овеществленного труда над непосредственным, живым трудом превращает накопленный труд в капитал.

«Отличительный признак капитала заключается не в том, что накопленный труд служит живому труду средством для нового производства, — а в том, что живой труд служит накопленному труду средством для сохранения и увеличения его меновой стоимости». *Карл Маркс,* «Наемный труд и капитал», стр. 29 и 31.

[1]) *Примечание к настоящему изданию* (изд. «Шиповник»). До какой степени трудно современным экономистам усвоить себе взгляд на капитал, как на общественное отношение производства, показывает недавно вышедшее в свет интересное сочинение д-ра *Вальтера Якоби:* «Der Streit um den Kapitalsbegriff, seine geschichtliche Entwicklung und Versuche seiner Lösung», Iena 1908. См. особенно стр. 115, на которой г. В. Якоби предлагает свое собственное определение капитала. Это определение грешит именно тем, что упускает из виду производственные отношения, сообщающие известного рода *«имуществу физического или юридического лица»* способность приносить *«доход»* своему обладателю. Г. В. Якоби слона-то и не замечает. Но надо сознаться, что заметить «слона» значило бы погрешить против «хорошего тона».

в высшей степени важное обстоятельство: «капитал остается таким же капиталом, возьмем ли мы вместо шерсти хлопчатую бумагу, вместо ржи — рис, вместо железных дорог — пароходы, если только хлопчатая бумага, рис, пароходы, это тело капитала, имеют ту же меновую стоимость... что и шерсть, рожь, железная дорога, в которых он воплощался прежде. Тело капитала может постоянно изменяться, не причиняя этим ему самому ни малейшего изменения» [1]). И оно не только *может* измениться, не причиняя ему изменения, оно *должно* изменяться для того, чтобы капитал оставался капиталом. В процессе производства капитал является сначала в виде определенной суммы денег, которая и составляет первую фазу его превращений. Деньги употребляются затем на покупку необходимых для дела производительных средств; эти производительные средства составляют вторую фазу его превращений. Когда производительные средства находятся в наличности, начинается производство, в результате которого являются известные продукты — третья фаза превращения: продукты вывозятся на рынок для продажи, а с рынка капитал возвращается в карман своего обладателя опять в виде денег. Все эти метаморфозы так же необходимы для существования капитала, как для жизни животного необходим обмен веществ в его организме. И в каждой новой фазе своего превращения капитал остается таким же капиталом, каким был во всех предыдущих. Чем объясняется это его свойство? Тем, что всякий капитал представляет собою *известную меновую стоимость,* а для меновой стоимости решительно все равно, какой товар является ее носителем: «том сочинений Проперция и 8 унций нюхательного табаку могут быть одинаковой меновою стоимостью, независимо от различия потребительных стоимостей табака и элегий» [2]). — Но если всякий капитал непременно представляет собою меновую стоимость, то не всякая меновая стоимость есть капитал, так как не всякая меновая стоимость имеет способность обрастать «доходом». *Капитал есть меновая стоимость, ода-ренная способностью к совершенно, невидимому, произвольному возрастанию.* Входя в процесс производства в виде данной величины *A,* она выходит из него в виде новой величины *A + a.* Мы уже говорили, что это свойство капитала

служит его главным отличительным признаком. Теперь нам нужно посмотреть, откуда оно берется.

Мы уже знаем, что меновая стоимость есть определенная общественная форма труда, употребленного на производство вещи. Мено-

[1]) *Маркс,* «Наемный труд и капитал».
[2]) *Маркс,* «Zur Kritik», S. 4.

вые отношения товаров выражают собою взаимные отношения производителей в общественном процессе производства. Но если это так, то и капитал, эта меновая стоимость, получившая новое свойство возрастания, не может представлять собою что-либо другое, кроме общественных отношений производителей. Все его свойства, как и все свойства меновой стоимости, должны вытекать из особенностей, характеризующих отношения производителей в процессе производства. В этом смысле Маркс и говорит, что «капитал есть общественное отношение производства», и именно отношение, свойственное буржуазному обществу, «буржуазное отношение производства».

Чем характеризуется это отношение? Тем, что в обмен на средства к жизни рабочий продает предпринимателю свою рабочую силу, которая и употребляет в дело запасенные ее покупателем производительные средства. Приобретенная предпринимателем рабочая сила составляет его собственность совершенно так же, как пряжа, машина или какое-нибудь другое «средство производства». Рабочий поступает под власть капитала. «Накопленный», овеществленный в средствах к жизни, труд господствует, таким образом, над живым трудом работника, и только это обстоятельство делает накопленный труд капиталом. С какою целью покупает капиталист рабочую силу — известно всем и каждому. В процессе производства работник создает своим трудом стоимость, превышающую расход на покупку его рабочей силы пли, — что то же, — стоимость его заработной платы. Разность между новой, созданной работником, стоимостью и стоимостью его заработной платы называется *прибавочной стоимостью.* Эта прибавочная стоимость принадлежит предпринимателю и является источником того «дохода», который капитал приносит своему обладателю. Отсюда еще раз видно, что

свойства капитала обусловливаются в действительности отношениями *людей,* а не какими-нибудь таинственными свойствами *вещей,* употребляемых на дальнейшее производство и называемых в политической экономии производительными средствами. Мы видим также, что будто бы парадоксальное определение: «капитал есть общественное отношение производства» — вполне соответствует фактическому положению дела в буржуазном обществе. Если оно удивляет буржуазных экономистов, то это происходит единственно потому, что они, благодаря своим предрассудкам, не умеют пли не хотят проникнуть в сущность капиталистических отношений. Человеку, считающему буржуазный порядок самым лучшим и наиболее соответствующим «человеческой природе», не легко придти к тому заключению, что приятные и

похвальные свойства капитала проистекают в сущности из эксплуатации одного общественного класса другим, эксплуатации ни мало не похвальной и вовсе не приятной, по крайней мере для одного из этих классов. Так объясняются нападки буржуазных экономистов на данное Марксом определение капитала с точки зрения того, что Кант называл психологической логикой. С точки же зрения формальной логики, они объясняются просто тем, что буржуазные экономисты видели только поверхность общественно-экономиче-ской жизни, а потому почти никогда не были в состоянии до конца проследить взаимную связь общественно-экономических явлений [1]). Так, например, мы уже знаем, что Милль считал возможным и даже нужным рассматривать «законы производства» совершенно независимо от общественных отношений производителей. Но при таком приеме исследования ему не оставалось ничего другого, как довольствоваться совершенно ничего не определяющим определением капитала. Он и довольствовался им. По его словам, «капиталом называются те продукты труда, которые служат средствами для нового производства». Всегда ли, служащие для нового производства, продукты труда создают *прибавочную стоимость* — это было не ясно для Милля, да и самый вопрос об этом едва ли становился перед ним, что называется, ребром.

Рассматривая «капитал» независимо от общественных отношений производителей, мы, как и следовало ожидать, не открываем в нем решительно ни одного из тех неприятных свойств, с которыми приходится считаться пролетариату. В качестве «продуктов, употребляемых для дальнейшего производства», капитал есть нечто не только совершенно безобидное, но и необходимое, полезное, «вечное» и «разумное». С этой точки зрения всякие нападки на «капитал» оказываются вопиющею нелепостью. Чернышевский придерживался Миллевского определения капитала. Но в то же время он, как социалист, не мог не признавать правомерности борьбы наемного труда с капиталом. Это было противоречием с его стороны, — противоречием, которое он разрешал таким образом: «Отсталая школа неистощима в панегириках капиталу, — говорит он, — прогрессивная — в проклятиях ему. Но читатель без труда

[1]) *Примечание к настоящему изданию* (изд. «Шиповник»). Говоря это, мы имеем в виду не классиков буржуазной экономии, а главным образом их измельчавших эпигонов. Что касается нынешних субъективных экономистов, то их метод как будто нарочно придуман для того, чтобы сделать невозможным обнаружение причинной связи между экономическими явлениями. Эти светильники науки горят именно затем, чтобы ничего не было видно.

заметит, что тут идет дело не о том элементе производства, который называется капиталом в строгой науке, а собственно только о роли, какую при известных общественных условиях играют капиталисты» [1]). Это напоминает то различие, какое Родбертус пытался установить между капиталом «самим по себе» (Kapital an sich) и «историческим капиталом». Мы уже знаем, что в действительности характер и свойство капитала определяются именно тою экономическою ролью, которую капиталисты играют при общественных условиях, делающих их капиталистами. Отвлекаться от этой роли их значит добровольно закрывать глаза на природу капитала. Чернышевский и сам, по-видимому, чувствует, что принятое им определение капитала не вполне удовлетворительно. Ему хотелось бы заменить слово «капитал» каким-нибудь другим словом. Если он не сделал этого, то лишь потому, что не знал наперед, будет ли его книга «иметь в публике такое значение, чтобы могла утвердить право гражданства за столь большими нововведениями, как замена слова капитал каким-нибудь

другим термином» [2]). Мы не знаем, конечно, какой новый термин употребил бы Чернышевский, но уже из предыдущего видно, что этот новый термин вряд ли выражал бы общественную природу капитала. Он нужен был нашему автору именно затем, чтобы придать более подходящее выражение для той абстракции, с помощью которой буржуазные экономисты сводили понятие о капитале к понятию о средствах производства.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Заработная плата

I.

Следуя за Миллем в его определении капитала, Чернышевский следовал за ним и в учении о *заработной плате.* Он совершенно согласен с тем, что «рабочая плата главным образом зависит от отношения между запросом и предложением труда или, как часто говорят, между населением и капиталом». Читатель, несколько знакомый с историей экономической литературы, знает, какую роль играло в ней это учение, известное под именем учения о «фонде рабочей платы». Оно было

[1]) Сочинения, т. V, стр. 132.
[2]) Там же, стр. 135.

главным доводом в пользу солидарности интересов труда с интересами капитала. Когда растет капитал, растет также и фонд рабочей платы, т. е., та часть капитала, которая употребляется на наем рабочих, следовательно, увеличивается и спрос на труд, повышается заработная плата, — говорили вульгарные экономисты, — поэтому быстрый рост капитала составляет необходимейшее условие благосостояния рабочего класса. Все, что вредит первому, приносит страшный вред второму. Сознающий свои интересы рабочий класс должен, именно ради этих интересов, заботливо охранять интересы капиталистов. Борьба рабочих против капитала, даже такая борьба, которая, чуждаясь разрушительных утопий, ограничивается требованием более высокой платы, есть вредная для самих рабочих и притом совершенно безнадежная борьба. К повышению заработной

платы может повести только увеличение ее национального фонда, а подобного увеличения не достигнешь, конечно, посредством стачек и союзов сопротивления, которые, вредя капиталу, приводят к совершенно противоположному результату: уменьшают фонд рабочей платы и тем вызывают ее понижение. Развивая эту тему далее, можно, пожалуй, доказывать, что рабочий в интересах своего класса должен довольствоваться как можно более низкой заработной платой. В самом деле, положим, что в известной стране фонд рабочей платы равняется *а* рублей. Если в этой стране средняя плата работника равняется *б* рублям, то число рабочих, могущих найти занятие, будет равно *а* : *б.* Ясно, что если бы уменьшился знаменатель этой дроби, т. е. средняя заработная плата,— то возросла бы представляемая этой дробью величина, т. е. число нанимаемых рабочих. Если средняя заработная плата уменьшится на половину, то число могущих найти занятие рабочих станет вдвое больше прежнего. Следовательно, довольствуясь низкой платой, рабочий приносит пользу прежде всего своему же брату — рабочему. Возрастающее сознание интересов своего класса и товарищеские чувства должны были бы приводить рабочего именно к большей и большей умеренности относительно заработной платы. Если на деле происходит противное, то в этом виноваты разрушительные учения, к сожалению, имеющие слишком большое влияние на рабочий класс. — К таким выводам почти вплотную подходил сладкоречивый Бастиа.

II.

Учение о фонде рабочей платы придумано для укрощения рабочих. Каким образом Чернышевский мог не видеть его очевидной тенденциоз-

мости? Как мог он, при своем сильном логическом уме, не заметить свойственных этому учению вопиющих софизмов и бесстыдных натяжек? Ответ на эти вопросы заключается в указанном уже нами отношении социалистов-утопистов к буржуазной экономии. Раз навсегда произнеся приговор тому порядку, при котором труд является на рынке в виде товара, Чернышевский мало интересовался законами, определяющими цену этого товара. Силы его логики были направлены

исключительно на доказательство того положения, что труд не должен быть товаром [1]).

Да и трудно было обнаружить несостоятельность буржуазного учения о «фонде рабочей платы» с помощью свойственного нашему

[1]) Желая доказать, что труд *не должен* быть товаром, Чернышевский приводит такие доводы, которые идут гораздо дальше предназначенной им цели и оспаривают *самую возможность* того явления, которую ему хотелось устранить. «Мы нашли,— говорит он,— что понятие труда не должно соединяться с понятием о меновой ценности... Приписывать труду меновую ценность, значит сравнивать его с понятиями, посторонними для человека. Положим, например, что четверть пшеницы мы оценим в пять рабочих дней, имеющих по 12-ти часов. Это значит, что 60 часов человеческого труда мы ставим равными одной четверти пшеницы. Пусть читатель рассудит, годится ли ставить знак равенства между такими понятиями. Труд есть деятельность человеческого организма, не могущая быть подведенною к одному знаменателю ни с чем иным, кроме деятельности того же организма... Можно сравнивать между собою продукты труда; но нельзя сравнивать их с трудом: это — предметы несоизмеримые. Положим, что труд превращается в продукт, но все-таки сравнивать их друг с другом точно так же не следует, как не следует звук фортепиано сравнивать с деревом и железом, из которых возникает этот звук. Конечно чем больше труда, тем больше продукта; конечно, чем лучше труд, тем лучше и продукт, но точно так же, чем толще струна, тем сильнее звук, чем лучше металл и дерево, тем лучше звук. Мало ли какой предмет превращается в какой другой предмет или какое явление в другое явление, но, несмотря на происхождение одного из другого, все-таки нельзя же их сравнивать, если они совершенно разнородны». (Сочинения, т. V, стр. 439.) Итак, нельзя сравнить труд (т. е., вернее, рабочую силу) с продуктами труда. Но, с другой стороны, мы видим, что, продаваясь на рынке, рабочая сила постоянно «сравнивается) с ними. Как же объяснял наш автор это противоречие буржуазной практики с доводами «здравой теории ? Иногда он объяснял его ошибками рассудка: меновая стоимость должна совпадать с внутреннею и отклоняться от нее только *вследствие ошибочного признания труда за товар* (Там же, стр. 438), а иногда просто ограничивался тем замечанием что теория не должна смущаться отклонениями практики от ее требований. «Мало что бывает товаром на практике, — говорит он, — бывает товаром и любовь, бывает и труд. Но теория должна признавать обе эти функции человеческого организма такими принадлежностями его, власти над которыми сам человек не должен отнимать у себя, вроде того, как не может отказываться от права иметь свое мнение или действовать по собственному убеждению». (Там же, стр. 438.)

автору «гипотетического» метода. Примерные арифметические выкладки являются главным орудием этого метода. Такие выкладки по необходимости донельзя отвлеченны. Делая их, мы отвлекаемся от всех тех реальных условий, при которых совершается изучаемое явление. А в них-то и все дело. Само учение о «фонде рабочей платы» есть не что иное, как приведенная в защиту буржуазии примерная арифметическая выкладка. Арифметика не раскроет софизмов этого учения. Наоборот, ошибочность его бросается в глаза тотчас же, как мы покидаем область отвлеченного мышления и спускаемся на почву действительности. Теория рабочего фонда говорит, что спрос на груд, а следовательно, и высота рабочей платы, зависит от размеров этого

фонда. С отвлеченной точки зрения это кажется совершенно бесспорным. Но посмотрим на реальное положение дел. В данной стране в данное время существует известное количество средств производства, для приведения которых в действие нужно известное количество труда; какое именно — это зависит от степени развития техники: чем производительнее труд, тем меньшее количество его требуется для исполнения данной работы. Но при данном, определенном состоянии техники количество это является совершенно определенным. Спрашивается теперь, можно ли, при этих данных условиях, считать определенным то число рабочих, которые потребуются для употребления в дело средств производства? Вовсе нет, общее число их будет зависеть от того количества труда, какое удастся выжать предпринимателям из каждого из них в отдельности: чем больше труда будет выжато из каждого отдельного работника, тем меньшее число рабочих нужно будет для употребления в дело «капитала»; и наоборот, с уменьшением количества труда, выжимаемого из каждого отдельного работника, станет возрастать число «спрашиваемых» капиталистами «рук». А чем же определяется количество труда, выжимаемое из каждого отдельного работника? Само собою понятно, что оно определяется интенсивностью труда и продолжительностью рабочего дня. Вот мы и видим, что в действительности интересы труда вовсе не так солидарны с интересами капитала, как в этом старались уверить нас буржуазные экономисты. Капиталисту выгоднее увеличивать продолжительность рабочего дня и интенсивность труда (конечно, не его собственного, а труда его работников), а рабочим выгоднее сокращать рабочий день и уменьшать интенсивность своего труда: поступая таким образом, они увеличивают спрос на «руки», а увеличение спроса на «руки» ведет к повышению заработной платы. Тут нет никакой солидарности интересов труда с

интересами капитала, а *есть* прямая противоположность этих интересов, — противопо-ложность, более или менее ясно сознаваемая обеими сторонами, совершенно независимо от каких бы то ни было «разрушительных» учений. Стараясь выжать возможно большее количество

труда из своих рабочих, т. е. уменьшить потребное для них количество «рук», капиталисты вовсе не стесняются мыслью о том, что «национальный фонд рабочей платы» представляет собою, по словам их адвокатов, экономистов, определенную сумму стоимостей, которая должна будто бы целиком пойти на покупку рабочей силы. Капиталисты не боятся «сбережений», могущих остаться у них в случае сокращения издержек на рабочие «руки». Они умеют найти надлежащее употребление таким «сбережениям». Они или проживают их, или употребляют на расширение своих «предприятий», или, наконец, помещают их за границей.

Можно, пожалуй, заметить, что расширение национального производства и вывоз капиталов за границу выгодны для рабочего класса в том смысле, что они, здесь или там, увеличивают спрос на рабочую силу, Это так. Но соответствуют ли эти выводы тому, что сулит пролетариату теория «фонда рабочей платы»? Для расширения национального производства нужен не один только *переменный* капитал, т. е. капитал, употребляемый на покупку рабочей силы. Для этого нужен еще *постоянный* капитал, нужны средства производства. Таким образом, в случае расширения производства, «сбережения», сделанные капиталистами на счет заработной платы, вовсе не возвращаются целиком рабочему классу. Они возвращаются ему лишь частью, и притом частью, все более и более уменьшающеюся по мере того, как успехи техники увеличивают относительно размеры постоянного капитала. Притом же для расширения производства есть источник и помимо увеличения степени эксплуатации работника. Высшим классам стоит только сократить свое непроизводительное потребление, чтобы найти новые средства для расширения производства. Читатель знает, что называется теперь в науке прибавочной стоимостью. Это продукт неоплаченного труда работника, продукт того труда, который выжимается из него после того, как он уже отработал стоимость своей заработной платы. Чем больше относительная величина прибавочной стоимости, тем меньше относительная величина заработной платы, и наоборот. Теория «фонда рабочей платы» ничего не говорит об этом обстоятельстве, а между тем всякому понятно, что оно сводит на нет всю эту теорию. Оно

показывает, что «фонд рабочей платы» вовсе не есть неизменная величина. Его раз-

меры зависят от относительных размеров прибавочной стоимости: увеличьте ее относительные размеры — уменьшится заработная плата, и следовательно, и ее «фонд»; уменьшите эти размеры — «фонд» увеличится вследствие увеличения заработной платы. Таким образом мнимый «естественный закон» буржуазной экономии опять-таки сводится к вопросу о степени эксплуатации рабочего.

Так представляется дело, когда мы смотрим на него с точки зрения реальных отношений между производителями и присвоителями, между пролетариатом и буржуазией. С этой точки зрения самый вопрос о продаже рабочей силы является совершенно не в том свете, в каком он являлся Чернышевскому. Чернышевский думал, что рабочая сила несоизмерима с теми продуктами, на которые она обменивается на рынке. Но это не так. Рабочая сила имеет меновую стоимость, как и всякий другой товар. Уже буржуазные экономисты выяснили, чем определяется стоимость товара — рабочей силы. Она определяется количеством труда, «необходимого для поддержания жизни рабочего и для продолжения его расы». Меновая стоимость рабочей силы совершенно соизмерима с меновою стоимостью всякого другого товара. Конечно, не много хорошего в том порядке вещей, при котором рабочая сила человека фигурирует на рынке рядом с другими товарами. Но, осуждая его, мы не должны же закрывать глаза перед его законами. Отрицая соизмеримость рабочей силы с другими товарами, мы ничего не изменяем в фактическом положении обладателя этой силы, но зато затрудняем себе *понимание* этого положения. Чернышевский желал, чтобы рабочая сила перестала быть товаром. Это было очень хорошо с его стороны. Но, движимый своим похвальным желанием, он стал отрицать факт, с констатирования которого должно начинаться научное исследование вопроса о заработной плате. Это было уже большой ошибкой с его стороны. Но в этой ошибке нет ничего удивительного. Его понятия о стоимости вообще были, как мы видели, запутанны, а вследствие этого ему естественно было ошибаться и по вопросу о стоимости рабочей силы в

частности. Достаточно сказать, что он, вместе с Миллем, считал возможным излагать учение о заработной плате *прежде и независимо* от учения о стоимости.

III

Когда религиозного человека преследуют тяжелые и постоянные неудачи, он утешает себя надеждой на будущую жизнь. «Потерплю здесь на земле, бог вознаградит меня на небе», — рассуждает религиозный человек, и действительно терпит столько, сколько не смог бы вытерпеть,

лишившись своей веры. Но примиряющая с тяжелой судьбой вера в будущую жизнь возможна и без религии. По крайней мере, так думали вульгарные экономисты. Когда эксплуатируемые и угнетаемые капиталистами рабочие начинали обнаруживать недовольство своей участью, они рассказывали им чудные сказки о *«прогрессе».* По смыслу этих сказок выходило, что рабочему классу стоит только потерпеть немного в настоящем, чтобы обеспечить себе блестящее положение в будущем. «Прогресс непременно вознаградит их за все невзгоды, если они не замедлят его шествия революционными попытками. В своих панегириках прогрессу вульгарные экономисты часто и охотно ссылались на историю. Сравнивая прошлое с настоящим, они, разумеется, находили, что «прогресс» уже чрезвычайно много сделал для улучшения участи рабочего класса. Такой вывод предназначался для укрепления веры пролетариата в будущие благодеяния прогресса. Во всем этом было много шарлатанства, но не мало и простой наивности. Ограниченные, но признательные буржуа, веря во всемогущество своего благодетеля — прогресса, серьезно думали, что он может осчастливить рабочих, не нарушая интересов буржуазии.

Чернышевский хорошо знал, как мало цены имеют эти успокоительные рассуждения. Его не обманывали ни наивность, ни софистика вульгарных экономистов. Он подсмеивался над их оптимистическими уверениями и старался доказать, что, при нынешнем устройстве общества, экономический прогресс старается понизить заработную

плату. И он, разумеется, совершенно прав в этом случае; но доказательства, приводимые им в пользу своего мнения, как всегда, слишком отвлеченны и потому не всегда убедительны.

Напомнив читателю, что, по словам Милля, высота заработной платы зависит, между прочим, от привычек и требований рабочего класса, он спрашивает, чем же определяется уровень требований и привычек работника? «Весь избыток этого уровня над мерою физической необходимости порождается только уважением работника к самому себе, чувством собственного достоинства в нем, как мы знаем из разбора законов заработной платы у самого Милля. В чем же состоит результат экономического прогресса относительно общественного положения работников при нынешнем устройстве, отделяющем ренту и прибыль от рабочей платы? Коренная черта экономического прогресса с технической стороны — расширение производительной единицы по мере успехов сочетания труда; все отрасли производства постепенно принимают фабричный размер... От этого, соразмерно экономическому прогрессу, увеличивается пропорция наемных работников и уменьшается пропорция самостоятельных хозяев

в рабочих классах. Теперь спрашиваем, существует ли резкое различие по степени самоуважения между человеком самостоятельным и человеком зависимым, между хозяином и наемником? Да, это различие очень резко, сомневаться в этом не может никто, наблюдавший жизнь. Если человек получает 1.000 руб. дохода от собственного хозяйства, он чувствует себя чем-то гораздо более почтенным и высоким, чем когда получает такую же плату от какого-нибудь хозяина... Стало быть, если мы возьмем работника-хозяина и другого работника, получающего такой же доход от рабочей платы, то в работнике-хозяине (при равенстве других условий) непременно будет больше самоуважения. А если так, плата наемного работника не удержится на уровне дохода, получаемого работником-хозяином: она сравнительно с ним упадет в пропорции, равной тому, насколько меньше находится самоуважение в наемном работнике... Но этою первою степенью не кончается дело... Надобно только начать

падать отдельному ли человеку, целому ли сословию, в нравственных ли качествах, в благосостоянии ли, все равно, — раз начавшись, движение к худшему развивается уже само собою, как, наоборот, само собою развивается и всякое движение к лучшему, когда раз начнется. Раз научившись уменьшать свою требовательность, утрачивать часть своего самоуважения, рабочий класс пойдет путем уступок и понижения до последней крайности и остановится не раньше, как дошедши до невыносимого стеснения, если другие влияния не удержат его на этой скользкой дороге. Раз поставленный в необходимость привыкать к положению худшему прежнего, при замене своего независимого хозяйского дохода рабочею платою, работник легко допускает и дальнейшее уменьшение своего дохода посредством постепенного понижения рабочей платы»[1]).

Эта аргументация кажется нам самым лучшим образчиком свойственных Чернышевскому отвлеченных приемов исследования; она представляет собою, так сказать, торжество «гипотетического метода». Все рассуждение здесь сводится к одному силлогизму: величина рабочей платы зависит от степени самоуважения работника; работник начинает меньше уважать себя, когда становится *наемным* работником; следовательно, по мере развития системы наемного труда, рабочая плата понижается. Меньшая посылка этого силлогизма доходит до крайних пределов отвлечения ото всех конкретных условий жизни и развития привычек различных общественных слоев. Во-первых, верно ли то, что самостоятельный ремесленник имеет больше самоуважения, чем наемный работник? Мо-

[1]) Там же, стр. 523 — 524.

жет быть, это и верно для тех ступеней развития системы наемного труда, когда в работнике еще отсутствует классовое сознание. Но нельзя сказать, что в странах с развитым капиталистическим производством пролетарий отличается меньшим самоуважением, чем мелкий буржуа или мелкий ремесленник. Мы думаем даже, что в первом, наоборот, гораздо больше самоуважения, чем в этих последних. Но мы не будем спорить об этом. Допустим, что проникнутый сознанием своей экономической самостоятельности

мелкий буржуа проявляет больше почтительности к своей собственной особе, чем пролетарий. Но спрашивается, — это почтительное отношение к самому себе, которое вовсе еще не есть истинное самоуважение, как влияет оно на уровень потребностей мелкого буржуа, на его standard of life? Свойственное мелкому буржуа «самоуважение» ведет его к «бережливости», к урезыванию расходов на себя, к скопидомству. Такое скопидомство может, конечно, поддерживать до известной степени его экономическую самостоятельность, но оно ни в каком случае не может поднимать уровень его потребностей. У мелкого буржуа есть только одна потребность: — потребность отстоять свое существование в виде мелкого буржуа. Ради удовлетворения этой потребности он готов дойти хоть до китайского отсутствия всяких других потребностей. Напротив, пролетарий, не имея в огромнейшем большинстве случаев ни малейшей надежды стать самостоятельным хозяином, самим положением своим избавляется от одного из главнейших побуждений к скаредности. При равном заработке пролетарий, наверное, будет позволять себе больше расходов, чем мелкий буржуа, т. е. будет отличаться более высоким уровнем потребностей. Вот почему мелкий буржуа всегда склонен упрекать пролетария в расточительности. Если бы с развитием капитализма работнику угрожала единственно только упоминаемая Чернышевским потеря самоуважения, то можно было бы с уверенностью сказать, что его заработная плата совершенно обеспечена от понижения. Но дело в том, что при развитии капитализма его ожидают другие беды, имеющие гораздо более реальный и, притом, не психологический, а экономический характер. Мы сейчас увидим, какие это беды, но прежде обратим внимание на устанавливаемую Чернышевским пропорцию: «плата наемного работника не удержится на уровне дохода, получаемого работником-хозяином: она сравнительно с ним упадет в пропорции, равной тому, насколько меньше находится самоуважения в наемном работнике». Два члена этой пропорции целиком относятся к области психологии, другие два — к области экономии. Не говоря уже о том, что нельзя устанавливать математические отношения между психологическими явлени-ями, с одной стороны,

и экономическими — с другой, мы заметим, что «самоуважение» и все подобные, — в сущности очень сложные и до бесконечности видоизменяющиеся чувства, — как для своего возникновения, так и для своего практического проявления, предполагают ту или иную общественную среду, которую и должна анатомировать политическая экономия. Взятые сами по себе, такие чувства еще ровно ничего не объясняют.

Если бы Чернышевский, не довольствуясь психологическими абстракциями, с бóль-шим вниманием отнесся к законам экономического развития того общества, в котором труд является товаром, он увидел бы, что стремление заработной платы к понижению может быть доказано помимо всяких ссылок на самоуважение наемного рабочего. Он сам говорит, что «коренная черта экономического прогресса с технической стороны — расширение производительной единицы по мере успехов сочетания труда», и что «все отрасли производства постепенно принимают фабричный размер». Этой стороны дела ему и следовало держаться. Ему надо было посмотреть, как влияет постоянное развитие крупной промышленности на положение наемного труда в обществе. Ему следовало спросить себя, не ведет ли «экономический прогресс» к замене так называемого квалифицированного труда простым; более или менее обученного работника почти совершенно необученным; мужского труда — женским; взрослых людей — детьми. Ему следовало, далее, принять в соображение, что техническая сторона прогресса изменяет отношение между простоянным и переменным капиталом (при чем этот последний относительно уменьшается); что машина вытесняет рабочего, что в этом заключается новая причина уменьшения спроса на рабочую силу, а следовательно, — и рабочей платы. Оставаясь таким образом на твердой почве самых бесспорных экономических явлений, он не только придал бы более веса своим выводам о заработной плате, но и приобрел бы новые, в высшей степени ценные данные для оценки учения Мальтуса, которому он возражал очень остроумно, но в то же время слишком отвлеченно. Впрочем, об этом после.

Каковы бы ни были соображения, с помощью которых Чернышевский доказывал, что при современном порядке вещей экономический прогресс ведет к падению заработной платы, — соображения эти казались ему неопровержимыми. И все-таки он не решался утверждать, что заработная плата действительно понизилась в течение последних веков. «История экономического быта разработана еще так плохо, — говорит он, — что трудно сказать, какие заключения более соответствуют истине: толки ли рутинных экономистов о великолепном возвышении заработной платы

за последние столетия, или представляемые учеными прогрессивной школы доказательства, что средний уровень ее теперь ниже, чем был за сто, двести, за триста лет». Что же мешало ему согласиться с учеными прогрессивной (т. е. социалистической) школы, той школы, к которой он сам несомненно принадлежал, и с выводами которой, по-видимо-му, вполне совпадал его собственный вывод? От решительного заключения удерживало его здесь общее понятие о прогрессе, очень характерное для представителя русской передовой мысли шестидесятых годов.

Мы уже отметили сходство его взгляда на капитал со взглядом Родбертуса, различавшего «капитал сам по себе» от «исторического капитала». Нечто подобное этому различению существовало и в понятиях Чернышевского о прогрессе. Он как будто различал *прогресс «сам по себе»* от экономического прогресса. Если экономический прогресс стремится понизить заработную плату, то прогресс «сам по себе» препятствует осуществлению этого стремления. Вот как говорит об этом Чернышевский. «Может быть, что, несмотря на указываемую нами тенденцию, благосостояние рабочего класса в цивилизованных странах не понизилось, а возвысилось в последние столетия, благодаря силе обстоятельств, противодействующих понижающей тенденции. Ведь эти обстоятельства есть, и притом очень могущественные. Коренной источник их — развитие знания и улучшение понятий, цивилизация или общий дух того самого прогресса, который в одном из своих частных применений к быту, устроенному на несоответствующих ему основаниях, обнаруживает

тенденцию, совершенно противоположную своему собственному существу. Благодаря прогрессу понятий и знаний законы и учреждения улучшаются. Ведь теперь закон не дозволяет никому и с нищим-бездельником обращаться так, как обращался в XVI веке каждый привилегированный с зажиточным поселянином-собственником. Подозрительного бродягу допрашивают во Франции или в Англии не в таких грубых выражениях, как триста — двести лет назад говорили там с почтенным простолюдином, которому еще оказывали честь этим разговором. Мы не бог знает как восхищаемся этим и тому подобными успехами гуманности, потому что они все еще слишком малы и медленны. А все-таки, можно ли, не можно ли довольствоваться ими, они очевидны. Уважение к человеку, просто как человеку, независимо от его общественной роли, все-таки развивается законодательными реформами и смягчением нравов от распространения образованности... Мужчины менее прежнего грубо обращаются с женщинами, родители с детьми. А муж, который не бьет жену, уважает и самого себя больше, чем тот, который бьет ее. Ребенок, кото-

рый переносит меньше оскорблений, вырастает человеком, более сознающим свое достоинство. Таким образом, если работник, теряя положение хозяина, теряет часть уважения к себе, основанного на его общественной роли, и потому его доход подвергается влиянию понижающей тенденции, то, вообще говоря, с каждым поколением развивается в нем уважение к себе, как просто к человеку, и соразмерно тому обнаруживается тенденция прогресса возвышать его доход» [1]).

IV.

Итак, экономический прогресс понижает заработную плату, а цивилизация, прогресс вообще (прогресс «сам по себе») возвышает ее. Чернышевский не знает, какая из этих двух сил преобладала в новой истории Европы, и потому не решается сказать, выше или ниже теперь заработная плата, чем была сто — двести — триста лет тому назад. Мы заметили. что взгляд Чернышевского на прогресс вообще

очень характерен для него, как для представителя русской передовой мысли шестидесятых годов. И действительно, никогда у нас не говорили о прогрессе так много, как в шестидесятых годах, и никогда наши понятия о нем не были так отвлеченны, как в то время. Или нет, будем справедливее по отношению к великой эпохе шестидесятых годов; выразимся точнее: в то время у нас более, чем когда-либо, говорили о прогрессе, и потому тогда более, чем когда-либо, выступала наружу неясность наших о нем понятий. Чернышевский был самым замечательным литературным деятелем этой эпохи, вследствие чего у него заметнее и достоинства, и недостатки свойственного ей миросозерцания. Что такое прогресс вообще, независимый от экономического развития общества? «Развитие знаний и улучшение понятий», — говорит Чернышевский; цивилизация смягчает нравы работника, смягчение нравов поднимает его самоуважение, а развитие в нем самоуважения ведет к возвышению его дохода. О самоуважении, как о факторе повышения заработной платы, мы скажем то же, что сказали о нем, как о факторе ее понижения. Для деятельного проявления и даже для самого существования его необходима общественная среда. Самоуважение не сдвинет с места индивидуального организма без посредства мускулов и нервов. Как бы ни «уважал» себя человек, но если он разбит параличом, он не в состоянии владеть пораженными органами. Неужели «самоуважение», не могущее сдвинуть руку человека без помощи извест-

[1]) Там же, стр. 524.

ного анатомического аппарата, может влиять на его общественное положение без посредства общественных отношений или, — в данном случае, — *на его «доход»* без посредства экономических отношений? А если оно не может обойтись без их посредства, то о них необходимо было упомянуть, говоря о влиянии прогресса вообще на заработную плату. Правда, рассуждая об этих отношениях, мы вышли бы из области названного прогресса и вошли бы в область прогресса экономического. А так как мы знаем, что прогресс этого последнего рода стремится понизить заработную плату, то мы уже не могли бы ограни-

читься голым противоречием себе: не могли бы сказать, что он в то же самое время стремится ее возвысить. Подобное противоречие свело бы к нулю все наше исследование. Конечно, мы могли бы заметить, что, понижая заработную плату, экономический прогресс в то же самое время создает для рабочих возможность бороться против этого понижения путем рабочих союзов, стачек и путем классовой политической борьбы, налагающей некоторую узду на «бережливость» капиталистов. Это было бы вполне согласно с действительностью; но, говоря все это, мы оставались бы на почве фактических отношений и, вероятно, совсем позабыли бы о всяких психологических абстракциях, что, в свою очередь, было бы, конечно, очень полезно для нашего исследования.

Чернышевский утверждает, что современный общественный быт устроен на основаниях, не соответствующих прогрессу, но что, тем не менее, прогресс совершается вопреки этому быту. Не подлежит никакому сомнению, что буржуазный строй во многих и многих отношениях служит теперь препятствием прогрессу. Но он не всегда препятствовал ему, да и теперь еще, препятствуя ему в известных отношениях, он обусловливает его собою в других. Если бы это было иначе, если бы буржуазный строй всегда и во всех смыслах препятствовал прогрессу, то откуда же взялся бы и самый прогресс? Мы уже знаем ответ Чернышевского: прогресс создается развитием знаний. Но ведь есть же соответствие между общественной жизнью и общественной мыслью, между устройством общества и состоянием знаний в нем. В обществе, совершенно не способствующем прогрессу, невозможен и прогресс знаний, невозможно и «улучшение понятий», невозможно и смягчение нравов. Вообще, наши понятия о прогрессе до тех пор останутся отвлеченными и, следовательно, ошибочными и односторонними, пока мы не научимся искать источника его во внутреннем развитии общественных отношений. Чернышевский же рассматривал прогресс, как особую историческую силу, независимую от логики общественных отношений и даже способную действовать вопреки

ей. Русские люди не только долго не могли отделаться от этой ошибки, но усугубили ее разными «субъективными» соображениями о ходе прогресса. Вот почему и было бы совсем несправедливо приписывать эпохе шестидесятых годов наиболее ошибочные взгля-ды на этот счет.

Нам могут заметить, однако, что, выставляя самоуважение главной причиной изменения заработной платы в ту или другую сторону, Чернышевский не совсем упускал из виду и экономические отношения капиталистического общества. Вот, напр., что говорит он о влиянии промышленного прогресса на положение работника как потребителя. «При промышленном прогрессе мануфактурные продукты имеют тенденцию понижаться в ценности сравнительно с земледельческими продуктами: иначе сказать, ценность земледельческого продукта имеет тенденцию возвышаться сравнительно с одеждою и тому подобными предметами [1]). От дороговизны пищи развивается в простолюдине наклонность как можно больше урезывать свое продовольствие, и со временем эта скупость к самому себе относительно пищи доходит до чрезмерной степени. При известном промышленном развитии страны работники держат себя, можно сказать, впроголодь». Тут, действительно, мы имеем дело не с психологическими абстракциями. Тут указан чрезвычайно важный экономический факт, который, несомненно, сыграл очень важную роль в истории заработной платы. Но вместо того, чтобы проследить влияние этого факта на заработную плату в связи с другими экономическими условиями существования работника, наш автор тотчас же покидает почву экономии, чтобы опять перейти к психологическим соображениям. «Кто раз отказался от изобилия в пище, скоро привыкнет подчиняться нужде и во всех других отношениях, — рассуждает он. — Общий уровень его требований понизится. Сам себя он станет считать и общество будет считать его человеком, который должен урезывать все свои расходы, которому нужно только как бы то ни было жить, а не чтобы жить прилично. А мы знаем из Милля, что размер рабочей платы определяется степенью требовательности работника. С понижением ее падает и рабочая плата. Этот теоретический вывод совершенно соответствует фактам» [2]).

[1]) «Дело не в том, возвышается или не возвышается абсолютная стоимость производства земледельческого продукта,— оговаривается при этом Чернышевский. — Пусть она не возвышается, пусть она даже понижается, это все равно: важность в том, что стоимость производства мануфактурных изделий понижается быстрее, чем стоимость производства пищи».

[2]) Там же, стр. 527 — 529.

Он в самом деле совершенно соответствует им: заработная плата рабочих действительно постепенно падает, но причина ее падения лежит не там, где указывал ее Чернышевский. Она падает вовсе не потому, что рабочий считает себя человеком, осужденным на низкий заработок, а потому, что экономическая необходимость вынуждает его довольствоваться низким заработком. Если бы все дело сводилось к тому, кем и чем считает себя рабочий, то плата его наверное была бы очень высока, так как он во всяком случае считает себя человеком, которому нужно по возможности дорого продать свою рабочую силу. Все его горе заключается лишь в том, что по мере развития капитализма у него все менее и менее оказывается этой возможности. И происходит это по чисто экономическим, а не по психологическим причинам.

Некоторые из этих причин мы уже перечислили выше. Мы сказали, что промышленный прогресс ведет к *относительному* уменьшению переменного капитала, т. е. капитала, употребляемого на покупку рабочей силы. «С прогрессом накопления отношение постоянной части капитала к переменной изменяется таким образом: если первоначально оно равнялось 1:1, то затем оно равняется 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, 7:1 и т. д., так что с возрастанием капитала вместо ½ его общей стоимости превращается в рабочую силу прогрессивно только ⅓, ¼, $^1/_5$, $^1/_6$, $^1/_7$ и т. д., в средства же производства превращаются ⅔, ¾, $^4/_5$, $^5/_6$ и т. д. общей стоимости капитала. Так как *запрос на труд* определяется не размером всего капитала, а размером его переменной части, то, следовательно, он *прогрессивно падает с возрастанием всего капитала...* Он падает сравнительно с величиною всего капитала и притом в возрастающей профессии с возрастанием этой величины. С возрастанием всего капитала хотя и увеличивается переменная часть его, или соответствующая ей рабочая сила, но увеличивается в постоянно убывающем отношении... Это

относительное уменьшение переменной части капитала, ускоряющееся вместе с его ростом и притом быстрее его роста, при взгляде на дело с другой стороны, кажется, наоборот, более быстрым абсолютным ростом рабочего населения сравнительно с ростом переменного капитала, или тех средств, которые дают работу работникам. Вернее же сказать, что капиталистическое накопление постоянно, и притом прямо пропорционально своей энергии и своему размеру, производит *относительно-излишнее рабочее население,* т. е. население, излишнее сравнительно со среднею нуждою капитала в рабочей силе» [1]). Это излишнее

[1]) «Das Kapital», 3 Auflage, S. 645 — 646.

рабочее население было очень удачно названо Ф. Энгельсом запасной промышленной армией.

Как же отражается, как *может* отражаться это изменяющееся отношение составных частей капитала на движении заработной платы? Само собой ясно, что *запасная* промышленная армия, только временами принимающая участие в процессе производства, оказывает *беспрерывное* давление на *действующую армию* в смысле понижения заработной платы. А раз это так, то стремление заработной платы к падению становится очевидным совершенно независимо от каких бы то ни было отвлеченных психологических соображений. Но оно становится очевидным именно только с той конкретной точки зрения, с которой смотрят на общественно-экономическую жизнь социалисты нашего времени. С абстрактной же точки зрения Чернышевского, — которой противостояла не менее абстрактная точка зрения вульгарных экономистов, — дело представлялось в другом виде. При недостатке фактических данных поневоле приходилось вдаваться в отвлеченные и потому произвольные догадки, характер которых определялся не сущностью дела, а складом ума, привычками мысли исследователя [1]).

Говоря о влиянии экономического прогресса на заработную плату, Чернышевский, по примеру Милля, везде предполагает однообразный, ровный ход современной промышленности, не возмущаемый никакими пертурбациями. Такое предположение само является очень

произвольной абстракцией. В действительности процесс производства в буржуазном обществе никогда не идет ровным ходом: он подвержен революциям, возвращающимся с правильностью астрономических явлений и оказывающим глубокое влияние на положение наемного работника. Современная промышленность поочередно переходит через фазисы процветания, застоя и кризиса, и так как эта смена фазисов давно уже стала законом капиталистической промышленности, то нельзя говорить о заработной плате, не принимая во внимание промышленных революций. На это обстоятельство обращал внимание Маркс еще в 1847 году, в своей «Речи о свободной торговле». В «Капитале» он говорит об этом очень подробно. «В

[1]) *Примечание к настоящему изданию* (изд. «Шиповник»). Считаем не лишним поставить читателю на вид, что здесь речь идет у нас о понижении заработной платы, *как доли национального продукта.* При этом относительном уменьшении рабочий класс может *получать больше денег, нежели прежде, покупать* на данную денежную единицу *больше, нежели прежде, товаров* и все-таки быть *относительно беднее,* нежели он был раньше. Это наглядно показывает пример Америки. См. наш сборник *«Критика наших критиков»,* стр. 40 — 96.

конце концов, — читаем мы там, — общие колебания рабочей платы регулируются исключительно увеличением и сокращением промышленной запасной армии, сообразно смене периодов промышленного цикла. Они определяются, следовательно, не колебаниями абсолютного числа рабочего населения, а изменениями отношения, в котором рабочий класс распадается на действующую и запасную армии, увеличением и уменьшением относительного размера излишнего рабочего населения, степенью, в которой оно то поглощается, то вновь освобождается. Для новейшей промышленности, с ее деся-тилетним циклом и с ее периодическими фазами, которые, сверх того, с возрастанием накопления, прерываются все чаще и чаще неправильными колебаниями, поистине был бы очень странным законом такой закон, который регулировал бы запрос и предложение труда не расширением и сокращением капитала, т. е. не его потребностью в рабочей силе — потребностью, с изменением которой рынок труда оказывается то относительно недостаточным, когда капитал расширяется, то опять переполненным,

когда он сокращается — но который, напротив, ставил бы движение капитала в зависимости от движения народонаселения. Таково, однако, господствующее экономическое учение. По смы-слу этого учения рабочая плата повышается вследствие накопления капитала. Повышенная рабочая плата дает толчок к увеличению рабочего населения; и это продолжается до тех пор, пока не переполнится рабочий рынок, т. е. пока капитал не сделается недостаточным сравнительно с числом рабочих. Когда наступает такое время, ра-бочая плата понижается, и тогда выступает на сцену оборотная сторона медали. Вследствие падения заработной платы рабочее население мало-помалу редеет, так что в сравнении с ним капитал снова делается избыточным, или, как объясняют некоторые, падающая заработная плата и соответственно усиливающаяся эксплуатация рабочих снова ускоряет накопление, а между тем низкая рабочая плата, в то же время, мешает возрастанию численности рабочего класса. Таким образом предложение труда снова делается ниже запроса на труд и т. д. Какой прекрасный метод движения для развитого капиталистического производства! Прежде чем повышение платы приведет к положительному возра-станию населения, способного к работе, успевает много раз миновать тот период, в течение которого ведется промышленный поход, и должна произойти промышленная битва» [1]).

[1]) «Das Kapital», dritte Auflage, S.S. 654 — 656. В интересах точности мы цитируем немецкий подлинник.

На все это мы не находим даже намека в исследовании Чернышев-ского о заработной плате. В своих рассуждениях о ней он вполне довольствуется «господствующим экономическим учением», которое принимает во внимание лишь общее отношение капитала данной страны к ее абсолютному рабочему населению. Собственно говоря, он очень хо-рошо знает, что современная промышленность идет вовсе не по гладкому пути. Он не забывает о кризисах; его взгляд на них гораздо глубже и вернее, чем взгляд Милля, поверхностность которого доходит в этом случае до апогея. Но он не сопоставляет колебаний современной промышленности с движением заработной

платы. Впрочем, эту же ошибку делали многие из его современников-социалистов. Знаменитый «железный закон заработной платы» Лассаля представляет собою лишь несколько иную формулировку того самого учения, которого держался Чернышевский. Лассаль оттеняет лишь другие стороны этого учения. Откуда взялась разница в формулировке одного и того же закона у двух замечательных людей, одинаково отрицательно относившихся к существующему буржуазному порядку? Из различий в окружавшей их общественной обстановке. Лассаль преследовал непосредственно агитационные цели, он обращался к рабочей массе и вследствие этого так формулировал господствовавшее экономическое учение, что буржуазным экономистам показалось, будто они слышат о нем в первый раз в жизни. Они закричали, что Лассаль искажает выводы науки; но ему не трудно было показать, что в его «железном законе» не было нового ничего, кроме эпитета «железный». Чернышевский не мог говорить с массой, он писал для «умных и добрых людей» из высших классов, и потому обращался более к их рассудку, чем к их чувству, более рассуждал, чем агитировал. Он не столько оттенял «железные» свойства закона заработной платы, сколько показывал общую несостоятельность того порядка вещей, при котором трудящийся продает свою силу за какую бы то ни было плату, высокую или низкую, подверженную колебаниям или медленно изменяющую свой уровень, сообразно общему ходу «прогресса».

V.

Какую задачу преследовал Чернышевский при своем анализе заработной платы, показывают, между прочим, заключительные слова этого анализа: «Порядочную кипу рекомендаций в пользу трехчленной системы распределения (т. е. распределения национального дохода между

землевладельцами, капиталистами и наемными рабочими) доставил нам анализ одного из элементов этой системы (т. е. заработной платы). Посмотрим, что найдется в анализе двух остальных (т. е. прибыли и ренты)» [1]). Он именно стремился найти как можно более

«рекомендаций» в пользу буржуазного общества, т. е. показать, как мало соответствует оно требованиям «теории». Проверять найденные экономистами законы буржуазного хозяйства ему не было надобности. В этом отношении он вполне мог удовольствоваться открытиями буржуазной экономии, так как сами эти открытия уже достаточно хорошо «рекомендовали» буржуазное общество.

Зато в «рекомендациях» этому обществу наш автор положительно неистощим. Здесь он является во всеоружии своего полемического таланта, здесь на помощь ему приходит весь тот злой сарказм, силу которого так хорошо знали его литературные противники. «Очень милая вещь этот принцип трехчленного деления! — восклицает он. — Чем боль-ше вы всматриваетесь в него, тем яснее обнаруживается прелестная соответственность его с коренными идеями экономической науки. Если муж работает один, он получает известную плату. Если жена вместо пустой траты времени на вздорные дрязги станет работать дельным образом, подобно мужу, она вместе с мужем будет получать плату не больше той, какая прежде давалась одному мужу. Если дети станут помогать родителям, положение родителей и детей ни мало не улучшится. Какое прекрасное поощрение людям к тому, чтобы занимался дельною работою каждый, кто в силах заниматься ею, — какое хорошее возбуждение к труду и какая справедливая сообразность вознаграждения с количеством труда!» [2])

Обращая против буржуазных экономистов превозносимый ими принцип разделения занятий, Чернышевский иронически указывает на то, что принцип этот не вполне еще применяется к заработной плате. «В плате, получаемой работником, есть много элементов, кроме того элемента, который следует назвать рабочею платою в точном смысле этого слова, — замечает он. — Во-первых, в плату наемному работнику входит обыкновенно страховая премия в большем или меньшем размере. В плате матросу есть доля, служащая вознаграждением за небезопасность его ремесла. В плате носильщику, дожидающемуся нанимателя на углу улицы или на рынке, есть доля вознаграждения за то, что он рискует иной день остаться без работы. Во-вторых, всегда есть в рабо-

[1]) Там же, стр. 392.

[2]) Там же, та же стр.

чей плате элемент вознаграждения за затрату капитала на подготовление работника к делу... Взрослый работник получает известную долю платы собственно потому только, что взрослые работники вообще должны затрачивать часть своей платы на воспитание детей. Тут как будто бы круговая порука поколений: каждое поколение в рабочие годы вознаграждается за затрату капитала предыдущим поколением на его воспитание... Если полагать совершенство экономического устройства в существовании отдельного класса людей для каждого элемента, участвующего в производстве, то не следует останавливаться на трехчленном делении продукта, а надобно принять деление гораздо многосложнейшее: каждый из трех главных элементов производства распадается опять на несколько элементов. Страховая премия и вознаграждение за капитал — элементы, ставимые господствующей теорией под разряд прибыли [1]). Мы теперь видим, что они входят и в рабочую плату. Не следует ли желать, чтобы они отделились от нее, чтобы наемный работник получал именно только рабочую плату, плату в строгом смысле слова? Можно придумать такое устройство, при котором так и будет. Воспитанием детей и приготовлением молодых людей для специальных профессий может заняться особенный класс предпринимателей, которые и будут потом выручать затраченный на то капитал, отдавая приготовленных ими работников в наем на таком условии, чтобы работник отдавал им известную долю из получаемой платы. Не правда ли, такой порядок будет гораздо ближе соответствовать принципу разделения занятий, если принцип этот понимать в том смысле, в каком понимают его рутинные экономисты, т. е., что для каждого занятия должно быть отдельное сословие людей, уже ничем кроме того не занимающихся? А то посудите сами: наемный работник, кроме того что работает, воспитывает детей, — на что это похоже? Ведь одно занятие должно мешать другому, не правда ли?»

С такой же иронией говорит он и о выделении страховой премии из заработной платы. Он предлагает учредить особые компании, которые застраховывали бы работу для того работника, который согласится

выделять им часть своей платы. «Иначе наемный работник все еще остается не собственно только наемным работником, а какою-то смесью работника с страхователем и предпринимателем. Полное разделение занятий еще не достигнуто. Оно, конечно, если осуществить

[1]) Читатель видит, что Чернышевский выражается здесь неточно. Такой «элемент», как страховая премия, никак не может быть отнесен к элементам производства. Но не в том дело.

его, то наемный работник переходит в состояние человека, закабаленного капиталисту, его воспитавшему, и капиталисту, его застраховавшему. Но этим не следует смущаться: так и нужно для удовлетворения рутинному взгляду на принцип разделения занятий. Рутинные политико-экономы не смущаются такими пустяками, как переход работника из положения более самостоятельного в менее самостоятельное. Но вот беда: последовательным проведением их взгляда на принцип разделения занятий уничтожается и класс наемных работников. Человек, закабаленный другому чем бы то ни было, принимает экономический характер невольника... Конечно, до этого еще не дошло, да и не дойдет, потому что начинается поворот к другому устройству, противоположному этой форме, которая превозносится господствующею теориею. Не успев дойти до полного развития, она будет вытеснена из науки и жизни принципом совершенно иного характера. Но если бы она не встретила этого противника, она сама себя уничтожила бы своим развитием. Она привела бы к восстановлению невольничества под новым каким-нибудь видом» [1]).

Заканчивая разбор взглядов Чернышевского на заработную плату, мы считаем нужным указать одну черту его воззрений, не отмеченную нами прежде. Наш автор нигде не касается вопроса о продолжительности рабочего дня и о фабричном законодательстве. Этот вопрос как будто совершенно не существовал для него. Практическая, повседневно ведущаяся борьба труда с капиталом, со всеми ее перипетиями и со всеми ее чрезвычайно важными историческими последствиями, едва ли интересовала его более, чем почти других социалистов-утопистов [2]). Он не говорил о ней даже там, где самый ход исследования подводил его к ней, можно сказать, плотную. Вот,

например, он описывает, как пользуются предприниматели конкуренцией между ищущими занятий работниками для понижения заработной платы. «Положим, что труд

[1]) Том IV, стр. 390 — 398.

[2]) *Примечание к настоящему изданию* (изд. «Шиповник»). В этом отношении он весьма заметно отличается от Р. Оуэна, у которого он заимствовал, однако, многие свои взгляды на *«условия успешности труда».* Оуэн по всей справедливости может быть назван инициатором фабричного законодательства в Англии (ср. «Robert Owen» par *Edouard Dolleans,* Paris 1905, p.p. 91 и след.; ср. также «Robert Owen» von *Helene Simon,* Jena 1905, S.S. 96 и след.]. Но понятно, что в России, едва разделавшейся с крепостным правом и обладавшей лишь очень мало развитой капиталистической промышленностью, вопрос о фабричном законодательстве не мог иметь такого практического значения, какое имел он в Англии уже с начала XIX века. Поэтому он и в теории не привлекал к себе внимания Н. Г. Чернышевского.

вздорожал в Англии,— говорит он.— Нанимателя труда ищут дешевых работников и вызывают в Англию немцев или бельгийцев. Это факт известный и неизбежный при трехчленном делении продукта. Каждый раз, как работники в известной отрасли про-мышленности потребуют возвышения платы, нанимателя труда в Англии отвечают им: мы выпишем себе дешевых работников, — и действительно выписывают каждый раз, когда английские работники медлят отказаться от требований» [1]). Это верно. Английские капиталисты, подобно всем другим, действительно любят прибегать к указанному средству, как и вообще любят они заменять дорогие и требовательные «руки» — дешевыми и нетребовательными. Но уже английские Trade-Unions могли бы своим примером напомнить Чернышевскому, что в развитых странах работники принимают свои меры для противодействия капиталистической тактике. Сами по себе эти меры, разумеется, далеко не достаточны. Но они воспитывают рабочих, развивают их классовое сознание и тем подготовляют их будущую победу. В своем ответе Прудону Маркс уже в 1847 году подробно выяснил огромное историческое значение рабочих союзов сопротивления. Чернышевский обходил их молчанием в начале шестидесятых годов, накануне возникновения Международного Общества Рабочих, начавшего новую эпоху в истории пролетариата Старого и Нового Света. Тут мы опять видим неизбежное влияние на него среды, влияние отсталости русских общественных отношений.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Прибавочная стоимость

I.

«При трехчленном делении продукта, — говорит Н. Г. Чернышевский, — затраты на производство делает капиталист; за вычетом этих расходов остается ему из продукта доля, называющаяся прибылью. Она состоит из нескольких элементов. Часть ее служит капиталисту вознаграждением за то, что он обратил на производство свой капитал; эта часть называется в строгом смысле слова процентами на капитал. Из остающегося, за вычетом этих процентов, излишка прибыли часть служит вознаграждением за риск пред-приятия. Другая часть излишка служит вознаграждением за труд управления делом. Каждый из этих

[1]) Там же, стр. 388.

трех элементов прибыли очень часто отделяется от других. Капиталист имеет иногда наемного распорядителя, при котором сам уже вовсе не вмешивается в дело; этот распорядитель получает вознаграждение за ведение дела, а капиталисту остаются только проценты с капитала и страховая премия. Но часто предприниматель занимает на ведение дела капитал у другого капиталиста, которому и выделяет проценты, а сам получает только страховую премию и вознаграждение за управление делом, — если же имеет при этом наемного распорядителя, то одну только страховую премию. Чтобы велись про-мышленные дела при системе трехчленного деления продукта, прибыль должна иметь величину, достаточную на образование всех этих трех элементов прибыли в размере, какой нужен по состоянию данного общества в данное время. Но при разном состоянии общества величина каждого из трех элементов прибыли бывает очень различна» [1]).

Несколькими страницами далее наш автор говорит, что поземельная рента есть «только излишек прибыли, остающийся в некоторых случаях по некоторым отраслям производства» [2]). Затем из его объяснений видно, что прибыль на торговый капитал также рассматривается им, как часть прибыли вообще.

Из всего этого следует, что под предпринимательскою прибылью он понимает собственно *прибавочную стоимость,* т. е. всю ту часть создаваемой работниками стоимости, которая под разными названиями распределяется между различными категориями присвоителей плодов чужого, неоплаченного труда. Поэтому мы, при изложении его взглядов, будем заменять слово прибыль более точным выражением: прибавочная стоимость.

Как подразделяется прибавочная стоимость между различными категориями предпринимателей, об этом Н. Г. Чернышевский распространяется очень мало. Только относительно поземельной ренты мы находим у него более подробные объяснения. Что же касается других «элементов прибыли», то мы встречаем лишь некоторые общие замечания вроде того, что «в занятии более рискованном страховая премия стоит выше среднего уровня; в занятии особенно приятном вознаграждение распорядителю бывает ниже среднего уровня» [3]). Он даже не считает нужным объяснить, какие же это промышленные предприятия так приятны, что распорядители их довольствуются вознаграждением ниже среднего. Глав-

[1]) Сочинения, т. VII, стр. 393.
[2]) Там же, стр. 401.
[3]) Там же, стр. 394.

ное внимание его направлено на вопрос об уровне прибавочной стоимости. «Этот средний уровень сам то понижается, то возвышается»,— говорит он. От чего же зависит его величина? Ответ на это он заимствует у Милля, полагая, что «трудами английских экономистов, в особенности Рикардо, вопрос этот превосходно разъяснен, и у Милля, достойного ученика Рикардо, он изложен как нельзя лучше» [1]).

Как же, однако, изложен он у Милля? В приводимой Чернышевским выписке объяснения Милля начинаются указанием на происхождение прибавочной стоимости. «Человеку, незнакомому с наукой, представляется, будто бы прибыль коммерческого дела зависит от цен. Производитель или торговец получает свою прибыль, по-видимому, тем, что берет за свой товар больше, чем он стоил ему, и можно подумать, будто прибыль — результат покупки и продажи. Незнакомые с наукой

люди полагают, что будто производитель получает прибыль только оттого, что есть покупщики на товар; будто бы запрос, покупщики, рынок товара, вот причины выгод, получаемых капиталистами, которые продажею своих товаров возобновляют свой капитал и увеличивают его массу. Но думать так, значит смотреть только на внешнюю поверхность экономического механизма общества».

Мы просим читателя припомнить, как определяет Милль меновую стоимость товара. «Если оставить в стороне случайные элементы стоимости, то предметы, количество которых может возрастать неопределенно, естественным и постоянным образом обмениваются друг на друга по пропорции количества рабочей платы, какую надобно употребить на их производство (по мнению Милля все издержки производства сводятся к рабочей плате), и количеству прибыли, какая должна быть получена капиталистами, выдающими эту плату» [2]). Иными словами: «общее правило таково, что предметы имеют тенденцию обмениваться друг на друга по таким ценностям, которые оплачивают каждому производителю стоимость производства с обычной прибылью». Что же это значит? Это значит именно то, что «производитель получает свою прибыль тем, что берет за свой товар больше, чем он стоил ему», и что прибыль есть «результат покупки и продажи». Но ведь такой взгляд достоин только людей, «незнакомых с наукой»?! Да, так говорит Милль в главе о прибыли, а в главе о стоимости он высказывает как раз этот взгляд, недостойный людей науки. Как же разрешить такое странное,

[1]) Там же, стр. 394.

[2]) Мы выписываем это определение в переводе Чернышевского (Сеч. т. VII, стр. 451.)

такое вопиющее противоречие? Логического разрешения для него нет и не может быть, а психологическое объяснение есть и состоит в том, что, как мы уже говорили выше, в голове Милля очень часто и очень мирно уживались самые противоречивые взгляды на один и тот же предмет.

Что причина прибавочной стоимости заключается не в обмене, это понятно само собой, так как обмен не создает ровно никаких стоимостей. Но отсюда вовсе еще не следует, что в исследовании о

происхождении прибавочной стоимости мы можем закрывать глаза на законы обмена, т. е., следовательно, и на меновую стоимость товаров. «Причина прибыли та, — говорит нам Милль, — что труд производит больше, чем требуется на его содержание... Если капиталист возьмется кормить работников на условии получить продукт, то, кроме возвращения своей затраты, он получит несколько (sic) лишнего». Чего же именно «лишнего»? Продукта? Но ведь в своем непосредственном, вещественном виде созданный рабочими продукт несоизмерим с их «кормом». Как надо понимать нас, если мы скажем, что произведенный рабочими миткаль больше съеденного ими хлеба пли изношенной ими обуви? Хотим ли мы сравнивать аршины миткаля с пудами хлеба или с парами сапогов? Ясно, что для сравнения «корма» рабочих с созданным их рабочею силою продуктом нужно обратиться к *стоимости* того и другого. (Ниже мы увидим, что и сам Милль не считает возможным обойтись без этой апелляции к стоимости.) Следовательно, мы должны сказать, что прибавочная стоимость, или (как выражаются Чернышевский и Милль) прибыль, есть разность между стоимостью, созданной данной рабочей силой, и стоимостью «корма», который мы затратили на производство этой силы; а если мы захотим выразиться точнее, мы скажем, что прибавочная стоимость («прибыль») есть разность между стоимостью, созданной данной рабочей силой, и стоимостью этой силы. Но, выражаясь так, мы опять приходим к вопросу о том, чем же определяется стоимость. Милль говорит нам, что она определяется издержками производства данного товара в соединении с прибылью, которую должны принести эти издержки предпринимателю. Пользуясь этим определением для разрешения интересующего нас вопроса о «прибыли» (прибавочной стоимости), мы приходим к следующему поучительному выводу: величина прибыли определяется величиною стоимости того «лиш-него», которое произвели работники сверх стоимости своего «корма»; а стоимость этою «лишнего», как и всякого другого товара, определяется издержками его производства и прибылью, которую должны принести эти издержки. Прибыль зависит от стоимости, а стоимость от прибыли.

Это уже и само по себе мудрено; но еще более мудреным представится нам все дело, когда мы вспомним, что интересующее нас «лишнее» получается предпринимателем *сверх* сделанных им издержек, и, следовательно, ни о каких издержках его на производство этого «лишнего» не может быть и речи. Выходит, что, следуя определениям Милля, мы не только не попадаем на прямой путь для разрешения вопроса о «прибыли», но странствуем по такой логической кривой которую можно нашить *кривою двойной кривизны.*

Во всем исследовании Милля о «прибыли» верно лишь то, что для ее производства нужна известная степень производительности труда, позволяющая рабочим производить больше, чем необходимо для их содержания. Но если это показывает нам, — да и то сквозь густейший туман противоречий, — что «прибыль» производится неоплаченным трупом работников, то мы еще вовсе не видим, каким образом производство «прибыли» обусловливается механизмом буржуазного общества. В этом отношении Милль остался далеко позади Рикардо, который уже умел связать вопрос о производстве прибавочной стоимости с вопросом стоимости вообще. Чернышевский не замечает этих ошибок Милля Подкупленный его признанием относительно эксплуатации работника предпринимателем, он прощает ему как запутанность тех объяснений, которыми тот сопровождает это признание, так и другие нелепости, вроде того, что «во всем процессе производства, начинающемся материалом и орудиями труда и кончающемся готовым продуктом, все затраты состоят исключительно из рабочей платы», и что «вся та часть окончательного продукта, которая не составляет прибыли, служит возвращением капиталисту затрат, сделанных на рабочую плату». Чернышевскому кажется, что все это так и есть в действительности. Соглашаясь с Миллем по вопросу о происхождении прибыли, он не расхо-дится с ним и в указании причин, от которых зависит ее уровень.

II.

По словам Милля, «выигрыш капиталистов зависит исключительно от двух обстоятельств: во-первых, от величины продукта, иначе сказать, от производительной силы труда, и, во-вторых, от того, какую

часть этого продукта получают сами работники, от пропорции между вознаграждением работников и всею суммою, ими производимой. Эти два элемента служат данными, которыми определяется вся сумма, разделяющаяся в виде прибыли между всеми капиталистами страны. Но ве-

личина прибыли (Милль хочет сказать — ее уровень), процентное ее отношение к капиталу, определяется только вторым из этих элементов, — тем, какую долю получает работник, а не суммою, разделяемою между работником и капиталистом. Если продукт труда удвоится, и работники будут получать такую же пропорцию из него, как прежде, т. е. если их вознаграждение также удвоится, то капиталисты, правда, получат вдвое больше прежнего, но так как они затратили вдвое больше прежнего, величина их прибыли не увеличится, а останется прежняя». Затем Милль замечает, что для определения уровня прибавочной стоимости («прибыли») имеет значение, собственно, не рабочая плата, а стоимость труда, т. е. стоимость рабочей силы. «Дешевый труд может быть неуспешен... — говорит он. — Вознаграждение земледельческого работника на западе Ирландии не превышает половины самой низкой платы, какую получает английский работник, — платы дорсетширскому работнику. Но если по меньшему своему искусству и усердию ирландец в два рабочие дня исполняет работы не больше, чем английский работник в один день, то труд ирландца стоит не дешевле, чем труд англичанина, хотя сам ирландец получает гораздо меньше». Мы видим теперь, что сам Милль не считает возможным определить уровень прибавочной стоимости без апелляции к стоимости вообще. И, конечно, лучше поздно, чем никогда, но плохо то, что он ограничивается лишь соображениями о «стоимости труда», забывая о стоимости создаваемого трудом продукта. Одно из обстоятельств, от которых зависит, по его словам, общая сумма прибыли (прибавочной стоимости), есть «производительная сила труда». Это не точно. *Прибавочная* стоимость, как стоимость, по природе своей ничем не отличается от всякой другой стоимости. Эпитет — *прибавочная* указывает не на природу, а на происхождение ее. Это ясно без пояснений. Чем

определяется стоимость данного товара? Количеством труда, нужного на его производство. Если это количество, вследствие технических усовершенствований, т. е. вследствие возрастания производительности труда, станет вдвое меньше, то уменьшится вдвое и стоимость товара. Величина стоимости данного товара обратно пропорциональна производительности труда в той отрасли промышленности, которая производит этот товар. Следовательно, производительность труда еще не определяет нам размеров прибавочной стоимости. От нее зависит количество предметов, представляющих эту стоимость, но не величина самой стоимости. Чем же определяется, в таком случае, величина прибавочной стоимости? Да тем же, чем определяется величина стоимости вообще, то есть *грузом.* Труд, воплощенный в при-

бавочной стоимости, имеет лишь ту особенность, что он есть *неоплаченный труд,* — труд, присваиваемый предпринимателем *задаром.* Но это не изменяет природы труда: оплаченный или неоплаченный, он одинаково является единственным источником стоимости. Следовательно, размеры прибавочной стоимости зависят от того количества неоплаченного труда, которое удается предпринимателям выжать из рабочих. Если мы предположим, что количество этого труда остается неизменным, то величина прибавочной стоимости также останется без изменения, хотя бы производительность труда росла как нельзя более быстро.

«Если продукт труда удвоится,— уверяет Милль,— и работники будут получать такую же пропорцию из него, как прежде, т. е. если их вознаграждение также удвоится, то капиталисты, правда, получат вдвое больше прежнего, но, так как они затратили вдвое больше прежнего, величина их прибыли не увеличится, а останется прежняя». Все это рассуждение есть настоящий Гордиев узел всяческих запутанностей. О каком удвоении продукта говорит Милль? Это ясно из предыдущего: он говорит об удвоении продукта, происходящем вследствие возрастания производительности труда. Но если это возрастание происходило при прочих равных условиях, то оно не вело за собою ни малейшего изменения ни в величине прибавочной

стоимости, ни в величине стоимости рабочей силы. Значит, чего же именно капиталисты «получат вдвое больше прежнего»? Если не прибавочной стоимости, то... чего же? Тех продуктов, на которые они обменивают свою прибавочную стоимость. Другими словами: при тех же размерах прибавочной стоимости, при том же количестве выжатого из рабочих неоплаченного труда, эти люди, по выражению Адама Смита, жнущие там, где не сеяли, получат возможность жить вдвое лучше прежнего точно так же, как ведущий естественное хозяйство помещик получил бы возможность жить вдвое лучше прежнего, если бы его крепостные, работая на него по-прежнему известное число дней в неделю, стали производить в эти дни вдвое больше, чем прежде. Но раз это так, то каким же это образом капиталисты ухитрятся затрачивать на производство вдвое больше прежнего? Не ясно ли, напротив, по всему смыслу нашего предположения, что стоимость их затрат остается неизменной? Милль хочет сказать, что работники получат возможность жить вдвое лучше прежнего (для него ведь все расходы производства сводятся в последнем счете к затратам на покупку рабочей силы). Понимаемый таким образом, он, разумеется, прав. Но улучшение материального положения работников

будет результатом увеличения производительности труда, а не затрат, делаемых капиталистами.

А может быть, говоря об увеличении продукта (т. е. всего вообще национального продукта), Милль имеет в виду увеличение его стоимости? В таком случае его гипотеза об увеличении производительности труда сводится к тому предположению, что работники данной страны произвели продукт, имеющий вдвое бóльшую стоимость. Остановимся на этом предположении [1]).

Чтобы произвести вдвое большую стоимость, работники должны затратить вдвое больше труда. Это возможно при двух различных условиях: или 1) при удвоении числа эксплуатируемых работников, или 2) в том случае, когда работники, не увеличиваясь в числе, станут трудиться вдвое больше прежнего. Разумеется, возможен и третий случай: большее или меньшее увеличение числа работников,

сопровождаемое большим или меньшим увеличением труда, приходящегося на долю каждого из них; но совершенно бесполезно рассматривать этот случай, так как он ничего не прибавит к пониманию предмета. Итак, посмотрим, что будет, если продукт, имеющий вдвое большую стоимость, будет произведен трудом вдвое большего числа рабочих. Милль предполагает, что с увеличением продукта не изменяется подразделение его на рабочую плату и стоимость: если прежде на прибавочную стоимость приходилась, скажем, половина всей суммы продукта, то и теперь будет то же самое. Следовательно, на заработную плату также будет приходиться теперь, как и прежде, половина продукта. Так как стоимость всего продукта увеличилась вдвое, то и та часть его, которая представляет собою заработную плату, будет иметь вдвое большую стоимость. Но эта вдвое большая стоимость делится между вдвое большим числом рабочих. Следовательно, заработная плата каждого из них в отдельности остается неизменной в смысле своей стоимости. А что же будет с капиталистами? Присваиваемая ими прибавочная стоимость будет вдвое больше преж-него; иначе сказать, они будут присваивать теперь вдвое большее количество чужого не-оплаченного труда. Уровень прибавочной стоимости останется неизменным, но эксплуатация рабочего класса возрастет на сто процентов в смысле количества подвергающегося ей

[1]) В стоимость продукта данного года всегда входит, как очень значительная составная часть, стоимость средств производства, созданных трудом предыдущих лег. Но мы, для простоты рассуждения, оставляем эту часть без внимания, т. е. называем продуктом данного года лишь ту часть стоимости национального годового продукта, которая произведена трудом данного года.

живого материала. У Милля этот неизбежный вывод скрывается за рассуждениями о том, что хотя капиталисты получат вдвое больше, «но так как они затратили вдвое больше прежнего (т. е., купили вдвое больше рабочей силы), то величина (уровень) их прибыли не увеличится». Действительно, уровень прибавочной стоимости не изменится, если не изменится отношение ее к рабочей плате. Но что же такое — отношение ее к рабочей плате? Это именно и есть ее уровень. Значит, уровень ее не изменяется, если остается неизменным. Грешно было бы утверждать, что этим сказано очень много!

Теперь — другой случай. Прежнее число работников, трудясь вдвое больше прежнего, производит вдвое бóльшую стоимость. Отношение прибавочной стоимости к заработной плате не изменяется. Рабочие получают теперь вдвое бóльшую стоимость в виде заработной платы, капиталисты вдвое бóльшую прибавочную стоимость. Об этом случае Милль опять скажет нам, что так как капиталисты затратили вдвое больше, то они, и проч. и проч., словом, что уровень прибыли не изменится. Но ведь это мы знаем и без него, это стоит в условиях задачи. Нам интересно знать, к каким последствиям ведет в предложенном нами случае «увеличение продукта». Вдумаемся же в них внимательнее. Прибавочная стоимость создается неоплаченным трудом рабочих. Прибавочная стоимость в рассматриваемом случае оказалась вдвое больше, чем была прежде. Следовательно, гг. капиталисты выжали из рабочих вдвое большее количество неоплаченного труда. Число рабочих осталось без изменения. Следовательно, из каждого рабочего гг. капиталисты выжимают теперь вдвое больше дарового труда. Это очень немаловажное обстоятельство. Но Милль ни одним словом не намекает на то, что национальный продукт ростом своим, может быть, обязан увеличению именно этого рода «производительности» труда, т. е. увеличению выгодных сторон эксплуатации.

Маркс сказал бы, что Милль смешивает труд, как источник вещественного богатства, с трудом, как источником стоимости. Различение этих двух понятий существенно важно для объяснения самых коренных законов буржуазного хозяйства. Правда, только Марксу удалось вполне выяснить различие этих понятий; до него экономисты постоянно путались в них, незаметно для себя подставляя одно вместо другого. Но у Милля и в этом случае путаницы несравненно больше, чем у классических представителей буржуазной экономии.

Увеличение производительности труда играло очень важную роль в историческом увеличении уровня прибавочной стоимости. Удешевляя

предметы, необходимые для существования работников, оно тем самым уменьшало стоимость рабочей силы и давало продавцам этой силы, пролетариям, фактическую возможность довольствоваться все

меньшею и меньшею долею национального продукта. Но само собой разумеется, что мы ничего не разберем в этом явлении, если будем путать понятие о вещественном богатстве с понятием о стоимости.

III.

Изложив учение Милля о «прибыли» и согласившись с ним, Чернышевский находит, однако, нужным сделать к нему пополнение, которое он считает очень важным. Сущность этого пополнения сводится вот к чему.

По учению Мальтуса, бедность рабочего класса происходит от излишнего размножения, оттого, что люди размножаются быстрее, чем средства их существования. Но можно представить себе такое положение дел: средства существования растут очень быстро, как и все вообще богатство страны; население размножается далеко не так быстро или даже совсем не размножается, а между тем заработная плата падает, рабочий класс все более и более беднеет. И такое положение дел непременно явится в том случае, если прибавочная стоимость станет расти быстрее, чем растет вся сумма национального продукта. В этом случае прибавочная стоимость, очень скоро поглотив весь прирост национального богатства, начнет делать все бóльшие и бóльшие захваты из той доли, которая достается рабочему классу. Следовательно, бедность рабочего класса будет происходить в этом случае не оттого, что продуктов мало, а оттого, что распределяются они слишком неравномерно, не от слабости производительных сил, а от неудовлетворительности распределения. На первый взгляд это положение дел представляется чисто гипотетическим. Но стоит только всмотреться в быт цивилизованных стран, чтобы видеть, до какой степени подобная гипотеза соответствует действительности. Во всех цивилизованных странах прибавочная стоимость «имеет постоянную тенденцию развиваться до того, чтобы захватывать как можно бóльшую долю из фонда рабочей платы; она стремится поглотить весь этот фонд и останавливается в таком стремлении лишь материальною невозможностью для работника существовать иначе, как при известной величине рабочей платы. Странно приписывать

бедность рабочего класса его излишнему размножению, когда она объясняется совершенно другими причинами; странно

размножению приписывать те бедствия, которые совершенно достаточно объясняются современным распределением продуктов и необходимо из него вытекают. На эту сторону вопроса не обратил внимания никто из экономистов Смитовской школы, поэтому никто из них не умел правильно взглянуть и на учение Мальтуса.

Мы изложили мысль Чернышевского не теми словами, какими она изложена у него самого. Но мы вполне уверены, что передали ее правильно. И всякий, кто имеет хоть некоторое понятие о нынешнем состоянии экономической науки, скажет, что в общем нельзя не согласиться с нею. В настоящее время не может быть никакого сомнения в том, что бедность пролетариата обусловливается не *законами природы, а общественны-ми отношениями.* Если бы рабочий класс совершенно перестал размножаться, то развитие капитализма все-таки привело бы к образованию относительного избытка населения и ко всем связанным с ним бедствиям [1]). Бедность современного пролетариата есть бедность совершенно особенного рода. Она развивается *рядом* с развитием национального богатства и *вследствие* его развития. Законы размножения людей не только не объясняют этой бедности, но, поскольку дело идет о размножении в существующем обществе, сами объясняются ею, так как количество рождений повсюду стоит в тесной связи с общественными отношениями, «абстрактные же законы размножения существуют только для животных и растений». Ничего этого действительно не подозревали экономисты Смитовской школы, по крайней мере, до Рикардо, у которого есть уже некоторое понимание причин относительного перенаселения в капиталистическом обществе. Таким образом, Чернышевский в общем прав. Но в подробном развитии его мысли заключается не мало ошибок.

IV.

Бедность рабочего класса зависит от того, что прибавочная стоимость захватывает все бóльшую и бóльшую долю национального

продукта. Это так. Но от чего же зависит это верно указанное обстоятельство? От того, отвечает Чернышевский, что прибавочная стоимость имеет свойство расти по геометрической пропорции. «Каждому известно, с какою огромною силою растет капитал, когда проценты

[1]) *Примечание к настоящему изданию* (изд. «Шиповник»). Как это мы видим в современной Франции, где размножение совсем остановилось, отнюдь не устранив этим «бедности».

прилагаются к первоначальной сумме и снова дают на себя проценты». Следует таблица, показывающая рост капитала при различных величинах прибыли от 10 до 40%. «Возможно ли коммерческому человеку получать по 40% чистой прибыли? — спрашивает Чернышевский. — Да, это очень возможно; иначе не было бы примеров тому, что, начав свои торговые обороты лет в 20 с какою-нибудь сотнею рублей, человек становится в 50 лет миллионером... Но не будем останавливаться на этих 40%, не будем останавливаться ни на 35%, ни на 30%, ни на 25%, ни даже на 20%, — остановимся только на 15% чистой прибыли... При этом проценте, который ниже обыкновенного, капитал в течение одного поколения возрастает в 66 раз. Спрашиваем теперь, бывало ли когда-нибудь, чтобы сумма богатств, принадлежащих нации, возросла в течение каких-нибудь 30 лет, — не говорим в 66 раз, а хотя в 30 раз, хотя в 20 раз?» На этот вопрос дается отрицательный ответ: национальное богатство не может возрастать в такой быстрой степени. Следовательно, прибыль постоянно поглощает все бóльшую и бóльшую, и бóльшую часть продукта, — заключает Чернышевский. Вот его собственные слова. «Мы знаем, что величина прибыли (следовало сказать: прибыль) есть остаток продукта за вычетом рабочей платы... Мы видим, что одна из двух долей продукта растет гораздо быстрее, чем вся сумма продукта. Это значит, что другая доля продукта уменьшается» [1]).

Чтобы сделать свои доводы более наглядными, Чернышевский приводит новую таблицу, из которой видно, как будет изменяться по десятилетиям распределение национального продукта, — который первоначально равнялся 10.000, — если ежегодный процент его возрастания принять равным 6,15, а ежегодный процент прибыли —

10,5; причем прибыль первоначально составляет лишь десятую часть продукта, т. е. 1.000. Вот эта таблица [2]). (См. табл. на стр. 147.)

По поводу этой таблицы Чернышевский замечает, что представленный ею ход дел будет в сущности одинаков как в том случае, если население не размножается, так и тогда, когда оно остается постоянным. «Разница лишь в том, что при неразмножающемся населении рабочая плата сначала возвышалась бы значительнее, чем при размножающемся» [3]). Чтобы понять это замечание, нужно помнить, чем определяется у него величина заработной платы: она есть частное, происходящее от деления фонда рабочей платы на число работников. Фонд же

[1]) Там же, стр. 400.
[2]) Там же, стр. 401.
[3]) Там же, стр. 403.

Годы.	Сумма продукта.	Сумма прибыли.	Сколько из суммы продукта остается на рабочую	Какую долю из суммы продукта составляет сумма прибыли.	Какая доля из суммы продукта остается на рабочую плату.
1-й	10.000	1.000	9.000	10%	90%
11-й	18.171	2.714	15.457	15	85
21-й	33.019	7.681	25.333	22	78
31-й	60.000	20.000	40.000	33	67
41-й	109.030	54.288	54.492	48	52
51-й	198.120	147.360	50.760	74	36
61-й	360.000	400.000	—40.000	111	—11

рабочей платы есть разность, происходящая от вычитания прибыли из годового продукта страны. Ясно, что число работников не влияет на величину прибыли, а между тем в этой величине все дело: фонд рабочей платы уменьшается единственно потому, что прибыль делает из него все бóльшие и бóльшие захваты. Для простоты расчета мы остановимся на том случае, когда население не размножается. Но прежде, чем приступить к каким-нибудь расчетам, мы просим читателя вдуматься в общий характер доводов нашего автора.

Откуда берется процент на капитал? Из прибавочной стоимости. Величина той части прибавочной стоимости, которая распределяется между капиталистами в виде процентов на их капитал, а следовательно, и высота процента, зависит от многих условий, в рассмотрение которых мы входить не станем [1]). Для нас важно лишь то, что возвышение процента, платимого по ссудам, еще не указывает на увеличение общей суммы прибавочной стоимости. Если бы в какой-нибудь стране обычный процент возрос с 3 до 6, то это, разумеется, не означало бы, что в этой стране удвоилась общая сумма прибавочной стоимости. Эта перемена могла произойти просто вследствие того обстоятельства, что изменилось распределение данной суммы прибавочной стоимости: в качестве процентов на капитал стала отделяться от нее вдвое большая часть,

[1]) *Примечание к настоящему изданию* (изд. «Шиповник»). См. «Das Kapital, III Band, I Th. S. 322 и след.

чем отделялась прежде. Это ясно. Пойдем далее. Если процент, платимый по ссудам, равняется в данной стране десяти, то значит ли это, что капитал этой страны увеличивается ежегодно на десять процентов? Если лица, получающие такой процент, проживают весь свой доход, и если, кроме того, все остальные части прибавочной стоимости (рента, предпринимательская прибыль, прибыль на торговый капитал) также проживаются своими получателями, то нет никаких оснований для роста национального капитала. Правда, приносимая им прибавочная стоимость может возрастать, несмотря на все это, просто вследствие того, что увеличится относительное количество дарового труда, высасываемого им из рабочих. Но мы не принимаем пока во внимание этого обстоятель-ства, мы предполагаем пока, что общая сумма прибавочной стоимости зависит единственно от общей суммы капитала, как предполагает это и Чернышевский. Итак, что же будет у нас, если вся прибавочная стоимость проживается гг. присвоителями? Национальный капитал не будет возрастать, а следовательно, не будет расти и сумма прибавочной стоимости, каково бы ни было и как бы ни изменялось ее подразделение на процент, торговую прибыль и пр. ... Но если часть приба-

вочной стоимости данного года присоединяется к капиталу следующего года, то, по нашему предположению, увеличится и приносимая им прибавочная стоимость. Прибавочная стоимость второго года будет больше, чем прибавочная стоимость первого года? Каков же математический закон ее увеличения? Прибавочная стоимость второго года будет во столько раз больше прибавочной стоимости первого года, во сколько капитал второго года больше капитала первого года. А во сколько же раз капитал второго года больше капитала первого года? Этого мы не знаем, это зависит от того, как велика была присоединившаяся к капиталу второго года часть прибавочной стоимости. Положим, что прибавочная стоимость, получаемая присвоителями в конце первого года, равняется миллиарду рублей. Предположим, что этот наш миллиард рублей составляет 50% *всего* национального капитала [1]), Предположим также, что весь этот миллиард рублей употреблен гг. присвоителями на непроизводительное занятие «прожигания жизни», и от этой колоссальной . траты спасено только сто рублей, которые присоединены к национальному капиталу. Согласно нашему предположению прибавочная стоимость второго года должна будет увеличиться на пятьдесят рублей (пятьдесят % с нового капитала в сто рублей). Это значит, что прибавочная

[1]) Мы умышленно берем этот высокий уровень прибавочное стоимости.

стоимость второго года будет во столько раз больше прибавочной стоимости первого года, во сколько миллиард + сто больше миллиарда. Если вам не лень прибегнуть к «математическому методу», то вы легко можете высчитать *процент* этого увеличения. Вы увидите, что он во много и много раз меньше того процента, который получается у вас при сопоставлении общей суммы прибавочной стоимости с общей суммой капитала. Этот последний процент равнялся *пятидесяти,* а тот первый процент будет равняться одной десятитысячной (0,0001). Что же это значит? Это значит, что при предположенных нами условиях процент ежегодного возрастания прибавочной стоимости вовсе не равен процентному отношению общей суммы прибавочной стоимости к общей сумме национального

капитала. В каком же случае он может сравняться с ним? В том случае, если *вся* прибавочная стоимость данного года присоединяется к капиталу следующего года. Так ли это? *Мы увидим, что это не совсемп так,* но Чернышевский предполагает, что это так, *и мы не хотим пока вступать с ним в спор.* Но все-таки мы просим заметить наш вывод: процент возрастания прибавочной стоимости равняется процентному отношению общей суммы ее к общей сумме капитала только тогда, когда вся прибавочная стоимость данного года присоединяется к капиталу следующего года. Держа в памяти этот вывод, обратимся к таблице нашего автора.

Что мы видим в ней? Мы видим, что прибавочная стоимость, первоначально равнявшаяся тысяче, по прошествии сорока лет равняется уже 147.360. При каком условии возможно такое возрастание? Именно при только что указанном условии, т. е. когда прибавочная стоимость целиком прилагается к капиталу. Но это значит, что капиталисты ничего не тратят на свою жизнь, и притом ничего не тратят в течение *сорока лет.* Чем же живут они, как поддерживают они свое грешное существование? Неизвестно; однако факт тот, что они не потратили на себя за это время ни одного атома прибавочной стоимости. Но чтобы не тратить на себя ничего в течение сорока лет, капиталистам нужно было не иметь никаких потребностей. А кто не имеет никаких потребностей, тому нет надобности и в эксплуатации рабочих.

А, впрочем, может быть, мы ошиблись? Посмотрим еще раз на таблицу Чернышевского. Первоначальная прибавочная стоимость равняется в ней одной тысяче. Значит, был же капитал, принесший эту тысячу. Как велик он был? Чернышевский ничего не говорит об этом. Но, предполагая, что ежегодный процент возрастания прибавочной стоимости равняется выраженному в процентах отношению общей суммы

ее к общей сумме капитала, мы находим, что капитал, принесший прибавочную стоимость в одну тысячу, равен 9.523,8. Куда же девался этот капитал в нашей таблице? Очевидно, он перестал приносить прибавочную стоимость, потому что в таблице фигурирует лишь та

прибавочная стоимость, которая получается вследствие роста (по сложным процентам) первоначальной прибавочной стоимости в одну тысячу. Значит капиталисты перестали употреблять его в производство. Что же они сделали с ним? Может быть он-то и поддерживал их существование за все те десятки лет, к которым относится расчет Чернышевского? Если это так, то позволительно спросить, как сохраняли и в каком виде потребляли этот, так сказать, умерший капитал его обладатели? Ведь очень значительную часть всякого «производительного капитала» составляют средства производства: сырой материал, орудия труда и т. п. Положим, однако, что капиталисты в течение десяти лет жили, потребляя те средства производства, с помощью которых рабочие создали первоначальную тысячу прибавочной стоимости. Тогда все-таки остается непонятным следующее обстоятельство. Принеся прибавочную стоимость в одну тысячу, капитал устраняется из производительного потребления, в оборот пускается лишь эта тысяча единиц прибавочной стоимости. Следовательно, весь производительный капитал второго года равняется одной тысяче. А между тем, по смыслу таблицы выходит, что рабочая плата во втором году составит 9.510. Что такое заработная плата? Это часть капитала, переменная часть его, скажем мы, держась современной терминологии. Как же это так может быть, что переменный капитал, т. е. одна часть национального капитала, равняется 9.510 (см. таблицу), а весь национальный капитал в совокупности составляет лишь одну тысячу? Это явная несообразность. Но дело не ограничивается одной этой несообразностью. По смыслу таблицы прибавочная стоимость второго года равняется 1.105 единицам. Выходит, что капитал, равный тысяче единиц, принес 1.105 единиц прибавочной стоимости. Значит уровень прибавочной стоимости равняется уже не 10,5%, а 110,5% и что в третьем году у нас употребляется в дело уже капитал, равный 2.105 (т. е. 1.000 + 1.105). При таком ходе его возрастания он будет увеличиваться гораздо быстрее, чем предположено в таблице Чернышевского. Как же объяснить эту новую несообразность? Вероятно, мы опять ошибаемся. Вероятно, капитал второго года равняется *десяти* тысячам, т. е. что в него вошла воспроизведенная

работниками стоимость заработной платы первого года (9.000) и созданная их трудом прибавочная стоимость. Если он приносит 10,5 проц. прибавочной стоимости, то к концу

этого года он должен возрасти до одиннадцати тысяч пятидесяти единиц (11.050). Эти 11.050 единиц и будут составлять продукт этого года. Но по расчету Чернышевского выходит иначе. По его расчету оказывается, что продукт второго года равняется лишь десяти тысячам шестистам пятнадцати един. (10.615). Если из этой суммы продукта вычтем десять тысяч капитала, то на прибавочную стоимость остается лишь 6,15 проц. «прибыли». Но и это еще не все. Из таблицы Чернышевского мы видим, что заработная плата второго года равняется уже не 9.000, а 9.510. Заработная плата могла вырасти только на счет прибавочной стоимости. Вычтем же из этой последней ту сумму, на которую увеличилась заработная плата: 615 — 510=105. Итак, на «прибыль» у нас остается только 105 единиц. Но если капитал в 10.000 принес 105 единиц «прибыли», то это значит, что каждая сотня единиц приносит лишь 1,05 (одну целую пять сотых), т. е., другими словами, что наш капитал приносит лишь 1,05 процента. А это противоречит нашему предположению, по которому капитал приносит 10,5 проц. прибыли. Чтобы остаться верными этому предположению, мы должны принять, что продукт второго года равняется 11.050 ед.; другими словами, что его стоимость равняется стоимости затраченного капитала в соединении с прибавочной стоимостью, или, как сказал бы Чернышевский, с прибылью, которая сама составляет 10,5% капитала. Иначе и быть не может. Если мы говорим, что данный капитал принес 10,5% прибыли, то это значит, что в стоимости продукта, во-первых, воспроизводится стоимость капитала, а во-вторых, — к этой воспроизведенной стоимости капитала прибавляется еще новая стоимость: «прибыль». Но если это так, то не может произойти и того несоответствия «между суммою продукта» и «суммою прибыли», на которое указывает таблица Чернышевского. А таблица эта затем и составлена, чтобы доказать неизбежность такого несоответствия. Мы видим теперь, что она разбивается о свою собственную логику, и притом разбивается, так сказать, с разных сто-

рон и на различные лады: логика одной рубрики (положим, рубрики — «сумма прибыли») разбивает ее с одной стороны и на один лад, а логика другой (скажем, рубрики — «сумма продукта») — на другой лад и с совершенно другой стороны. Это показывает, что в самом основании таблицы лежат какие-то ошибки. И нетрудно найти эти ошибки.

152

V.

Как составлена таблица Чернышевского? Ежегодный процент возрастания продукта принят равным 6,15; ежегодный процент возрастания суммы прибыли — 10,5. Есть ли какая-нибудь связь между этими двумя рубриками? Ни малейшей. Продукт растет совершенно независимо от роста прибыли, а следовательно, и от роста капитала; прибыль, а следовательно, и капитал — совершенно независимо от роста продукта. Прибыль вычитается, правда, каждый год из продукта, но растет она сама из себя и сама по себе, по особому закону, объяснения которого мы напрасно стали бы искать в ходе национального производства. Чернышевский рассуждает так: если бы первоначальная тысяча единиц прибыли была положена в банк и приносила ежегодно столько-то процентов, при чем эти проценты постоянно прилагались бы к ней, то она росла бы вот каким образом; следовательно, закон ее роста найден, остается только ежегодно вычитать из продукта ее постоянно возрастающую сумму, чтобы определить для каждого данного года величину фонда рабочей платы. Рано или поздно фонд этот начнет очень быстро уменьшаться, так как продукт не может расти с тою же быстротою, с какой растет капитал. Таким образом «гипотеза» возрастания прибыли построена без всякого внимания к конкретным условиям производства и воспроизведения капитала. Единственным основанием ее служит арифметическое правило сложных процентов. А так как величина «фонда рабочей платы» зависит от величины «суммы прибыли», то выходит, что и закон рабочей платы определяется в последнем счете тем же правилом процентов. Мы видим из таблицы, что в течение целых десятилетий фонд рабочей платы растет очень быстро. В сорок первом году он оказывается в шесть раз больше, чем был первоначально. Почему же он вырос так значительно? Просто потому, что возрастала та

разность, которая получалась от вычитания суммы прибыли из суммы продукта. Капиталисты отсчитали себе то, что им следовало, а затем весь остаток отдали рабочим, не присвоив себе из него ни одной копейки. Арифметика решает весь вопрос, от нее зависит все *распределение* продукта; действительные отношения труда к капиталу совершенно исчезают из нашего кругозора. А от чего зависит рост продукта, чем определяется ход национального производства? Он определяется тоже арифметикой: продукт растет тоже по сложным процентам, но только процент его возрастания меньше процента возрастания

суммы прибыли. Все дело изображается так, как будто у нас есть два банка, из которых один принял в виде вклада первоначальную сумму продукта, платя на нее по 6,15% в год, а другой принял первоначальную сумму прибыли и платит за нее по 10,5%. Нам остается только принять к сведению эти операции и смотреть, с какой удивительной быстротой *прибыль* догоняет и даже перегоняет продукт в своем росте. Но ведь капитал не может приносить прибыль иначе, как будучи употреблен на производство, а будучи употреблен на производство, он воспроизводит свою стоимость в стоимости продукта; а воспроизводя свою стоимость в стоимости продукта, и притом воспроизводя ее с известной прибылью, — т. е. всегда составляя лишь часть стоимости продукта, — он не может перерасти целое, не может иметь бóльшую стоимость, чем продукт. Отсюда следует, что, какова бы ни была в действительности «тенденция прибыли», она порождается не той причиной, на которую указывает Чернышевский. Это становится очевидным тотчас же, как только мы покидаем область абстракции и принимаем в соображение действительные условия воспроизведения капитала.

Но, позвольте, скажет читатель. Откуда же вы взяли, что стоимость капитала не может перерасти стоимость ежегодного продукта страны? Стоимость капитала не только *может,* но и непременно *должна* быть больше стоимости продукта. Капитал подразделяется, как вам известно, на постоянный и на переменный капитал (заработная плата). Переменный капитал, действительно, целиком воспроизводится в стоимости продукта. Но что касается *постоянного*

капитала, то он переносит на продукт *только часть* своей стоимости. Орудия труда, фабричные здания и тому подобные части тела постоянного капитала служат для производства в течение многих лет; их ежегодное изнашивание сравнительно не велико; поэтому не велика и та часть их стоимости, которая переносится на продукт данного года. Достаточно иметь хоть некоторое понятие об экономике капиталистических стран, чтобы знать, что годовой продукт любой из стран гораздо мень-ше общей суммы находящегося в ней капитала. И Чернышевский вполне прав, если имеет в виду этот всем известный факт, утверждая, что национальный капитал растет быстрее национального продукта.

Несомненно, что Чернышевский избежал бы многих ошибок, если бы принял в соображение существенное различие составных частей капитала. Однако он поступил как раз наоборот. В своих примерных расчетах он совершенно забыл о постоянном капитале. В этом случае его ввел в ошибку Д. С. Милль. По мнению Милля, во всем процессе произ-

водства «все затраты состоят исключительно из рабочей платы». Понятно, что, при таком взгляде на «издержки производства», стоимость всякого товара сводится к формуле: рабочая плата (издержки производства, как сказал бы Милль, переменный капитал, — скажем мы) + прибыль (т. е. прибавочная стоимость). В этой формуле не отводится определенного места для постоянного капитала, или, вернее, для переносимой на данный продукт части его стоимости. Чернышевский принял эту формулу без всяких поправок и оговорок, а она очень нуждалась в них. Когда Милль говорил, что в стоимость товара входят только два элемента: рабочая плата и прибыль, то под рабочей платой он, *по крайней мере иногда,* понимал не только плату рабочих, трудившихся *в данном году* над производством этого товара. Он имел в виду также и плату рабочих, приготовивших сырой материал и другие средства производства. А все эти средства производства могут представлять собою продукт труда предыдущего года или даже предыдущих лет. То же по отношению к прибыли. В формуле: *рабочая плата* + *прибыль* должна быть принимаема в

соображение прибыль всех тех предпринимателей, через руки которых прошли средства производства в процессе своего изготовления. Понятая таким образом, формула эта выражает очень плохое понимание факта перенесения стоимости производительных средств на стоимость данного товара; но она все-таки считается с этим фактом. Чернышевский же при составлении своей таблицы придал другой смысл этой формуле. Пользуясь ею, он под прибылью и под рабочей платой понимал плату и прибыль, получаемые участником производства только в том году, к которому относится его расчет. Это уже большая ошибка, хотя надо признаться, что не легко было избежать ее при ошибочном виде разбираемой формулы стоимости. Посмотрим же, к чему привела Чернышевского его ошибка.

VI.

Национальное богатство состоит из стоимостей. Общая сумма этих стоимостей может быть выражена в общей формуле стоимости. В этой общей формуле мы имеем только два «элемента»: рабочую плату и прибыль, под которыми понимается плата и прибыль каждого данного года. Выходит, что национальное богатство каждой данной страны в каждом данном году равняется рабочей плате, полученной в этом году работниками, в соединении с прибавочной стоимостью, присвоенной эксплуататорами. При составлении своей таблицы Чернышевский везде принимает это

равенство. Вся она построена на том соображении, что «сумма богатств нации» не может расти так же быстро, как растет «прибыль»; «сумма богатств нации» постоянно принимается равной «сумме продукта» данного года. Всякому известно, что «сумма продукта» данного года далеко не то же, что «сумма богатств нации». И тем не менее, эта ошибка Чернышевского не привела бы его к новым ошибкам, если бы он «сумму национального продукта» данного года не приравнивал к сумме «рабочих плат» и «прибылей» (прибавочной стоимости) этого года. Но из его формулы стоимости необходимо вытекало это новое равенство. Формула оставляет без внимания постоянный капитал. Следовательно, в стоимости национального

продукта остается место лишь для «прибыли» и для рабочей платы. Вот почему и мы не принимаем в соображение постоянного капитала, делая те или другие выводы из посылок Чернышевского.

Но что такое рабочая плата? Это переменный капитал. Воспроизводится ли он в стоимости продукта? Без сомнения, воспроизводится. Если весь капитал страны сводится к оборотному капиталу, то может ли стоимость суммы продукта быть меньше суммы затраченного на ее производство капитала? Ни в каком случае. Стоимость «суммы продукта» будет равняться *сумме капитала* + *сумма прибыли.* Капитал всегда будет составлять лишь часть стоимости продукта. Может ли часть перерасти целое? Не может. Значит не может быть и несоответствия между ростом капитала и ростом продукта или ростом «суммы богатства нации».

Нам могут заметить еще, что Чернышевский говорит собственно о росте «суммы прибыли», а не о росте капитала. Это так. Но ведь прибыль постоянно прилагается у него к капиталу, т. е. постоянно превращается в капитал. Прибыль одного года становится капиталом следующего года. Только при этом условии она и может в свою очередь становиться источником прибыли. А так как, кроме того, Чернышевский предполагает неизменный уровень прибыли, то ясно, что рост ее «суммы» тождественен с ростом капитала.

Принимаемая Чернышевским формула стоимости по прямому смыслу своему вовсе не доказывает противоположности интересов труда и капитала. Стоимость товара равняется рабочей плате + прибыль. Если рабочая плата низка, то у защитников капитала оказывается наготове очень хорошая уловка: чем выше прибыль, тем скорее растет или, по крайней мере, может расти капитал. А капитал целиком затрачивается на рабочую плату. Следовательно, чем выше прибыль, тем больше данных для возрастания фонда рабочей платы, т. е. для повы-

шения заработной платы. Таким образом капитал оказывается чем-то вроде того копья, которое само исцеляло наносимые им раны: если рабочим трудно приходится теперь под ярмом капитала, то именно трудность-то современного их положения и несет в себе залог лучшего бу-

дущего. Излишне напоминать, что задача Чернышевского заключается именно в опровержении этих апологетических выводов. Но он мог опровергать их только при одном условии: именно, рассматривая принятую им формулу стоимости с самой отвлеченной и односторонней точки зрения. Формула грешит тем, что в ней отведено место только переменному капиталу. Это уже само по себе достаточно односторонне, и только благодаря такому одностороннему взгляду на капитал и можно утверждать, что весь прирост капитала идет на увеличение «фонда рабочей платы». Но, говоря, что весь прирост капитала идет на увеличение фонда рабочей платы, мы предполагаем *воспроизведение* капитала. Наши посылки абстрактны и односторонни. Представьте же себе, что мы делаем еще несколько шагов в смысле отвлеченности. Прежде мы оставляли без внимания постоянный капитал, т. е. одно из необходимых *условии* производства. А теперь мы оставляем без внимания весь вообще процесс производства и воспроизведения капитала. Во что обращается наша формула стоимости? От нее отлетает последнее дыхание жизни; она становится мертвой абстракцией, которая не только не напоминает нам о движении действительного экономического процесса, но как бы приглашает совершенно позабыть о нем, ведя нас к новым и новым ошибкам. Стоимость товара, а следовательно, и национальное богатство, а следовательно, и «сумма продукта» = рабочая плата + прибыль, вот все, что говорит нам эта формула. Как создается национальный продукт? Этого не видно из нее, и мы, не углубляясь в вопрос, «предполагаем», что «сумма продукта» ежегодно растет на 6,15%. Какие превращения переживает прибыль, прилагаемая к капиталу и в свою очередь становящаяся источником прибыли? Иначе сказать, при каких условиях прибыль становится капиталом? Этого опять не видно из нашем формулы, и мы, не углубляясь в вопрос, опять разрешаем его простым предположением о том, что «сумма прибыли» увеличивается быстрее суммы продукта, ежегодно возрастая на 10,5%. Что такое «фонд рабочей платы»? Как относится он к капиталу? Представляет ли он собою часть капитала, весь капитал, или, может быть, его нужно рассматривать, как особую экономическую категорию? Наша формула основана на том

предположении, что «все затраты состоят из рабочих плат», т. е., иначе сказать, что капитал и фонд рабочей платы — одно и то же.

Но если рассматривать ее независимо от процесса воспроизведения, то она не напоминает даже и об этой, на самом деле, неверно выраженной связи между капиталом и «фондом рабочей платы». В этом случае наша формула говорит нам только то, что по мере увеличения «суммы прибыли» уменьшается «фонд рабочей платы». Это кажется очевидным уже без всяких предположений: для каждого данного года «сумма продукта» есть величина определенная, и потому, чем больше вычитаемое, прибыль, тем меньше разность, доля рабочего класса. Но мы уже предположили, что сумма продукта, уменьшаемое, растет медленнее вычитаемого. Ясно, что рано или поздно фонд рабочей платы должен сойти на нет, т. е. что возрастание прибыли ведет нас к «невозможному состоянию общества». Теперь нам остается только пояснить наши выводы примерными ариф-метическими выкладками, — и наше дело сделано: мы *доказали* то, чего не *заметил* ни один экономист Смитовской школы. Само собою разумеется, что наши пояснительные выкладки будут отличаться такою же отвлеченностью, как и весь наш анализ формулы стоимости: арифметика не может напомнить нам о конкретных условиях экономиче-ского процесса производства. И вот мы пишем один ряд цифр, показывающих рост продукта; возле него располагается другой ряд цифр, изображающих рост «суммы прибыли». В основе каждого из этих рядов лежат только наши предположения; ряды эти не связаны один с другим никакою внутренней зависимостью; их взаимное отношение есть чисто внешнее отношение вычитаемого к уменьшаемому. В результате вычитания получится новый ряд цифр, изображающих разность, — «фонд рабочей платы», который опять-таки связан с другими рядами цифр одною арифметическою зависимостью, без всякого внимания к действительному ходу производства и воспроизведения. Но как бы то ни было, наша цель, по-видимому, достигнута, противоположность интересов труда и капитала доказана «математически»; буржуазные сикофанты опровергнуты. Однако какой прием употребили мы для их

опровержения? В нашем распоряжении были известные посылки, очень односторонние и потому ошибочные. Мы признали справедливость этих ошибочных посылок, но для избежания вытекающих из них апологетических выводов мы сделали новую ошибку, мы представили ошибочный анализ ошибочной формулы стоимости. Мы боролись против абстракции посредством новой и еще большей абстракции. Неудивительно, что наши рассуждения оказываются неправильными; что составленная нами таблица поминутно разбивается о логику то одного, то другого из своих собственных рядов.

158

VII.

Что все рассуждение Чернышевского о росте прибыли основано на ошибочном анализе формулы стоимости, видно, между прочим, из следующего. По его словам, действительность расходится с «математическим законом»; «сумма прибыли» растет на самом деле не так скоро, как того можно ожидать на основании таблицы. И происходит это по причинам, лежащим «в натуре человека». Чем больше растет капитал любого «коммерческого предприятия», чем обширнее становится дело, тем больше выходят его подробности из-под прямого контроля хозяина. Все бóльшая и бóльшая часть надзора за ведением дела переходит в руки наемных распорядителей. «Кто же не знает, как ведется дело наемным распорядителем? Почти всегда небрежно и едва ли не в большинстве случаев недобросовестно... Но и в самом хозяине большей частью развивается небрежность соразмерно увеличению его капитала. По нашей поговорке, копейка рубль бережет; но скучно следить за копейками тому, у кого прежние рубли разрослись в тысячи... Процент прибыли уменьшается с увеличением имущества, на которое идет прибыль. Это — факт, до такой степени всеобщий, что в Англии уже никто не станет спорить, если вы скажете: процент прибыли, получаемой коммерческим человеком с его капитала, обратно пропорционален размеру его капитала... Но это еще не все. Пока благосостояние человека растет до степени, сообразной с его разумными нуждами, человек становится

все рассудительнее и рассудительнее. Но есть размер средств, превышающий силу обыкновенного человеческого благоразумия. Каждый знает, верна ли поговорка: с жиру бесится... Очень не редки примеры людей, глупеющих по мере своего обогащения... Но если часто встречаются и примеры противоположного, если остаются до конца бережливы и благоразумны люди, разбогатевшие собственными усилиями, то редко уже бывают таковыми их дети: то, что накоплено отцом, проматывается сыном, — это обыкновенная история» [1]).

Можно было бы сделать немало возражений на все эти доводы. Но мы не спорим с Чернышевским, а стараемся выяснить его взгляды. Поэтому мы просим читателя обратить внимание лишь на общую мысль нашего автора. Она сводится, если мы не ошибаемся, к тому, что «сумма прибыли» не растет со всею возможною для нее быстротою единственно по вине самих предпринимателей, или, если вам угодно, по вине человеческой природы, которая не может быть иною при данных обстоятель-

[1]) Там же, стр. 404.

ствах. Рост «суммы прибыли» замедляется вследствие того, что по мере обогащения буржуазии растут всякого рода непроизводительные затраты. Это верно. Но припомним нашу таблицу. Она показывает, что чем больше «сумма прибыли», тем меньше фонд рабочей платы. Непроизводительные затраты замедляют рост «суммы прибыли», следовательно, они замедляют и уменьшение фонда рабочей платы. Следовательно, непроизводительные траты, роскошь и мотовство буржуазии полезны для рабочего класса: чем больше мотовства, тем больше шансов для роста или, по крайней мере, для менее быстрого уменьшения фонда рабочей платы. Это ли хотел сказать Чернышевский? Склонен ли он был оправдывать роскошь высших классов соображениями о благе рабочих? Решительно нет. В его сочинениях можно найти немало хороших страниц, которые посвящены доказательству прямо противоположного взгляда. Но ведь, — не правда ли? — говоря, что мотовство высших классов полезно рабочим, мы делаем совершенно верный вывод из таблицы

Чернышевского? Стало быть, он опять впадает в противоречие с самим собой? И да, и нет. Ему просто не пришла в голову мысль о возможности сделанного нами вывода, а не пришла по той простой причине, что он при составлении своей таблицы забыл обо всех действительных отношениях производства, помня только то, что, *раз дана сумма продукта,* доля рабочего класса будет тем больше, чем меньше прибыль, и наоборот. Попробуйте забыть о воспроизведении капитала при анализе формулы: сумма продукта = рабочая плата + прибыль. Вы и сами скажете, что от каких бы причин ни уменьшалась сумма прибыли, рабочему классу выгодно ее уменьшение. Ведь вопрос о мотовстве высших классов есть именно вопрос о *воспроизведении капитала в более ими менее широких размерах.* Упустив из виду воспроизведение, вы естественно упускаете из виду и вопрос об экономическом значении мотовства. А когда вы вспомните о воспроизведении капитала, то вспомните и о вредном значении мотовства, буржуазного и барского «прожигания жизни». Тогда вы не скажете, что от каких бы причин ни происходило уменьшение «суммы прибыли», оно во всяком случае выгодно рабочим. Вы будете помнить, что если «сумма прибыли» уменьшается вследствие уменьшения размеров национального капитала, то ее уменьшение при прочих равных условиях означает уменьшение суммы продукта. Рост этой суммы продукта перестанет представляться вам в том абстрактном виде, в каком его изображает таблица Чернышевского. Вы сейчас же увидите, что между ростом продукта и ростом ка-

питала существует тесная связь, нимало не выражаемая внешним отношением уменьша-емого к вычитаемому

Но какая же именно связь? Что касается этого вопроса, то ваш ответ на него определится опять-таки вашими понятиями о производственных отношениях и об условиях воспроизведения капитала. Если на эти отношения и на эти условия вы смотрите глазами, например, Милля, то вы и скажете об этой связи то же, что говорил Милль. А если вы смотрите на них как-нибудь иначе, то вы по необходимости разойдетесь с Миллем. Но и в том и в другом случае для вас будут совершенно бесполезны здесь те выводы, к которым вы пришли,

позабыв о воспроизведении капитала. Обязанные своим происхождением неуместной абстракции, они, вероятно, будут позабыты вами тотчас же, как только вы покинете область односторонних отвлеченностей и хоть одной ногой станете на реальную экономическую почву.

По крайней мере, так случилось с Чернышевским. В главе «Прибыль» он противопоставляет капитал «фонду рабочей платы» и утверждает, что чем быстрее растет капитал, тем более прибыль стремится поглотить рабочую плату, и что это происходит одинаково как при размножающемся, так и при неразмножающемся населении. То же говорит он в главе «Рента». Но перейдя к вопросу о *«влиянии экономического прогресса на рабочую плату»,* он высказывается уже совсем в другом духе. «Если бы при возрастании капитала население не возрастало, — пишет он, — то стала бы возвышаться рабочая плата; следовательно, прибыль стала бы составлять все меньший и меньший процент на затраченный капитал, потому что прибыль — остаток из продукта за вычетом рабочей платы... Эта тенденция прибыли к понижению задерживается или непроизводительною растратою капитала, или перенесением капитала в другие страны, или улучшениями производительных процессов. Непроизводительною растратою капитала (напр., от праздной роскошной жизни или от коммерческих кризисов) уменьшается размер капитала, значит, уменьшается и рабочая плата; а если рабочая плата уменьшается, то, конечно, увеличивается остаток продукта, составляющий прибыль. Перенесением капитала за границу точно так же уменьшается сумма его, остающаяся в стране. Наконец, улучшениями производительных процессов понижается стоимость производства, а ее понижение при нынешнем быте обыкновенно влечет за собою понижение рабочей платы, если же рабочая плата уменьшается, то возрастает остаток продукта, получаемый капиталистом за вычетом рабочей платы» [1]).

[1]) Там же, стр. 533 — 534.

Итак, чем более растет капитал, тем более увеличивается, при прочих равных условиях, и фонд рабочей платы. Если бы вы, припомнив вышеприведенную таблицу, возразили на это, что быстрый рост капи-

тала означает также и быстрый рост «суммы прибыли», а следовательно, и уменьшение «фонда рабочей платы», то Чернышевский указал бы вам на понижение *уровня* прибыли, вследствие которого *сумма* ее может остаться неизменной, несмотря на увеличение размеров национального капитала. Необходимость понижения уровня прибыли доказывается ссылкой на то обстоятельство, что прибыль есть «остаток из продукта за вычетом рабочей платы», подобно тому, как необходимость уменьшения размеров фонда рабочей платы доказывалась тем соображением, что рабочая плата есть остаток из продукта за вычетом прибыли. Все это очень затрудняет понимание мыслей Чернышевского. Вы спрашиваете себя, каков же окончательный вывод его: стремится, или же не стремится «сумма прибыли» поглотить рабочую плату при быстром росте капитала и при неразмножающемся населении? Это затруднение, которое испытал, вероятно, всякий, кто внимательно читал «Очерки из политической экономии», разрешается очень просто. В главе, посвященной вопросу о прибыли, он позабывает о воспроизведении капитала, а в главе, посвященной вопросу о влиянии экономического процесса на рабочую плату, он вспоминает о нем и, вводя этот новый элемент в свои рассуждения, он, естественно, приходит к новым выводам. Но, вспомнив о воспроизведении капитала, он вовсе не отказывается от своей формулы стоимости. Он только рассматривает ее в движении, между тем как прежде рассматривал ее в абстрактном, неподвижном виде. Он покидает область абстракций и потому приближается к правильному взгляду на дело. Но он не совсем покидает ее: его формула стоимости сама представляет собою не более, как ошибочную абстракцию. Поэтому, хотя он и анализирует ее теперь с более правильной точки зрения, он все-таки приходит к совершенно ошибочному выводу. В действительности рост национального капитала далеко не всегда сопровождается увеличением спроса на рабочую силу. Спрос этот зависит не от общей «суммы» капитала, а от величины переменного капитала, т. е., именно того капитала, который идет на покупку рабочей силы. Если с увеличением общей суммы капитала уменьшается переменная часть его, то спрос на рабочую силу падает. Статистика западноевропейских стран, в особенности в

Англии, неоспоримо доказывает, что на известной ступени развития капитализма рост капитала совершается параллельно с ростом относительно излишнего рабочего населения. Соб-

ственно говоря, Чернышевский вполне допускал возможность такого явления, да и не мог не допускать ее, так как она была доказана еще Рикардо. Чернышевский придерживается подразделения капитала «на оборотный, потребляемый и воспроизводимый одною операциею производства, и основной капитал, служащий целому длинному ряду производственных операций». По смыслу этого подразделения выходит, что капитал, называемый теперь переменным, или, как говорил Чернышевский, «продовольствие работников», составляет значительную или даже «главную часть оборотного капитала». С развитием машинного производства часть оборотного капитала переходит в — основной, а «это значит, что та сумма продовольствия, которая ежедневно потреблялась и воспроизводилась работниками, берется из их потребления, чтобы впоследствии воспроизводиться лишь гораздо меньшими частями» [1]). Отсюда уже совершенно ясно, что рост капитала может, смотря по обстоятельствам, вести как к увеличению, так и к уменьшению «фонда рабочей платы». Но Чернышевский не делает никаких выводов из этого чрезвычайно важного соображения. По поводу его он ограничивается замечанием: «Без вреда для работников может поступить в основной капитал только тот излишек ежегодных новых сбережений, какой остается за полным воспроизведением прежнего оборотного капитала, с прибавкою процента, соответствующего приращению населения страны» [2]). Это сказано им при разборе взглядов Милля на «труд и капитал, как элементы производства». В учении же о распределении, которое рассматривается им совершенно независимо от производства, он, как мы видели, забывает не только об *отношении* основного капитала к оборотному, но и о *самом существовании* как основного капитала, так и той части оборотного, которая не идет на покупку рабочей силы. Там весь капитал сводится у него к «продовольствию рабочих». Поэтому там не может быть и речи об изменении относительной величины составных частей и капитала. Но даже и там,

в учении о распределении, он не сводит в одно целое своих взглядов на прибавочную стоимость. В главе о прибыли он делает к буржуазному учению о ней известное уже нам пополнение, которое считает очень важным. А в главе о влиянии экономического прогресса на рабочую плату он совершенно забывает об этом пополнении и повторяет те самые взгляды экономистов на движение прибавочной стоимости, которые, казалось, были окончательно опровергнуты «пополнением».

[1]) Там же, стр. 155— 156.
[2]) Там же, та же стр.

VIII.

Иначе и быть не могло. Теория стоимости недаром считается краеугольным камнем науки о хозяйстве буржуазного общества. Не имея ясного понятия о стоимости вообще, Чернышевский не мог подвергнуть основательной критике учение вульгарных экономистов о *прибавочной* стоимости. Возможность такой критики исключалась уже просто отношением его к буржуазной экономии. Возражая вульгарным экономистам, он в то же время целиком и без всякой проверки принимал многие основные «теоремы» буржуазной экономии, при чем и теоремы эти он брал не у классиков буржуазной экономии, а у исполненного противоречий Милля. К теориям Милля он и делал свои пополнения. В основе пополнений часто лежали очень важные и остроумные мысли, свидетельствующие как о замечательном, редком уме Чернышевского, так и о горячих симпатиях его к рабочему классу. Но, развивая эти мысли, Чернышевский не переставал, — и не мог перестать, — быть утопистом. Сделанные им пополнения имеют совершенно утопический характер. В дальнейшем изложении, сталкиваясь с основными теоремами, они скоро утрачивают всякое влияние на рассуждения Чернышевского, так что в *последующих главах* ему поневоле приходится повторять выводы буржуазных экономистов, по-видимому так блистательно, с такою горячностью, иронией и остроумием опровергнутые в *предыдущих.* Как много вредил ему при всем этом его абстрактный *гипотетический* метод, позволяющий

рассматривать экономические явления вне их взаимной жизненной связи, одно после другого и одно независимо от другого, мы уже говорили не раз. Трудно открыть что-либо при помощи такого метода, заметили мы в первой главе. Теперь прибавим, — и читатель, надеемся, согласится с нами, — что, употребляя этот метод, легко наделать множество самых неожиданных ошибок. Пополняя Милля, Чернышевский, в своем пристрастии к «математическому» методу, дошел до самых бестелесных абстракций, устранив из своих соображений все реальные отношения производства. Он опирался на одну арифметику и вдался, можно сказать, в какой-то экономический пифагореизм, ища в «математических законах» причин *экономических явлений.* Но математика не может указать, да и не претендует на указание *причин* общественной жизни или природы. Она только помогает нам определить количественную сторону действия этих причин. Сила света обратно пропорциональна квадратам расстояний. Объясняет ли математика причину этот явления? Нет, она только помогает формулировать

его закон, предоставляя физике отвечать на те «почему?», которые могут возникнуть в голове любознательного человека. Когда физика пытается сказать свое «потому», математика опять очень услужливо является ей на помощь, но опять-таки и здесь предоставляет последнее слово физике. Так же поступает она и с политической экономией, если речь идет о каком-нибудь экономическом явлении. Математика — очень почтенная, очень полезная и очень услужливая наука. Но не надо злоупотреблять ее услужливостью, не надо задавать ей такие задачи, которых решить она не может. Если вы вздумаете предъявлять ей неосновательные требования, она жестоко отомстит за это, заведя вас в такие дебри абстракции, из которых трудно и выбраться без своевременной помощи той науки, к области которой относится заинтересовавшее вас явление. Да и не одна математика отличается подобной мстительностью. Она глубоко коренится в характере всех прочих наук. Вот, например, людям, занимавшимся философией истории, приходила иногда мысль сводить к законам физиологии, — частью физиологии растительных процессов, а больше

всего физиологии нервной системы, — решение вопроса о влиянии природы на развитие общественных отношений. И что же вышло? Умные люди, вроде Монтескье, наговорили массу страшного, чисто ребяческого вздора, который, правда, и до сих пор повторяется по временам тоже весьма толковыми людьми, но на самом деле только мешает решению в высшей степени важного научного вопроса. И нельзя удивляться появлению этого вздора. Стали задавать физиологии исторические задачи, к которым она не имеет и не может иметь никакого прямого отношения; стали применять ее *«потому»* к совершенно неподходящим случаям, ну и получились нелепости, от которых дай бог поскорее отделаться общественной науке. Это в порядке вещей.

IX.

Математическая возможность данного явления вовсе еще не ручается за то, что оно возможно в природе или в общественной жизни. Чернышевский прекрасно знал и очень остроумно доказывал это. Вот что говорит он по поводу книги немецкого писателя Зюсмильха, на которую ссылался Мальтус. «Зюсмильх, между прочим, просил Эйлера составить таблицы возрастания числа людей при разных пропорциях рождений и смертностей. Эйлер брал разные цифры и при одних — период удвоения выходил очень длинный, при других, разумеется, очень корот-

кий, от 600 слишком лет до 7 с небольшим лет. Разумеется, можно было бы вычислить периоды еще более короткие. Иное дело, если спросить, какой процент возрастания допускается самим устройством человеческого организма. Можно ли положить, чтобы в действительности люди, при каких бы то ни было условиях, могли размножаться по ежегодной профессии приращения в 10% или в 8%, или хоть в 5%? Но Зюсмильх не спрашивал об этом Эйлера; он только просил его составить таблицы удвоения по сложным процентам, при разных величинах процента, в том роде, как мог бы просить его рассчитать, сколько пищи в день понадобится человеку при различных величинах его роста, от 1 фута до 20 сажен. Эйлер сказал

бы, сколько пищи понадобится человеку, имеющему рост в 10 сажен, имеющему рост в 11 сажен и т. д. Словом сказать, Эйлер решал тут задачу в том роде, какие очень часто попадаются в руководствах к математике или к физике. Например: во сколько времени достигнет до солнца ядро, летящее с быстротою, какую имеет в первую секунду полета; или: что будет с куском железа, постепенно опускаемым в колодезь, прорытый до центра земли? Математик очень правильно отвечает, что ядро долетит до солнца во столько-то времени, кусок железа дойдет до степени красного каления во стольких-то верстах ниже поверхности земли, до белого — во стольких-то, наконец, расплавится в стольких-то верстах. При этом математику нет никакого дела разбирать, существует ли предполагаемый колодезь, существует ли пушка, брошенное которою ядро могло бы полететь дальше немногих верст: подразумевается само собою, что математика только группирует цифры, вовсе не ручаясь за их действительность. Но вообразим себе, что прочитал решение таких задач человек, забывший или не знавший, что надобно подразумевать это. Вообразим себе, что ему показалось, будто бы автор алгебраического руководства не просто сгруппировал цифры, а прямо говорит, будто все эти выводы могут осуществиться на самом деле. Какие поразительные теории могут родиться в голове такого человека! Он предложит, например, раскалять железо не кузнечными печами, а просто опусканием на 20 верст под поверхность земли, или отбить ядром кусок луны, чтобы этот кусок упал на землю, и тогда мы знали бы, из чего состоит луна. Вот нечто в этом самом роде случилось с Мальтусом. Увидев цифры Эйлеровых таблиц, он прямо так и подумал, что население может удваиваться в 25, в 20, в 15, в 10 лет и даже еще быстрее, как написано в таблицах Эйлера у Зюсмильха. Если бы у него голова не была вся занята мыслью отыскать

аргумент против теории Годвина [1]), он, конечно, не сделал бы такой опрометчивой ошибки; но в таблицах Зюсмильха (Эйлера) он увидел нужный ему аргумент, имя Эйлера ручалось за верность вычислений, чего же больше?» [2]). Это все очень хорошо, но, оставляя пока в стороне вопрос о том, что и как случилось с Мальтусом, мы заметим, что

именно нечто в этом роде случилось и с Чернышевским. Пополняя учение Милля о прибавочной стоимости, он именно только «группировал цифры», совершенно забывая об экономической действительности. И случилось это в значительной степени по той же причине, которою вызвана была, по его словам, опрометчивая ошибка Мальтуса: Чернышевский имел в виду исключительно только полемическую цель, руководствовался одним только желанием оттенить невыгодные стороны существующего порядка. Математика ручалась, по-видимому, за справедливость всех его расчетов. Он и удовольствовался этим ручательством. А как и отчего совершается действительное движение прибавочной стоимости, об этом справиться он и не подумал.

Разбор учения Мальтуса предшествует у Чернышевского исследованию о прибыли. Таким образом он *повторяет* ту ошибку, в которой упрекает Мальтуса, и повторяет уже после того, как она была им самим указана. И мы увидим, что он не только в исследовании о прибыли повторяет эту ошибку. Главное возражение его Мальтусу было построено на подобной же математической абстракции.

Чернышевский не хочет забавлять читателя «курьезными расчетами», доказывающими, что «если бы Адам положил в банк одну копейку, то ныне каждому из нас пришлось бы получить из банка массу золота, гораздо большую, чем какая могла бы поместиться в шарообразном мешке, диаметром своим равняющемся всему поперечнику солнечной системы до орбиты Нептуна» [3]). Почему же нет? Потому, что слишком бросается в глаза экономическая нелепость этого расчета. Но в применении к фактам новейшей экономической жизни совершенно подобный же расчет не кажется Чернышевскому нелепым и принимается, как нечто совершенно основательное. А между тем, вся разница заключается здесь *просто во времени.* «Чтобы соображение наше могло справиться с цифрами, какие будут получаться у нас, — говорит

[1]) Известно, что Мальтус писал свой «Опыт о законе народонаселения» для того, чтобы опровергнуть тогдашние «системы равенства», главным образом взгляды Годвина, изложенные в его книге «Political justice». - «О политической справедливости».

[2]) Там же, стр. 248.

[3]) Там же, стр. 393.

Чернышевский, приступая к составлению своей таблицы, — мы должны ограничить расчет времени, соответствующим деятельности одного поколения, тридцатью годами» [1]). Но неосновательный расчет остается одинаково неосновательным, как бы ни был короток тот промежуток времени, к которому он относится. При длинном промежутке сами цифры, своею ни с чем не сообразною величиною, напоминают нам о действительности. При коротком промежутке они не делают этого, оставляя нас в заблуждении относительно правильности наших рассуждений. В этом вся выгода (или невыгода) коротких промежутков.

Во всем расчете Чернышевского единственная ссылка на экономическую действительность заключается в указании того обстоятельства, что некоторые отдельные капиталы чрезвычайно быстро растут «по геометрической прогрессии». «Начав свои обороты с какою-нибудь сотнею рублей, человек становится в 50 лет миллионером». Но современному читателю едва ли нужно напоминать, что рост отдельных и в особенности *торговых* капиталов может быть причинен изменениями в *распределении* национального дохода и вообще национального богатства, не сопровождаясь при этом возрастанием общей суммы национального капитала, а следовательно, и общей суммы прибыли. Рост же национального богатства буржуазных стран нельзя объяснить иначе, как условиями *воспроизведения* капитала.

Чернышевский предполагает в своей таблице, что «сумма продукта» равняется первоначально десяти тысячам, а через шестьдесят лет разрастается до 360.000. И такой рост ее предполагается одинаково возможным как при размножающемся, так и при неразмножающемся населении, т. е. при неизменяющемся числе работников. Что же изображают собою различные цифры, относящиеся к рубрике: сумма продукта? Они не могут выражать ничего, кроме стоимости этой суммы. Но ведь стоимость создается трудом. Если стоимость товара *A* в 36 раз больше стоимости товара *B,* то это значит, что на производстве товара *B* нужно в 36 раз меньше труда, чем на производство товара *A.* Если при неизменяющемся числе работников стоимость продукта их труда становится в 36 раз

больше, чем была прежде, то это значит, что каждый работник вкладывает теперь в продукт в 36 раз больше труда, чем вкладывал первоначально [2]). А это ни в каком случае невозможно без увеличения интенсивности труда и продолжительности рабо-

[1]) Там же, стр. 400.

[2]) Еще раз напоминаем, что у Чернышевского в стоимость продукта не входит стоимость воспроизводимой в ней части постоянного капитала.

чего дня. Чернышевский ничего не говорит ни о том, ни о другом. Даже более. Как и у Милля, как и у Рикардо, как и у множества других экономистов, продолжительность рабочего дня и интенсивность труда всюду безмолвно принимаются у него за величины постоянные [1]). Но при неизменной интенсивности труда и при неизменной продолжительности рабочего дня стоимость продукта данного числа работников остается неизменною. Как же не заметил этого Чернышевский? Дело в том, что он и сам едва ли ясно сознавал, что такое имеет он в виду, говоря о росте «суммы продукта»: *стоимость продукта, или же представляемое им вещественное богатство?* Да с той отвлеченной точки зрения, на которую он стал при составлении своей таблицы, не видно было и надобности в строгом различении этих существенно различных понятий.

Еще одно, — последнее, — замечание. Когда Чернышевский упрекает экономистов Смитовской школы в том, что они не заметили свойства прибыли расти по сложным процентам, он неверно выражает свою собственную мысль. В его таблице «сумма продукта» растет тоже по сложным процентам. Если, тем не менее, прибыль поедает в ней весь продукт, то это происходит единственно потому, что процент ее возрастания больше процента возрастания продукта. Значит, дело не в прогрессии, а в *знаменателе* прогрессии. Можно бы и не говорить о таких мелочах. Но мы еще увидим, что неточность *выражений* нашего автора нередко вела за собою вовсе уже не мелочные последствия, причиняя ошибки в его *рассуждениях.*

X.

Однако, повторяем, совершенно справедлива та основная мысль, которую хотел доказать Чернышевский. С развитием капитализма

рабочая плата действительно составляет *все меньшую и меньшую часть национального продукта.* Теперь это доказано самым убедительным образом, но доказано, разумеется, не арифметикой, а статистикой. К статистике и должны обратиться те, которые захотели бы убедиться в справедливости наших слов [2]). А кто, не сомневаясь в сущности этого явления, захотел бы найти удовлетворительное объяснение его, тот должен был бы взглянуть на вопрос об относительном росте прибавочной стои-

[1]) Потому и он не пришел к мысли о необходимости законодательного ограничения рабочего дня.

[2]) *Примечание к настоящему изданию* (изд. «Шиповник»). См. наш ответ Г. П. Струве в сборнике «Критика наших критиков».

мости с точки зрения изменяющихся условий воспроизведения капитала, с точки зрения отношений рабочих к капиталистам. «Прибыль» (прибавочная стоимость) стремится «поглотить рабочую плату» потому, что с развитием капитализма отношения эти все более и более изменяются в пользу предпринимателей. «Быстрый рост капитала является, по отношению к наемному труду, наивыгоднейшим из всех условий» [1]). Рабочий прежде и чувствительнее всех платится за всякий застой в историческом развитии капитализма. А между тем «рост капитала вызывает несравненно более быстрое возрастание конкуренции, т. е. ведет к несравненно более быстрому относительному уменьшению источников заработка и средств существования для рабочего класса» [2]). Рост общей суммы капитала сопровождается уменьшением переменной его части, и это происходит в то время, когда, даже независимо от роста народонаселения, увеличивается предложение рабочей силы: рядом со взрослыми рабочими на «рынке труда» являются дети, рядом с мужчинами — женщины. Соперничество между продавцами рабочей силы страшно по-нижает ее цену, которая падает теперь ниже ее стоимости. Капиталисты блаженствуют. Руки и дешевы, и сговорчивы. Эксплуатация рабочих увеличивается в неслыханной степени. А на ней основывается обогащение капиталистов. Вместе с ростом эксплуатации растет и уровень прибавочной стоимости, которая составляет все бóльшую и бóльшую долю национального продукта. И

это еще не все. Мы сказали, что цена рабочей силы падает ниже ее стоимости. Но если бы этого и не было, если бы капиталист покупал рабочую силу по ее действительной стоимости, то и тогда было бы неизбежно относительное уменьшение доли рабочего класса в национальном продукте. Развитие капитализма сопровождается увеличением производительности труда. С увеличением производительности труда удешевляется содержание работника, а так как стоимость рабочей силы определяется стоимостью этого содержания, то вполне ясно, что с увеличением производительности труда должна увеличиваться та доля *национального продукта,* которая остается у капиталиста за вычетом стоимости рабочей силы. Таким образом по мере развития капитализма отношения производства все более и более изменяются к выгоде капиталистов и к невыгоде работников. Следовательно, если «прибыль поглощает рабочую плату», то причина этого лежит в отношениях людей, а не в качествах вещей и не в отвлеченных свойствах той или другой экономической категории. Говоря, что

[1]) «Наемный труд и капитал» *Карла Маркса.*
[2]) Карл Маркс, там же.

прибыль имеет свойство увеличиваться в той или другой прогрессии, мы только выражаем известным образом экономический факт, который не перестает требовать от нас своего объяснения. Некоторые буржуазные экономисты ограничивали свои рассуждения о меновой стоимости указаниями на то, что предметы имеют способность обмениваться друг на друга в известной пропорции. Таким образом меновая стоимость оказалась одним из свойств вещей. Чернышевский ищет причины относительного уменьшения рабочей платы в свойствах прибыли, т. е. в свойствах одной из экономических категорий. Но экономические категории сами выражают собою не что иное, как взаимные отношения людей, или целых классов людей, в общественном процессе производства. Экономиче-ская наука только тогда и стала на правильную точку зрения, когда поняла это и занялась исследованием тех взаимных отношений, которые скрываются за мнимыми качествами вещей и за таинственными

свойствами экономических категорий. Но необходимость этого, в высшей степени важного, шага в развитии экономической науки еще не подозревали ни Д. С. Милль, ни его переводчик и критик Н. Г. Чернышевский.

Вернемся к вопросу о прибавочной стоимости. Мы сказали, что по мере развития капитализма увеличивается ее *уровень.* Чернышевский, пытавшийся доказать ту же самую мысль в главе о прибыли, в последующих главах утверждает, что следствием промышленного прогресса бывает *понижение прибыли.* «В передовых странах прибыль вообще довольно близка к minimum'у, а по достижении этого minimuma'а перестает возрастать капитал и наступает так называемое неподвижное состояние» [1]). Таков окончательный вывод нашего автора. Мы уже говорили, что вывод этот противоречит действительности. Но для того, чтобы со всех сторон выяснить себе взгляд Чернышевского, мы должны сопоставить учение его о прибыли с его же учением о поземельной ренте.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Поземельная рента

1.

В учении о поземельной ренте Чернышевский, по-видимому, строго держится взглядов Рикардо. Он зло смеется над Кэри, пытавшимся опро-

[1]) Там же, стр. 536.

вергнуть теорию знаменитого английского экономиста [1]). Но излагая и защищая учение Рикардо, Чернышевский не забывает и главной своей цели: оттенения невыгодных сторон существующего экономического порядка. Он замечает, что в виде ренты землевладелец присваивает себе продукт неоплаченного труда. «Если угодно, вы можете доказывать, — говорит он, — что рента не входит в издержки производства, что она не составляет лишнего расхода, а выражает собою только экономию труда в лучших условиях сравнительно с трудом в менее хороших условиях. Положим, что все это так; но как бы то ни было, рента составляет долю продукта; если она отделяется

от рабочей платы, это значит, что у человека, занимающегося производством, остается ровно настолько мень-ше продукта, насколько выделяется из продукта рента» [2]). Это, разумеется, совершенно справедливо. Но когда, почти непосредственно вслед за этим, Чернышевский говорит, что «рента подобно прибыли имеет тенденцию захватывать все бóльшую и бóльшую долю из продукта», и что таким образом «рента играет относительно прибыли и рабочей платы точно такую же роль, какую прибыль играет относительно рабочей платы», — то он опять обнаруживает значительную неясность своих экономических понятий. В самом деле, в своем исследовании о прибыли Чернышевский имел в виду не собственно предпринимательскую прибыль, а всю вообще прибавочную стоимость. Он сам оговаривается, «что рента тут в счет не идет, потому что она сама только излишек прибыли, остающийся в некоторых случаях по некоторым отраслям производства». И действительно, поземельная рента составляет лишь часть прибавочной стоимости. Но если это так, то замечание Чернышевского о росте ренты приходится выразить следующим образом: достающаяся землевладельцу часть прибавочной стоимости играет относительно всей вообще прибавочной стоимости и рабочей платы точно такую же роль,

[1]) *Примечание к настоящему изданию* (изд. «Шиповник»). Надо, однако, заметить, что в одной из ранних своих статей Чернышевский высказывает свое несогласие с Рикардо по одному весьма важному пункту. В библиографической заметке о книге *А. Львова:* «О земле, как элементе богатства», Москва 1853 г., он говорит: «Теория Рикардо совершенно основательна, но не совершенно полна, она объясняет только причину различия в ренте различных земель, не принимая, что и самая плохая приносит ренту, и не объясняя этого; он выводит ренту ниже действительной величины ее, потому что берет ренту только при достаточности, а не при недостаточности производства» (Соч., т. I, стр. 138). Это очень похоже на теорию абсолютной ренты Родбертуса и Маркса. Но этого взгляда на ренту Чернышевский совсем не развил, и в своих «Очерках политической экономии» он уже не возвращается к нему.

[2]) Там же, стр. 411.

какую прибавочная стоимость играет относительно рабочей платы: рост одной части прибавочной стоимости, *поземельной ренты,* приводит к уменьшению той доли продукта, которая, *за вычетом ренты,* остается *на всю вообще* прибавочную стоимость и на рабочую плату. Это явная несообразность, происхождение которой может быть

объяснено только тем, что в главе о поземельной ренте Чернышевский словом «прибыль» обозначает уже не всю вообще прибавочную стоимость, а собственно так называемую предпринимательскую прибыль, т. е. опять-таки лишь одну часть прибавочной стоимости. В таком случае мысль его становится, по-видимому, совершенно понятной. Однако и это не совсем так. Если в главе о ренте Чернышевский под прибылью понимал только прибыль предпринимателя, а не прибавочную стоимость вообще, то он не имел права уподоблять тенденцию ренты тенденции предпринимательской прибыли, так как к этой последней ведь не имеют прямого отношения рассуждения его о росте прибавочной стоимости. Ясно, что Чернышевский, связывая со словом «прибыль» совершенно различные понятия, незаметно для себя, — а потому и без всяких оговорок, — переходит от одного из них к другому, чем вносит запутанность как в изложение, так и в самое исследование предмета. Ввиду подобной неточности его выражений невольно является мысль, что, может быть, он вовсе не противоречит сам себе, когда, рассуждая «о влиянии экономического прогресса на рабочую плату», приписывает прибыли «тенденцию к понижению»: может быть, он разумеет там не всю вообще прибавочную стоимость, а лишь доход предпринимателей. Чтобы устранить это сомнение, напоминаем подлинные слова нашего автора. «Если бы при возрастании капитала население не возрастало, то стала бы возвышаться рабочая плата; следовательно, прибыль стала бы составлять все меньший и меньший процент на затраченный капитал, потому что прибыль — остаток продукта за вычетом рабочей платы. А если бы население размножилось, надобно было бы увеличиваться количеству пищи, то есть надобно было бы земледелию спускаться на земли менее плодородные, земледельческий труд становился бы менее успешным и опять-таки стала бы уменьшаться доля, остающаяся у предпринимателя за вычетом расхода на содержание работника» [1]). Если мы не ошибаемся, в этих строках под словом «прибыль» принимается *прибавочная стоимость вообще,* т. е. та доля продукта, которой Чернышевский приписывал свойство расти в геометрической прогрессии. Но если бы, против

[1]) Там же, стр. 533.

ожидания, нужно было понимать здесь слово «прибыль» в смысле дохода предпринимателя, то и тогда наш автор все-таки противоречил бы сам себе. Понижение прибыли оказывается здесь неизбежным даже в том случае, когда население не размножается, запрос на пищу не увеличивается, земледелие не переходит на менее плодородные участки и потому поземельная рента не возрастает. Причиной понижения прибыли является здесь единственно только увеличение спроса на труд и возвышение заработной платы, которое признается неизбежным следствием роста капитала, между тем как раньше Чернышевский доказывал, что даже при неразмножающемся населении рост капитала означает не падение уровня прибыли, а уменьшение фонда рабочей платы.

II.

Но что понимает Чернышевский под выражением уровень прибыли? Ввиду того, что со словом прибыль у него соединяются два различных понятия, само выражение *уровень прибыли* имеет у него двойственный смысл: иногда оно означает отношение к капиталу всей суммы прибавочной стоимости, а иногда только отношение к нему собственно предпринимательской прибыли. Это понятно само собою. Но спрашивается, о каком именно капитале говорит Чернышевский? Если в каждом данном процессе производства все издержки предпринимателя «сводятся к рабочим платам», то весь капитал превращается в то, что называется теперь переменным капиталом. Значит, под выражением уровень прибыли наш автор, по крайней мере, иногда, понимал совершенно то же самое, что и теперь понимается под ним: отношение прибавочной стоимости к стоимости рабочей силы. *О таком* «уровне прибыли» можно категорически сказать, что он не только не понижается, но постоянно возвышается с ходом экономического прогресса. Если же, говоря об «уровне прибыли», Чернышевский припоминал, что в действительности далеко не все издержки предпринимателя сводятся к рабочим платам, если он принимал в соображение постоянный капитал, то в таком случае приходится заметить, что понижение «уровня прибыли» может прекрасно уживаться с возрастанием степени эксплуатации работника.

Чтобы пояснить это, прибегнем и мы к «гипотезе». Положим, что и постоянный, и переменный капитал равняются у нас каждый десяти единицам; прибавочная стоимость тоже равняется десяти. Общая сумма капитала относится к прибавочной стоимости как 20 к 10. Следовательно, «уровень прибыли» равняется (10:20) 50%. Положим далее,

что наш капитал растет, при чем рост его сопровождается изменением относительной величины его частей; постоянный капитал равняется теперь 35 един.; переменный по-прежнему — 10, а прибавочная стоимость возросла до 15. «Уровень прибыли» равен теперь (15 : 45) 33⅓%. Он, как видите, понизился, но степень эксплуатации труда испытала огромное увеличение: прежде рабочие, получая в виде платы 10 единиц стоимости, создавали своим неоплаченным трудом тоже 10 единиц для предпринимателей. Степень эксплуатации труда равнялась (10 : 10) 100%. Теперь же она равняется (15 : 10) 150%. Капиталисты получают теперь относительно гораздо бóльшую долю годового продукта. Но так как процентное отношение этой доли к общей сумме капитала значительно уменьшалось, то можно подумать, что не «прибыль стремится поглотить» теперь рабочую плату, а, наоборот, рабочая плата поглотила часть прибавочной стоимости. Чернышевский упустил из виду возможность такого сочетания обстоятельств.

Что касается поземельной ренты, то, по смыслу теории Рикардо, она растет единственно вследствие перехода земледелия на менее и менее плодородные участки. Но переход земледелия на менее плодородные участки при прочих равных условиях означает возрастание стоимости содержания работника, т. е., иначе сказать, возрастание стоимости рабочей силы. Возрастание же стоимости рабочей силы равносильно уменьшению доли эксплуататоров в национальном продукте, а следовательно, уменьшению степени эксплуатации труда и уровня «прибыли» (прибавочной стоимости). Чернышевский был бы совершенно прав, если бы сказал, что рост поземельной ренты, причиняемой переходом земледелия на менее плодородные участки, сопровождается относительным умень-шением

прибавочной стоимости. Но он говорит совсем не то. Из его слов выходит, что рента растет одновременно с относительным увеличением прибавочной стоимости, но растет скорее, чем эта последняя, вследствие чего очень быстро уменьшается доля продукта, достающаяся предпринимателям и работникам вместе взятым; Но такой ход дела противоречит его собственным посылкам, т. е. той самой теории Рикардо, которая лежит в основе его рассуждений о влиянии роста поземельной ренты на распределение национального продукта.

Впрочем, здесь надо оговориться. Многие буржуазные экономисты считали постепенное уменьшение производительности земледельческого труда, сопровождающее рост народонаселения и капитала, совершенно бесспорным явлением. Чернышевский только условно допускает такое уменьшение. Он думает, что оно непременно имело бы место, если бы

не происходило улучшений в земледелии. Но такие улучшения постоянно совершаются, а этим задерживается рост поземельной ренты. «Общая формула всякого прогресса,— говорит нам автор,— состоит в том, что он уменьшает силу неравенств [1]). В применении к земледельческому производству каждое усовершенствование, возвышая успех дела в лучших обстоятельствах, обыкновенно еще значительнее возвышает его в обстоятельствах, менее хороших, а во всяком случае устраняет надобность вести дело в обстоятельствах, бывших самыми худшими. Например, если от замены сохи хорошим плугом на земле первого сорта будет родиться 12 четвертей вместо прежних 10, то на земле пятого сорта будет в большей части случаев родиться вместо прежних 6 четвертей но 8, а 9; а во всяком случае от значительного увеличения продукта с этих первых пяти сортов земли отстранится надобность возделывать землю шестого сорта, которая возделывалась прежде, давая только 5 четвертей. Таким образом низшая норма успешности дола, норма, определяющая ренту, значительно облегчается» [2]).

Есть еще другая сила, задерживающая, по мнению Чернышевского, возрастание поземельной ренты. Сила эта заключается «в самой чрез-

мерности стремления ренты возрастать: рента идет к поглощению прибыли и рабочей платы, т. е. к низвержению трехчленного деления продукта, к замене его формою устройства еще менее удовлетворительною, — формою, при которой и предприниматель и работник потеряли бы самостоятельность, сделались бы принадлежностью землевладельца, частью его собственности. Прибыль идет при этой системе к подчинению работника капиталисту, а рента идет к подчинению работника и капиталиста вместе землевладельцу. Само собою разумеется, что такая ретроградная тенденция отражается на производстве уменьшением его успешности, т. е., рента при трехчленном делении ведет не только к уменьшению доли продукта, остающейся на рабочую плату и прибыль, но и к уменьшению самой суммы продукта, т. е., ведет к уменьшению населения; а при уменьшении населения, конечно, прекращается надобность возделывать последний из возделывавшихся прежде сортов земли, а от этого рента подрывает сама себя. Эта тенденция ренты уменьшать сумму продукта, конечно, борется с силою прогресса, стремящеюся увеличить его, и в новые времена сила прогресса стала уже настолько велика, что одерживает постоянный перевес, и действие ренты в новой

[1]) Мы рассматривали это мнение выше.
[2]) Там же, стр. 413.

истории является не уменьшающим продукт, а только уменьшающим его увеличение» [1]).

III.

В главе о ренте Чернышевский только мимоходом касается вопроса о мнимом уменьшении производительности земледельческого труда. Подробнее рассматривает он его при разборе учения Мальтуса о народонаселении, а также в главе о влиянии экономического прогресса на рабочую плату. Главный довод его против Мальтуса сводится к тому, что уменьшение производительности земледельческого труда, причиняемое переходом земледелия на худшие участки, в сущности очень ничтожно, и что даже во времена самого мрачного средневекового застоя земледельческие

усовершенствования легко могли пересилить действие этой причины. Мы еще вернемся к этому доводу Чернышевского, а пока остановимся лишь на следующих соображениях его. Количество труда, нужное на производство продуктов, уменьшается как в мануфактурной промышленности, так и в земледелии. Но в земледелии оно уменьшается не так быстро, как в мануфактурной промышленности. Поэтому стоимость земледельческих продуктов увеличивается сравнительно со стоимостью мануфактурных товаров. Спрашивается, почему же земледелие отстает от мануфактурной промышленности? «Земледельческое искусство и знание растут медленно, а распространяются еще медленнее», — говорит Милль, Чернышевский справедливо замечает, что «этот очень справедливый ответ вовсе еще не ответ, а только новый вопрос». «Отчего же земледельческое искусство и знание растут медленно, а распространяются еще медленнее?» — спрашивает он. Известно, что «земледельческое производство составляет процесс гораздо более многосложный, чем какая-нибудь фабрикация; натурально, что задача об усо-вершенствовании простейшего дела требует меньших соображений, чем усовершенствование дела более запутанного. Но ведь и это еще не ответ. Если одна задача труднее другой, то следовало бы ожидать, что гениальнейшие умы займутся первою, предоставив вторую умам второстепенным». Но гениальные умы, как бы сговорившись, обходят вопросы земледелия. «Всем готовы заниматься гениальные люди: живописью и математикой, историей и медициной, а земле-делием теперь занимается только один из них — Либих, и то занимается так себе, почти

[1]) Там же, стр. 414.

что только в свободное время от других трудов; а до Либиха не укажете вы ни одного великого ученого по теории земледелия. Это явление Чернышевский старается объяснить указанием на тесную связь, существующую между развитием науки и интересами господствующих классов. «Те классы, интересами которых направлялась до сих пор наука, не нуждаются в хлебе, — говорит он. — Любознательность, общая им со всеми людьми, направляла

человеческую мысль к отвлеченным наукам; в практических знаниях направляла она ее к усовершенствованию всех дел, по которым недостает чего-нибудь нужного высшему или среднему классу. Мы выучились как строить корабли, дома, ткать материю; удивительных успехов достигли эти искусства, потому что без очень высокого развития их чувствует неудобство в жизни человек богатый или зажиточный. Но и при самом младенческом состоянии земледелия дурна ли, или недостаточна его пища? — слава богу, он ест вкусно и сытно. Разумеется, каждый должен заниматься своим делом, думать о своих надобностях. Усовершенствование земледелия нужно только простолюдину. Пока простолюдины не имели никакого значения в истории, они одни с своим невежеством и хлопотали о земледельческих улучшениях. Появление Таэра, который первый рационально занялся сельским хозяйством, недаром совпадает с концом прошлого века, когда простолюдины сделали попытку заявить свои права в истории. Либих, который первый из великих ученых занялся земледелием, не случайно явился современником так называемых утопистов» [1]).

По поводу этого «коренного ответа» Чернышевского на вопрос об отсталости земледелия приходится сказать почти то же, что говорили мы обо всех других пополнениях его к учениям буржуазных экономистов. Ответ этот очень остроумен. Давая его, наш автор обнаруживает гораздо более верный взгляд на историю науки и вообще на движение мысли, чем те будто бы глубокие мыслители, по мнению которых наука и мысль развиваются сами из себя и сами для себя, независимо от влияний жизни и без всякого отношения к экономическим интересам общества. Но остроумный ответ Чернышевского все-таки сделан без достаточного внимания к конкретным экономическим отношениям, и потому ни в каком случае не может быть признан «коренным ответом». Это все-таки еще очень абстрактный, односторонний и потому ошибочный ответ. Известно, что в настоящее время хлопчатобумажная промышленность составляет одну из самых важных отраслей производ-

[1]) Там же, стр. 530 — 531.

ства в капиталистических странах. Но какие же классы одеваются в хлопчатобумажные изделия? Бедные; богатые предпочитают другие изделия. Прусские юнкера старательно занимаются выделкой картофельного спирта. Для кого предназначается этот полезный продукт? Конечно, не для богатых классов: те предпочитают другие напитки. Да и вообще, можно ли сказать, что современная промышленность рассчитывает преимущественно на богатых и зажиточных потребителей, что она занимается исключительно производством предметов роскоши и комфорта? Далеко нет. Современная промышленность, во-первых, имеет в виду нужды самого производства: такова железоделательная, машиностроительная и каменноугольная промышленность; во-вторых, стараясь обеспечить себе возможно больший рынок, она имеет в виду прежде всего народные массы, т. е. тех самых бедняков, о которых она совершенно забывает, по мнению Чернышевского. Эта погоня за массовым сбытом существенно отличает ее от промышленности, например, народов Востока, которая, действительно, имеет в виду почти исключительно только потребности высших классов, так как низшие классы, живущие там при условиях натурального хозяйства, удовлетворяют свои нужды собственными изделиями. В значительной степени так же было и в античном мире, и вот почему Плутарх, описывая механические изобретения Архимеда, извиняется за него перед читателем, говоря, что знаменитый математик обратился к такому, недостойному философа, занятию единственно для защиты от римлян своего отечества. В Греции и Риме склад общественных отношений, действительно, направлял человеческую мысль почти исключительно к отвлеченным наукам. Но теперь дело изменилось коренным образом. В капиталистическом обществе интересы самих эксплуататоров направляют человеческую мысль на технические изобретения, которые не имели бы никакого практического смысла, если бы могли применяться только к производству предметов роскоши и комфорта. Да и какое дело капиталисту до того, кем потребляются изделия его работников, богачами или бедняками? Занимаясь выделкой дрянного, гнилого ситца, фабрикант с таким же успехом служит интересам своего кармана, как тот или другой

предприниматель, приготовляющий роскошные серебряные изделия. Этого совершенно достаточно для хлопчатобумажного короля. «Деньги не пахнут». И посмотрите, кто больше пользуется или, по крайней мере, кто имеет бóльшую возможность пользоваться техническими изобретениями, фабрикант, изготовляющий продукты массового потребления, или же предприниматель, выделывающий предметы роскоши? Вы увидите, что для про-

мышленности, удовлетворяющей нужды бедняков, сделано в техническом смысле гораздо больше, чем для промышленности, производящей предметы роскоши. Почему же это так? Потому ли, что гг. техники очень заботятся об интересах бедняков? Нет, просто потому, что, как мы уже сказали, промышленность первого рода несравненно важнее теперь для самих предпринимателей, чем промышленность второго рода [1]). Она дает тон, потому ей усерднее и служит наука.

Но, в таком случае, отчего же земледелие отстало от мануфактурной промышленности? Отчасти потому, что земледелие гораздо сложнее фабричного производства, главным же образом потому, что земледелие развивалось при других отношениях производства, чем мануфактурная промышленность. Успехи техники шли рядом с успехами капитализма. Они обусловливались, вызывались к жизни именно этими последними успехами. Где же получил начало, где прежде всего развился и окреп капитализм, в городе или в деревне? Известно, что в городе. Вернее сказать, известно, что капитализм овладел прежде всего такими отраслями производства, которые, при отделении города от деревни, составляли принадлежность горожан. Мануфактурная промышленность раньше земледелия приняла капиталистический характер, испытала поощрительное влияние конкуренции. Неудивительно, что она далеко обогнала земледелие.

Международный обмен действовал в том же направлении. Когда Англия заводила торговые сношения с Россией, она могла предложить ей только мануфактурные изделия. Земледельческих продуктов было достаточно в России, несмотря на всю ее отсталость. Но развитие вывоза мануфактурных изделий из Англии способствовало

расширению их производства, привлекало к мануфактурной промышленности новые капиталы и новые таланты. Так создавались для этой промышленности новые условия успеха. Наоборот, земледелие передовых стран, поскольку оно не прибегало к покровительственному тарифу, терпело от ввоза

[1]) Почему же хлопок, картофель и водка стали краеугольным камнем буржуазного общества? Потому, что их производство требует наименьшего труда, и они имеют, вследствие этого, наименьшую цену. А почему минимум цены обусловливает максимум потребления? Уж не вследствие ли абсолютной, внутренней полезности дешевых вещей, их способности наилучшим образом удовлетворять потребности рабочего, как человека, а не человека, как рабочего? Нет, это потому, что в обществе, основанном на *нищете,* самые *нищенские* продукты имеют роковое преимущество служить для потребления массы». *Карл Маркс,* «Нищета философии», стр. 33, русск. перевод В. И. Засулич под редакцией Г. Плеханова.

земледельческих продуктов из отсталых стран, область сбыта сужи-валась для него, а этим, по крайней мере, в некоторых случаях, за-держивались его успехи. По отношению к отсталым странам, высы-лающим на международный рынок свои земледельческие продукты, обмен действовал как революционный двигатель, расшатывая и ломая их исстари унаследованные общественные порядки. Этим подготовля-лась почва для развития капитализма в отсталых странах. Но и там, благодаря господству феодальных или крепостнических отношений в деревне, мануфактурная промышленность представляла обыкновенно более удобств для приложения нарождающегося капитала [1]).

Стараясь объяснить медленное распространение земледельческих знаний, Чернышевский горячо нападает на тех «рутинистов», которые говорят, что крестьянин — враг нововведений, что он любит держаться старины. «Это один из сотни тех глупейших афоризмов, — восклицает он, — упорное существование которых в книгах и в мыслях образованного общества принуждает думать, что вот именно оно, образованное и прогрессивное общество, до безумия любит сохранять всякую нелепость, которая засядет в него». По мнению Чернышевского, дело не во вражде крестьян к улучшениям, а просто в их бедности. «У человека очень бедного, разумеется, нет средств ни к чему, в том числе и к производству земледельческих улучшений» [2]). Ни мало не желая защищать «образованное и прогрессивное общество», мы все-таки заметим, с своей стороны, что одною

бедностью крестьян отсталость их еще далеко не объясняется. Промышленные рабочие тоже бедны, а между тем они гораздо больше и легче крестьян увлекаются всякими «нововведениями». Отсталость крестьянина объясняется общею отсталостью тех экономи-

[1]) *Примечание к настоящему изданию* (изд. «Шиповник»). Мы с удовольствием убедились впоследствии в совпадении нашего взгляда на отношение роста производительности труда *в земледелии* к его росту *в промышленности* со взглядом Маркса на тот же предмет (ср. «Theorien über den Mehrwert», zweiter Band, erster Teil, стр. 172 и следующие). На этих же страницах (особенно на стр. 174), находится у Маркса и ответ тем экономистам, которые, подобно П. П. Маслову, до сих пор признают теорию убывающей производительности земледельческого труда. Но, как бы там ни было, несомненно одно: теперь, когда европейские производители хлеба так горько жалуются на его перепроизводство, совсем уже нельзя объяснять тяжелое положение рабочего класса малой производительностью земледельческого труда. По вопросу о том, как росла эта производительность в Западной Европе в XIX столетии, см. книгу *Фр. Оппенгеймера:* «Das Bevölkerungsgesetz des R. T. Malthus und der neueren Nationalökonomie», Berlin 1901, S.S. 48 и следующие.

[2]) Сочин., стр. 531—532.

ческих условий, среди которых он живет. Человек есть продукт окружающей его общественной среды. Чернышевский часто повторял и прекрасно доказывал это положение. Но он не всегда умел надлежащим образом воспользоваться им при исследовании того или другого общественного явления. Вот почему, — как мы уже видели, — материализм Чернышевского заметен гораздо более в его «антропологических», чем в его исторических воззрениях, т. е. заметен более в его взглядах на отдельного человека, чем во взглядах на целое общество.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Закон народонаселения. — Мальтус

I.

Вопрос о народонаселении тесно связан с именем Мальтуса. Люди, мало знакомые с историей политической экономии, обыкновенно полагают даже, что Мальтус был первым, выдвинувшим его в науке. Это очень большая ошибка. О народонаселении писали гораздо *раньше* Мальтуса и, — что всего важнее, — писали *гораздо основательнее его.* Совсем не задаваясь целью исчерпать здесь всю существовавшую до Мальтуса литературу этого предмета, мы припомним, как смотрели на него некоторые писатели XVIII века.

Франклин, в небольшой статье «Observations concerning the Increase of Mankind» [1]) и т. д., говорит, что как растения, так и животные, не исключая человека, способны размножаться с поразительной быстротой, и что, если бы земля «была свободна от других обитателей, она в короткое время могла бы быть совершенно заселена одним каким-нибудь народом, например, англичанами». Размножение рода человеческого задерживается целым рядом препятствий, например, дурным управлением, войнами и в особенности недостатком средств существования. Задача правительства заключается в том, чтобы обеспечить народу эти средства, потому что быстрый рост населения означает быстрый рост национального могущества и богатства. По мнению Франклина, белое население Северной Америки удваивалось каждые 20 лет. Но для примера он предполагает, что период удвоения равняется *«только* 25 годам», и затем показывает, в какую могучую нацию мог бы превратиться какой-нибудь

[1]) Works, т. II, стр. 384—391.

миллион англичан, переселившихся в Америку. «Какое увеличение силы Британской империи на море и на суше! — с восторгом восклицает он. — Какой рост промышленности и судоходства! Какое множество кораблей и моряков!»

Подобно американцу Франклину, англичанин *Уоллес* задался целью показать, что человеческий род может размножаться чрезвычайно быстро, если только этому не мешают неблагоприятные условия, к числу которых и он относит прежде всего недостаток средств существования. «В любой стране вы всегда найдете, что, при прочих равных условиях, она населена тем больше, чем больше количество производимой ею пищи, поскольку изобилие пищи служит для народных масс поощрением к браку». Уоллес держится того мнения, что в древнем мире население было значительно гуще современного. «Было бы очень желательно, — замечает он, — чтобы внимательнее отнеслись к великому недостатку населения во всех странах и чтобы постарались выработать надлежащие планы для улучшения этого положения, так как благодетельный творец природы предназначил землю главным образом служить обиталищем человеку, и так как при

подходящем возделывании она могла бы кормить число людей, значительно превышающее то, которое населяет ее теперь» [1]).

Юм высказывает совершенно те же взгляды относительно способности людей к размножению. Человеческий род мог бы более чем удваивать свою численность с каждым поколением, если бы не препятствия (some difficulties in mens situation), вынуждающие людей сдерживать свое стремление к деторождению. Мудрое правительство обязано заботливо наблюдать и устранять эти препятствия (difficulties which it belongs to a wise legislature carefully to observe and remove) [2]). Мимоходом Юм делает ряд замечаний (например, о способности рабов к размножению, о детоубийстве), которые потом воспроизводит Мальтус, не называя источника.

Известный *Мирабо-отец* считает старой аксиомой ту мысль, что «люди плодятся, как крысы в хлебном амбаре, если у них есть средства существования». Мера этих средств служит мерой населения. Но именно поэтому не войны и не эпидемии препятствуют увеличению народонаселения (причиняемые ими потери чрезвычайно легко пополняются),

[1]) «Essai sur la différence du nombre des hommes dans les temps anciens et modernes», Londres MDCCLIV, pp. 271 et 272.

[2]) «Of the populousness of Ancient Nations» in «Essays and treatises», Londres MDCCLIV, vol. I, p. 139.

а роскошь, истребляющая средства существования; «заведите лишнюю лошадь в стране, и вы можете быть уверены, что вы убьете тем, по крайней мере, четырех человек». Мирабо далек от того, чтобы видеть источник бедности страны в увеличении ее населения: «дайте людей стране; если у них нет денег, они привлекут их» [1]).

Монтескье понимает, что между размножением растений и животных, с одной стороны, и размножением людей, с другой, — есть огромная разница. «Самки животных, — говорит он, — отличаются почти неизменной плодовитостью. Но в человеческом роде взгляды, характер, страсти, фантазии, капризы, желание сохранить красоту, неудобства беременности и слишком многочисленного семейства нарушают размножение на тысячу ладов» [2]). Это совершенно верная мысль. Но Монтескье не умел свести к одной коренной причине

многочисленные условия, которые «на тысячу ладов нарушают размножение» рода человеческого. В этом случае он остался верен своему обычному характеру мышления. Он вообще не умел подняться от понятия о взаимодействии социальных явлений до понятия об их общей основе, как это лучше всего видно из его книги о величии и упадке Рима.

Сэр *Джемс Стюарт* в своем, вышедшем в 1767 г., «Inquiry into the principles of political economy» высказывает более глубокий взгляд на народонаселение. Он понимает, что существует тесная связь между экономией страны и ее населенностью [3]). Он различает *физическую* не-

[1]) «L'ami des hommes ou traité de la populations» Nouvelle édition, Paris 1758, première partie, p.p. 20—21—22—191.

[2]) «L'esprit des lois», LXXIII, ch. I.

[3]) Замечательна самая постановка вопроса у *Стюарта.* «Мы увидим, — говорит он, — каким образом законы промышленности влияют на размножение и на земледелие» (кн. I, гл. II, стр. 29 французского перевода 1780 г.). Стюарт не считает возможным рассматривать вопрос о народонаселении с отвлеченной точки зрения: «Я нахожу, что общие пропорции всегда ошибочны, — говорит он. — В сущности нет страны совершенно населенной, если под этим понимать число ее жителей, рассматриваемое независимо от потребления ими произведений страны». *«У свободного народа* (Стюарт имеет в виду народ, живущий при *буржуазных условиях производства) земледелие увеличивает население лишь в той мере, в какой бедные получают возможность покупать свою пищу своим трудом»* (стр. 50). У Стюарта идет речь даже о чем-то в роде *экономического* подбора, существенно отличного от подбора *естественного,* о котором говорил впоследствии *Дарвин.* Закон *экономического* подбора устанавливается Стюартом неправильно: размножение привилегированных он считает прямо пропорциональным их средствам существования. Это достаточно опровергается хотя бы примером современной Франции (ср. *Ar. Dumont,* «Population et civilisation»). Тем не менее, Дарвину было бы гораздо полезнее прочесть Стюарта, чем Мальтуса.

возможность прокормления данною страной данного числа людей от *моральной* невозможности, обусловливаемой общественными отношениями. С изменением этих отношений передвигается тот предел, по наступлении которого страна оказывается перенаселенной в «моральном» смысле этого слова. Эти мысли Стюарта были далее развиты швейцарцем *Герреншвандом,* замечательное сочинение которого [1]) вышло в Париже за несколько лет до появления первого издания «Опыта о законе народонаселения» Мальтуса.

Указав на то, что пределы для размножения рода человеческого бывают двух родов: физические и моральные, Герреншванд разделяет человечество по способам производ-ства, — или по способам

ассоциации, как выражается он, — на три «класса», которые отличаются один от другого почти как «отдельные роды»: 1) охотники, 2) пастухи и 3) земледельцы. «Земледельческие народы имеют способность заставлять родиться свою пищу, так сказать, везде, куда они являются, и, кроме того, эта пища может быть переносима на огромные расстояния; эта дает им то преимущество, что они могут скоплять население в таких местах и, можно сказать, в таких размерах, в каких им вздумается. Такое положение земледельческих народов, совершенно противоположное положению двух других отделов рода человеческого, дает им возможность держаться различных систем в образе жизни и в способе удовлетворения своих нужд; а это различие систем, уничтожая у них однообразие, царствующее у охотников и пастухов, делает из них как бы несколько отдельных родов. Земледелие вообще до такой степени видоизменяет растения, животных и людей сравнительно с их первоначальным состоянием, что «природе трудно было бы узнать себя в своих творениях» [2]). Ввиду того, что различные земледельческие народы придерживаются различных систем в способах удовлетворения своих нужд (т. е. различных способов производства), они подчиняются различным законам народонаселения [3]). Да и в среде одного и того же рода законы народонаселения не одинаковы для различных классов, например, для рабов и для свободных людей. Современную ему буржуазную систему

[1]) «De l'économie politique moderne. Discours fondamental sur la population», A Paris, l'an. III de la Republique.

[2]) Назв. соч., стр. 16 и 286.

[3]) Вообще, по мнению Герреншванда, способ удовлетворения нужд, система экономических отношений, оказывает глубокое влияние на все привычки и склонности народа. Так, причину воинственности древних римлян он видит в системе мелкого землевладения (стр. 23).

Герреншванд называет системой земледелия, основанной на мануфактурной системе, и считает ее «самой смелой системой, какую только мог придумать человеческий род для обеспечения своего существования». Во всех других системах «всем людям обеспечено прочное существование, но в системе земледелия, основанной на

мануфактурной системе, половина нации оказывается в самом необеспеченном положении... без определенных средств существования, без уверенности в возможности приобрести их посредством труда, имея хлеб сегодня, а завтра умирая с голоду» [1]). Судьба этой части нации зависит от колебаний всемирного рынка. «Когда внешняя торговля уменьшается постепенно или внезапно прекращается для какой-нибудь ветви промышленности, тогда люди, занимающиеся ею, постепенно приходят или вдруг попадают в такое положение, что им остается только искать помощи у правительства. И если у правительства нет ни способности, ни желания найти для них новых потребителей их изделий,— они непременно должны или покинуть свою страну, чтобы искать себе пропитания в другом месте, или просить подаяния, или погибнуть от нищеты, потому что тогда земледельцы перестанут производить предназначавшуюся для них пищу или будут вывозить ее за границу» [2]). Классическая страна капитализма, Англия, поражала Герреншванда огромным количеством не имеющих работы «бедняков и бродяг». Он говорит, что увеличение их числа нельзя объяснить ни леностью английского народа, ни действием нелепых законов о бедных, ни («еще того менее») излишним размножением, так как Англия далеко не достигла той цифры населения, которую она способна прокормить. Он высказывает даже то предположение, что пауперизмом Англия обязана развитию машинного производства [3]). Как бы там ни было, главного виновника такого положения дел он должен был видеть в английском правительстве. Правительство обнаруживает, по его словам, свою несостоятельность всякий раз, когда данный народ не производит всей той пищи, которую он мог бы добыть, и всех тех людей, которых могла бы содержать его территория. А в таком положении находилась, по его словам, вся тогдашняя Европа, земледелие которой не производило и половины того, что могло бы производить [4]).

[1]) Назв. соч., стр. 41.
[2]) Там же, стр. 60 — 61.
[3]) Там же, стр. 69 — 70 и 246 — 247.
[4]) Там же, стр. 284 и 289.

Довольно. Подведем итог всему, что сказали нам о народонаселении цитированные писатели. Многочисленное население является источником могущества и богатства страны. Мерой населения служат средства существования; потому «правительство» не исполняет своей прямой обязанности, если не заботится об их увеличении. Количество пищи, добываемой в каждой данной стране, зависит не только от ее плодородия и производительных сил, находящихся в ее распоряжении, но также и от тех общественных отношений, при которых эти силы употребляются в дело. Современные общественные отношения, — самые смелые из всех возможных, по выражению Герреншванда, — ставят значительную часть народа в совершенно необеспеченное положение, благодаря которому ей постоянно грозит голодная смерть, несмотря на то, что земледелие могло бы прокормить гораздо большее население... Развитие машинного производства, то есть увеличение производительных сил, может, при современном порядке вещей, быть причиной обеднения рабочего класса. Наконец, для каждой системы общественных отношений и даже для каждого общественного класса существует свой особый закон народонаселения и перенаселения. Только растения и животные отличаются почти неизменной плодовитостью.

Изо всего этого следует такой вывод: хотя писатели восемнадцатого века склонны были рассматривать общественную жизнь с очень, очень отвлеченной точки зрения, но и они, с большею или меньшею ясностью, понимали уже, что вопрос о народонаселении есть по преимуществу исторический вопрос, и что нет одного, общего для всего человечества, *закона народонаселения,* а есть *законы,* свойственные различным ступеням человеческого развития.

II.

Так обстояло дело с вопросом о народонаселении, пока о нем говорилось без задних мыслей, sine ira et studio. Потом пришло время, когда о нем не могли уже говорить спокойно, когда он начал возбуждать полемические страсти. Почему произошло это, понять не трудно. С развитием капитализма рука об руку шло обеднение народной массы. Положение «трудящихся бедняков» становилось все

более и более тяжелым, а в то же время число их росло с поразительной быстротой.

В Англии еще со времен Елизаветы установлен был, как известно, налог в пользу бедных, который был очень не по вкусу имущим классам. Налог этот естественно увеличивался по мере увеличения числа ну-

ждающихся в общественной помощи. И вот явилась мысль показать, что он совершенно не достигает цели (он и действительно не мог уничтожить бедность) и что лучше всего оставить бедняков на произвол судьбы и «естественных законов». Но это еще не все. Французская революция показала, что с «трудящимися бедняками» шутить опасно, что они могут причинить подчас много неприятностей имущим классам. Надо было постараться удержать бедняков на стезе добродетели. Надо было показать им, что ошибались люди, приписывавшие недостаток продовольствия дурному политическому или общественному устройству. Надо было доказать, что в бедствиях рабочего класса виновата природа, а не общественные отношения. Обширная литература по вопросу о народона-селении могла, при умелом пользовании ею, доставить очень хороший материал для подтверждения этой мысли. В самом деле, до сих пор говорили, что человеческий род способен к чрезвычайно быстрому размножению, но дурное общественное устройство или плохое управление мешают ему дойти до тех пределов, которые допускаются естественным плодородием земли. Попробуем рассуждать иначе. Человеческий род стремится размножаться чрезвычайно быстро; средства же существования далеко не могут расти с такой быстротой. Отсюда бедность, отсюда пороки, отсюда все те несчастия, в которых беспокойные люди обвиняют правительства и господствующие классы. Нищета плод законов божеских, а не человеческих. Если в стране много бедняков, то некого винить в этом, кроме самих бедняков, которые слишком сильно плодятся. Невозможно придумать какие-нибудь меры для серьезного улучшения их участи. Если бы в нынешнем году мы ухитрились изгнать бедность из нашей страны, то через двадцать пять, двадцать, а то и пятнадцать лет ее население

стало бы вдвое больше, и тогда опять появилась бы нищета и все связанные с нею бедствия.

Участь бедняков зависит исключительно от них самих. Пусть они перестанут размножаться, — бедность исчезнет мало-помалу сама собой.

Так поставлен был в Англии вопрос о народонаселении в конце XVIII века защитниками интересов имущих классов.

«Нелепо было бы утверждать, — говорит *Джозеф Тоунзэнд,* — что в густо населенной стране никто не чувствует нужды; если бы можно было пополнить то, чего недостает нищим, то этим мы удвоили бы их число и содействовали бы их размножению до бесконечности, что противоречило бы имевшейся в виду цели. Можно было бы, правда, отстранить голод и удовлетворить этой потребности в ущерб другой (под

этой другой потребностью Тоунзэнд понимает потребность физической любви), но в таком случае следовало бы определить относительное число людей, вступающих в брак, потому что нет другого средства для ограничения всего числа жителей. Из этого затруднения не выведет никакое усилие, и люди никогда не найдут более естественного и лучшего во всех отношениях средства, как предоставить одной потребности ограничивать другую» [1]). Этими последними словами Тоунзэнд хочет сказать, что в сущности беднякам надо предоставить выпутываться из нужды, как они хотят и как умеют. Для него и для подобных ему «исследователей» все дело было в этом, будто бы естественном, выводе из «естественных» законов.

Для лучшего уяснения этих законов Тоунзэнд приводит следующий пример:

«Мореплаватели рассказывают об этом острове на Великом океане, Хуане Фернандесе, названном так по имени открывшего его капитана. Последний высадил на этот остров козла и козу. Эта счастливая пара, найдя богатые пастбища, без затруднения исполняла первую заповедь — плодиться и размножаться, — пока не населила весь этот маленький остров. До той поры животные не знали ни нужды, ни голода и как бы гордились своей многочисленностью; но, по

наступлении этой несчастной эпохи, они начали испытывать недостаток в пище, а так как они продолжали плодиться, то имели бы полное основание опасаться всех ужасов голода, если бы только одарены были разумом. При этих новых условиях слабейшие из них погибли, и прежнее изобилие водворилось. Таким образом животные испытывали попеременно то благосостояние, то бедность, смотря по увеличению или уменьшению их числа, которое следовало за колебаниями количества их продовольствия. Равновесие это по временам нарушалось то повальными болезнями, то прибытием какого-нибудь корабля, нуждавшегося в пище. В таких случаях погибало огромное количество коз; но оставшиеся в живых находили некоторое утешение в изобилии, восстановлявшемся после гибели их товарищей, и в прекращении опасения голода. Таким образом все приходило в порядок, и они переставали неприязненно смотреть друг на друга; все имели достаточно пищи, все были довольны, все были счастливы. Итак, то, что могло бы показаться бедствием, делалось для них источником счастья; по крайней мере, частное зло вызывало всеобщее благо.

[1]) «Voyage en Espagne», перевод Пиктэ-Малэ, т II. стр. 348.

«Когда испанцы узнали, что английские каперы снабжались на этом острове продовольствием, они решили совершенно истребить на нем коз и с этой целью высадили на него пару собак, самца и самку. Собаки, в свою очередь, тоже размножились в размере найденного ими количества пищи; так что число коз, как и предвидели испанцы, уменьшилось. Если бы они были уничтожены совершенно, то погибли бы и собаки; но так как многие козы удалились в горы, куда собаки не могли следовать за ними, и так как они сходили с гор редко, только для отыскания себе пищи, то лишь менее осторожные и более дерзкие между ними становились добычей собак, а между собаками только самые сильные, ловкие и деятельные могли добыть себе достаточно пищи. Так возник новый род равновесия: слабейшие животные обеих пород были первыми жертвами новых условий, более деятельные и сильные уцелели. Таким же образом количество продовольствия определяет численность и в человеческом роде» [1]).

Мы нарочно выписали всю эту, довольно длинную, притчу, потому что она содержит в себе всю сущность *«мальтузианства».* Убедительностью она, как видите, не отличается. Тоунзэнду хочется доказать, что численность данной породы определяется количеством продовольствия. Но только первая половина притчи не противоречит этой мысли. С той поры, как на остров пустили собак, размножение коз перестало обусловливаться количеством пищи: собаки не давали им размножаться до той степени, которая допускалась природой острова [2]). Можно, если угодно, выразиться иначе, — можно сказать, что хотя размножение коз и не переставало определяться количеством пищи [3]), но количество это зависело теперь не *от природы острова, а от успешности собачьих нападений на коз.* Если бы козы, терпя недостаток продовольствия в своих горах, вздумали заняться исследованием вопроса о народонаселении, они должны были бы придти к тому выводу, что нужда их обусловливается не физическими, а «моральными» причинами, т. е. не недостатком растительности, а собачьим нашествием, мешающим им воспользоваться всей той пищей, которая находится на острове. Придя к такому выводу, козы задумались бы, может быть, о том, как бы им отодвинуть «моральный» предел их размножения, как бы получше

[1]) Там же, т. II, стр. 341 — 344. Смотри также приложение к русскому переводу «Опытов о законе народонаселения» *Мальтуса.*

[2]) Это было замечено уже русским переводчиком Мальтуса, *П. А. Бибиковым.*

[3]) Хотя и это не совсем точно: кроме пищи, размножение определялось наверно, и другими естественными условиями.

защитить им себя от собак. Положим, что им удалось придумать средство, с помощью которого им можно было совершенно очистить остров от собак. Они в восторге, а собаки в отчаянии: козьи выдумки грозят им совершенным нарушением всех «естественных законов». И вот, чтобы образумить беспокойных животных, собаки, в свою очередь, пускаются в исследования о народонаселении. Они доказывают, что безбожная затея коз не принесет никому никакой пользы. Разделавшись с собаками, козы очень быстро размножатся, заселят весь остров, и тогда опять почувствуется недостаток продовольствия. Ввиду этого гораздо разумнее оставить все в прежнем положении. Если теперь собаки действительно едят иногда коз, то это, разумеется,

очень печально. Но что же делать? Козам суждено страдать на этом свете. Таков закон природы. Притом же козам стоит только захотеть, чтобы улучшить свою участь, не прибегая к бесполезным переворотам. Им надо лишь ограничить свое размножение. Чем меньше будет коз, тем долговечнее и сытее окажется всякая коза в отдельности. Мы не думаем, чтобы подобная проповедь могла устранить предстоявшую революцию. Смешно пугать «коз» *будущим* недостатком продовольствия, когда они страдают от него уже *в настоящее время.* Изгнание «собак» принесет им хоть несколько лет благосостояния, и этого уже достаточно, чтобы не отказываться от мысли об изгнании.

Политико-экономические вопросы решаются не притчами и не баснями. Притчи и басни ровно ничего не доказывают. Мы остановились на приводимом Тоунзэндом примере единственно для того, чтобы показать, какой характер приняли исследования о народонаселении в конце XVIII века. Главной целью их было измышление доводов, которые помогли бы свалить с имущих классов ответственность за нищету рабочих и убедить «бедняков» в том, что они терпят нужду, благодаря только своей собственной непредусмотрительности. Предание говорит, что Менений Агриппа успокоил взволнованных плебеев своей знаменитой басней. Начиная с конца XVIII века, «опыты» о народонаселении должны были играть роль именно этой басни.

В рассуждениях Тоунзэнда, писавшего еще до французской революции, уже сквозит опасение очень серьезных неприятностей со стороны «трудящихся бедняков». Он старается показать неудобства общественного порядка, основанного на *«общности имуществ».* Говоря о Леоне (в Испании), он пускается в следующие соображения, которыми потом воспользовался Мальтус. «Число жителей этой страны должно быть ограничено сообразно их средствам существования. Если бы они

установили общность имуществ, то должны были бы или определять по жребию, кому и кому следует выселяться, или умереть с голоду. Впрочем, во избежание такого исхода, они могли бы постановить с об-

щего согласия, что только по два лица в каждом семействе могут вступать в брак...» [1]). Этот последний якобы исход указывается Тоунзэндом не спроста. Общество, ограничивающее «с общего согласия» число лиц, могущих вступать в брак, должно произвести на читателя впечатление самой ужасной тирании и вселить в него благодетельное отвращение от всякой мысли об общности имуществ. Однако не мешает припомнить, в чем видит Тоунзэнд действительнейшее средство борьбы с нищетою в современном обществе. *Не в чем ином, как именно в ограничении числа браков и вообще размножения;* таков смысл его слов относительно ограничения одной потребности (физической любви) другою (потребностью в пище). Но ведь ограничение числа браков есть самая вопиющая тирания? И да, и нет! Оно оказывается вопиющей тираний, когда устанавливается «с общего соглашения» и распространяется на все общество, вследствие чего может коснуться самого «почтенного» человека. Иное дело, когда ограничение «одной потребности» оказывается необходимым для бедняков, живущих под вечной угрозой голодной смерти и виновных в том, что их произвели на свет бедные родители. Тогда названное ограничение является самой благоразумной и совершенно естественной мерой. Логика вульгарных экономистов никогда не смущалась подобными противоречиями. Но может ли она быть убедительной для пролетариата?

Взгляды Тоунзэнда целиком воспроизводятся в книге Мальтуса, заслуга которого сводится лишь ко внесению новой путаницы в постановку вопроса о народонаселении [2])

[1]) Там же, т. I, стр. 321.

[2]) Известно, что Маркс называл Мальтуса плагиатором. Столь резкий отзыв кажется слишком неприличным всем «серьезным» ученым. С ним трудно было помириться даже Ф. А. Ланге. Нечего и говорить о людях еще более «почтенных?. Так, г. Зэтбеер старается защитить честь Мальтуса в своей книге: «Die Stellung der Sozialisten zur Malthusschen Devölkerungslehre» (Книгу эту увенчал премией Геттингенский университет). По его мнению, только рассмотрение первого издания «Опыта» *Мальтуса* могло бы окон-чательно разрешить спор, вызванный резким упреком Маркса (г. Зэтбеер не мог достать этого издания). «А пока, — наивно прибавляет он, — мы не имеем никакого основания верить Марксу больше, чем Мальтусу» (стр. 34). Но Марксу едва ли когда приходило в голову просить немецких «ученых» верить ему на слово. Единственное, чего он мог требовать от них, это — знакомства с теми предметами, о которых они вздумают говорить. «Неясно, — заме-

Мальтус очень дешево купил ученую славу, не дороже, чем купил ее Ж. Б. Сэй. Даже люди, горячо нападавшие на его учение о народонаселении, например, Чернышевский, считали его замечательным экономистом, ставили его имя рядом с именами Смита и Рикардо. А между тем, достаточно прочитать его «Основы политической экономии», чтобы увидеть всю шаткость такого мнения. Подобно Сэю, Мальтус был противником Рикардо, и, еще раз подобно Сэю, он не только очень слабо возражал Рикардо, но просто не в состоянии был *понять* взгляды этого, действительно, замечательного экономиста. Точка зрения Рикардо навсегда осталась для него недостижимой ступенью научного мышления. Все, что говорит он против Рикардо, может по своему достоинству срав-ниться разве лишь с возражениями Сэя против того же писателя или с теми доводами, которые в изобилии измышляются теперь патентованными учеными для побиения марксизма [1]). Ум Мальтуса, — типический ум вульгарного экономиста, — никогда не шел дальше поверхности явлений и никогда не отличался хотя бы самой элементарной последовательностью. За какой вопрос ни брался этот человек, он неизбежно запутывал его по той простой причине, что не умел ясно поставить его перед собой и твердо держаться раз принятой постановки. Незаметно для себя он перескакивал от одной постановки к другой, мешал в одну кучу различные выводы, вытекающие из различных постановок вопроса, и кончал тем, что вряд ли и сам понимал, о чем собственно идет у него речь в данное время и в данном месте.

чает г. Зэтбеер, — относится ли и насколько относится упрек в плагиате к последним изданиям сочинений Мальтуса. Если — да, то несостоятельность его обнаруживается как приведенными (г. Зэтбеером) местами из предисловия ко второму изданию, где Мальтус называет свои источники, так и способом обработки предмета». Во-первых, мы не знаем, как это могут быть неясны г. Зэтбееру совершенно *ясные* слова Маркса *о первом* издании, а во-вторых, мы позволим себе спросить его, думает ли он, что Мальтус обнаружил большую самостоятельность в дальнейшей обработке предмета)? Читал ли г. Зэтбеер предшественников Мальтуса? Если — да, пусть укажет хотя одну — только одну! — мысль этого писателя, *не* заимствованную у кого-нибудь из них. С своей стороны, мы можем привести именно из последующих изданий множество примеров поразительной, доходящей до мелочей, несамостоятельности Мальтуса.

[2]) Для примера укажем на его рассуждения о стоимости, как в вышеозначенном сочинении, так и в «Definitions in political Economy», ch. VIII.

Это, разумеется, очень большой недостаток. Но замечательно, что именно этот-то недо-статок и оказал ему огромную услугу при «исследовании» вопроса о народонаселении.

Мы видели, что многие предшественники Мальтуса строго различали *физические* пределы размножения от *«моральных»* пределов, зависящих от общественных отношений. Мы видели также, как ясно понимали некоторые из них то обстоятельство, что законы народонаселения различны на различных ступенях общественного развития. Такая постановка вопроса была очень неудобна для людей, желавших сделать из него оружие против требований пролетариата. Эти люди стремились доказать, что бедствия пролетариев происходят от перенаселения. Но, даже соглашаясь с ними, можно было, — помня выводы прежних исследователей, — попросить их объяснить, какими собственно причинами обусловливается перенаселение: физическими или «моральными»? Происходит ли оно оттого, что почва страны не в состоянии прокормить данное число людей, или только оттого, что общественные условия мешают надлежащим образом воспользоваться плодородием почвы? В интересах так называемого общественного спокойствия необходимо было, во что бы то ни стало, избежать столь нескромных и несвоевременных расспросов. А этого легче всего было достигнуть устранением с поля исследования всех общественных элементов, от которых в действительности зависит решение вопроса. *Исторические законы* народонаселения должны были уступить место единому *отвле-ченному закону,* действующему во все времена и у всех народов. Мы знаем, что уже Тоунзэнд очень ловко свел вопрос на эту отвлеченную почву. Но Тоунзэнд этим и ограничился. Он сделал большую ошибку, не обеспечив себе отступления, не выставив, для внушительности, такого исторического материала, который помешал бы противникам обратить внимание на слабую точку позиции, — на полное отсутствие исторического взгляда на дело. Этот пробел пополнен был Мальтусом.

Появившийся сначала в виде довольно тощей книжки его *«Опыт о законе народонаселения»* постепенно (в последующих изданиях) принял вид чрезвычайно серьезного и обстоятельного исследования, полного самых разнообразных фактических данных.

Казалось бы, что это обилие данных должно было помешать ему исполнить свою задачу: установить отвлеченный закон отвлеченного народонаселения. Но, благодаря указанному характеру своего ума, он благополучно миновал и Сциллу и Харибду.

194

По собственному признанию Мальтуса, он взялся за исследование закона о народонаселении, руководимый желанием приложить этот закон «к разъяснению некоторых теорий относительно усовершаемости человека и общества, — теорий, на которых сосредоточивалось в то время общественное внимание». Сам же он объясняет нам, каковы именно были эти теории: главнейшая из них, теория Годвина, имела целью показать «огромные выгоды системы равенства». *«Разъясняя»* эту теорию, Мальтус выставляет против нее следующий довод: «Главная ошибка Годвина состоит в том, что он приписывает человеческим учреждениям все пороки и все бедствия, возмущающие общество. В политических учреждениях и в законах, касающихся собственности, он видит источник всех бедствий и всех преступлений. Но если бы это воззрение было справедливо, то можно было бы не отчаиваться в надежде, что зло будет когда-нибудь окончательно изгнано из окружающего нас мира, а разум человеческий, действительно, будет орудием такого благотворного преобразования. Но дело в том, что бедствия, причиняемые человеческими учреждениями, между которыми некоторые представляются несомненно вредными, оказываются крайне ничтожными и поверхностными сравнительно с несчастиями, порождаемыми естественными законами и человеческими страстями» [1]). Для доказательства этой мысли ему служит тот отвлеченный закон, в силу которого население всегда стремится будто бы перейти за пределы средств существования. Изложению закона посвящена первая глава первой книги «Опыта». Там мы встречаемся с пресловутыми *прогрессиями* [2]), которые, по-видимому, не оставляют сомнения в справедливости закона, а следовательно, и той мысли, что влияние плохого общественного устройства оказывается «крайне поверхностным и ничтожным сравнительно с несчастиями, порождаемыми естественными законами и человеческими

страстями». Такое именно впечатление и выносит читатель из этой главы. Но затем он переходит к обширному, занимающему

[1]) «Опыт», т. II, кн. III, гл. II, стр. 90 — 91. Все наши ссылки относятся к русскому переводу «Опыта», сделанному П. А. Бибиковым.

[2]) Очень ошибся бы тот, кто сказал бы, что, по крайней мере, прогрессии эти придуманы самим Мальтусом. О способности человеческого рода к размножению по геометрической прогрессии говорили и до него (Франклин, Уоллес Тоунзэнд). Арифметическая прогрессия, кажется, придумана, действительно, самим Мальтусом. Но трудно ли было придумать ее, напр., после рассуждений Тоунзэнда о том, что размножающееся по геометрической прогрессии население стремится обогнать средства существования? Неужели простое арифметическое сравнение может быть названо открытием?

целых две книги, исследованию «о препятствиях для размножения населения» на различных ступенях общественного развития. Тут он имеет дело с этнографическими, историческими и статистическими данными, которые щедрой рукой рассыпает автор. Он присматривается к этим данным, — и чтó же он видит? Неужели Мальтус позабыл свое основное положение? Влияние человеческих учреждений оказывается далеко не таким ничтожным, каким его хочет выставить автор. Порой дело доходит до того, что учреждения представляются самой главной причиной экономических бедствий, испытываемых населением.

Не угодно ли вам вдуматься в смысл, например, следующих явлений.

«Мунго Парк представляет нам посещенные им части Африки дурно обработанными и безлюдными. Путешественник этот встречал обширные и прекрасные пустыни совершенно лишенными населения. Пограничные части различных стран, по которым он проехал, были либо слабо населены, либо вовсе безлюдны. Болотистые берега Гамбии, Сенегала и многих других рек, близ моря, по-видимому, вовсе оставлены по причине их нездорового климата. Но нельзя этого сказать о других частях страны. Глядя на их удивительное плодородие, на бесчисленные, покрывающие их, стада, которые можно было бы употребить как в работу, так и в пищу; сообразив, как бы легко было облегчить в них сообщение посредством внутренних водных путей, нельзя не пожалеть,— говорит Мунго-Парк, — что все эти богатые дары природы остаются без употребления, и что человек

не употребляет в свою пользу богатств, расточаемых перед ним этою дикою и девственною природою» [1]).

«Главная причина слабого населения Турции, сравнительно с ее протяжением, состоит бесспорно в свойстве ее правительства. Тирания, бессилие, скверные законы, еще более дурная администрация, а потому и необеспеченная собственность представляют такие препятствия для земледелия, что оно с каждым годом упадает, а с ним уменьшается и население» [2]).

Описав, на основании путешествий Брюса, состояние Абиссинии, Мальтус замечает: «При таких естественных и политических условиях высшая степень предусмотрительности, трудолюбия и безопасности, разумеется, могла бы улучшить состояние народа и тем самым увеличить ее население. Но одно только увеличение числа рождений, без

[1]) «Опыт», кн. 1, гл. VIII, стр. 194.
[2]) Там же, кн. I, гл. X, стр. 219.

содействия других мер, может только увеличить нищету, а население от этого ничего не выиграет.

«То же самое можно сказать и о Египте, некогда столь цветущем и населенном. В этой стране изменился не закон размножения населения; не ослабление этого закона причинило падение, которому мы удивляемся; ослабело ее трудолюбие и предусмотрительность. Вот каким причинам, а также отсутствию безопасности и гнету притеснительного правительства следует приписать настоящее положение этой знаменитой страны. Закон размножения так же деятелен в Египте, как прежде; он держит народонаселение как раз на уровне средств существования. Будь он в десять раз сильнее, он не мог бы сделать ничего больше» [1]).

IV.

Заглянем теперь в «Основы политической экономии» того же автора. Там он описывает, со слов Гумбольдта, положение дел в тогдашней испанской Америке. Оказывается, что плодородие этих земель поразительное. Двух дней труда в неделю было бы достаточно, чтобы прокормить целую семью. Урожай маиса бывает иногда сам-800. В окрестностях Вальядолида сам-130—150 есть средний урожай

маиса. В наиболее бесплодных местностях урожай его бывает сам-60, сам-80. Там, где растут бананы, добывание пищи еще менее затруднительно. Человеку нужно там «лишь срезать ветки, на которых созрели плоды, и окопать землю вокруг корней раз или два в год».

При небольшой заботе о земледелии Мексика могла бы прокормить в десять раз большее число жителей. А между тем бедность в испанской Америке страшная, население крайне редкое. «Пространства в несколько квадратных верст заняты какой-нибудь парой хижин, вокруг которых бродят стада полудиких быков».

Небольшое число могущественных семейств, населяющих центральную возвышенность, владеют большею частью побережья в интендантствах Веракруц и Сан-Луи-По-този. «Никакой аграрный закон не вынуждает этих богатых собственников продавать их майораты в том случае, если сами они не хотят возделывать принадлежащие им огромные земли». Это говорит Гумбольдт. И по этому поводу Мальтус замечает, что хотя названные землевладельцы «имеют полную возмож-

[1]) «Опыт», т. I, кн. I, гл. VIII, стр. 205.

ность содержать на своих землях гораздо более многочисленное население, но сомнительное и, во всяком случае, слишком незначительное увеличение различных благ, которого они могли бы ожидать от приращения населения, лишь в редких случаях могло бы победить их беспечность и уравновесить соединенные с ним неудобства и хлопоты»... Туземцы охотно возделывали бы землю для себя, но высокой арендной платы они дать не могут, и потому собственники предпочитают оставлять землю под пастбищами. «Вследствие этого земли, которые могли бы прокормить тысячи обитателей, служат лишь для корма скота». В конце концов Мальтус приходит к тому заключению, что «средства для прокормления работников могут существовать в бóльших размерах, чем желание кормить их» (that the power of supporting labour may exist to a much greater extent than the will), и что редкость населения испанской Америки причиняется именно указанными имущественными отношениями: *неравенством* (by this inequality). Поправить дело можно было бы лучшим распределением

собственности и постепенным развитием в стране промышленности на европейский лад. И нет надобности забираться в испанскую Америку, чтобы придти к подобному заключению: к нему приводит состояние самой Испании и даже большинства европейских стран[1]).

Мальтус прекрасно знает, что без работника ни шагу не сделаешь в промышленности. В испанской Америке вопрос этот стоял далеко не так, как это желательно было бы с точки зрения буржуазных понятий. Как ни бедны были туземцы, но к наемному труду приучить их было бы очень трудно. Гумбольдт приводит мнение какого-то просвещенного обитателя той страны, полагавшего, что лишь радикальное истребление банановых деревьев могло бы дать благодетельный толчок трудолюбию туземцев [2]). Мальтус приводит это мнение, ни мало не возмущаясь им. Как и всякий вульгарный экономист, он прикладывает к явлениям двоякую мерку. Когда речь идет об отсталых, полуфеодаль-ных странах (какими были в то время даже многие европейские страны), он готов признать благодетельное значение даже таких мер, как «аграрные законы» и насильственное превращение народной массы в пролетариат. По отношению к таким странам оказывается несомненным, что «средства для прокормления работников могут существовать

[1]) «Principles of Political Economy considered with a view to their practical application , London 1820, p.p. 375—401.

[2]) Т. е. лишив их собственных средств к пропитанию, превратив их в пролетариев.

в бóльших размерах, чем желание кормить их». Тогда он готов восставать и против «inequality». Тогда он далек от мысли приписывать общественным отношениям лишь ничтожное, поверхностное значение. Тогда он готов взваливать на них главную ответственность за бедствия людей. Тогда его устами говорит буржуа, ненавидящий средневековый порядок и готовый разрушать его чуть не якобинскими мерами. Но когда речь заходит о дорогом его сердцу буржуазном порядке, когда возвышаются голоса, нападающие на свойственное *этому порядку* неравенство, дело принимает другой оборот: Мальтус превращается в крайнего консерватора, лицемерно поднимает глаза к небу и старается образумить новейших сторонников равенства ссылкою на «закон природы или, что то же, божий закон» (The law of

nature being a law of God), осуждающий людей на недостаток продовольствия, на нищету и пороки и не имеющий никакого отношения к общественным учреждениям.

Такова психологическая логика мальтусовских рассуждений. С точки же зрения формальной логики у него замечаются еще более удивительные курьезы.

Читатель помнит, чтó говорит Мальтус об Египте: «В этой стране изменился не закон размножения населения, не ослабление этого закона причинило падение, которому мы удивляемся: ослабело ее трудолюбие и предусмотрительность... Закон размножения так же деятелен в Египте, как прежде; он держит народонаселение как раз на уровне средств существования». Это значит вот что: было время, когда в Египте производилось много хлеба, и тогда в нем было густое население; теперь, по социально-политическим причинам, в нем производится гораздо меньше хлеба, а потому и население в нем гораздо менее густо. Это — совершенно понятное явление, но какую связь имеет оно с законом размножения? Закон этот «держит население как раз на уровне средств существования», т. е., иначе сказать, пресловутый закон гласит, что люди не могут жить без пищи. Это — старая истина, для доказательства которой едва ли стоило писать объемистый «Опыт»!

Но подобными пошлостями трудно опровергнуть «сторонников равенства». Мальтус знает это и придает совершенно иной смысл своему закону в спорах с ними. Здесь он, опираясь на знаменитые прогрессии, твердит, что население всегда стремится обогнать средства существования и что в этом заключается коренная причина нищеты. Здесь «закон Мальтуса» выступает в своем отвлеченном виде. Здесь нет и речи о тех препят-ствиях для увеличения средств существования, о которых говорит

Мальтус в фактической части своего исследования, и которые ясно показывают, что недостаток продовольствия причиняется не физическими, а *«моральными»* причинами. Так вот и скачет наш почтенный проповедник от одной постановки вопроса к другой, безнадежно запутывая и самого себя, и своего читателя. Это было бы

очень ловким *софизмом,* если бы не было просто одним из тех паралогизмов, склонность к которым так свойственна уму вульгарного экономиста. Подобных паралогизмов можно насчитать целые сотни в «Основах политической экономии» Мальтуса.

Мы сказали, что в этих паралогизмах заключалась главная сила Мальтуса, как исследователя закона о народонаселении. И действительно, нередко люди, гораздо более умные чем он, неудачно спорили против него единственно потому, что не успели разобраться в произведенной им путанице понятий. Извольте спорить с человеком, который набросал в одну беспорядочную кучу самые различные постановки вопроса и окрестил эту кучу именем исследования. Вас поразила более всего мысль о ничтожном и поверхностном значении общественных отношений в деле добывания продовольствия. Вы возражаете против нее, ссылаясь на общественные, этнографические и исторические факты. — Помилуйте, отвечают вам, все это прекрасно знал сам Мальтус, он приводит еще более поразительные примеры: неугодно ли вам просмотреть такие-то и такие-то места его «Опыта». — Если вы вздумаете подойти к вопросу с другой стороны, если вы скажете, что сам Мальтус показал, до какой степени общественные отношения часто мешают людям пользоваться всеми находящимися в их распоряжении производительными силами, вам опять укажут на «закон Мальтуса», но на этот раз уже в его отвлеченном виде: вам скажут, что население всегда стремится обогнать средства существования и что общественные отношения тут не при чем. Направляйтесь в какую угодно сторону — вам всегда преградит дорогу непроходимая трясина мальтусовских паралогизмов.

Возражавшие Мальтусу «сторонники равенства» тем легче попадали в эти трясины, что их собственная постановка общественных вопросов была далеко не безукоризненна. Пока они стояли на утопической точке зрения, они не любили считаться с исторической действительностью. Они предпочитали отвлеченные решения общественных вопросов, годные для всех времен и для всех народов. Благодаря этому, они в споре о законе народонаселения легко попадали в расставленные Мальтусом логические ловушки. Вместо того, чтобы сосредоточить все свои силы

на защите выгодной для них позиции критики существующих общественных отношений, они устремлялись в бесплодную пустыню отвлеченных исследований об отвлеченном размножении отвлеченного человечества. Не мало сил взяло странствование по этой пустыне, но вопрос так и остался нерешенным вплоть до появления *«Капитала».*

Вопрос о народонаселении рассматривается в «Капитале», по-видимому, совершенно мимоходом, в нескольких словах. Современным немецким ученым, которые оценивают достоинство научной мысли по количеству томов, потребовавшихся для ее изложения, кажется даже, что Маркс недостаточно серьезно откосится к этому вопросу. А между тем, что собственно говорит о нем Маркс в «Капитале»? Он говорит, во-первых, что абстрактные законы населения существуют только для животных и растений, да и то лишь до тех пор, пока законы эти не видоизменяются деятельностью человека. Ланге замечает по этому поводу в своей известной книге «Рабочий вопрос», что законы размножения животных и растений тоже не абстрактны, потому что они видоизменяются сообразно более или менее благоприятным для размножения физическим условиям. Но очевидно, что он плохо схватывает мысль Маркса. По Марксу, законы размножения животных и растений *«абстрактны»* в том смысле, что они зависят *только от «естественных условий».* Стало быть, возражая автору «Капитала», Ланге лишь подтверждает его мысль. Далее Маркс говорит, что для каждого исторического способа производства существует свой особый закон народонаселения, действие которого ограничивается данной исторической эпохой. Эта мысль, во-первых, совершенно согласна с теми выводами, к которым пришла экономическая наука в эпоху, предшествующую появлению сикофантов вроде Тоунзэнда и Мальтуса. А во-вторых, она блистательно подтверждается современными статистическими исследованиями о народонаселении [1]). Кроме того, Маркс устанавливает свойственный капиталистическому обществу закон населения, который может быть выражен так: развитие производительных сил ведет к образованию и возрастанию относительно излишнего (т. е. не имеющего заработка) населения, запасной армии рабочих, как назвал это население Энгельс еще в

сороковых годах. Верен или не верен действительности этот закон? Статистика показывает, что верен. Из истории же

[1]) Укажем хотя бы на статистику народонаселения во Франции. Из множества относящихся к этому предмету сочинений назовем исследование Бертильона младшего и Дюмона («Dépopulation et Civilisa-tion», Paris 1893).

политической экономии видно, что уже экономисты XVIII века высказывали более или менее счастливые догадки относительно его существования (просим читателя вспомнить взгляды Стюарта и Герреншванда). Да и не одни экономисты высказывали подобные догадки. Величайший из философов-идеалистов XIX столетия, Гегель, прямо говорит, что в цивилизованных обществах развитие богатства идет рука об руку с развитием бедности [1]). Значит, Маркс не сказал ничего такого, что можно было бы назвать парадоксальным. Значит, он и в этом отношении остается верен лучшим традициям экономической науки. Он лишь дал *научное* выражение и доказательство тому, о чем *догадывались* его предшественники. Но если это так, то почему же взгляд его на вопрос о народонаселении вызвал столько недоразумений среди современных экономистов, начиная с более или менее беспристрастного Ланге и кончая очень пристрастным г. Зэтбеером? Потому, что в нем заключается слишком резкое осуждение существующего экономического порядка, а подобное осуждение не может нравиться сторонникам этого порядка и кажется слишком рискованным людям, не совсем еще разубедившимся в его прелестях.

Ввиду всего сказанного, как же можно выразить законы народонаселения в будущем обществе? Пока еще никак. Мы не можем найти закон народонаселения, свойственный еще несуществующему обществу. Всякие попытки сделать это были бы преждевременными, а потому *утопическими, не научными.* Это мы можем и должны сказать с полной уверенностью. А если на этом основании нам вздумают грозить *перенаселением,* которое, по мнению мальтусианцев, неизбежно в обществе, не знающем разделения на классы, мы ответим, что, во-первых, уже современное состояние производительных сил чрезвычайно далеко отодвигает для цивилизованных стран *физический* предел размножения, а во-вторых,

если человечеству и придется когда-нибудь бороться с перенаселением, — что крайне мало вероятно, — то ему гораздо удобнее будет бороться с ним, имея дело с рационально организованным производством и всесторонне развитыми производителями, чем при ныне существующем общественном устройстве, основанном на угнетении рабочей массы и на господстве продукта над производителем [2]).

[1]) См. об этом статью «Zu Hegel's sechzigstem Todestag», печатание которой началось в «Neue Zeit» 14 ноября 1891 года. Она перепечатана в русском переводе в сборнике «Критика наших критиков».

[2]) *Г. А. Лориа* в своей брошюре «La legge di popolazione ed il sistema sociale, Siena 1882, вздумал было соединить взгляды Маркса, — которого он, впрочем

V.

В своих *«Основах политической экономии»* Мальтус удачнее объясняет нам истинный смысл своего закона. «Если бы простая нужда или желание рабочих классов приобрести вещи, необходимые и полезные для жизни, были достаточным побуждением для производства, — говорит он там, — ни одна страна в Европе, или даже во всем свете, не встретила бы других препятствий для роста богатства, кроме своих производительных сил; и уже с давних пор земля кормила бы в 10 раз больше жителей, чем кормит теперь». Но иное дело «нужда» рабочих классов, иное дело так называемый в экономии *действительный спрос,* а в нем-то и вся сила. «Человек, ничего не имеющий, кроме своего труда (Мальтус хочет сказать — своей рабочей силы), является представителем спроса на продукты лишь постольку, поскольку обладатели этих продуктов нуждаются в его труде (т. е. в его рабочей силе). Спрос же на производительный труд никогда не может иметь места, если стоимость продукта этого труда не будет больше стоимости самого труда (опять-таки рабочей силы)» [1]). Это очень ясно и совершенно справедливо: *рабочая сила* покупается единственно в видах производства прибавочной стоимости, но это верное замечание придает совсем новый вид закону народонаселения; теперь он гласит уже так: совершенно независимо от своих производительных сил, страна оказывается перенаселенной всякий раз, когда работников в ней больше, чем их нужно господам

капиталистам. Работникам, лишенным счастья производить прибавочную стоимость, остается лишь умереть с голоду. Таков «закон природы или, что то же, божий закон». Этот *новый «закон» решительно ниспровергает все пресловутое учение Мальтуса о народонаселении.* Очень хорошо; примем это к сведению и пойдем дальше. В своем «Опыте»

не называет, — со взглядами Мальтуса. У него выходит, что размножение населения,— законы которого изменяются сообразно изменениям общественного устройства, — в свою очередь, является деятельной причиной всех перемен в общественных отношениях. Тут, конечно, есть неоспоримая доля истины; но до какой степени неудовлетворительно это эклектическое воззрение, показывает то простое обстоятельство, что г. Лориа забыл о развитии общественных производительных сил, от которых в последнем счете все и зависит. Подобное несчастие, впрочем, часто случается с г. Лориа в его будто бы глубокомысленных, но в действительности крайне поверхностных и ни мало не остроумных исследованиях.

[1]) Здесь мы вынуждены цитировать по французскому переводу, не имея в настоящую минуту под руками английского подлинника. См. «Principes etc.», traduit de l'anglais par M. F. S. Constando, Paris 1820, t. II, p.p. 17—19.

Мальтус советовал рабочим размножаться как можно меньше. Он говорил так, желая свалить с имущих классов ответственность за бедствия пролетариата и по возможности облегчить им тяжесть налога для бедных. В «Основах политической экономии» он взглянул на дело с другой стороны. Он вспомнил, что как там ни рассуждай, а работник есть единственный производитель прибавочной стоимости; и вот он замечает, что, если бы рабочий класс размножался слишком медленно, то это могло бы разорить страну, занимающуюся исключительно торговлей и мануфактурной промышленностью [1]). Это опять совершенно справедливая мысль; ее тоже нужно принять к сведению. Но, к сожалению, *она тоже ниспровергает то, что известно под именем Мальтусова учения.* Теперь его приходится формулировать уже таким образом: совершенно независимо от состояния своих производительных сил, страна оказывается перенаселенной всякий раз, когда работников в ней больше, чем их требуется для производства прибавочной стоимости. Это очень неудобно и в экономическом, и в политическом отношениях: имущим классам приходится платить неприятный налог в пользу бедных, а неимущие могут обнаружить опасную склонность к учениям «сторонников равенства». И, наоборот, страна оказывается недостаточно населенной всякий раз, когда работников в ней меньше,

чем их нужно господам капиталистам. Такое положение дел может привести ее к разорению. *Нормальный прирост* населения есть тот, который *определяется потребностями капитала в рабочей силе.* Работники должны иметь это в виду. Если, рождая детей, они не сумеют определить, сколько именно рук понадобится капиталу к тому времени, когда их дети достигнут рабочего возраста, то тем хуже для них. Излишние руки должны будут погибнуть жертвой нищеты; в том же случае, когда рук окажется слишком мало, страна разорится, а от этого опять уменьшится спрос на рабочую силу. Таков «закон природы или, что то же, божий закон».

Мальтус хотел опровергнуть «сторонников равенства» и показать невыгоды общности имуществ. До какой степени могли быть сильны возражения этого человека против коммунизма, можно судить уже по одному тому, что он никогда не в состоянии был выйти из сферы буржуазных экономических понятий. Он пресерьезно говорит об уровне прибыли у дикарей. Он знает, что, напр., в Перу был коммунистический строй. Но этот строй он называет *«странным»,* и этим эпитетом

[1]) Там же, т. I, стр. 340.

отделывается от дальнейшей его оценки. Подобной узкостью взглядов страдали, как мы знаем, даже лучшие экономисты того времени, но ни у кого не доходила она до таких «странных», можно сказать, комических размеров, как у автора «Опыта о законе народонаселения». Чтобы убедиться в том, достаточно припомнить хотя бы то, как определял он производительное потребление [1]).

VI.

В «Опыте» Мальтусу приходилось толковать о *перенаселении;* в «Основах пол. экон.» ему пришлось считаться также и с *перепроизводством.* «Как бы ни были велики производительные силы,— говорит он,— сами по себе они еще не могут обеспечить соответственного им возрастания богатства. Чтобы дать этим силам полное развитие, нужно, по-видимому, еще нечто другое. Продукты должны быть так приспособлены к нуждам потребителей, чтобы при распределении их между ними возросла общая меновая стоимость всей массы продуктов» [2]).

Другими словами: между производительными силами и людьми, нуждающимися в продуктах, стоит капиталист, который говорит, что он согласен пустить в дело названные силы только в том случае, если это занятие принесет ему известную прибыль. Но в современном обществе силы эти так велики, что продукты нередко переполняют рынки, не находя себе сбыта. А вследствие этого капиталисты лишаются ожидаемой прибыли. Тогда они прекращают производство, рассчитывают своих работников, и между этими последними царствует *нищета,* о которой еще Фурье справедливо заметил, что она порождается не чем иным, как *избытком:* рабочие бедствуют именно потому, что они произвели *слишком много предметов,* годных для удовлетворения человеческих потребностей. Как же быть? Кажется, что проще всего дело решилось бы передачей работникам тех продуктов, в которых они нуждаются и которые

[1]) «Работник , несомненно, потребляет часть своей заработной платы в видах поддержания своего существования, а не как капитал с целью производства (Мальтус хочет сказать: с целью выжимания из другого прибавочной стоимости). Он — производительный потребитель по отношению к лицу, которое дает ему работу, и по отношению к государству, но, строго говоря, не по отношению к самому себе» («Definitions», стр. 258 — 259).

Так как я не могу эксплуатировать самого себя, то я никогда не могу быть производительным потребителем по отношению к самому себе. — Удивительная глубина мысли!

[2]) «Principes d'économie politique», т. II, стр. 121.

в избытке находятся на рынке. Но такая передача означала бы нарушение священных прав капиталистической собственности, и уж, разумеется, не Мальтус одобрил бы подобное нарушение Он придумал другое: он нашел, что «причины, наиболее благоприятствующие» выгодному для господ капиталистов сбыту продуктов, могут быть трех родов: «1) разделение крупной поземельной собственности, 2) внешняя и внутренняя торговля и 3) существование непроизводительных потребителей» [1]). Читатель помнит, что, по определению Мальтуса, потребление работника также может быть непроизводительным в известном смысле этого слова. Но здесь он требует *совершенно* и во всех смыслах непроизводительного потребления, такого потребления, которое может быть дано лишь роскошью высших классов, военными расходами и т. п. Мальтус усердно проповедует подобное потребление и горячо защищает его от

всех возможных нападок. В «Опыте» он пытался объяснить нищету рабочих классов тем обстоятельством, что на свет родится больше желудков, чем может быть произведено хлеба для их наполнения. В «Основах» оказалось, что бедность рабочих может иметь другое, так сказать, более тонкое и благородное происхождение: производители бедствуют всякий раз, когда в стране слишком мало бездельников. Таков «закон природы или, что то же, божий закон».

Впрочем, Мальтус допускает, что можно бы, пожалуй, обойтись и без непроизводительного потребления, если бы рабочие получали большую плату, а следовательно, могли бы представить с своей стороны более серьезный действительный спрос. Но этому мешает слишком быстрое размножение работников, ведущее к усилению соперничества между ними и к падению заработной платы. Ну, а если бы каждый из них стал меньше работать, если бы сократился рабочий день? Никогда этого не будет,— отвечает Мальтус,— государство не имеет права ограничивать рабочий день, а сами рабочие никогда не сговорятся сделать это, никогда не откажутся от взаимного соперничества. Скорее можно надеяться, что они станут рождать меньше детей [2]). Это пророчество в настоящее время не нуждается в критической оценке.

Известно, что в «Опыте» Мальтус высказал очень пессимистические взгляды относительно возможного усовершенствования земледелия в передовых странах Европы. По его расчетам выходило, что производительность труда должна уменьшаться по мере того, как увеличивается количество его, направленное на возделывание данного участка. Неко-

[1]) Там же, т. II, стр. 145.
[2]) Там же, т. II, стр. 227 и след.

торые экономисты считали это явление совершенно бесспорным и возвели его в экономический закон [1]). Однако сам Мальтус далеко не придавал ему большого практического значения. В «Основах» он так высказывается на этот счет: производительность земледельческого труда, конечно, уменьшается, но при настоящем состоянии мира это происходит очень медленно; к тому же, различные улучшения часто

совершенно останавливают уменьшение производительности труда или даже увеличивают ее. «Я убежден, — говорит он, — что капитал, затраченный на обработку участков, распаханных в 1813 г., был более производителен, чем капитал, употребленный на обработку участков, распаханных в 1727 г.» Вообще, «вероятность такого увеличения производительности труда, которое было бы достаточно для уравновешения неблагоприятных результатов расчистки новых участков, настолько велика, что при настоящем состоянии большинства стран земного шара или при их вероятном состоянии в течение нескольких будущих столетий мы можем, при благоприятных обстоятельствах, вполне рассчитывать на действие этой причины» [2]).

Смысл басни сей таков: когда вы спорите со «сторонниками равенства», очень полезно ссылаться на скупость природы и на уменьшение производительности земледельческого труда; а когда вы собираетесь пригласить имущие классы к усилению непроизводительного потребления, вы можете сказать им, — по секрету от «трудящихся бедняков» и от «сторонников равенства», — что еще, по крайней мере, в течение нескольких столетий неизбежное уменьшение производительности земледельческого труда останется нелепой выдумкой.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Закон народонаселения. — Чернышевский

I.

Перейдем теперь к Чернышевскому. Возражения, делаемые им Мальтусу, относятся почти исключительно к первой главе первой книги «Опыта». Он занимается преимущественно Мальтусовыми прогрессиями, при чем начинает с арифметической прогрессии возрастания земледельческого продукта.

[1]) *Примечание к настоящему изданию* (изд. «Шиповник»). К их числу принадлежит у нас П. П. Маслов, в этом отношении очень сильно отклоняющийся от взгляда Маркса.

[2]) Там же, т. I, стр. 477 — 479.

Мальтус считал очень смелым то предположение, что общий продукт английского земледелия мог быть удвоен в 25 лет. «Это наивность, вызывающая улыбку у людей, читавших нынешние

агрономические книги», — замечает Чернышевский. Основываясь на расчете Гаспарена (в его «Cours d'Agriculture»), он утверждает, что «при порядочном устройстве плодопеременной системы произведениями 100 гектаров продовольствуются 931 человек», а так как в Великобритании и Ирландии (по Кольбу) находится до 61½ миллионов акров, т. е. около 25 миллионов гектаров земли, годной для возделывания, то «Великобритания с Ирландией, при порядочном устройстве плодопеременного хозяйства, могли бы продовольствовать 230 миллионов населения», т. е. увеличить нынешний земледельческий продукт (расчет Чернышевского относится к 1860 году) в 9 раз [1]).

«Достаточно ли 25 лет для введения хорошего плодопеременного хозяйства в земле, которая имеет уже вообще хозяйство гораздо лучшее, чем простое трехпольное, — предоставляем рассудить каждому.

«Итак, из нынешних агрономических книг видно, что, если бы Англия захотела и встретила надобность увеличить свой земледельческий продукт в течение 25 лет не в 2 раза, а в 5 или даже в 9 раз, это было бы вовсе не трудно при нынешнем состоянии сельскохозяйственных знаний. Не в праве ли мы сказать, что слишком наивны были мысли, под влиянием которых Мальтус воображал, что делает крайнюю уступку, предполагая возможность удвоения земледельческого продукта в 25 лет?» [2]).

Таким образом очень распространенное убеждение в том, что земледельческому продукту трудно возрастать со всей быстротой, с какой могли бы размножаться люди, кажется Чернышевскому лишенным всякого серьезного основания. Экономисты, вслед за Мальтусом, толкующие об уменьшении производительности земледельческого труда, даже и не подумали о том, что им не мешало бы проверить свой взгляд с помощью статистики. Вот почему об этом предмете до сих пор рассуждают наобум, «как рассуждал Мальтус». Однако сам Чернышевский признает, что «если способ возделывания земли остается прежний, то с приращением населения производительность пахотных земель будет становиться в средней пропорции все меньше и меньше оттого, что

[1]) В 1860 г. все население Великобритании с Ирландией простиралось, тоже по Кольбу, до 29 миллионов человек. Чернышевский полагает, что из них домашними земледельческими продуктами содержалось не более 25 миллионов.

[2]) Соч., т. VII, стр. 246.

нивы расширяются на земли все худшего и худшего качества» [1]). Дело лишь в том, что Мальтус слишком уже преувеличил значение этого фактора в культурной истории человечества. Чернышевский утверждает, что, как бы ни был краток период удвоения населения, легко было бы избежать недостатка продовольствия даже при очень незначительных улучшениях в способах возделывания земель. И он приводит в доказательство своего мнения длинный ряд арифметических выкладок. Ввиду важности вопроса, мы должны изложить взгляд Чернышевского по возможности его собственными словами.

В основе этого взгляда лежит анализ Мальтусовых прогрессий.
Размножение людей.....1, 2, 4, 8, 16, 32, 64..
Увеличение продукта.....1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

«Ясно, по какому отношению возникают члены второй строки из членов первой, — говорит Чернышевский, — возрастающие в геометрической прогрессии прибавки к числу работников дают каждая одинаковую прибавку к продукту. Например, 1 новый работник, прибавившийся во втором периоде, увеличивает своею работою продукт на 1; 2 работника, прибавившиеся в третьем периоде, увеличивают продукт также только на 1; 4 новые работника четвертого периода и 8 новых работников 5 периода и т. д. увеличивают продукт также на 1. Очевидно, что производительность труда новых работников, прибавляющихся в каждом новом периоде, уменьшается в той же прогрессии, в какой возрастает количество этих прибавляющихся работников... Иначе говоря, Мальтусова теорема предполагает, что процент размножения работников служит процентом уменьшения производительной силы труда прибывающих работников» [2])

Исходя из этого, Чернышевский делает следующий расчет: «Положим, что число населения 1 января 1 года, было 1.000, и что работники-хлебопашцы этого населения произвели известное количество хлеба, достаточное для хорошего продовольствия всех 1.000 чело-

век, то есть годичных порций, которые назовем хотя, например, возами. Итак, на хорошее продовольствие в год надобно, по нашему условию, воз хлеба на каждого человека. Положим, что число хлебопашцев-работников в этом населении было 100 человек. По условию видно, что для хорошего продовольствия населению нужна такая успешность хлебопашенного труда, чтобы каждый работник производил по 10 возов хлеба.

[1]) Там же, стр. 191 — 192.
[2]) Там же, стр. 254.

«Положим, что при таком изобилии продовольствия население возрастает ежегодно на 3% (пропорция несколько выше той, какая дает удвоение населения в 25 лет и принимается Мальтусом). Тогда к 1 января 2-го года население будет 1.030 человек, и если пропорция хлебопашцев-работников остается прежняя, их будет 103 человека. Если для 1.000 человек нужно было 1.000 возов хлеба, для 1.030 человек будет нужно 1.030 возов.

«Если бы успешность труда прибылых работников не была меньше, чем прежних, труд прибылых 3 работников произвел бы 30 возов хлеба, количество, нужное для достаточного продовольствия 30 прибылых человек населения, и во 2-й год было бы для 1.030 человек 1.030 возов хлеба. Но по Мальтусовой теореме производительность труда прибылых работников будет меньше, чем производительность труда прежних; Мальтус полагает, что процент ослабления производительности нового труда равен проценту возрастания его количества, или, при неизменности пропорции между числом хлебопашцев и числом населения, равен проценту возрастания населения. Итак, производительность нового труда относится к производительности прежнего, как 100 к 103. По этой пропорции, какое количество хлеба произведет прибылой работник, если прежний производил 10 возов?

$x : 10 = 100 : 103$. «Из этого получаем:

$= 9{,}7087\ldots$

«Итак, 3 прибылые хлебопашца произведут $3 \times 9{,}7087 = 29{,}1261$ возов вместо 30 возов, которые были бы нужны по прежнему размеру, и на второй год для 1.030 человек будет вместо 1.030 возов хлеба

только 1.029,1261. Чтобы вместо 1.029,1261 возов жатва 2-го года дала 1.030 возов, производительность труда прежних работников должна в этом году подняться настолько выше прежней своей величины 10, насколько требуемый сбор 1.030 выше сбора 1.029,1261, получаемого без усовершенствований.

$$x : 10 = 1.030 : 1.029,1261.$$ «Из этого мы получаем:

$$x = 10,00849...$$

«В самом деле, тогда мы будем иметь:

«100 прежних работников произведут по 10,00849 воза каждый =1000,849 возов.

«3 новые работника, труд которых менее производителен по прежней пропорции 100:103, произведут каждый по: 10,00849 × 100:103 = 9,717 возов. «А все трое вместе 3 × 9,717 = 29,151 воз. «Сумма производства 2-го года будет 1000,849 + 29,151 =1030 возов.

«Итак, велик ли нужен размер усовершенствования или в устройстве орудий, или в способе пользования ими, или в качестве удобрения, или в способе пользования им, или в качестве посева, — велик ли нужен размер усовершенствования, чтобы недочета не оказалось, чтобы пропорция продовольствия не уменьшалась при возрастании населения?

«При ежегодном возрастании населения по 3%, т. е. при возрастании быстрейшем, нежели принимает Мальтус [1]), нужен годичный размер усовершенствования = 0,000849, то есть менее чем на одиннадцатую часть процента. Что же это такое, 849 десятитысячных частей процента? Огромно ли это возрастание? Оно вот каково: в пуде оно составляет несколько больше 3¼ золотников (3,2602 золотника); в возу хлеба, имеющем 25 пудов, оно составляет 81½ золотника...

«Что ж, это страшная прибавка? стоит ли пугаться ее? Неужели усовершенствования в земледелии не могут идти так быстро (быстро!), чтобы в течение целой четверти века улучшить земледельческие способы на $2^1/_7$% [2])? Увеличение на $2^1/_7$ процента в целые 25 лет — да ведь это почти совершенная неподвижность!

«Да, почти совершенная неподвижность. Без всякого сомнения, с самого конца Средних веков не было в Европейской истории ни одного такого двадцатипятилетия, в котором земледелие не совершенствовалось бы по пропорции более быстрой. Много в этой истории было эпох почти совершенного застоя общественных улучшений, но самые безотрадные, самые гнусные из этих периодов все-таки двигали земледелие вперед быстрее, чем требовалось бы для уравновешения дефицита в земледельческом продукте, для сохранения земледельческому труду всей прежней производительности, при проценте размножения людей, по которому число их удваивалось бы каждые 25 лет» [3]).

[1]) При ежегодном возрастании в 3% через 25 лет 10 000 человек населения возрастают до 20.938 человек; для того, чтобы число населения удвоилось в 25 лет, нужно принять ежегодную величину возрастания только в 2,81138... %.

[2]) 000,849... в 25-й степени дает 1,021443.

[3]) Там же, стр. 258.

Даже Чернышевский дает общую формулу размножения, по которой определялся бы потребный размер улучшений для различных периодов удвоения. Мы не станем приводить ее. Заметим только, что с ее помощью он приходит к самым поразительным выводам. Оказывается, например, что, *при 12-летнем периоде удвоения* населения, высота, до которой улучшения должны поднять земледелие *в течение целого века,* равняется лишь 1,36958, принимая первоначальную высоту за единицу. «Например: если в 1860 г. земледелец, обрабатывающий четыре десятины, собирает с них 10 четвертей хлеба, то в течение следующего века надо произвести улучшения, которые давали бы возможность в 1960 г. также одному земледельцу собрать с этих 4 десятин около 13¾ четвертей хлеба. При такой пропорции улучшении люди до 1960 г. не будут чувствовать недостатка в продовольствии, размножаясь с быстротою, удваивающею число их в каждые 12 лет. Конечно, при такой быстроте размножения постепенно будут являться на 5 десятинах вместо одного хлебопашца 2 работника, потом 3, 4 и т. д., 10, 11, 12 работников и т. д.; прибавка каждого нового работника на этих 4 десятинах будет увеличивать продукт их в пропорции, несколько меньшей того, насколько увеличилось количество труда от прибавки этого работника к прежним. Но все-таки при таком ходе

земледельческих улучшений, который равняется 37% за целое столетие, постоянно будет собираться с этих 4 десятин количество продукта, дающее в общей сложности по-прежнему 10 четвертей на каждого из обрабатывающих эти 4 десятины землепашцев» [1]).

Повторяем, выводы эти до такой степени поразительны, что читатель отказывается верить своим глазам. Он невольно возвращается назад, проверяя доводы автора. Но доводы автора кажутся неотразимыми. Умозаключения, по-видимому, совершенно логично вытекают из посылок. Читатель сдается и проникается непоколебимым убеждением в том, что Чернышевский окончательно опроверг Мальтуса, подойдя к вопросу с такой стороны, с какой к нему не подходил никто из прежних исследователей. Это убеждение очень распространено в России, где опровержение Мальтуса считается едва ли не самой важной и уж во всяком случае самой бесспорной из ученых заслуг нашего знаменитого писателя.

Посмотрим, однако, насколько правилен такой взгляд.

[1]) Там же, стр. 261.

II

Заметим прежде всего вот что: если бы арифметические выкладки Чернышевского были совершенно правильны, то даже и в этом случае было бы еще сомнительно, опровергают ли они Мальтуса или, точнее, того Мальтуса, с которым мы имеем дело в первой главе первой книг» *«Опыта».* Чернышевский слишком произвольно истолковывает арифметическую прогрессию Мальтуса. По его истолкованию выходит, что она выражает собою лишь понижение производительности земледельческого труда, неизбежно являющееся в том случае, когда не происходит улучшений в земледелии. «Весь вопрос именно в том и состоит, какой размер улучшений необходим для уравновешения недочета в продукте, происходящего от меньшей производительности труда прибылых работников по сравнению с прежними. Обыкновенно предполагается, что если размножение людей будет происходить со всей возможной быстротой, то для этого уравновешения потребуется размер улучшений слишком громадный» [1]). Выкладки Чернышевского показывают противное. Но на чем же

основывает он свое истолкование арифметической прогрессии? Он говорит, что так «мы прочли у Милля, очень верно передающего мысли Мальтуса» [2]). Но это еще недостаточное ручательство. Обратимся лучше к самому Мальтусу, т. е. собственно к тому Мальтусу, с которым мы имеем дело в первой главе первой книги *«Опыта»,* где идет речь о прогрессиях, и с которым спорит Чернышевский, по-видимому, совсем не принимающий в соображение существование другого Мальтуса, Мальтуса — автора «Основ политической экономии».

«В Англии и Шотландии много занимались улучшением земледелия,— читаем мы в *«Опыте»,*— но и в этих странах много есть невозделанных земель. Рассмотрим, до какой степени может быть увеличено плодородие этого острова *при самых благоприятных условиях, какие только можно себе представить.* (Курсив наш.) Если мы предположим, что при возможно хорошем правлении и *при самом сильном поощрении земледелия* (курсив наш) произведения почвы могут удвоиться на этом острове в первые 26 лет, то, вероятно, мы перейдем за пределы возможного; такое предположение скорее превысит меру возрастания количества произведений, на какое мы могли бы благоразумно рассчитывать. В следующие двадцать пять лет решительно нельзя надеяться,

[1]) Там же, стр. 255.
[2]) Там же, та же страница.

чтобы производительность земли возросла по этому же закону, и чтобы по истечении этого второго периода плодородие учетверилось; допустить это — значило бы перевернуть вверх дном все наши понятия о производительности земли. *Улучшение бесплодных участков* (курсив наш) требует много труда и времени. Для человека, сколько-нибудь знакомого с этим предметом, не подлежит сомнению, что по мере расширения обработки ежегодное приращение среднего производства постоянно уменьшается с некоторого рода правильностью... Вообразим, что ежегодное приращение среднего производства не уменьшается, а остается то же, так что в каждый двадцатипятилетний период к годовому производству Великобритании присоединяется

количество произведений, равное такому же годовому доходу. Вероятно, никакое горячее воображение не решится сделать более широкого предположения, ибо и этого довольно, чтобы в несколько столетий обратить всю почву острова в один роскошный сад. Применим это предположение ко всей земле» и т. д. [1]).

Мы не станем теперь возвращаться к вопросу о том, насколько ошибается Мальтус. Нам нужно одно: выяснить, чтó собственно хочет он сказать в приведенных строках. А на этот счет вряд ли возможно сомнение: он говорит о «самом сильном поощрении земледелия»; о самых благоприятных для него условиях, «какие только можно себе представить»; об «улучшении бесплодных участков»; об обращении всей почвы острова (а затем и всего земного шара) «в один роскошный сад». И при всем этом он не принимает в соображение усовершенствований в способах обработки земли; при всем том он предполагает, что земледельческие приемы останутся неизменными в течение тех «нескольких столетий», о которых у него идет речь? Нет, прав или не прав Мальтус, но *в данном случае* мысль его ясна: он, хочет сказать, что земледельческий продукт будет увеличиваться лишь в арифметической прогрессии, *несмотря на все те улучшения, на которые может рассчитывать благоразумный человек.* При построении своей прогрессии он принимает (т. е., лучше сказать, делает вид, что принимает) в соображение влияние будущих улучшений в земледелии. Следовательно, все вычисления Чернышевского оказываются излишними. Как бы они ни были правильны, они не могут опровергнуть «Мальтусовой теоремы» по той простой причине, что они основываются на неправильном истолковании этой теоремы.

[1]) Опыт, кн. I, гл. I, стр. 100-101.

Но главное дело в том, что сами они *не совсем правильны.* Чтобы убедиться в этом, стоит только вдуматься в их основное положение. Сопоставляя прогрессии Мальтуса, Чернышевский находит, что «процент размножения работников служит процентом уменьшения производительной силы труда прибывающих работников». Так ли это? К сожалению, совсем не так.

Для удобства выпишем снова анализированные Чернышевским прогрессии:

Умножение людей.....1, 2, 4, 8, 16, 32, 64.
Увеличение продукта. . . ..1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Как велик здесь «процент размножения работников или, — что тоже [1]),— процент возрастания общей цифры населения»? Мы решительно не знаем этого; об этом нет и речи. «Процент размножения работников» зависит от величины периода удвоения населения. При 25-летнем периоде удвоения этот процент будет совсем не тот, что при 15-летнем, при 35-летнем и т. д. Мальтус дает общую формулу, под которую должны подходить, по его мнению, все частные случаи. Если уже говорить о проценте увеличения числа работников, то мы должны выразиться так: в конце каждого последующего периода число работников увеличивается на 100 процентов, увеличение же продукта следует совсем другому закону: в конце второго периода он увеличивается на 100 процентов, в конце 3-го — на 50, в конце четвертого на 33⅓, в конце пятого — на 25, в конце 6-го — на 20 и т. д. Значит ли это, что процент увеличения числа работников «служит процентом уменьшения производительной силы труда работников»? Отнюдь нет! Процент увеличения числа работников остается неизменным, между тем как процент уменьшения производительной силы прибылых работников постоянно и очень быстро возрастает. Отсюда следует одно из двух: или Чернышевский ошибается, или он неточно выражает свою мысль. Мы сейчас увидим, какое из этих двух предположений соответствует действительности. Один новый работник, прибавившийся во втором периоде, увеличивает своею работою продукт на 1; два работника, прибавившиеся в третьем периоде, увеличивают продукт также на 1; 4 новые работника четвертого периодам 8 новых работников пятого периода и т. д. увеличивают продукт также на 1. Таково то явление, которое наш автор хочет выразить в одной общей фор-

[1]) «То же» потому, что Чернышевский предполагает неизменным отношение числа работников-земле-дельцев к общей цифре населения.

муле. Нужно это, или ненужно — вопрос другой, но, раз мы хотим найти такую формулу, приходится выразиться так: во сколько раз число прибылых работников каждого данного периода больше числа

работников, прибывших во втором периоде, во столько раз производительность их труда меньше производительности труда прибылых работников второго периода. Вот и все. Что же следует отсюда? Следует уже известный нам вывод: процент увеличения числа прибылых работников остается неизвестным, процент же уменьшения их производительной силы быстро растет. А это значит, что отождествлять эти два процента нет ни малейшего основания. Ну, а что произойдет, если мы все-таки отождествим их вопреки очевидности? Сообразить это очень не трудно: мы придем к ошибочным заключениям.

Процент размножения не изменяется, процент уменьшения производительности труда быстро увеличивается. Отождествить эти два процента значит предположить, что производительность труда уменьшается далеко не так быстро, как это явствует из рассматриваемых нами прогрессий. Это будет совершенно произвольное предположение, коренным образом изменяющее условия задачи. Может быть, предположение это и более согласно с фактами действительности, но, во всяком случае, принимая его, нельзя утверждать, что мы остаемся верны смыслу «Мальтусовой теоремы», и что «мы изложили ход вывода из Мальтусовых прогрессий с такою точностью, с какою никогда не излагал его ни сам Мальтус, ни кто из его последователей» [1]). Мы изложили бы лишь вывод из условий, произвольно принятых *нами самими.*

Уменьшение земледельческого продукта определяется уменьшением производительности труда прибылых работников [2]). Предположив, что производительность труда уменьшается медленнее, чем это явствует из смысла прогрессий, мы тем самым предполагаем, что и продукт уменьшается медленнее, чем это показывает Мальтусова арифметическая прогрессия. Значит, и «дефицит в земледельческом продукте» будет меньше, чем говорит прогрессия, а в таком случае и размер улучшений, необходимых для устранения этого дефицита, окажется далеко не так велик, как можно было думать, сопоставляя геометрическую прогрессию с арифметической. Следовательно, нам остается только вычислить этот размер, принимая

различные «проценты размножения работников» (ина-че сказать, различные периоды удвоения населения),

[1]) *Чернышевский,* там же, стр. 256.

[2]) То есть так происходит дело у нас на бумаге; как происходит оно на практике, это вопрос другой, нас здесь не касающийся.

чтобы противопоставить затем результаты нашего «правильного счета» результатам «фальшивого счета» Мальтуса. В сущности подобное противопоставление доказывало бы лишь ту старую истину, что, исходя из неодинаковых посылок, люди получают неодинаковые выводы. Но мы, *незаметно для себя* изменив условия задачи, будем думать, что мы опровергли Мальтуса, строго держась прямого смысла его собственной «теоремы».

Но и это еще не все. Мало того, что Чернышевский считает *неизменным быстро увеличивающийся* процент уменьшения производительности труда, т. е., иначе сказать, принимает *переменную* величину за *постоянную,* — сама эта мнимо постоянная величина оказывается у него несравненно меньшей, чем она должна быть по смыслу «Мальтусовой теоремы». Процент размножения людей по самым преувеличенным расчетам не может превышать 7 (при 12-летнем периоде удвоения населения он несколько меньше *ше-сти).* По смыслу же «Мальтусовой теоремы» производительность труда уже в третьем периоде уменьшается на 50 процентов. (Это знает и Чернышевский: «новый работник во втором периоде увеличивает продукт на 1; 2 работника, прибавившиеся в третьем периоде, увеличивают продукт также только на 1».) Согласитесь, что это большая разница и что ее совершенно достаточно для объяснения тех поразительных выводов, к которым пришел Чернышевский. Повторяем, мы говорим не о том, соответствуют или не соответствуют его предположения экономической действительности (об этом он и сам ничего не говорил); мы утверждаем только, что они совершенно противоречат смыслу «Мальтусовой теоремы» (а он думал, что они совершенно верны ему, и так же думали все те, которые считали доводы Чернышевского неопровержимыми).

Если процент возрастания числа работников (а следовательно, и всего населения) равен проценту уменьшения производительности

труда прибылых работников, то нет ничего легче, как определить размеры необходимых улучшений. Положим, что население удваивается каждые 12 лет. Процент размножения равняется в этом случае: 5,94631. Сообразно с этим и производительность труда прибылых работников будет правильно уменьшаться на 5,94631 процента. Далее уже самое несложное вычисление дает нам искомый процент улучшений. По вышеуказанным причинам он будет очень незначителен. А между тем мы. по-видимому, сделали своим противникам самую крайнюю уступку: 12-летний период удвоения населения совсем уже невероятен. Но дело в том, что как ни велик при этом процент размножения, — а следова-

тельно, и ослабления производительности труда, — эта последняя все-таки падает медленнее, чем она должна была бы падать при действительно «правильном счете». Чернышевский считает, что при 12-летнем периоде удвоения высота, до которой должно подняться земледелие в течение столетия, не превышает 1,36958 процента. Мы не станем проверять, верно ли сделан его расчет. Допустим, что вполне верно. Но не забудем, что, по его предположению, процент уменьшения производительности труда равняется лишь 5,94631 (т. е. проценту размножения!. А то ли выйдет при действительно «верном счете»? Уже в течение 96 лет население увеличивается в 16 раз. Посмотрим, как велика будет производительность труда прибылых работников через 48 лет, или в 4-м периоде. *Во сколько раз число прибылых работников каждого данного периода больше числа работников, прибывших во втором периоде, во столько раз производительность их труда меньше производительности труда прибылых работников второго периода.* Число работников, прибывших в 4-м периоде, вчетверо больше числа прибылых работников второго периода. Следовательно, производительность труда прибылых работников 4-го периода вчетверо меньше, чем производительность труда работников, прибывших во втором. В пятом периоде оно будет в восемь раз меньше.

Согласитесь, что это очень далеко от неизменного процента, который принят Чернышевским (6,94631) и который казался

результатом крайне преувеличенного предположения (удвоения населения в 12 лет).

Но неужели Чернышевский действительно рассуждает вышеизложенным образом? Да, помилуйте, чего же вы хотите, ведь он сам заявляет это, приступая к своим вычислениям: «Мальтус полагает, что процент ослабления производительности нового труда равен проценту возрастания его количества, или... проценту возрастания населения» [1]). А может быть, он все-таки отклонился от своего принципа?

Да, отклонился; вы сейчас увидите, в какую сторону.

В первом, происходящем, так сказать, на глазах у читателя, примерном расчете Чернышевского процент размножения принимается равным 3. Сообразно с этим и процент уменьшения производительности труда должен быть также равен 3. Число землепашцев равняется 100, а производит каждый из них по 10 возов хлеба. Расчет ведется погодно. Спрашивается, сколько хлеба произведет каждый прибылой работник 2-го года? По смыслу наших условий он должен произвести

[1]) Там же, стр. 208.

9,7 воза. У Чернышевского он производит 9,7087, т. е. несколько больше. Откуда эта разница? А вот откуда.

Мы рассчитываем так: каждый работник производил прежде по 10 возов; производительность труда прибылых работников на 3 процента меньше. Три процента от десяти равняется 0,3. Вычтя эту дробь из 10, мы получаем 9,7 — цифра, которою и выражается производительность труда каждого нового работника 2-го года. — Чернышевский рассуждает иначе. Прежде было 100 работников, теперь стало 103. «Итак, производительность нового труда относится к производительности прежнего, как 100 к 103. Из этого мы получим:

$$x = 9{,}7087$$ [1]).

Правильно ли это рассуждение, согласно ли оно с условиями задачи? Когда мы говорим, что процент уменьшения производительности труда равен проценту размножения, мы хотим сказать, что *на сколько* процентов увеличится население, *на столько же* процентов

уменьшится производительность труда. А когда мы говорим, что производительность труда одних работников относится к производительности труда других, как такое-то число к такому-то, мы определяем, *во сколько* раз одна производительность больше другой. *На сколько* 2 меньше 3, *на столько* же 3 меньше 4. Можно ли выразить это такой пропорцией 2:3 = 3:4? Ясно, что нет, потому что две трети не равны трем четвертям. Иное дело *арифметическая* пропорция, иное дело пропорция *геометрическая.* Чернышевский сначала говорит, что он будет держаться первой *{на сколько* процентов население второго года больше населения первого года, *на столько* процентов производительность труда прибылых работников меньше и т. д.), а потом неожиданно переходит ко второй. Как влияет это на ход его вычислений? Уменьшение производительности труда оказывается еще более слабым, чем было оно при разобранном выше ошибочном предположении относительно равенства двух известных читателю процентов. Это видно уже из вышеприведенных цифр. И чем выше процент размножения, тем заметнее действие этой ошибки [2]). Другими словами: чем больше та уступка, которую делает Чернышевский своим противникам, тем более помогает ему его вторая ошибка ослабить логическое следствие этой уступки,

[1]) Там же, стр. 257.

[2]) Чернышевский в своем расчете не раз смешивает понятие «во сколько» с понятием «на сколько». Так, например, он говорит: производительность труда в этом году должна подняться *на столько* выше прежней своей величины, *на сколько* требуемый сбор... и так далее, и вслед затем строит *геометрическую* пропорцию (Там же, та же страница).

хотя, разумеется, действие второй ошибки несравненно слабее действия первой.

Еще одно замечание. Допустим, что указанных ошибок не существует; допустим, что, по смыслу «Мальтусовой теоремы», процент уменьшения производительности труда равен проценту размножения, и вернемся к примерному расчету Чернышевского. В первом году у нас было 100 работников, во втором их оказывается уже 103. Производительность труда прибылых работников на 3 процента меньше прежней производительности. Иначе, по-видимому, и быть не может. Но это только по-видимому. Как распределяются прибылые

работники по земельным участкам? Это, конечно, зависит от обстоятельств. Прежде каждый работник возделывал 4 десятины, а каждые два работника возделывали участок в 8 десятин. Новые работники распределялись, положим, так, что на трех 8-десятинных участках теперь работает уж по три, а не по два человека, как это было прежде. На этих участках *«размножение»* работников будет равно 50 процентам. Следовательно, производительная сила их уменьшится *на половину.* Каждый из них произведет только 5 возов хлеба, а не 9,7, как предполагалось раньше. Сообразно с этим увеличится дефицит в земледельческом продукте, а следовательно, и размер необходимых улучшений. Но в таком случае выводы, к которым пришел Чернышевский в своих вычислениях, потеряли бы всякую убедительность, если бы даже и были основательны.

Смешно было бы ставить в вину экономисту случайную ошибку, закравшуюся в его примерный, пояснительный расчет. От подобных ошибок, происходящих от недосмотра, не застрахованы и гениальнейшие специалисты-математики. Но когда к подобным выкладкам сводится весь *«метод»* экономиста (а к ним именно и сводится «гипотетический» или «математический» метод Чернышевского), тогда дело принимает другой оборот. Тогда остается одно из двух: иди жалеть о том, что экономист невнимательно применяет свой метод (потому что его математические ошибки влияют на его выводы, которые *не только поясняются* с помощью примерных выкладок, а целиком *вытекают* из них), или посоветовать ему держаться другого, более научного и потому более плодотворного метода.

III

Взгляд Чернышевского на *«размножение людей»* уже гораздо свободнее от ошибок, хотя и он, конечно, совсем не чужд общего

недостатка всех социально-политических взглядов знаменитого просветителя: *крайней отвлеченности.* В сущности весь вопрос сводится у Чернышевского к физиологической возможности более или менее быстрого размножения человеческого рода. «О чем собственно идет дело? — спрашивает он. — О таком ли числе рождений, к достижению

которого может быть принужден человеческий организм внешним насилием, или о таком числе рождений, которое было бы естественным последствием отстранения всяких задержек размножению со стороны нужды? Известно, что всякое живое существо, в том числе и человек, может быть принуждаемо насилием к деятельности, превышающей его нормальную силу... Организм женщины может быть принуждаем к рождению количества людей, превышающего ее силы; но... это не будет благоприятно быстроте размножения. Изнуренная мать будет рождать младенцев, лишенных способности жить. Притом же подобное положение женщины возможно лишь при грубости нравов, т. е. при невежестве, т. е. при дурном положении общества, неблагоприятном размножению. Мы, конечно, ищем не того, какое число детей может родиться в условиях, неблагоприятных размножению, — мы хотим знать, какой процент рождений может быть в обществе при существовании всех благоприятнейших для размножения условий» [1]).

Бедность и грубость нравов имеют свойство увеличивать число рождений, доводить их цифру до той величины, которой они не достигли бы при благосостоянии и смягченных нравах. В большинстве европейских стран число рождений колеблется (вернее сказать, *колебалось,* потому что Чернышевский писал около 50 лет тому назад) между 35 и 40 рождений на 1.000; до 45 оно доходит лишь в редких и исключительных случаях; выше 45 оказывается лишь в тех странах, статистические отчеты которых недостоверны, и, наконец, до 48 не достигает ни одна цифра, сколько-нибудь заслуживающая доверия [2]). Чернышевский считает 40 рождений на 1.000 человек «за самую высшую цифру, какая только допускается устройством человеческого организма без насильственного изнурения физических сил женщин в населении не размножающемся; в населении, размножающемся быстро, цифра эта будет меньше» (так как относительно меньше будет число взрослых людей в общем составе населения). С улучшением положения женщины число рождений опустится ниже 40 на 1.000. Процент раз-

[1]) Там же, стр. 270.

[2]) Цифры заимствуются Чернышевским из «Eléments de Statistique humaine» *Гильяра.*

множения получается вычитанием числа умирающих из числа рождающихся. Вероятное число рождений нам известно; какова же вероятная смертность? По мнению Чернышевского, «наименьшая смертность между новорожденными, при всевозможном благосостоянии в нынешнем обществе, простирается до 20 на 1.000, а наименьшая смертность между людьми, имеющими более 5 лет, по всей вероятности, не меньше 1,47 (1,4724) процента и ни в каком случае не меньше 1,24 (1,2425) процента» [1]).

На основании этих крайних пределов наибольшего числа рождений и наименьшего числа смертей «в обществе, в котором бедность не была бы причиною ни одной смерти и не останавливала бы ни одного рождения», Чернышевский находит, что периоды удвоения в 15 или 12 лет — чистая химера, происшедшая только от забвения о действительно возможном наибольшем числе рождений, и что даже период удвоения едва ли меньше, а по всей вероятности больше, 35 лет. Но это при нынешних обычаях, поднимающих процент рождений выше естественной нормы. «Смягчение нравов ведет к удлинению периода удвоения, и мы не имеем предела, о котором можно было бы сказать, что при известном смягчении нравов он не окажется все еще слишком короток; напротив, есть основание думать, что при устранении излиш-

[1]) Сочин., стр. 275 — 276. Цифры эти Чернышевский получает таким образом: исследования английского статистика Чедвикка показывают, что из детей английских землевладельцев в первые 5 лет умирает 20 процентов. Эту смертность Чернышевский считает наименьшею, какая только возможна по самому устройству человеческого организма, так как английские землевладельцы, не терпя никаких материальных лишений, славятся в то же время заботливостью и рациональностью в физическом воспитании своих детей.

Что касается наименьшей смертности между людьми старше 5 лет, она определяется несколько более сложным приемом. Во Франции, по Гильяру, из 1.000 детей, не достигших пятилетнего возраста, умирало 274. Так как нормальная смертность равняется 200, то 74 смерти оказываются следствием нужды. Нельзя думать, чтобы пропорция *лишних смертей* была больше этой цифры между умершими старше 5 лет. Чернышевский полагает, напротив, что она будет вдвое меньше, что «на одну лишнюю смерть выше пяти лет приходится две лишних смерти между младенцами». Но на всякий случай он делает двойной расчет, определяя относительное число *лишних* смертей как в том предположении, что между взрослыми их меньше, чем между детьми, так и в том, что взрослый организм вдвое лучше детского сопротивляется убийственному влиянию лишений. Расчет ведется им на основании статистических данных о смертности во Франции.

Найдя число *лишних смертей,* Чернышевский без труда получает процент *нормальной* смертности.

ней грубости семейных отношений действием распространяющегося просвещения, размножение прекратится, и число населения станет

увеличиваться лишь вследствие общественной необходимости в том; а когда надобности в том не будет, не будет и размножения. Человеческий организм устроен так, что можно сомневаться в том, свойственно ли ему даже поддерживать существующее число населения, если он не возбуждается тяготением общественного мнения, т. е. расчетом пользы» [1]).

Мальтус считал возможными очень короткие периоды удвоения, поэтому он, с своей точки зрения, имел право говорить, что выселение не поможет беде, происходящей от излишнего размножения: при 20-летнем периоде удвоения процент размножения равняется 3,6. Если при таком размножении будет эмигрировать ежегодно 1,5 процента населения, то все-таки останется ежегодное приращение в 2,1 процента, при чем население удвоится в 33 года. Совершенно иное дело, когда периоды удвоения, — как это мы видели из предыдущего, — оказываются, по свойствам человеческого организма, гораздо более длинными, чем думал Мальтус. Тогда эмиграция должна быть признана могучим средством борьбы с перенаселением. Благодаря ей периоды удвоения населения, остающегося в стране, могут быть удлинены до цифр, на первый взгляд кажущихся совершенно невероятными. По обыкновению, Чернышевский поясняет свою мысль примерным расчетом, и, — как нередко случается у него, — расчет не совсем точен [2]).

Впрочем, в данном случае это не важно. Чернышевский сам не придает значения полученным им цифрам, «явно смеющимся над нами и своею огромностью, превышающею всякий расчет экономических вероятностей, и своею нелепою претензиею на точность». Цифры эти убеждают не частностями, а общим своим смыслом. Они «говорят нам: не бойтесь; кто хочет запугать вас, против того выставьте вы нас, —

[1]) Там же стр. 280.

[2]) Так, Чернышевский находит, что эмиграция, доходящая до 1,5 процента населения, в обществе, число граждан которого удваивалось прежде через 52,6 года, удлинит период удвоения до 894,8 лет. Между тем, из его же таблицы видно, что первоначальный процент размножения в таком обществе равнялся бы лишь 1,3275. При эмиграции, процент которой превышает первоначальный процент размножения, ч населении явится *убыль,* а потому оно *никогда не удвоится.* если не изменится положение дел.

опровергнуть нас нельзя, но мы построены на нынешних ваших обычаях и понятиях, — неужели вы думаете мерить далекое будущее вашими обычаями, понятиями, средствами производства? Неужели вы полагаете, что ваши праправнуки будут такими же, как вы? Не бойтесь, они будут умнее вас. Думайте о том, как вам устроить вашу жизнь, а заботу о судьбе праправнуков оставьте праправнукам...» [1]).

Нужно ли входить в подробный разбор этих доводов Чернышевского? Мы считаем это излишним. Мы только повторим сделанное выше замечание насчет того, что взгляд его на размножение людей имеет, как и все его социально-политические взгляды, крайне *отвлеченный* характер. Как должно было отражаться это обстоятельство на его исследовании, понятно само собою. Оно делало его мало убедительным. Там, где надо было бы внимательнее всмотреться в окружающую действительность, Чернышевский довольствовался формальной правильностью своих силлогизмов. Но формальная правильность силлогизмов еще не ручается за верность *вывода.* Все зависит от *посылок.* Посылки же Чернышевского строились обыкновенно на нескольких цифрах, часто очень остроумно истолкованных, но далеко не исчерпывавших всего разнообразия рассматриваемых явлений. Поэтому и возражения его Мальтусу могут считаться скорее образчиком *полемической находчивости* (отчасти не чуждой, как мы видели, некоторой доли *опрометчивости),* чем *научного рассмотрения* предмета. Вот, например, окончательный вывод Чернышевского не подлежит сомнению: не законы природы, а взаимные отношения людей, общественные отношения причиняют бедность рабочего класса. Но когда речь заходит о точном указании тех сторон современных общественных отношений, которые причиняют так называемое перенаселение, рассуждения нашего автора делаются довольно сбивчивыми. Мы видели, что в главе о прибавочной стоимости (или прибыли) он приписывал обеднение рабочего класса стремлению этой стоимости расти по геометрической прогрессии. В главе о *«действительном источнике дефицита в земледельческом продукте»* он обращает свое внимание на два другие обстоятельства) а именно: «на отношение основного капитала к

прибыли» и на *«пропорцию земледельческого населения в общем составе населения».*

[1]) Там же, стр. 279 — 280. *Примечание к настоящему изданию* (изд. «Шиповник»), Это — совсем во вкусе Фейербаха, который говорил: «Überlass jeder Zeit ihre Aufgaben und wünsche nicht Alles zu verschlingen. Löse die Forderungen, welche deine Zeit an dich stellt и т. д.

IV

С увеличением населения производительность труда, прилагаемого к земле, падает. Для избежания дефицита в земледельческом продукте требуются улучшения в способах обработки земли. Чернышевский старался доказать, что процент необходимых улучшений очень невелик, и что с этой стороны человечеству опасаться нечего. Но в своих вычислениях он принимал неизменным отношение земледельцев к общему составу населения. С изменением этого отношения, с уменьшением «пропорции земледельцев» — процент улучшений, необходимых для покрытия дефицита, быстро возвышается. А это значит, что людям все труднее и труднее становится бороться с дефицитом. Дело доходит, наконец, до того, что улучшения уже не покрывают дефицита. Именно это мы и видим, по его мнению, в истории всех прогрессирующих стран. По мере развития цивилизации городское и вообще не земледельческое население увеличивается на счет сельского, земледельческого. От земледелия отнимается больше рук, чем это допускается успехами земледельческого искусства. Отсюда — недостаток продовольствия, который, несомненно, существует в современных цивилизованных обществах. «Мальтус был прав, говоря, что с размножением населения является непобедимый никакими земледельческими улучшениями дефицит земледельческого продукта, дефицит, производящий нищету с ее последствиями. Мальтус ошибся только тем, что остановился на одновременности этих двух явлений и голословно назвал одно из них причиною другого, между тем как связь между ними только связь одновременности, а не причинности, и происходят они не одно из другого, а каждый имеет свою особенную причину» [1])

Если бы мы имели дело с рабовладельцем, ведущим натуральное хозяйство, то, разумеется, обнаружившийся у него недостаток хлеба мог бы найти совершенно удовлетворительное объяснение в несоразмерном уменьшении «пропорции земледельцев». Но и тогда надобно было бы все-таки спросить себя — точно ли недостает хлеба у хозяина? Может быть, он ссылается на недостаток хлеба единственно затем, чтобы оправдать свою жадность, не позволяющую ему кормить рабов досыта. *В капиталистическом* же хозяйстве все явления несравненно более сложны, и, именно благодаря своей сложности, они очень плохо

[1]) Там же, стр. 290.

объясняются отвлеченными соображениями того или другого рода. Тут нам припоминается Рикардо, которого Чернышевский так горячо защищал от нападок Кэри. Попросим Рикардо объяснить нам, что произойдет в случае недостатка хлеба, вызываемого уменьшением «пропорции земледельцев».

Если хлеба мало по той причине, что слишком мало число рук, занимающихся его производством, — ответит нам Рикардо, — то цена хлеба поднимется, и это привлечет к земледелию новые капиталы, т. е., следовательно, и новые рабочие руки; «пропорция земледельцев» будет увеличиваться до тех пор, пока не примет надлежащих размеров, определяемых спросом на хлеб. В земледелии, как и везде, «пропорция» работников зависит не от чего иного, как именно от спроса на их изделия. Я подробно объяснил это в своих «Основах политической экономии».

Впрочем, это хорошо знали *раньше* меня и никогда не оспаривали *после.*

К тому же, — прибавит, пожалуй, Рикардо, — очень ошибаются те, которые считают, что количество хлеба, производимого в стране, должно увеличиваться по мере увеличения производительности земледельческого труда, т. е., другими словами, по мере возрастания процента улучшений, совершающихся в земледельческой технике. В действительности вполне возможно *обратное* явление: количество производимого хлеба будет уменьшаться по мере увеличения

производительности труда. В данной стране, имеющей данную «пропорцию земледельцев», произошло «улучшение земледельческих способов», позволяющее уменьшить на половину число рук, требующихся для обработки каждой десятины. Половина рук остается без работы. Не имея работы, они не имеют возможности покупать хлеб. Следовательно, потребление хлеба *сокращается,* и сокращается благодаря именно «улучшению земледельческих способов»; сокращение же потребления хлеба ведет к новому сокращению производства. Если дефицит в земледельческом продукте определять числом голодных желудков, существующих в данной стране, то и выйдет, что *дефицит растет вместе с ростом производительности труда.*

Это прекрасно знал и Мальтус. «Небольшая ферма в Керри [1]) способна, может быть, прокормить большую семью, имеющую несколько взрослых работников. Но работа на ферме требует очень немногих

[1]) Т. е. ферма, обрабатываемая самими арендаторами, а *не* капиталистическая ферма.

рук; женщины исполняют большую часть этой работы. Работа, выпадающая на долю мужчин, так невелика, что не составит в общем счете и одного дня в неделю» [1]).

На маленькой ферме следствием этого является, по Мальтусу, праздность мужчин; но он понимал, что на больших *капиталистических* фермах дело происходит иначе: излишние руки изгоняются. Именно по этому поводу он и замечает, что *«способность прокормить работников может существовать в больших размерах, чем желание сделать это».*

Конечно, можно сказать, что улучшение земледелия даст возможность начать или усилить вывоз хлеба за границу, а вывоз хлеба за границу позволит удержать при земле прежнее число работников. Но, во-первых, это возражение сводилось бы к старой песне о том, что введение машин не ухудшает положения работников. Чернышевский не стал бы петь эту песню. А, кроме того, если бы при земле и осталось прежнее количество рук, то ведь потребление хлеба *сравнительно с производством его* все-таки сократилось бы весьма значительно.

Может быть, и нельзя было бы вывозить хлеб за границу, если бы мы решились кормить досыта всех тех, которые живут у нас впроголодь. Но ведь у этих людей нет денег, их потребности не имеют ничего общего с *«действительным»* спросом на хлеб. А в буржуазном обществе только этот спрос и принимается в соображение.

Из России при обыкновенном урожае вывозится много хлеба за границу; до абсолютного «дефицита в земледельческом продукте» при таких условиях очень далеко. Но это не мешает голодать русским крестьянам, не мешает существованию *относительного* дефицита.

Итак, в вопросе о современной нищете с ее последствиями «пропорция земледельцев» ничего не объясняет. Сама эта пропорция определяется спросом на хлеб. Спрос определяется распределением покупательной силы. Распределение покупательной силы зависит, во-первых, от отношения между заработной платой и прибавочной стоимостью, а во-вторых, от того, как разделяется прибавочная стоимость между различными слоями эксплуататоров и их непроизводительных работников. Наконец, отношение между заработной платой и прибавочной стоимостью, по мере увеличения производительности труда, все более и более изменяется *в ущерб* работникам, *а не в пользу их,* как этого мож-но было бы ожидать на основании рассуждений Чернышевского.

[1]) «Principes», t. II, p. 95.

Ссылка на «пропорцию земледельцев» так же мало убедительна, как и известная читателю мысль Чернышевского о причинах сравнительно медленного усовершенствования земледелия: от недостатка хлеба страдают только бедняки; современная же наука в большинстве случаев направляет свои исследования лишь сообразно нуждам высших классов. Читателю уже известно, что это отвлеченное мнение плохо выражает действительный смысл конкретных общественных отношений.

Посмотрим теперь, какая связь существует между нищетой и «отношением основного капитала к прибыли».

«Земледельческое улучшение, подобно всякому другому техническому улучшению, состоит, главным образом, в увеличении основного

капитала. Мы видели у Милля, что основной капитал... обыкновенно возрастает не иначе, как обращением в капитал прибыли и ренты. Но прибыль и рента, когда отделяются фактически от рабочей платы, обращаются в капитал не иначе, как в тех случаях, если процент дохода представляет достаточную привлекательность для человека, желающего жить не рабочею платою, а доходом с капитала. Величина процента, дающая такую привлекательность обращению прибыли и ренты в капитал, различна в разных странах; но не бывало никогда примеров, чтобы она опускалась ниже 2%, — обыкновенно она стоит гораздо выше даже в самых передовых странах. Между тем для нации была бы выгодна затрата капитала на земледельческие улучшения для покрытия дефицита в продукте, хотя бы доход составлял несравненно меньшую, в несколько десятков раз меньшую, пропорцию к затраченному капиталу. Таким образом, очень часто может представляться для нации надобность в земледельческих улучшениях, которые давали бы на затраченный капитал гораздо меньше дохода, чем сколько нужно для того, чтобы затрата стала привлекательна по причине дохода от нее для людей, живущих рентою или прибылью, а не рабочею платою. В таких случаях рента и прибыль не обращаются в капитал, а потребляются непроизводительным образом, и остаются не произведенными те земледельческие улучшения, какие были нужны для предотвращения дефицита в земледельческом продукте» [1]).

Не подлежит никакому сомнению, что когда между обществом и его производительными силами стоит капиталист, пользование этими силами никогда не может дойти до таких размеров, до каких дошло

[1]) Соч., т. VII, стр. 302.

бы оно, если бы капиталиста не было. Это знал, как мы видели, сам Мальтус. Но у Чернышевского выходит, что капиталистический строй может оказаться препятствием для распространения земледелия на новые участки только в том случае, когда производительность труда на этих участках будет значительно *ниже, чем на старых;* притом же Чернышевский говорит *только* о земледельческом труде. Мальтус ставит вопрос шире и отвечает на него правильнее. По мнению Мальтуса, уже известному читателю, *каковы бы ни были*

производительные силы в земледелии и *других отраслях производства,* — они употребляются в дело лишь тогда, когда капиталист надеется получить достаточную прибыль [1]). Это огромная разница. Во время переполнения рынков капиталисты сокращают производство, потому что оно не окупило бы даже сделанных на него затрат. Периодическое переполнение рынков принимает тем более внушительные размеры, *чем более* развиваются производительные силы. Следовательно, *чем более* развиваются эти силы, *тем более* серьезным препятствием является капиталистический строй *для их применения.* Это вывод, как раз обратный выводу Чернышевского [2]).

Обратите внимание на пример, с помощью которого Чернышевский доказывает справедливость своей мысли.

Общество имеет 10.000 человек населения или 2.000 семейств с 2.000 мужчин. Половина этих последних обрабатывает землю, остальные частью занимаются другими отраслями производительного труда, частью предаются труду непроизводительному, а частью посвящают свое время эксплуатации ближнего (землевладельцы и капиталисты). На продовольствие нужно по 4 четверти на человека, а 1.000 земледельцев производят 40.000 четвертей, по 40 четвертей каждый. Рента и прибыль составляют четвертую часть продукта, т. е. 10.000 четвертей. Остальные 30.000 четвертей составляют рабочую плату, по 30 четвертей на работника [3]).

[1]) «Principes», t. II, p. 121. Подлинные слова Мальтуса приведены нами выше.

[2]) *Примечание к настоящему изданию* (изд. «Шиповник»). Недавний «сельскохозяйственный кризис» тоже выражался в *понижении прибыли* сельскохозяйственных предпринимателей. Но причина его лежала совсем не в переходе к малоплодородным участкам и не в том, что слишком *маю* хлеба на всемирном рынке, а в том, что его слишком *много.* «Предложение превышает спрос, — справедливо говорит г. Л. Крживицкий, — тенденция к перепроизводству все более и более усиливается и принимает все более осязательные формы». *Аграрный вопрос,* стр. 214 — 215.

[3]) «Для простоты гипотезы оставим в стороне все другие отрасли производства и все другие элементы рабочей платы, кроме земледелия и хлеба», — замечает Чернышевский (Сочин., стр. 292).

Так обстоит дело в первом году. В следующем году, благодаря размножению населения, в земледельческом продукте оказывается недочет, доходящий до 16 четвертей, т. е. выходит, что недостает продовольствия для 4 человек. Необходимы улучшения. Необходимы — с точки зрения людей, нуждающихся в продовольствии, но не с

точки зрения капиталистов. У тех свои расчеты. С их точки зрения «дело зависит от того, какое количество труда нужно для производства улучшений, дающих в продукте увеличение на 16 четвертей». Положим, что для покрытия недочета надо осушить небольшой участок. Для этого потребуется годичный труд двух работников. На их наем надо затратить 60 четвертей (30 на каждого, согласно вышеприведенному предположению). Следовательно, затрата капитала равняется 60 четвертям, обращение их в основной капитал дает 16 четвертей дохода. «Нет ни одного рассудительного землевладельца или капиталиста в Европе, который с радостью не сделал бы такого улучшения. *Если бы нужны были только такие улучшения, не существовало бы нищеты в Европе».* (Курсив наш.) Но возможен иной случай. Возможно, что для осушения участка потребуется прорыть большой канал, который поглотит годичный труд 200 человек. На их наем потребуется 6.000 четвертей. Осушенный участок будет приносить ежегодно по 16 четвертей. Это составит немного больше одной четвертой части процента. «Каково бы ни было расположение нации к бережливости, до какой бы высокой степени ни доходило деятельное стремление к накоплению, никогда не может оно усилиться до того, чтобы прибыль в одну четвертую часть процента стала казаться привлекательною для рассудительного человека» [1]). Значит, улучшения не будут сделаны. А между тем, их наверное сделали бы, если бы общество само распоряжалось употреблением в дело своих производительных сил. Для него вопрос о покрытии дефицита есть вопрос жизни и смерти.

В этом примере много экономических неточностей. Мы не хотим останавливаться на них. Читатель заметит их и без нашей помощи, а если не заметит, — беда невелика: неточности эти только лишний раз показали бы несостоятельность «гипотетического» метода Чернышевского, а она и без того очевидна [2]). Мы просим читателя обратить вни-

[1]) Там же, стр. 293.

[2]) На всякий случай — вот одна из неточностей: по предположению Чернышевского, подлежащий улучшению участок занимает 4 десятины. Одна десятина будет, поэтому, в среднем приносить 4 четверти. Осушенный участок не станет же давать жатву без обработки. Чтобы возделать его, понадобится, положим, го-

мание лишь на следующее обстоятельство. В разбираемом примере каждый земледелец производит первоначально 40 четвертей хлеба. Осушенный участок приносит только 16. Автор не говорит, сколько труда понадобится для его обработки (обработка совершенно упускается из вида). Но, принимая во внимание, что участок занимает 4 десятины, надо думать, что для его возделывания понадобится количество труда, по крайней мере, равное полугодичному труду одного работника. Но положим даже, что каждый работник в состоянии обработать 16 десятин, и что, следовательно, на обработку участка необходимо затратить лишь трехмесячный труд одного человека. Все-таки производительность труда на этом участке значительно ниже, чем на старых участках: там трехмесячный труд работника производит 10 четвертей. Это, во-первых, доказывает, что именно только в случае понижения производительности труда капиталистический строй мог, по мнению Чернышевского, оказаться препятствием для употребления в дело производи-тельных сил. Во-вторых, это проливает новый свет на математическое опровержение Мальтуса.

В своем примере Чернышевский указывает, какое число жителей имеет его воображаемое общество, и даже говорит, как велик процент размножения его населения. В этом, по-видимому, нет никакой надобности. Чтобы доказать свою мысль, он мог бы ограничиться указанием того, до какой степени упадет производительность труда на новом участке. Но ему нужно было определить «процент улучшений», необходимых для покрытия дефицита, обнаружившегося во втором году. *«По Мальтусовой теореме»,* этот процент оказывается равным 0,0385 или,— как предполагает Чернышевский «для легкости счета»,— 0,04. Читатель знает, что нельзя определить этот процент, не определив предварительно того, как понизится производительность земледельческого труда. *«Мальтусова теорема»* именно и помогает Чернышевскому найти эту неизвестную величину: процент ослабления производительности труда новых работников равен проценту размножения, то есть 2. Относительно этого можно предположить одно из двух: 1) это верно,

личный труд одного человека. Часть продукта этого труда пойдет работнику в виде заработной платы, другая составит прибавочную стоимость. Спрашивается, как велика будет она? Она будет равна тому, что останется от продукта за вычетом рабочей платы. Рабочая плата, по предположению Чернышевского, доходит до 30 четвертей. Значит, на прибавочную стоимость останется *минус 14 четвертей.* Но отрицательная прибавочная стоимость не дает возможности уплатить хотя бы одну четвертую часть процента на затраченный прежде основной капитал.

2) это неверно. Чернышевский сказал бы, конечно, что это совершенно верно. Положим, что он прав. Что же выходит? Процент необходимых улучшений очень невелик. Цифра, его выражающая, *«явно смеется над нами»* своею ничтожностью; она говорит нам: «не бойтесь, — кто хочет запугать вас, против того выставьте вы меня, опровергнуть меня нельзя». Мы верим цифре, у нас исчезают всякие сомнения насчет будущего. Но когда речь заходит об исполнении ничтожных по своим размерам улучшений, оказывается, что мы, по известному немецкому выражению, считали без хозяина. Оказывается, что в деле исполнения этих улучшений возможны очень различные *случаи.* Возможно, что потребуется затратить огромный труд для получения сравнительно ничтожного «дохода». Значит, величина процента необходимых улучшений еще *ровно ни за что не ручается.* Даже в «гипотетической» действительности Чернышевского эта ничтожная величина может уживаться с огромнейшими практическими затруднениями, с чрезвычайно большим понижением производительности труда на участке, который должен покрыть наш дефицит. А это значит, что нельзя верить *насмешливой цифре!*

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

К р и з и с ы

После всего сказанного надо ожидать, что истинная *причина кризисов* должна была остаться неясной для Чернышевского. Так оно и есть в действительности.

Как объяснить кризисы, эти «экономические землетрясения, ломающие фирмы, разрушающие фабрики, оставляющие без куска хлеба тысячи бывших богачей и миллионы работников»?

Чернышевский приводит краткое извлечение из отдела, посвященного кризисам у Милля. Из этого извлечения явствует, что причина кризисов лежит в *«закупках на спекуляцию* или просто в *спекуляции».*

Соображения Милля кажутся Чернышевскому достаточными для опровержения того взгляда, по которому кризисы причиняются излишним выпуском кредитных бумаг. «Связь коммерческих кризисов с кредитными бумагами в существе дела только та, что быстрый ход закупок в огромном размере возможен, конечно, только при высоком развитии экономической жизни, основанной на обмене, а при таком развитии экономической жизни непременно существует и высокое развитие кре-

дита, а в числе других его форм — и высокое развитие так называемых кредитных бумаг» [1]). Но отсюда еще не следует, что взгляд Милля правилен. «Дело в том, что Милль останавливается только на одной коммерческой стороне процесса, не считая нужным упомянуть об его влиянии на производство и потребление» [2]). С кризисами «связан вопрос о так называемом излишке снабжения». Милль лезет из кожи вон, чтобы показать, вопреки Мальтусу, Чомерсу и Сисмонди, невозможность подобного излишка. По его словам, «заслуга истинного разъяснения этого чрезвычайно важного дела более всего принадлежит двум знаменитым людям: на континенте проницательному Ж. Б. Сэю, а в Англии Джемсу Миллю». — «Все, что говорит Милль, — чистая правда,— замечает Чернышевский. — Но неужели такие люди, как Сисмонди и Мальтус, не умели понимать того, что называется коммерческим кризисом? Они дошли до мысли решительно ошибочной, и когда, для отвращения бедствий коммерческих кризисов, они упрашивают богачей увеличивать непроизводительное потребление, они доходят до нелепости, изумляющей своею колоссальностью. Неужели они могли бы избавиться от своего странного заблуждения таким простым соображением, как мысль о происхождении коммерческого кризиса из чрезмерных спекулятивных закупок? Но ведь это соображение наверное было им очень хорошо знакомо. Как же могли удержаться в таких головах такие нелепости, какие опровергаются Миллем?» Мальтус, Чомерс и Сисмонди просто смотрели на вопрос не с той стороны, с какой смотрит Милль. Истинный ход явления, называемого кризисом, таков: «В первой половине дела, когда цены растут,

производители, надеясь на чрезвычайно выгодный и легкий сбыт, усиливают свою деятельность точно таким же необычайным образом, как усиливаются закупки. В два — три месяца фабрики изготовляют столько товаров, сколько изготовляется при обыкновенном ходе дел в полгода. Но ведь сбыт усиливается возрастанием только спекулятивных закупок, а не самого потребления; оно, напротив, быть может, даже уменьшается по чрезмерной дороговизне. Что же бывает с производством, когда цены начинают падать? В предшествующий период заготовлено товаров в три месяца на полгода; ясно, что производство должно было бы остановиться на три месяца, чтобы запасы уменьшены были до обыкновенного размера обыкновенным потреблением. Но потребление в эпоху кризиса, несмотря

[1]) Сочин., стр. 478.
[2]) Там же, стр. 484.

на упадок цен, бывает меньше обыкновенного, потому что у всех расстроены денежные дела. От этого чрезмерные запасы еще дольше остаются не потребленными. А пока они не потреблены, не уменьшились до обыкновенного размера, новое производство не находит себе сбыта. Таким образом, с коммерческим кризисом всегда бывает соединен промышленный, во время которого ослабевает производство, по излишеству сделанных запасов и недостатку сбыта. Вот этою стороною дела и были смущены Мальтус, Чомерс и Сисмонди. Милль совершенно прав, доказывая против них, что производство не может превышать потребностей человека [1]), что капитал... не может возрастать слишком быстро, что, с какою быстротою ни возрастал бы он, всегда можно было бы желать еще быстрейшего возрастания, потому что всегда нашлось бы ему нужное занятие и т. д., — все это совершенная правда, и в словах Мальтуса, Чомерса, Сисмонди находится противоречие с неопровержимыми принципами экономической теории. Но это противоречие произошло только оттого, что Сисмонди и Мальтус остановились на половине пути, не доискались до коренных фактов, порождающих в самой действительности противоречия с экономическою теориею»... В конце концов, Чернышевский находит, что «производство, которое никогда

не может превышать размера человеческих потребностей, может по временам превышать обычный уровень потребления, и неминуемым следствием такого чрезмерного усилия, вызываемого не развитием потребления, а только спекуляциею, бывает временный упадок производства, остановка работ. Корень этого бедствия заключается в отделении покупательной силы от производства и потребления, то есть ни меньше, ни больше, как то, что называется у нас торговлею в отдельности от занятий чисто производительных» [2]).

Чтобы доказать несостоятельность Мальтусовой теории народонаселения, следовало прежде всего указать на то, что, по Мальтусу, буржуазное общество *одновременно страдает и от перепроизводства, и от перенаселения,* т. е. от *недостаточного производства.* Подобное опровержение было бы, как выражаются математики, *необходимым и достаточным.* Чернышевский предпочел бороться другим оружием, достоинство которого нам уже известно. Ему и в голову не приходит, что

[1]) Надо заметить, что Милль вовсе не думал доказывать это. Он доказывал, что производство не может превышать потребностей *товаровладельцев,* а это не одно и то же. *Г. П.*

[2]) Там же, стр. 435.

«вопрос об излишке снабжения» может служить для «разъяснения смысла Мальтусовой теории». Он склонен даже хвалить Мальтуса, который хотя и остановился на половине пути в вопросе об «излишке снабжения», но все-таки выбрал верную дорогу для его решения. Самое же решение вопроса выражается немногими словами: *корень бедствия в торговле.* Здесь мы имеем интересный образчик отношения социалиста-утописта ко взглядам буржуазного политико-экономa *«передовой»* школы. Корень зла в спекуляции, — говорит Д. С. Милль. Вы вполне правы, — замечает социалист-утопист. — Но вы не делаете надлежащего вывода из ваших собственных посылок. Я иду дальше вас, я не боюсь поставить точку над «i»: корень зла не в спекуляции, а в том, от чего получает происхождение сама спекуляция, т. е. в торговле. Буржуазные экономисты, вообще говоря, совершенно правы. Они лишь робки и непоследовательны.

Корень бедствия в торговле. Без торговли немыслимо товарное производство. Следовательно, корень бедствия уходит еще глубже: он не-

разрывно связывается с товарным производством. Но товарное производство долго существовало, не причиняя кризисов. Значит, не товарное производство причиняет кризисы, а нечто другое, может быть, и связанное с этим производством, но обнаруживающееся лишь на очень высокой стадии его развития. Указание на истинную причину кризисов заключается уже в собственных словах Чернышевского. Спекуляция дает такой толчок производству, что в два — три месяца заготовляется количество товаров, достаточное для полугодового потребления. В действительности производство может еще дальше оставить за собою потребление, чем думал Чернышевский. Вот теперь и спрашивается, всегда ли существовала при товарном производстве возможность подобного явления? Известно, что не всегда, что она создана лишь развитием новейшей крупной промышленности, увеличившей производительные силы общества до небывалых размеров. Следовательно, «корень бедствия» заключается в крупной промышленности и в слишком значительном развитии производительных сил? Очевидно — да. Но так же очевидно, что высокое развитие производительных сил злом быть не может. Утверждать это — значило бы говорить сущую бессмыслицу. Выходит, что надо обратить внимание на те условия, при которых применяются теперь высокоразвитые производительные силы. Мы знаем уже, что между обществом и его производительными силами стоит капиталист, прекращающий свою «работу» всякий раз, когда она не

сулит ему необходимых и достаточных барышей. А надежда на барыши исчезает всякий раз, когда рынки переполняются товарами. А рынки тем чаще и тем больше переполняются товарами, чем более развиты производительные силы. Капиталист попадает в нелепое, противоречивое положение: с одной стороны, конкуренция заставляет его применять возможно более совершенные способы производства; а с другой стороны, применение этих способов грозит переполнением рынков, кризисом, потерей барышей, разорением. Это противоречие показывает, что производительные силы переросли капиталистические отношения производства [1]). Устранение этих отношений является важнейшим «очередным вопросом»

переживаемого нами исторического момента. Когда *капиталистические* отношения производства уступят место *социалистическим,* тогда высоко-развитые производительные силы перестанут причинять *«экономические землетрясения»,* они будут покорными рабами людей, источником непрерывного роста обществен-ного богатства.

Противоречие современных производительных сил с современными отношениями производства есть противоречие, свойственное современной экономической действительности. Чернышевский ищет «корня бедствия» в противоречии действительности «с *неопровержимыми принципами экономической теории».* Это весьма характерно для его отвлеченной точки зрения. Стоя на этой точке зрения, легко можно было открыть множество противоречий фактов с «теорией», действительности с требованиями рассудка. Но противоречие действительности с «теорией», т. е. со взглядами людей, само является продуктом исторической диалектики общественной жизни. Надо открыть законы этой диалектики для того, чтобы иметь возможность не только *осудить* действительность, но также *указать исторические условия* ее возникновения в прошлом и ее исчезновения в будущем. К сожалению, именно это-то и невозможно было для человека, смотревшего на общественную жизнь с отвлеченной точки зрения. В качестве теоретика, такой человек мог только ловить действительность на противоречиях с теорией; в качестве практического деятеля, стремящегося устранить ненавист-

[1]) *Примечание к настоящему изданию* (изд. «Шиповник»). Ср. *Маркса.* «Theorien über den Mehrwert», zweiter Band, zweiter Teil, S.S. 263 — 318, и особенно стр. 273, 298, 309 и 318. О теории кризисов Маркса см. *Будина.* «Теоретическая система К. Маркса», перевод с английского под редакцией В. И. Засулич, Спб. 1908, стр. 260 — 264.

ную ему действительность, он мог возлагать свои упования исключительно только на *убедительность теории,* которая рано или поздно покажет людям всю гнусность *и нелепость действительности.*

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Заключение

Вот как формулирует сам Чернышевский, в немногих словах, те принципы, которые должны лечь в основу будущего экономического устройства. Они состоят «в том, что труду не следует быть товаром; что человек работает с полною успешностью лишь тогда, когда работает на себя, а не на другого; что чувство собственного достоинства развивается только положением самостоятельного хозяина; что поэтому искать надлежащего благосостояния будет работник только тогда, когда станет хозяином; что с тем вместе принцип сочетания труда и характер улучшенных производительных процессов требуют производительной единицы очень значительного размера, а физиологические и другие естественные условия требуют сочетания очень многих разнородных производств в этой единице; и что поэтому отдельные хозяева-работники должны соединяться в товарищества».

Каким же путем могут быть осуществлены эти принципы? Чернышевский очень сожалел, что не удалось ему указать те переходные ступени, которые приведут к полному осуществлению социалистических идей. Это действительно очень жаль, потому что характер этих мер дал бы нам более ясное представление о социально-политических взглядах нашего автора. Постараемся, однако, пополнить этот пробел с помощью отдельных замечаний, рассеянных на страницах «Очерков политической экономии». К сожалению, их очень немного.

Мы уже знаем, что Чернышевский горячо восставал против принципа «Laissez faire, laissez passer», столь дорогого вульгарным экономистам известного направления. Но, восставая против *этого* принципа, он далеко не безусловно держался противоположного: он не утверждал, что «социальный вопрос» может быть решен *только* посредством государственного вмешательства, и он был очень осторожен в определении границ этого вмешательства. «Способ осуществления в каждом деле много зависит от обстоятельств, — говорит он в главном эко-

комическом сочинении [1]). — Одна и та же цель достигается в иных случаях свободным действием индивидуальных лиц, в других — силою распоряжений общественной власти. О том, который способ лучше сам по себе, не нужно было по-настоящему и говорить нам: как мы думаем об этом предмете, должно быть ясно читателю, сколько-нибудь желающему вникать в наш образ мыслей; да и сам по себе вопрос очень ясен. Но в истории слишком часто задача бывает не в том, какой путь самый лучший, а в том, какой путь возможен при данных обстоятельствах. Если я сам в силах отстранить человека, несправедливо мешающего мне идти своей дорогой, я сам отстраняю его; но если я не в силах отстоять своих прав один, я призову против неправильно мешающих мне вмешательство общественной власти. Из этого еще не будет следовать, что я люблю полицейскую расправу или судебные тяжбы... Но войдите в мое положение, что мне делать, кроме этого? Очень может быть, что в некоторых странах, где народ имеет права вроде английских и североамериканских, дело исполнится исключительно или преимущественно частным образом...» [2]).

Но Англию и Северную Америку Чернышевский считал исключениями. Как это по всему видно, он был убежден, что решение социального вопроса *«частным образом»* невозможно в большинстве европейских стран. Есть основания думать, что и само государственное вмешательство в этих странах представлялось ему в виде вмешательства правительства, выдвинутого «скачком». На эти предположения наводят нередкие у него отступления, где он старается решить, насколько требования здравой теории обязательны для правительства, поставленного историей в необходимость исключительно руководствоваться принципом: salus populi lex suprema est. Вот, например, теория безусловно осуждает чрезмерные выпуски бумажных денег. По теории выходит, что лучше прямое, откровенное решение вопроса — налог. Так и должно поступать правительство, чувствующее себя прочным. Но бывают исключительные положения, бывают исключительные события, вроде событий 1848 г. во Франции [3]). «В этом шатком положении приходится лавировать, сообразоваться с господствующими предубеждениями, принимать не тот способ действия, который сам по себе наилучший, а тот,

[1]) Соч., том VII, стр. 337.

[2]) Не мешает вспомнить, какое направление начинает преобладать теперь в английских тред-юнионах.

[3]) Не надо забывать, что Чернышевский писал в подцензурном издании и потому часто должен был выражаться намеками.

который произведет наименее тяжелое впечатление на общество.. Что делать? Тут задача исполняется не такими людьми, которые спокойно могут рассчитывать на свою будущность, а такими, жизнь которых висит на волоске, и волосок этот оборвется, непременно оборвется, не ныне, завтра оборвется, и погибнет с ними их дело, если волосок оборвется ныне, — во что бы то ни стало надобно продержаться нынешний день, чтобы уметь хотя что-нибудь сделать. — Да, представьте себе это положение, и вы поймете мысль о неограниченном выпуске бумажных денег для произведения коренных реформ экономического быта».

Выпуск бумажных денег предполагается здесь необходимым в видах организации рабочих товариществ: «разумеется, раз начавшись, дело будет развиваться собственными средствами; — но, чтобы завести его, чтобы дать ему возможность начаться, все-таки нужно очень много денег» [1]).

Замечательно, что у Чернышевского правительство, начинающее коренное «изменение экономического быта в пользу работников и в невыгоду капиталистов», старается не запугать «общество», т. е. этих капиталистов, не произвести на них *«тяжелого впечатления».*

«Мы приводили основания, по которым некоторые экономисты находят наилучшим порядком такой быт, который существенно разнится от нынешнего, — говорит он по поводу прогрессивного налога, — содействовать введению этого лучшего быта можно, *не нарушая заметным образом никаких существенных интересов;* а прогрессивный налог значительного размера был бы явно противоположен интересу богатых сословий, которые всеми силами боролись бы против него, между тем как прочное и благоразумное правительство *могло бы, нисколько не раздражая их, вести дело коренной реформы быта»* [2]).

Одни эти строки могли бы убедить нас, что в лице Чернышевского мы имеем дело с *социалистом-утопистом.*

Утопическая точка зрения на общественную жизнь — такова Ахиллесова пята нашего автора. Из этого общего источника проистекают все те многочисленные промахи и все те немалочисленные ошибки, с которыми мы встретились в его исследованиях. Чернышевский часто ошибался, потому что, рассуждая о буржуазном обществе, он искал оснований для своих выводов *не в действительной жизни этого общества, а в «требованиях здравой теории».*

[1]) Там же, стр. 475 — 476.
[2]) Т. IV, стр. 566.

В основе этих требований лежали, — как видел читатель, — учения тех же буржуазных экономистов, против которых спорил Чернышевский. Но он видоизменял и дополнял эти учения, руководясь размышлениями об экономической жизни воображаемого социалистического общества с населением от нескольких сот до нескольких тысяч человек. Примерные арифметические выкладки, — счетоводство воображаемого общества, — составляли всю сущность его *«гипотетического»* метода. С помощью таких приемов нельзя было сделать что-нибудь прочное в науке. Пример Чернышевского, обладавшего такими огромными, поистине редкими, способностями, лучше всякого другого показывает несостоятельность *утопической точки зрения.*

Примечание к настоящему изданию (изд. «Шиповник». 1910 г. Спб.).

В предисловии к своему переводу «Оснований политической экономии Д. С. Милля» Н. Г. Чернышевский писал:

«Книга Милля признается всеми экономистами за лучшее, самое верное и глубокомысленное изложение теории, основанной Адамом Смитом. Переводя это произведение, мы хотим дать читателю доказательство, что бóльшая часть понятий, против которых мы спорим, вовсе не принадлежит к строгой науке, а должна считаться только искажением ее, сочиненным нынешними французскими так называемыми экономистами по внушению трусости» (Сочинения, т. VII, стр. 1).

Имея в виду эту специальную и в весьма значительной степени публицистическую цель, наш автор очень охотно говорил, что он *«только повторяет слова»* Д. Ст. Милля, и если расходится с ним, то лишь в выводах, вытекающих из экономической теории, а не в том, что касается ее основных положений. Это могло быть удобно ввиду вышеуказанной специальной цели; но это оказалось невыгодным для самой теории. Чернышевский сделал большую ошибку, приняв Д. Ст. Милля за верного ученика А. Смита и Рикардо. Несмотря на свое будто бы беспристрастное отношение к социалистическим системам, Дж. Ст. Милль сам испытал на себе влияние вульгарных экономистов, — если не французских, то английских, — и, как мы видели, сам не мог окончательно разобраться в основных понятиях политической

экономии. Если бы Чернышевский взял за исходную точку своих исследований не «Основан я политической экономии» Д. Ст. Милля, а «Principles of political Economy and taxation» Рикардо, — о которых он сам был такого высокого мнения [1]), — или хотя бы «Soziale Briefe an v. Kirchmann. Родбертуса, то его собственный взгляд на экономику капиталистического общества очень много выиграл бы в ясности. А *это,* конечно, отразилось бы в благоприятном смысле как на его *«примечаниях и дополнениях»* (к первой книге Милля), так и на его «очерках» («по Миллю»).

Известно, что на учение Рикардо опирались английские социалисты прошлого века,— главным образом, последователи Р. Оуэна, — в своих довольно многочисленных и весьма замечательных экономических сочинениях (о них см. в «Нищете философии» *Маркса* и в предисловии проф. *Г. С. Фоксуэля* и английскому переводу книги *Л. Менгера* «Das Recht auf den vollen Arbeiterstag»; это предисловие пере-

[1]) В своей, подробно рассмотренной нами выше, статье «Происхождение теорий благотворности борьбы за жизнь» он называет Рикардо мыслителем, «пересоздавшим» своими «Principles» экономическую науку.

ведено на немецкий язык и составляет введение к вышедшему в 1903 году немецкому переводу двухтомного сочинения Уильяма Томпсона: «An inquiry into the principles of the distribution of Wealth»). Наконец, о тех же социалистах говорит покойный проф. Георг Адлер в своей «Einleitung» к немецкому переводу брошюры Джона Грэя *«Lecture on human happiness»* (появившемуся в 1907 году). Надо признать, что основные экономические взгляды английских социалистов той эпохи, — напр., У. Томпсона и Дж. Грэя, — нередко отличаются большею стройностью, нежели взгляды Чернышевского. Но А. Менгер сделал большую и странную ошибку вообразив, будто в этих сочинениях заключаются *основы научного социализма.* Английские социалисты, делавшие. по выражению Маркса, эгалитарные выводы из экономического учения Рикардо, продолжали стоять обеими ногами на почве *утопического* социализма, как в этом легко может убедиться всякий, кто даст себе труд прочитать, например, вышеназванные сочинения Томпсона и Грэя, до сих пор остающиеся большой редкостью на английском языке, но сделавшиеся общедоступными в немецком переводе. Для английских социалистов, опиравшихся на Рикардо, задача исследования сводилась, — как и для нашего великого просветителя, — к уяснению себе и другим того, что капиталистический порядок не соответствует «требованиям здравой теории . Повторяем, дело не в частных ошибках Н. Г. Чернышевского, — как бы ни были они подчас значительны, — а в недостатках той *точки зрения,* которой он держался.

Но при всех своих недостатках,— *на которые в наше время можно и должно смотреть исторически,* — точка зрения нашего автора не помешала ему оказать неоцененные услуги нашей нарождавшейся общественной мысли. Он был не только образованным, а прямо ученым, да к тому же еще убежденным и талантливым публицистом, который хотел обратить на «социальный вопрос» внимание своих «читателей-друзей», принадлежавших преимущественно к разночинцам. И эта его благородная цель была вполне достигнута: все свежие, все живые элементы нашей читающей публики испытали на себе его благотворное влияние. Много содействовала его. подчас страстная, подчас желчная и едкая проповедь возникновению того демократического течения в нашей литературе, которому русский «передовой человек» обязан был всем тем, что он знал о нашей народной жизни. Чернышевский нередко ошибался, когда судил об отдельных явлениях в жизни капиталистического общества. Но он был прав в своем отрицательном отношении к этому обществу. А кроме того, — и это крайне важно, — когда он рассуждал о том, «что делать», он даже в своих утопических планах обнаруживал такую сильную логику и такую поразительную трезвость мысли, каких мы напрасно стали бы искать в сочинениях людей, занявших в нашей передовой публицистике главное место *после* его удаления со сцены. *Когда он ушел, уровень нашей этой публицистики страшно понизился.* И достаточно одного этого, не подлежащего ни малейшему сомнению, обстоятельства, чтобы судить о том, какую важную и какую плодотворную роль играл Н. Г. Чернышевский в нашей литературе. Его имя характеризует целую эпоху в истории развития русской общественной мысли. Эта эпоха есть славная, незабвенная «эпоха шестидесятых годов».

СТАТЬИ И РЕЦЕНЗИИ

Эстетическая теория Н. Г. Чернышевского

1.

Если Белинский был *родоначальником* наших просветигелей, то Чернышевский является *самым крупным их представителем.* Его литературные и вообще эстетические взгляды имели огромное влияние на дальнейшее развитие русской критики. Поэтому мы должны обратить на них большое внимание.

Наиболее полно и ярко они изложены в его знаменитой диссертации: *«Эстетические отношения искусства к действительности»,* представленной в марте 1855 года в Петербургский университет для получения степени магистра словесности. Ее разбором мы и займемся в этой статье, обращаясь к другим произведениям Чернышевского только в той мере, в какой они объясняют и дополняют основные положения диссертации. В этом смысле для нас очень важна статья, написанная им по поводу появления трактата Аристотеля о поэзии в русском переводе и с объяснениями Б. Ордынского (Москва 1854) и напечатанная в отделе критики в 9-й книжке *«Отечественных Записок»* за 1854 год. А еще важнее его собственный разбор *«Эстетических отношений»,* появившийся в 1855 г. в шестой книжке *«Современника».*

Но прежде чем говорить о диссертации Чернышевского, полезно будет выяснить себе, почему она посвящена была именно эстетике, а не какой-нибудь другой науке.

В своей статье *«Разрушение эстетики»,* до сих пор приводящей в негодование всех русских филистеров идеализма и эклектизма, Писарев говорит, что Чернышевский взялся за свою диссертацию с «коварной» целью погубить эстетику, разбить всю ее на мелкие кусочки, потом все эти кусочки превратить в порошок и развеять этот порошок на все четыре стороны. Это остроумно, но неверно. Писарев плохо понял основную мысль «Эстетических отношений искусства к

действительности». Принимаясь за свою диссер-тацию, Чернышевский вовсе не задавался

целью «погубить эстетику». Чтобы убедиться в этом, достаточно перечитать упомянутую нами статью о книге Ордынского. Чернышевский написал ее как раз в то время, когда работал над своей диссертацией. В ней он не только не нападает на эстетику, но, напротив, горячо защищает ее от тех ее «недоброжелателей», которые говорят, что не следует заниматься ею, как наукой слишком отвлеченной и потому неосновательной. «Мы понимали бы вражду против эстетики, — говорит он, — если бы она сама была враждебна истории литературы, но, напротив, у нас всегда провозглашалась необходимость истории литературы; и люди, особенно занимавшиеся эстетическою критикою, очень много, — больше, нежели кто-либо из наших нынешних писателей, — сделали и для истории литературы! (Тут очевиден намек на Белинского.) У нас эстетика всегда признавала, что должна основываться на точном изучении фактов, и упреки в отвлеченной неосновательности содержания могут идти к ней так же мало, как, напр., к русской грамматике. Если же прежде она не заслуживала вражды со стороны приверженцев исторического исследования литературы, то еще менее может заслуживать ее теперь, когда всякая теоретическая наука основывается на возможно полном и точном исследовании фактов».

Он замечает далее, что даже устарелые ныне курсы идеалистической эстетики основываются на гораздо большем числе фактов, нежели думают их противники. В подтверждение этого он справедливо указывает на эстетику Гегеля, состоящую из трех томов: два последние тома совершенно заняты в ней исторической частью, и большая половина первого тоже занята историческими подробностями. «Словом, — заключает он, — нам кажется, что весь спор против эстетики основывается на недоразумении, на ошибочности понятий о том, чтó такое эстетика и чтó такое всякая теоретическая наука вообще. История искусства служит основанием теории искусства, потом теория искусства помогает более совершенной, более полной обработке истории его; лучшая обработка

истории послужит дальнейшему усовершенствованию теории, и так далее, до бесконечности, будет продолжаться это взаимодействие на обоюдную пользу истории и теории, пока люди будут изучать факты и делать из них выводы, а не обратятся в ходячие хронологические таблицы и библиографические реестры, лишенные потребности мыслить и способности соображать. Без истории предмета нет теории предмета; но и без теории предмета нет даже и мысли об его истории, потому что нет понятий о предмете, его значении и границах. Это так же просто, как то, что дважды два — четыре, а единица есть единица».

247

В другом месте той же статьи он восклицает: «Эстетика — наука мертвая! Мы не говорим, чтобы не было наук живей ее; но хорошо было бы, если бы мы думали об этих науках. Нет, мы превозносим другие науки, представляющие гораздо менее живого интереса. Эстетика — наука бесплодная! В ответ на это спросим: помним ли мы еще о Лессинге, Гете и Шиллере, или уж они потеряли право на наше воспоминание с тех пор, как мы познакомились с Теккереем? признаем ли мы достоинство немецкой поэзии второй половины прошедшего века?..»

Нам кажется, что так не мог бы писать человек, считавший эстетику вздором. А если бы нам сказали, что эта горячая защита эстетики была не искренняя, что ее продиктовало Чернышевскому его «коварное» намерение усыпить подозрительность читателя и тем полнее разрушить в его мнении все основы эстетической науки, мы ответили бы, что, задавшись такой целью, наш автор стал бы в противоречие со своими собственными философскими взглядами вообще и *со своим собственным взглядом на прекрасное* в частности. Согласно этому последнему взгляду, ощущение, производимое в человеке прекрасным, есть светлая радость, похожая на ту, какою наполняет нас присутствие милого для нас существа.

Эта бескорыстная радость была в глазах Чернышевского чувством вполне законным, заслуживающим осуждения только в тех случаях, когда оно вызывается в нас предметами, которые *только кажутся* нам прекрасными вследствие испорченности нашего вкуса. В устранении ложных понятий о прекрасном заключалась, по его мнению, одна из

важнейших задач эстетики. А так как он был убежден кроме того, что ложные понятия этого рода очень распространены теперь особенно в высших классах общества, самым положением своим осужденных иногда почти на полную праздность, то он сказал бы, что у эстетиков, правильно понимающих задачу своей науки, еще очень много дела и что «разрушать» эту науку, по меньшей мере, преждевременно.

Писарев думал, что толковать об эстетике бесполезно уже по одному тому, что о вкусах не спорят. «Эстетика, или наука о прекрасном, имеет разумное право существовать только в том случае, если прекрасное имеет какое-нибудь самостоятельное значение, независимое от бесконечного разнообразия личных вкусов. Если же прекрасно только то, чтó нравится нам, и если вследствие этого же разнообразнейшие понятия о красоте оказываются одинаково законными, тогда эстетика рассыпается в прах. У каждого отдельного человека образуется своя собственная эстетика, и, следовательно, общая эстетика, приводящая личные вкусы к обязательному единству, становится невозможной».

248

Чернышевский возразил бы на это, что бесконечно разнообразны скорее *прихоти* людские, чем *нормальные вкусы,* и что прекрасное, несомненно, имеет самостоятельное значение, совершенно независимое от бесконечного разнообразия личных вкусов. По его определению, *прекрасное есть жизнь.* Так, например, красивым в царстве животных человеку кажется то, в чем выражается по человеческим понятиям жизнь свежая, полная здоровья и сил. В млекопитающих животных, организация которых более близким образом сравнивается нашими глазами с наружностью человека, нам кажутся прекрасными округленность форм, полнота, свежесть и грация, «потому что грациозными бывают движения какого-нибудь существа тогда, когда оно хорошо сложено, т. е. напоминает человека хорошо сложенного, а не урода». Формы крокодила или ящерицы напоминают млекопитающих животных, но только в уродливом виде. Поэтому они кажутся нам отвратительными. Лягушка не только уродлива по своим формам, но еще, кроме того, покрыта холодною слизью, какою покрывается труп. Поэтому она еще более

отвратительна для нас. Словом, в основе всех наших эстетических суждений лежит наше понятие о жизни. Если бы мы встретили такого человека, который, прикасаясь к покрытому слизью трупу, испытывал бы приятное ощущение, то мы, конечно, не стали бы доказывать ему, что он ошибается: силлогизмы не устраняют ощущений. Но мы имели бы полное право считать его организацию исключительной, не нормальной, т. е. не соответствующей *природе человека.* Мы могли бы не знать, какая именно патологическая причина вызвала такое отклонение от человеческой природы, но мы не усомнились бы в том, что была такая причина. Значение прекрасного так же самостоятельно, как значение человеческой природы.

II.

Так рассуждал Чернышевский. Правда, в своем определении прекрасного он имел в виду не одну только органическую жизнь. Говоря: «прекрасное есть жизнь», он прибавлял: «прекрасным существом кажется человеку то существо, в котором он видит жизнь, *как он ее понимает».* На этом основании Писарев и думал, что цель Чернышевского заключалась в разрушении всякой эстетики. «Доктрина» «Эстетических Отношений» именно тем и замечательна, — говорит он, — что, разбивая оковы старых эстетических теорий, она совсем не заменяет их новыми оковами. Эта доктрина говорит прямо и решительно, что право произ-

носить окончательный приговор над художественными произведениями принадлежит не эстетику, который может судить только о форме, а мыслящему человеку, который судит о содержании, т. е. о явлениях жизни». Но это опять неправильный вывод. В самом деле, Белинский думал, как мы знаем, что содержание поэзии тождественно с содержанием философии и что критик, разбирая художественное произведение, прежде всего обязан выяснить его *идею* и только уже потом, — во *«втором акте»* разбора, — проследить идею в образах, т. е. подвергнуть оценке *форму.* Значит ли это, что, по мнению Белинского, право произносить окончательный приговор над художественными произведениями принадлежит не

эстетику, а мыслителю? Вовсе нет! Белинский сказал бы, что такое противопоставление мыслителя эстетику совершенно произвольно и ни на чем не основано. Разобрать художественное произведение значит *понять его идею и оценить его форму.* Критик должен судить и о *содержании,* и о форме; он должен быть *и эстетиком,* и *мыслителем;* короче, идеал критики есть *философская критика,* которой и принадлежит право произнесения окончательного приговора над художественными произведениями. Почти то же можно было бы сказать, основываясь на эстетической теории Чернышевского. Люди далеко не одинаково понимают жизнь, и потому они очень сильно расходятся в своих суждениях о красоте. Но можно ли сказать, что все они правы? Нет, один имеет правильные понятия о жизни, а другой ошибается; поэтому один правильно судит о красоте, а другой ошибочно. Критик непременно должен быть мыслящим человеком. Но не всякий мыслящий человек может быть критиком. Чернышевский говорит: «Из определения — прекрасное есть жизнь — становится понятно, почему в области прекрасного нет отвлеченных мыслей, а есть только индивидуальные существа — жизнь мы видим только в действительных, живых существах, а отвлеченные общие мысли не входят в область жизни». Поэтому недостаточно определить достоинство художественного произведения с точки зрения *«отвлеченной мысли»:* нужно еще уметь оценить его *форму,* т. е. проследить, насколько удачно художник воплотил свою мысль в образах. Когда мы видим прекрасное, нас охватывает чувство светлой радости. Но это чувство не всегда одинаково сильно даже у людей, имеющих совершенно одинаковые взгляды на жизнь. У одних оно сильнее, у других слабее. Люди, у которых оно сильнее, более способны оценить форму данного художественного произведения, чем те, у которых оно сравнительно слабо. Поэтому хорошим критиком художественных произведений может быть только тот, у кого с сильно раз-

витой мыслительной способностью соединяется также сильно развитое эстетическое чувство.

Кроме того Писарев не заметил, что у него слово *эстетика* имеет другой смысл, чем у Чернышевского. Для него эстетика была *«наукой о прекрасном»,* а для Чернышевского — *«теорией искусства, системой общих принципов искусства вообще и поэзии в особенности».* Чернышевский доказывает в своей диссертации, что *«область искусства не ограничивается и не может ограничиваться областью прекрасного.* Если даже согласиться, что возвышенное и комическое — моменты прекрасного, — говорит он, — то множество произведений искусства не подойдут по содержанию под эти три рубрики: прекрасное, возвышенное, комическое... Прекрасное, трагическое, комическое — только три наиболее определенных элемента из тысячи элементов, от которых зависит интерес жизни и перечислить которые значило бы перечислить все чувства, все стремления, от которых может волноваться сердце человека» [1]).

Он говорит также, что если прекрасное считают обыкновенно единственным содержанием искусства, то причина этого заключается в неясном различении прекрасного, как объекта искусства, от прекрасной формы, которая действительно составляет необходимое качество всякого произведения искусства. Но из того, что форма всякого произведения искусства должна быть прекрасна, не следует, что искусство должно и может ограничиться воспроизведением прекрасного. «Искусство воспроизводит все, что есть интересного для человека в жизни». Если это так, то само собою понятно, что искусство не перестанет существовать до тех пор, пока жизнь не перестанет интересовать человека, и что *«погубить»* эстетику, т. е. теорию искусства, «разрушить» ее — просто невозможно.

Писарев плохо понял Чернышевского. Мы не виним его в этом, а просто отмечаем здесь это важное обстоятельство.

Итак, Чернышевский вовсе не собирался разрушать эстетику. Принимаясь за свою диссертацию, он преследовал другие цели. Одна из них нам теперь известна: он хотел доказать, что сфера искусства не-

[1]) В своей книге об искусстве гр. Л. Толстой доказывает, что область искусства несравненно ниже области прекрасного. Но о Чернышевском он не упоминает ни единым словом. Это тем более жаль, что рационалистические приемы рассуждения нашего знаменитого романиста об искусстве очень напоминают приемы тех рассуждений, с которыми мы встречаемся в диссертации: *'Эстетические отношения искусства к действительности».*

сравненно шире сферы прекрасного. Чтобы выяснить себе, откуда явилась у него эта цель, надо припомнить споры Белинского со сторонниками теории искусства для искусства. В своем последнем годичном обозрении русской литературы умирающий Белинский, опровергая эту теорию, старался доказать, что искусство никогда не ограничивалось элементом прекрасного. Молодой, полный сил Чернышевский положил эту мысль в основу своего первого крупного теоретического исследования. Этим лучше всего характеризуется его отношения к *«критике Гоголевского периода».* Диссертация Чернышевского являлась *дальнейшим развитием тех взглядов на искусство, к которым пришел Белинский в последние годы своей литературной деятельности.*

В статье о литературных взглядах Белинского мы сказали, что в своих спорах со сторонниками чистого искусства он покидал точку зрения *диалектика* для точки зрения *просветителя.* Но Белинский все-таки охотнее рассматривал вопрос исторически; Чернышевский окончательно перенес его в область *отвлеченного рассуждения* о «сущности» искусства, т. е., вернее, о том, *чем оно должно быть.* «Наука не думает быть выше действительности; это не стыд для нее, — говорит он в конце своей диссертации. — Искусство также не должно думать быть выше действительности... Пусть искусство довольствуется своим высоким, прекрасным назначением: в случае отсутствия действительности быть некоторою заменой ее и быть для человека учебником жизни». Это уже взгляд просветителя чистой воды.

Он не мешал Чернышевскому заниматься изучением истории литературы в России и на Западе. Уже вскоре по выходе в свет «Эстетических отношений искусства к действительности» в «Современнике» стали печататься «Очерки Гоголевского периода русской литературы» и довольно большое сочинение о Лессинге. Но «точное изучение фактов» имело для Чернышевского, как и для всех просветителей, главным образом, тот интерес, что давало ему новые данные для подтверждения его мысли о том, чем должно быть искусство и чем станет оно, когда художники познают его истинную «сущность».

«Быть учебником жизни» — значит содействовать умственному развитию общества. Просветитель видит в этом главное назначение искусства. Так было везде, где обществу случалось пережить так называемую эпоху просвещения: в Греции, во Франции, в Германии. Так было и в России, когда после Севастопольского погрома передовые слои нашего общества взялись за пересмотр наших тогдашних устарелых общественных отношений и наших традиционных понятий.

252

«Искусство для искусства — мысль такая же странная в наше время, как и богатство для богатства, наука для науки и т. д.,— говорит Чернышевский в своей статье о книге Ордынского.— Все человеческие дела должны служить на пользу человеку, если не хотят быть пустым и праздным занятием: богатство существует для того, чтоб им пользовался человек, наука — для того, чтобы быть руководительницей человека; искусство также должно служить на какую-нибудь существенную пользу, а не на бесплодное удовольствие». А так как приобретение полезных сведений и вообще умственное развитие составляют первую потребность людей, стремящихся к правильному устройству своей жизни, то искусство и должно служить этому развитию. Искусство гораздо больше науки привлекает к себе внимание публики.

«Надобно признаться, что завлекает огромную массу оно очень удачно и этим самым, вовсе о том не думая, содействует распространению образованности, ясных понятий о вещах, — всего, что приносит умственную, а потом принесет и материальную пользу людям», — говорит Чернышевский в той же статье. «Искусство или, лучше сказать, поэзия (одна только поэзия, потому что другие искусства очень мало делают в этом отношении) распространяет в массе читателей огромное количество сведений и, что еще важнее, знакомство с понятиями, вырабатываемыми наукою; вот в чем заключается великое значение поэзии для жизни».

III.

Уже из этих слов видно, какую свирепую и нелепую неправду говорили те филистеры чистого искусства и якобы философской критики, которые уверяли читающую публику, что наши просветители готовы были пожертвовать головой и сердцем желудку, духовными интересами человечества — материальным его выгодам. Просветители говорили: содействуя распространению здравых понятий в обществе, искусство будет приносить *умственную пользу* людям, а *потом* принесет им и *материальную выгоду.* Материальная выгода являлась в их глазах простым, но зато неизбежным результатом умственного развития людей; толки о ней значили лишь то, что умного человека труднее «объегорить», чем дурака, и что, когда большинство приобретет здравые понятия, он легко сбросит с себя иго тех щук, сила которых прочна лишь до тех пор, пока не проснулись караси. Чтоб приблизить желанное время пробуждения карасей, просветители готовы были совсем отка-

заться от употребления печных горшков и питаться одними акридами (даже не приправляя их диким медом); а их обвиняли в том, что они дорожат только печными горшками, которые для них будто бы дороже величайших произведений человеческого гения. Это могли делать или совсем уже наивные люди, или те самые щуки, для которых пробуждение карасей совсем невыгодно. Щука — хитрая рыба, она решительнее всего стоит за бескорыстие именно тогда, когда собирается проглотить зазевавшегося карася.

Когда мы слышим или читаем нападки на тенденциозность в искусстве, нам почти всегда вспоминается рыцарь Бертран де Борн, как известно, хорошо владевший не только мечом, но и «лирой». Этот славный рыцарь, который говорил, что человек только и ценится по числу полученных и нанесенных им ударов, сочинил, между прочим, одно чрезвычайно поэтическое стихотворение, в котором воспевал весну и бранную забаву. «Любо мне, — говорил он там, — теплое весеннее время, когда распускаются листья и цветы; любо мне слушать щебетанье птиц и их веселое пенье, раздающееся в кустах». Не менее любо славному рыцарю, когда «люди и скот разбегаются перед скачущими воинами», и ни еда, ни питье, ни сон — ничто так не

манит его, как «вид мертвецов, в которых торчит насквозь пронзившее их оружие». Он находил, что *«убитый всегда лучше живого».*

Не правда ли, все это поэтично?

Но мы иногда спрашиваем себя: какое впечатление должна была производить эта поэзия на тех *«вилэнов»,* которые в ужасе разбегались со своими стадами перед скачущими воинами? Очень может быть, что они, по своей «грубости», не видели в ней ничего хорошего. Очень может быть, что она казалась им несколько *тенденциозной.* Очень может быть, наконец, что некоторые из них, в свою очередь, сочиняли поэтические песенки, в которых выражали свою грусть по поводу опустошений, производимых бранными подвигами рыцарей, и говорили, что *живой всегда лучше убитого. Если такие песенки* действительно сочинялись, то рыцари, наверное, считали их очень *тенденциозными* и пылали негодованием против грубых людей, не желавших фигурировать в виде мертвецов, насквозь пронзенных оружием, и, вследствие своей полной эстетической неразвитости, находивших, что их скот производит более приятное впечатление, когда он мирно пасется на полях, чем когда он в ужасе разбегается во все стороны перед скачущими рыцарями. Все на свете относительно, все зависит от точки зрения, хотя это не нравится г. Н.—ону.

254

Наши просветители вовсе не пренебрегали поэзией, но они предпочитали *поэзию действия* всякой другой. Их сердца почти совсем перестали отзываться на голос поэтов мирного созерцания, еще недавно властвовавших над думами своих современников; им нужна была муза борьбы, «муза мести и печали», воспевающая

Необузданную, дикую
К лютой подлости вражду
И доверенность великую
К бескорыстному труду.

Они готовы были слушать с восторгом напевы этой музы, а их обвиняли в сухости сердца, в черствости, в эгоизме, в плотоугодии. Так пишут историю!

Но вернемся к Чернышевскому.

Если искусство не может быть само себе целью, если главное его назначение заключается в содействии умственному развитию

общества, то понятно, что оно должно отходить на второй план в тех случаях, когда является возможность распространять в обществе здравые понятия более коротким путем. Просветитель не враждует с искусством, но он не имеет к нему и безусловного пристрастия. У него вообще нет исключительного пристрастия ни к чему, кроме своей великой и единственной цели: распространения в обществе здравых понятий. Это хорошо видно из следующего отзыва Чернышевского о Лессинге, к которому он всегда относился с самою восторженною любовью и на которого он сам походил во многих отношениях.

«К каким бы отраслям умственной деятельности ни влекли его собственные наклонности, но говорил и писал он только о том, к чему была устремлена или готова была устремиться умственная жизнь его народа. Все, что не могло иметь современного значения для нации, как бы ни было интересно для него самого, не было предметом ни сочинений, ни разговоров его... Без всякого сомнения, если был в Германии до Канта человек, одаренный природою для философии, то это был Лессинг... А между тем он почти ни одного слова не писал собственно о философии. Дело в том, что не время еще было чистой философии стать живым средоточием немецкой умственной жизни, — и Лессинг молчал о философии; умы современников были готовы оживиться поэзиею, а не были еще готовы к философии, — и Лессинг писал драмы и толковал о поэзии... Для натур, подобных Лессингу, существует служение более милое, нежели служение любимой науке, это — служение развитию своего

народа. И если какой-нибудь «Лаокоон» или какая-нибудь «Гамбургская драматургия» приходится более в пользу нации, нежели система метафизики или антологическая теория, такой человек молчит о метафизике, с любовью разбирая литературные вопросы, хотя с абсолютной научной точки зрения Виргилиева «Энеиды» и Вольтерова «Семирамида» — предметы мелкие и почти пустые для ума, способного созерцать основные законы человеческой жизни».

В начале своей литературной деятельности Чернышевский находил, что передовые слои общества более всего интересуются *литературой;* поэтому он взялся за исследование эстетических отношений

искусства к действительности. Впоследствии наша общественная жизнь поставила на очередь *экономические вопросы;* тогда и он перешел *от эстетики к политической экономии.* Как в первом, так и во втором случае ход его занятий целиком определялся ходом умственного развития его читателей, вызываемым ходом развития нашей общественной жизни.

В предисловии к своей диссертации Чернышевский говорит: «Уважение к действительной жизни, недоверчивость к априорическим, хотя бы и приятным для фантазии гипотезам — вот характер направления, господствующего ныне в науке. Автору кажется, что необходимо привести к этому знаменателю и наши эстетические убеждения, если еще стоит говорить об эстетике».

Многие, — между ними и Писарев, — увидели в этих словах намеком выраженное убеждение в том, что эстетическая наука подлежит полному разрушению. Мы показали, насколько ошибочно было это мнение. На самом деле слова: «если еще стоит толковать об эстетике» означали лишь сомнения Чернышевского насчет того, с какими именно вопросами следует ему обращаться в данную минуту к читающей публике. Такое сомнение станет вполне понятно, если мы вспомним, что диссертация вышла в свет в апреле 1855 года, т. е. в самом начале царствования императора Александра, вызвавшего большие ожидания в нашем обществе.

В своих отношениях к читателям Чернышевский обнаруживает только то «коварство», которое всегда есть у любящего свое дело учителя. Учитель старается приохотить ученика к делу. Но он, разумеется, не ограничивает содержания своей беседы одними этими предметами. Он старается внести в нее то, что́ может содействовать расширению умственного кругозора ученика и что́ не превышает уровня его развития. Так всегда поступал Чернышевский, следуя правилу того же Лессинга. В разборе своей собственной диссертации он говорит: «Эстетика может

представить некоторый интерес для мысли, потому что решение задач ее зависит от решения других, более интересных вопросов. Мы надеемся, что с этим согласится каждый, знакомый с хорошими

сочинениями по этой науке». И он сожалеет, что «г. Чернышевский слишком бегло проходит пункты, в которых эстетика соприкасается с общею системой понятий о природе и жизни». По его словам, «это — важный недостаток, и он причиною того, что внутренний смысл теории, принимаемой автором, может для многих показаться темным, а мысли, развиваемые автором, принадлежащими лично автору, на что он не может иметь ни малейшего притязания». Нетрудно сообразить, однако, откуда произошел этот недостаток: «система понятий», с которой тесно связаны были эстетические взгляды Чернышевского, могла показаться тогдашнему ученому университетскому синедриону опасным философским новшеством. Поэтому диссертации приходилось ограничиваться одними намеками на нее. В «Современнике» Чернышевский мог высказаться несколько свободнее. Он и воспользовался этим обстоятельством для того, чтобы, под видом разбора сочинения «г. Чернышевского», несколько оттенить связь своей эс-тетики с общей системой своих философских взглядов.

IV.

Что же это за система? Чернышевский ни в одном из своих сочинений не высказывает прямо, кого он считает своим учителем в философии. Дальше намеков он не идет нигде; но его намеки очень прозрачны. Вот, например, в своих *«Полемических красотах»* он говорит, что система его учителя составляет самое последнее звено в ряду философских систем и вышла из Гегелевой системы точно так, как система Гегеля вышла из Шеллинговой. «Вам, вероятно, хотелось бы знать, кто же такой этот учитель, о котором я говорю? — спрашивает он, обращаясь к своему противнику Дудышкину. — Чтобы облегчить вам поиски, я, пожалуй, скажу вам, что он не русский, не француз, не англичанин, не Бюхнер, не Макс Штирнер, не Бруно Бауэр, не Молешотт, не Фохт. Кто же он такой?...» Нужно быть очень недогадливым, чтобы не ответить: *Людвиг Фейербах.* И действительно, в философии Чернышевский был последователем Фейербаха.

Не подлежит никакому сомнению, что философия Фейербаха развилась из философии Гегеля, как эта последняя развилась из философии Шеллинга. Но Гегель был решительным *идеалистом,* а Фейербах был

не менее решительным *противником идеализма.* А так как он в то же время хорошо понимал, в чем заключается слабая сторона «критического» дуализма Канта [1]), то необходимо причислить его к материалистам [2]). Некоторые из важнейших неокантианцев находят, что материалистом он никогда не был. Но это ошибочный взгляд. Если читатель захочет убедиться в этом, мы предложим ему простое, но очень действительное средство: пусть он прочитает в апрельской и майской книжках «Современника» за 1860 г. наделавшую так много шума статью Чернышевского: *«Антропологический принцип в философии»* и пусть он решит, можно ли хоть на минуту усомниться в том, что в ней излагается материалистический взгляд на природу и человека. Всякий непредубежденный читатель скажет: нет, в этом совсем нельзя усомниться. А если это так, то нельзя не назвать материалистом и Фейербаха, из сочинений которого целиком заимствован взгляд Чернышевского [3]). Но в таком случае нас спросят, может быть, почему же неокантианцы отказываются признать Фейербаха материалистом? Мы, нимало не колеблясь, ответим: *просто и только потому, что гг. неокантианцы имеют ошибочное представление о материализме.*

Такое представление в значительной степени поддерживается известной книгой Ланге. Здесь не место разбирать ее; мы ограничимся возражениями на то, что сказано в ней специально о философии Фейербаха.

Фейербах говорит в своих «Grundsätze»: *«Новая* (т. е. его) *философия делает человека, со включением природы, как базиса человека, единственным, всеобщим и высшим предметом философии, — стало быть, антропологию, со включением физиологии, универсальною наукою».*

По этому поводу Ланге замечает: «В этом одностороннем возвышении человека заключается черта, идущая от Гегелевской философии и отделяющая Фейербаха от собственно материалистов.

Именно это опять философия духа, являющаяся нам здесь в форме философии чувственности. Настоящий материалист всегда будет склонен направлять свой взгляд на великое целое внешней природы и рассматривать чело-

[1]) «Die Kantische Philosophie, — говорит он, — ist der Widerspruch von *Subjekt* und *Objekt, Wesen* und *Existenz, Denken* und *Sein.* Das Wesen fällt hier in den Verstand, die Existenz in die Sinne». «Grundsätze», 22.

[2]) Можно бы спросить, конечно: а не был ли он гилозоистом? Но в его сочинениях на гилозоизм нет и намека.

[3]) В основу его статьи легли главным образом «Grundsätze der Philosophie der Zukunft» и пояснения к ним, озаглавленные: «Wider den Dualismus von Leib und Seele, Fleisch und Geist».

века, как волну на океане движения вещества. Природа человека для материалиста есть лишь частный случай в цепи физических процессов жизни. Он ставит физиологию всего охотнее в ряд общих явлений физики и химии, и ему более нравится отодвинуть человека возможно дальше в ряд остальных существ. Несомненно, что в практической философии он будет ссылаться также на природу человека, но и здесь он будет мало склонен придавать этой природе, как Фейербах, божеские атрибуты»[1]).

Заметим, прежде всего, что божественность атрибутов человеческой природы имеет у Фейербаха совершенно особый смысл. Французские материалисты прошлого века, рассуждая об этих атрибутах, конечно, не одобрили бы Фейербаховской *терминологии.* Но это *терминологическое* разногласие не имело бы никакого *существенного* значения и вызывалось бы *чисто практическими соображениями.* Подобных соображений уже не было у тех французских писателей XIX века, которые, — *подобно,* например, *Дезами,* — являлись горячими последователями материализма прошлого столетия. И мы не думаем, что Дезами стал бы возражать против приписывания человеческой природе божественных атрибутов в том смысле, какой они имеют у Фейербаха. Его взгляд на эту природу, вообще, очень напоминает то, что говорит о ней Фейербах. И хотя Дезами очень решительно ставит физиологические явления в ряд общих явлений физики и химии, но он убежден в то же время, «что принцип и критерий всякой достоверности лежит в совершенном и синтетическом знании человека и всего того, что на человека влияет» [2]). Это *почти*

буквально то же, что человек и природа, как базис человека. В системе Дезами есть место и *для религии,* опять-таки в том же самом смысле, какой она имеет у Фейербаха. И ошибочно было бы предполагать, что в этой системе французский материализм претерпел сильное видоизменение. В том-то и дело, что совсем нет! Изменились только частности [3]). Материалисты XVIII века,

[1]) «История материализма», перевод Н. Н. Страхова, том второй, стр. 82.

[2]) «Le principe et criterium de toute certitude git dans la connaissance synthétique et parfaite de l'homme et des tous ses modificateurs». <Code de la communauté», Paris 1842, p. 261.

[3]) Замечательно, что Ланге в своем очерке «Философского материализма после Канта» совсем игнори-рует Дезами, а между тем анализ материалистических взглядов этого писателя важен был уже по одному тому, что показал бы, каким образом одна из разновидностей французского коммунизма XIX века целиком вышла из материалистического учения Гольбаха и особенно Гельвеция. К удивлению читателя, мы вынуждены заметить, что книга Ланге вообще очень поверхностна.

конечно, не назвали бы того религией, что носит это название у Дезами; но и они не отказались бы признать, что признак всякой достоверности лежит в знании человека и всего того, что на него влияет. Вообще, надо заметить, что Фейербаховская *«философия чувственности»* и материалистическая философия автора «Systeme de la Nature» чрезвычайно сходны между собою. Разница лишь в том, что Фейербах решительнее Гольбаха. «Истина, действительность, чувственность тождественны, — говорит Фейербах. — Только чувственное существо есть истинное и действительное существо, только чувственность есть истина и действительность». Осторожный Гольбах выражается иначе: «Нам неизвестна сущность ни одной вещи, если словом сущность называется внутренняя природа вещей. Мы познаем материю лишь по восприятиям, ощущениям и идеям, которые она нам доставляет... Нам неизвестна ни сущность, ни истинная природа материи, хотя, по ее действию на нас, мы можем судить о некоторых ее свойствах... Для нас (т. е. для людей) материя есть то, что так или иначе влияет на наши чувства». Это — та же «философия чувственности». Если бы Ланге принял в соображение эти мысли Гольбаха, то он, во-первых, не сказал бы, что «материализм упрямо принимает мир чувственной видимости за мир действительных предметов» [1]), а, во-вторых, он не поколебался бы отнести Фейербаха

[1]) L. c, т. I, стр. 349; речь идет там именно о Гольбахе.

Надо заметить, однако, следующее. Если французские материалисты не принимали «мира чувственной видимости за мир действительных предметов», то это не значит, что они провозглашали *непознаваемость* этих предметов. Мы видели, что, по мнению Гольбаха, нам известны некоторые свойства материи, благодаря ее действию на наши чувства. Новейшие материалисты думают, что философские измышления насчет непознаваемости вещей в себе лучше всего разбиваются опытом и промышленностью. «Мы можем доказать правильность нашего понимания данного явления природы тем, что мы сами его вызываем, порождаем его из его условий и заставляем его служить нашим целям. Таким образом кантовской «вещи самой по себе» приходит конец: химические соединения, образующиеся в телах животных и растений, оставались подобными вещами по себе, пока органическая химия не научилась приготовлять некоторые из них; но когда она постепенно дошла до этого, эти *«вещи сами по себе»* стали вещами *для нас.* Система Коперника в течение трехсот лет оставалась гипотезой, в высшей степени вероятной, но все-таки гипотезой. Когда же Леверье, на основании данных этой системы, не только доказал, что должна существовать еще одна неизвестная до тех пор планета, но и определил, посредством вычисления, место, занимаемое ею в небесном пространстве, и когда после этого Галле действительно нашел эту планету, система Коперника была доказана. И если неокантианцы стараются воскресить взгляды Канта, а английские агностики — взгляды Юма (никогда не вымиравшие окончательно в Англии), — несмотря на то,

к числу материалистов. Он понял бы тогда, что система этого мыслителя представляет собою лишь одну из разновидностей материализма.

«Если прежняя философия, — говорит Фейербах, — имела своим исходным пунктом положение: «я» есть абстрактное, лишь мыслящее существо, тело не принадлежит к моей сущности,— то новая философия, напротив, начинает с положения: «я» есмь действительное, чувственное существо; тело принадлежит к моему существу, даже в своем целом тело есть мое я, сама моя сущность». Из этих слов очень хорошо видно, что именно понимал он под чувственностью, и каким путем он пришел к ней. Она явилась как отрицание Гегелевского *интеллектуализма.*

Что такое абсолютная идея Гегеля? Это не более, как процесс нашего мышления, взятый независимо от его субъективного характера и провозглашенный сущностью всего мирового процесса. Показать, что абсолютная идея есть простая психологическая абстракция — значило обнажить Ахиллесову пяту тогдашнего немецкого идеализма. Это и сделал Фейербах. Показав, что абсолютная идея есть лишь «сущность человека», представляемая нами в виде независимой от этого последнего мировой сущности, он показал в то же время, что Гегель смотрел на человеческую сущность односторонне: для него сущностью человека была *мысль,* между тем как в действительности к

ней принадлежит также и *ощущение:* «лишь посредством чувств дается предмет в его истинном виде, а не мышлением самим по себе».

«Чувственность» выдвинулась и должна была выдвинуться на первый план в философии, представляющей собою не только дальнейшее *развитие* Гегелевой философии, но также и ее *отрицание* [1]). Философия Фейербаха не могла выступить иначе, как в костюме своего времени. Но если мы пойдем дальше ее костюма и присмотримся к ее «сущности», то мы поразимся ее сходством с французским материализмом прошлого века. Главные усилия Фейербаха были направлены на борьбу

что и теория, и практика давно уже отвергли и те, и другие,— то в научном смысле это представляет собою попятное движение, а на практике дает этим стыдливым людям возможности впустить через заднюю дверь тот самый материализм, который изгоняется на глазах публики» (Энгельс).

[1]) «Die Vollendung der neuern Philosophie ist die Hegel'sche Philosophie. Die historische Notwendigkeit und Rechtfertigung der neuen Philosophie knüpft sich daher hauptsächlich an die Kritik Hegel's. Так говорит Фейербах в своих «Grundsätze», и этим объясняется *внешний вид* его философии, принятый Ланге за ее *«сущность».*

против дуализма духа и материи. Тот же дуализм составляет главную цель нападок Гольбаха. Удивительно, как не заметил этого Ланге.

Правда, сам Фейербах, насколько мы можем припомнить, нигде прямо не называет себя материалистом. Напротив, даже в сочинении, специально направленном против дуализма тела и духа, он говорит: «Истина не в материализме и не в идеализме, не в физиологии и не в психологии, истина в антропологии». В его *«Nachgelassene Aphorismen»* есть, по-видимому, еще более решительные места.

«Материализм, — говорит он там, — есть совсем неподходящее название, которое ведет за собой неправильное представление и может быть оправдано лишь желанием противопоставить нематериальности мысли ее материальность; но для нас существует только органическая жизнь, только органическое действие, только органическое мышление. Поэтому правильнее было бы говорить *организм.* Последовательный спиритуалист отрицает, что для мышления нужен орган, между тем как при естественном взгляде на дело оказывается, что без органа нет и деятельности». В тех же *«Афоризмах»* Фейербах говорит, что материализм составляет только основу человеческой сущности и человеческого знания, но еще не самое знание, как это

думают физиологи, натуралисты в узком смысле этого слова, например, Молешотт. Там же он заявляет, что он идет вместе с материалистами лишь до известной точки (Rückwärts stimme ich den Materialisten voll-kommen bei; aber nicht vorwärts) [1]).

Почему же не вполне удовлетворяет его «физиология»? Ответ на это находится в не раз уже цитированном нами сочинении его против дуализма тела и духа. В нем Фейербах говорит, что «физиология все сводит к мозгу, а мозг есть не более, как физиологическая абстракция; он лишь до тех пор является органом мышления, пока соединен с головою и с телом» [2]). Это, как видите, совсем не существенное разногласие с «физиологией» и материализмом. Вернее будет сказать, что тут совсем нет никакого разногласия, так как, разумеется, никакой физиолог и никакой материалист не скажут, что умственная деятельность может продолжаться в голове, отрубленной от тела. Фейербах слишком охотно приписывал материалистам склонность к тому, что он называл физиологическими абстракциями.

[1]) «Nachgelassene Aphorismen» напечатаны у Грюна: «Ludwig Feuerbach in seinem Briefwechsel und Nachlass», Zweiter Band, S. 307—308.

[2]) Ww, т. II, стр. 362.

Это происходило от того, что он был плохо знаком с историей материализма. В доказательство мы сошлемся, например, на его сочинение *«Über Spiritualismus und Materialismus besonders in Beziehung auf die Willensfreiheit»,* где он противопоставляет немецкий материализм, которому очень сочувствует, материализму Гольбаха и «трюфельному паштету» Ламеттри, по-видимому, даже и не подозревая, как сам он близок к ним обоим [1]). Указывая отличительные черты немецкого материализма, он тем самым, — и опять-таки сам того не сознавая, — указывает отличительные черты материализма, выразившегося в «Systeme de la Nature» и в «Homme machine». Такой ошибки, казалось бы, трудно было ожидать от человека, всю жизнь свою посвятившего изучению философии. Но надо вспомнить, в какой умственной атмосфере вырос Фейербах. В то время, когда он учился, идеализм безраздельно господствовал в Германии, лишь изредка вспоминая о своем антагонисте — материализме, как об учении, совсем уже мертвом и похороненном. В историях философии о

материализме, особенно о французском материализме XVIII века, упоминалось совершенно мимоходом. Гегель гораздо справедливее других идеалистов относился к французскому материализму, но и он отвел ему чрезвычайно мало места в своих *«Чтениях по истории философии».* При таком положении дел ошибочный взгляд на французский материализм мог спокойно существовать даже в самых беспокойных и мыслящих головах. Впоследствии, восстав против идеализма, Фейербах, разумеется, мог бы и должен был бы внимательнее отнестись к французскому материализму. Но сначала его отвлекла необходимость разбить идеализм его же собственным диалектическим оружием, и в этой борьбе знакомство с французским матери-ализмом не было необходимым для него. А в пятидесятых годах в Германии явилась такая разновидность материализма, которая могла только укрепить все уцелевшие в его голове предрассудки против этого учения. Мы говорим о материализме Карла Фохта, Молешотта и проч. Ничего удивительного нет в том, что Фейербах не вполне сочувствовал этому материализму. Удивительно скорее то, что он сочувствовал ему хоть отчасти, что он шел с материалистами этого вида хоть до известной точки. *Эти* материалисты действительно путались в абстракциях, и по поводу *их* теорий Фейербах имел полное право сказать, что они еще не составляют всей истины. Это было даже слишком мягко.

[1]) У Гольбаха есть, между прочим, и зачаток Фейербаховой философии религии.

Вот, например, эти материалисты говорили, что мысль есть дви-жение вещества. Но согласиться с этим — значит объявить ошибочным закон сохранения силы, т. е., други-ми словами, это значит отказаться от всякой мысли о научном объяснении природы. Когда Фейербах говорит, что истина не в материализме и не в идеализме, а в «организме», он хочет только сказать, что мысль (ощущение) есть не движение, а внутреннее состоя-ние вещества, поставленного в известные условия (мозга, соединенного с телом, и т. д.). Но именно так и думали все выдающиеся материалисты XVII и XVIII столетий. Когда Гоббс спрашивал: «Какого рода может быть то движение, которое производит ощущение и фантазию в живых

существах?» — он, очевидно, не отождествлял материи с движением. То же можно сказать и о Толэнде и о французских материалистах. Толэнд «рассматривает мысль, как некоторое явление в нервной системе, сопутствующее ее материальным движениям», — говорит Ланге. Это справедливо. Но именно так рассматривал ее и Фейербах. Толэнд — материалист. Почему же Фейербаха нельзя назвать материалистом? Мы не понимаем!

V.

Однако довольно о материализме Фейербаха. Для нас важно здесь, главным образом, то, что Чернышевский считал своего учителя материалистом и что *«Эстетические отношения искусства к действительности»* представляют собою интересную и един-ственную в своем роде попытку построить эстетику на основе материалистической фи-лософии Фейербаха. Чтобы правильно понять эту попытку, надо выяснить себе еще од-ну сторону Фейербаховой философии.

По Фейербаху, предмет в его истинном смысле дается, как мы знаем, лишь ощущением; *«чувственность или действительность тождественна с истиной».* Спекулятивная философия пренебрежительно относилась к «чувственному», т. е. к свидетельству наших органов чувств, полагая, что представления о предметах, основанные лишь на чувственном опыте, остаются несоответствующими действительной природе предметов и нуждаются в проверке посредством «чистого» мышления. Фейербах не мог не восстать против такого отношения к «чувственному». Он доказывал, что если бы наши представления о предметах основывались на нашем чувственном опыте, то они вполне соответствовали бы их истинной природе. Но наша фантазия часто искажает наши предста-

вления, которые поэтому стоят в противоречии с чувственным опытом. Задача философии и вообще науки заключается в том, чтобы изгнать из наших представлений и из основанных на них понятий фантастический элемент и привести их в согласие с чувственным опытом. «Сначала люди видят вещи не такими, каковы они на самом деле, а

такими, какими они кажутся, — говорил он; — люди видят не вещи, а то, что они вообразили о них, приписывают им свою собственную сущность, не различают предмета от своего представления о нем». То же происходит и в области мышления. Люди охотнее занимаются отвлеченными понятиями, чем действительными предметами, а так как отвлеченные понятия представляют собою те же предметы в переводе на язык мысли, то люди больше интересуются переводом, чем подлинником. Только в самое последнее время че-ловечество начинает возвращаться к неискаженному, объективному созерцанию чувственного, т. е. действительных предметов [1]). Возвращаясь к такому созерцанию, господствовавшему в древней Греции, человечество, можно сказать, «возвращается к самому себе, потому что люди, занимающиеся лишь вымыслами и абстракциями, сами могут быть только фантастическими и абстрактными, а не действительными существами. Реальность человека зависит лишь от реальности того предмета, которым он занимается» [2]).

Но если сущность человека — «чувственность», действительность, а не вымысел и не абстракция, то всякое превознесение вымысла и абстракции над действительностью не только ошибочно, а прямо вредно. И если задача науки вообще заключается в реабилитации действительности, то в этой же реабилитации заключается и *задача эстетики,* как отдельной научной отрасли. *Этот вывод, неизбежно следующий из философского учения Фейербаха, целиком лег в основу всех рассуждений Чернышевского об искусстве.*

Эстетики-идеалисты говорили, что искусство имеет своим источником стремление человека освободить прекрасное, существующее в действительности, от недостатков, мешающих ему быть вполне удовлетворительным для человека. Чернышевский же утверждает, наоборот, что прекрасное в действительности всегда выше прекрасного в искусстве. Для доказательства этой мысли он подробно разбирает все «упреки, делаемые прекрасному в действительности» Фишером, кото-

[1]) «Чувства говорят все,— замечает Фейербах,— но, чтобы уметь читать их показания, надо уметь связывать эти показания одно с другим. Думать — значит уметь связно читать евангелие чувств»

[2]) «Grundsätze», § 43.

рый был тогда едва ли не самым видным представителем идеалистической эстетики в Германии. Упреки эти кажутся ему неосновательными. По его мнению, прекрасное, как оно существует в живой действительности, или совсем не имеет тех недостатков, которые хотят в нем видеть идеалисты, или имеет их лишь в слабой степени. Притом от них совсем несвободны и произведения искусства. Все недостатки прекрасного, существующего в действительности, принимают в произведениях искусства гораздо большие размеры. Чернышевский рассматривает каждое искусство в отдельности и старается показать, что ни одно из них не может соперничать с живою действительностью по красоте своих созданий. Из невозможности такого соперничества он заключает, что искусство и не могло иметь своим источником стремление освободить прекрасное от недостатков, будто бы свойственных ему в действительности и мешающих людям наслаждаться им. Искусство относится к действительности так же, как гравюра относится к картине. Гравюра не может быть лучше картины, но картина одна, а гравюра во множестве экземпляров расходится по всему свету и ею наслаждаются люди, которым, может быть, никогда не удастся увидеть картину. Произведения искусства представляют собою суррогат прекрасного в действительности; они знакомят с прекрасным явлением тех, которые его не видели; они возбуждают и оживляют воспоминание о нем у тех, которым удалось его видеть.

Назначение искусства заключается в воспроизведении *прекрасною, существующего в действительности.* Но мы уже знаем, что, по мнению Чернышевского, сфера искусства гораздо шире сферы прекрасного в собственном смысле этого слова. Выходит, стало быть, что задача искусства заключается в воспроизведении всех тех явлений действительной жизни, которые почему-либо интересны для людей. «Под действительной жизнью, — прибавляет Чернышевский, — конечно, понимаются не только отношения человека к предметам и существам объективного мира, но и внутренняя жизнь; иногда человек живет мечтами — тогда мечты имеют для него (до некоторой степени и на некоторое время) значение чего-то объективного; еще чаще человек живет в мире своего чувства; эти состояния, если

достигают интересности, также воспроизводятся искусством». Это очень важное дополнение, о котором нам придется много говорить впоследствии; поэтому мы просим читателя обратить на него большое внимание.

Многие произведения искусства не только воспроизводят жизнь, а еще объясняют нам ее, почему и служат для нас *учебником жизни.*

266

По замечанию Чернышевского, «особенно следует сказать это о поэзии, которая не в силах обнять всех подробностей, и потому, по необходимости выпуская из своих карт!« очень многие мелочи, сосредоточивает наше внимание на немногих удержанных чертах, — если удержаны, как и следует, черты существенные, то этим самым для неопытного глаза облегчается обзор сущности предмета».

Наконец, Чернышевский приписывает искусству — особенно поэзии — еще и третье значение — значение «приговора мысли о воспроизводимых явлениях». Если художник — человек мыслящий, то он не может не судить о том, что он воспроизводит, и его суждение непременно отразится на его произведении. Нам кажется, впрочем, что это третье значение искусства сливается со вторым: художник не может произнести свой приговор над явлениями жизни, не сообщив в то же время нам, как он их понимает, т. е. не объяснив их нам по-своему. Нечего и говорить, что если бы художник задался целью *реабилитации действительности,* то ему пришлось бы разъяснять истинный смысл жизни всякий раз, когда он нашел бы, что люди забывают о нем ради «грез воображения». Излишне прибавлять также, что такому художнику всецело принадлежало бы сочувствие Чернышевского.

Мы видим отсюда, что отрицательное отношение к теории искусства для искусства было неразрывно связано со всей системой его философских взглядов.

VI.

Чтобы ближе ознакомить читателя с аргументацией нашего автора, мы подробно изложим здесь возражения его против некоторых из «упреков», делаемых идеалистами прекрасному в действительности.

Эстетики-идеалисты говорили: неодушевленная природа не заботится о красоте своих произведений; поэтому они не могут быть так хороши, как создание художника, сознательно стремящегося осуществить свой идеал красоты. Чернышевский возражает на это, что преднамеренное произведение будет по своему достоинству выше непреднамеренного только в том случае, когда силы производителей равны. Но силы человека гораздо слабее сил природы; потому его создания грубы, неловки и неуклюжи в сравнении с произведениями природы. Притом же красота непреднамеренна только в мертвой природе: животные уже заботятся о своей внешности; некоторые из них беспрестанно охорашиваются: в человеке же красота очень редко бывает не-

преднамеренной; мало людей, которые не заботились бы о своей наружности. Нельзя сказать, что природа не стремится к произведению прекрасного. Конечно, у нее нет никогда *сознательных* стремлений, но, «понимая прекрасное, как полноту жизни, мы должны будем признать, что стремление к жизни, проникающее всю природу, есть вместе и стремление к произведению прекрасного». Бессознательность этого стремления не мешает его реальности, как бессознательность стремления к симметрии нисколько не устраняет симметричности двух половин листа.

Прекрасное в искусстве преднамеренно. Правда, и здесь есть исключения из общего правила. Нередко художник действует бессознательно, там же, где он руководствуется сознательным намерением, он не всегда заботится только о красоте, имея, кроме стремления к ней, также и другие стремления. Несомненно, однако, что в произведениях искусства преднамеренности больше, чем в созданиях природы. «Но, выигрывая преднамеренностью с одной стороны, искусство проигрывает тем же самым — с другой; дело в том, что художник, задумывая прекрасное, очень часто задумывает вовсе не прекрасное: мало хотеть прекрасного, надобно уметь постигать его в его истинной красоте, — а как часто художники заблуждаются в своих понятиях о красоте! Как часто обманывает их даже художнический инстинкт, не только рефлективные понятия, большею частью односторонние! Все недостатки индивидуальности неразлучны в искусстве с преднамеренностью».

Говорят еще, что прекрасное редко встречается в действительности. Чернышевский несогласен и с этим. По его словам, прекрасного в действительности вовсе не так мало, как утверждают немецкие эстетики. Вот, например, прекрасных и величественных пейзажей в природе очень много, и есть страны, где они встречаются на каждом шагу; таковы — Швейцария, Италия, даже Финляндия, Крым, берега Днепра и Волги, Величественное в жизни человека встречается сравнительно редко. Но всегда было много людей, вся жизнь которых была непрерывным рядом возвышенных чувств и дел. Мы не можем также пожаловаться на редкость прекрасных минут нашей жизни, потому что от нас самих зависит наполнить ее великим и прекрасным.

«Пуста и бесцветна бывает жизнь только у бесцветных людей, которые толкуют о чувствах и потребностях, на самом деле не будучи способны иметь никаких особенных чувств и потребностей, кроме потребности рисоваться». Наконец, красота, собственно так называемая женская красота,— вовсе не редкое явление, «людей с прекрасным ли-

цом нисколько не меньше, нежели людей добрых, умных и т. д.». И во всяком случае прекрасное чаще встречается в действительности, чем в искусстве. В жизни совершается множество истинно - драматических событий, а истинно - прекрасных трагедий или драм очень мало: всего несколько десятков во всей западноевропейской литературе; в России всего две: «Борис Годунов» и «Сцены из рыцарских времен». Прекрасные пейзажи чаще встречаются в природе, нежели в живописи.

Произведениям скульптуры, статуям, очень далеко до живых лиц. «Обратилось в какую-то аксиому,— говорит нам автор,— что красота очертаний Венеры Медицейской или Милосской, Аполлона Бельведерского и т. д. гораздо выше, нежели красота живых людей. В Петербурге нет ни Венеры Медицейской, ни Аполлона Бельведерского, но есть произведения Кановы; потому мы, жители Петербурга, можем иметь смелость судить до некоторой степени о красоте произведений скульптуры. Мы должны сказать, что в Петербурге нет ни одной статуи, которая по красоте очертаний лица не была бы гораздо ниже бесчисленного множества живых людей, и что надобно только пройти по какой-нибудь многолюдной улице, чтобы встретить несколько таких лиц». Чернышевский думает, что с ним согласится в этом случае большинство людей, судящих самостоятельно. Однако он не считает собственного впечатления доказательством. Он приводит другое — «более твердое». В искусстве исполнение всегда неизмеримо ниже идеала, существующего в воображении художника. А идеал художника не может быть выше тех людей, которых он встречал в жизни: творческая фантазия только комбинирует те впечатления, которые производит на нас действительность; «воображение только разнообразит и экстенсивно увеличивает предмет, но интенсивнее того, что мы наблюдали или испытали, мы ничего не можем вообразить». Скажут, пожалуй, что, комбинируя впечатления, полученные из опыта, творческая фантазия художника может соединить в одном лице черты, принадлежащие различным лицам. Чернышевский сомневается и в этом. Он говорит: «Сомнительно, во-первых, нужно ли это; во-вторых, в состоянии ли воображение соединить эти части, когда они действительно принадлежат разным лицам». Эклек-

тизм нигде не ведет ни к чему хорошему, и, заразившись им, художник обнаружил бы свое безвкусие или свое неуменье найти действительно прекрасное лицо для модели.

Этому как будто противоречат некоторые общеизвестные факты из истории искусств. Кто не слыхал о жалобе Рафаэля на «неурожай»

красавиц в Италии? Чернышевский не позабыл о ней. Только он думал, что она вызвана была вовсе не недостатком красавиц в этой стране. Дело в том, что Рафаэль «искал наилучшей красавицы, а наилучшая красавица, конечно, одна в целом свете, — говорит он, — и где же отыскать ее? Первостепенного в своем роде всегда очень и очень мало, по очень простой причине: если его соберется много, то мы опять разделим его на классы и будем называть первостепенным то, чего найдется два-три индивидуума; все остальное назовем второстепенным. И вообще надобно сказать, что мысль, будто бы прекрасное редко встречается в действительности, основана на смешении понятия «вполне» и «первое»: вполне величественных рек очень много, первая из величественных рек, конечно, одна; великих полководцев много, первым полководцем в мире был кто-нибудь один из них».

Мечты воображения всегда далеко уступают своею красотою тому, что представляет собою действительность. В признании этого состоит, по мнению Чернышевского, «одно из существеннейших различий между устаревшим миросозерцанием, под влиянием которого возникли трансцендентальные системы науки, и нынешним воззрением на природу и жизнь».

VII.

Эстетики-идеалисты считали так называемое *возвышенное* «моментом» прекрасного. Чернышевский доказывает, что возвышенное не есть видоизменение прекрасного и что идеи возвышенного и прекрасного совершенно различны между собою, между ними «нет ни внутренней связи, ни внутренней противоположности». Он дает свое собственное определение возвышенного, обнимающее и объясняющее, как ему кажется, все явления, относящиеся к этой области:

«возвышенным кажется человеку то, что гораздо больше предметов или гораздо сильнее явлений, с которыми сравнивается человеком».

К своему определению возвышенного Чернышевский приходит путем следующих рассуждений: «Господствующая эстетическая система говорит, что возвышенное есть проявление абсолютного или перевес идеи над формою». Но эти два определения совершенно различны по своему смыслу, так как перевес идеи над формою производит не собственно понятие возвышенного, а понятие туманного, неопределенного и понятие безобразного. Определением собственно возвышенного остается, следовательно, лишь то, согласно которому возвышенное есть

проявление абсолютного. Но и оно не выдерживает критики. Если мы захотим вдуматься в то, что происходит в нас при созерцании возвышенного, то убедимся, что возвышенным представляется нам самый предмет, а не вызываемое им настроение: величественно море, величественна такая-то гора, величественна такая-то личность. Конечно, созерцание возвышенного может навести на различные размышления, усиливающие испытываемое нами впечатление: но созерцаемый нами предмет остается возвышенным совершенно независимо от того, являются или нет такие мысли. «И потому, если бы даже и согласиться, что созерцание возвышенного всегда ведет к идее бесконечного, то возвышенное, порождающее такую мысль, а не порождаемое ею, должно иметь причину своего действия на нас не в ней, а в чем-нибудь другом». Но на самом деле созерцание возвышенного далеко не всегда приводит нас к мысли о бесконечном. Монблан и Казбек — величественные горы, но никто не скажет, что они бесконечно велики; гроза — очень величественное явление, но между грозой и бесконечностью нет ничего общего; любовь или страсть может быть чрезвычайно величественна, но и она не может вызвать идею бесконечного. Некоторые предметы и явления кажутся нам возвышенными просто потому, что они больше других. «Монблан и Казбек — величественные горы, потому что гораздо огромнее дюжинных гор и пригорков, которые мы привыкли видеть... Гладкая площадь моря гораздо обширнее площади прудов и

маленьких озер, которые беспрестанно попадаются путешественникам; волны моря гораздо выше волн этих озер, потому буря на море — возвышенное явление, хотя бы никому не угрожала опасностью... Любовь гораздо сильнее наших мелочных расчетов и побуждений; гнев, ревность, всякая вообще страсть также гораздо сильнее их, потому страсть — возвышенное явление... Гораздо больше, гораздо сильнее — вот отличительная черта возвышенного».

Приступая к критике господствующих определений возвышенного, Чернышевский сожалеет о том, что он не может в своей диссертации показать настоящее значение абсолютного в области метафизических понятий. Он не без причины сожалеет об этом. Показать значение абсолютного — значило бы для него опровергнуть абсолютный идеализм в его основании, а, опровергнув основу абсолютного идеализма, поставив читателя на свою собственную материалистическую точку зрения, он уже без труда заставил бы его признать несостоятельность идеалистических определений возвышенного, а также и других эстетических понятий. Мы доскажем то, чего не досказал наш автор.

Абсолютный идеализм считает сущностью всего мирового процесса абсолютную идею. Эстетики школы Гегеля апеллировали к абсолютной идее, как к последней инстанции, от которой зависят все (т. е. и эстетические) понятия в которой разрешаются все смущающие нас противоречия [1]). Фейербах показал, как мы уже знаем, что абсолютная идея есть процесс мышления, рассматриваемый как сущность мирового процесса. Он развенчал абсолютную идею. Но вместе с могучей царицей падали и все ее многочисленные вассалы. Все отдельные идеи и понятая, получавшие свой высший смысл от абсолютной идеи, оказывались как бы лишенными содержания и потому нуждались в коренном пересмотре. Возьмем хоть понятие возвышенного. Пока абсолютная идея считалась основой всего сущего, эстетики-идеалисты никого не удивляли, говоря: возвышенное есть проявление абсолютного. Но, когда абсолютное оказалось сущностью нашего собственного мыслительного процесса, это определение утратило всякий смысл. Гроза есть возвышенное явление

природы; но как же может проявляться в ней наше собственное мышление? Ясно, стало быть, что понятие возвышенного необходимо перестроить заново. Сознание этой необходимости и сказалось в попытке Чернышевского найти новое определение для этого понятия.

То же и с понятием трагического.

Трагическое составляет важнейшее видоизменение возвышенного. Разойдясь с идеалистами в понятии этого последнего, Чернышевский, конечно, должен был разойтись с ними и во взгляде на трагическое. Чтобы уяснить себе, чем именно вызвано было здесь его разногласие с идеалистами, надо вспомнить некоторые исторические взгляды Гегеля. По Гегелю, Сократ был представителем нового принципа в общественной и умственной жизни Афин; в этом — его слава и его историческая заслуга. Но, выступив представителем нового принципа, Сократ пришел в столкновение с существовавшими в Афинах законами. Он нарушил их и погиб жертвою этого нарушения. И такова вообще судьба исторических героев: смелые новаторы, они нарушают установившийся законный порядок; в этом смысле они преступны. Установленный законный порядок вещей наказывает их гибелью. Но их гибелью искупается то, что было преступного в их деятельности, и представляемые ими принципы торжествуют после их смерти. Такой

[1]) См. «Эстетику» *Фишера* (особенно т. I, стр. 47 или следующие) и самого Гегеля.

взгляд на историческую деятельность героев заключает в себе два существенно различных элемента. Первый элемент состоит в указании очень часто повторяющегося в истории факта столкновения новаторов с установившимся законным порядком. Второй заключается в стремлении оправдать тоже нередко повторяющийся факт гибели новато-ров. Эти два элемента соответствуют двойственному характеру абсолютного идеализма. В качестве диалектической системы философии, абсолютный идеализм рассматривал явления в их развитии, в их возникновении и уничтожении. Процесс развития исторических явлений совершается посредством человеческой деятельности. Борьба старого с новым есть борьба людей противоположных направлений. Эта борьба стоит подчас очень

многих невинных жертв. Таков неоспоримый исторический факт. Гегель указывает его и выясняет его неизбежность. Но идеализм Гегеля есть не только диалектическая система; он хочет быть также системой абсолютной истины. Он обещает ввести нас в мир абсолютного. А в мире абсолютного нет несправедливости. Поэтому абсолютный идеализм Гегеля уверяет, что, собственно говоря, безвинно люди никогда не гибнут; что так как их поступки — поступки индивидов — по необходимости носят на себе печать ограниченности, то, будучи справедливыми, с одной стороны, они несправедливы с другой. И вот эта-то их несправедливость и является причиною их гибели. Таким образом с «абсолютной идеи», со «всемирного духа» снимается всякая ответственность за страдания, которыми сопровождается поступательное движение человечества. Рассматрива-емая таким образом история становится своего рода *теодицеей.*

Основанное на философии Гегеля учение о трагическом станет вполне понятно читателям, если мы скажем, что, согласно этому учению, судьба Сократа есть один из высочайших примеров трагического. Афинский мудрец своей гибелью искупил неизбежную односторонность своего собственного дела. Его гибель была необходимой искупительной жертвой. Без такой жертвы осталось бы неудовлетворенным наше нравственное чувство. Согласитесь, что очень странно это нравственное чувство, требующее гибели всех тех, которые энергичнее и успешнее других борются против общественного застоя! Такого чувства не может быть у непредубежденного человека. Оно было придумано, «конструировано» философами. Это, разумеется, не укрылось от Чернышевского, совершенно справедливо говорившего, что мысль — видеть виновного в каждом погибающем — *натянутая и жестокая мысль.* Она выросла, по

его словам, из древнегреческой идеи судьбы. Но «всякий образованный человек понимает, как смешно смотреть на мир теми глазами, какими смотрели греки геродотовских времен; всякий ныне очень хорошо понимает, что в страдании и погибели великих людей

нет ничего необходимого; что не всякий гибнущий человек гибнет за свои преступления, что не всякий преступник погибает, что не всякое преступление наказывается судом общественного мнения и проч. Потому нельзя не сказать, что трагическое не всегда пробуждает в нас идею необходимости и что вовсе не в идее необходимости основание действия его на человека и сущность его».

Как же понимает трагическое сам Чернышевский?

После всего сказанного нам нетрудно уже предвидеть, какой взгляд на трагическое найдем мы в «Эстетических отношениях». Чернышевский говорит: «Трагическое есть страдание или погибель человека — этого совершенно достаточно, чтобы исполнить нас ужасом и состраданием, хотя бы в этом страдании, в этой погибели и не проявлялась никакая «бесконечно могущественная и неотразимая сила». Случай или необходимость причины страдания и погибель человека — все равно, страдание и погибель ужасны. Нам говорят: «чисто случайная погибель — нелепость в трагедии»; в трагедиях, писанных авторами, может быть, а в действительной жизни — нет. В поэзии автор считает необходимою обязанностью «выводить развязку из самой завязки»; в жизни развязка часто совершенно случайна, и трагическая участь может быть совершенно случайной, не переставая быть трагическою. Мы согласны, что трагична участь Макбета и леди Макбет, необходимо вытекающая из их положения и дел. Но неужели не трагична участь Густава-Адольфа, который погиб совершенно случайно в битве под Люцином, на пути торжества и победы?».

В конце концов Чернышевский определяет трагическое, как *ужасное человеческой жизни.* Он думает, что это наиболее полное определение трагического. «Правда,— прибавляет он, — что большая часть произведений искусства дает право прибавить: «ужасное, постигающее человека более или менее неизбежно»; но, во-первых, сомнительно, до какой степени справедливо поступает искусство, представляя это ужасное почти всегда неизбежным, когда в самой действительности оно бывает большею частью вовсе не неизбежно, а чисто случайно; во-вторых, кажется, что очень часто только по привычке доискиваться во всяком произведении искусства

«необходимого сцепления обстоятельств», «необходимого развития действия из сущности самого действия», мы на-

ходим, с грехом пополам, «необходимость в ходе событий» и там, где ее вовсе нет, например, в большей части трагедий Шекспира». Итак, трагическим называется ужасное в жизни человека, и было бы ошибкой считать это ужасное результатом «необходимого хода событий». Такова мысль Чернышевского. Справедлива ли она? Прежде, чем ответить на этот вопрос, полезно спросить себя: почему же думает наш автор, что необходимость отсутствует в большей части «трагедий» Шекспира? И о какой необходимости можно говорить здесь? Очевидно, только о *психологической необходимости.* Что понимаем мы под этими словами? То, что мысли, чувства и действия данного лица,— в нашем случае данного героя драмы,— с необходимостью вытекают из его характера и его положения. Но можно ли сказать, что в драмах Шекспира отсутствует эта необходимость? Совсем нет! Совсем напротив! Она составляет главную отличительную черту драматических произведений Шекспира. Как же понимать слова Чернышевского? По-видимому, их можно понять только в том смысле, что он отказывается признать неизбежным, необходимым все то зло и все те человеческие страдания, которые находят свое выражение у Шекспира. Общественная точка зрения Чернышевского была точка зрения, так сказать, *условного оптимизма.* Он считал, что люди будут очень счастливы, если они надлежащим образом организуют свои общественные отношения. Это — вполне понятный, очень почтенный и, — при наличности известных психологических условий,— совершенно неизбежный оптимизм. Но собственно к вопросу о трагическом он не имеет прямого отношения. Шекспиру приходилось изображать не то, что *могло бы быть,* а то, что *было;* он брал психологическую природу человека не в том ее виде, который она примет в будущем, а в том, какой был известен ему на основании его наблюдений над людьми, *ему современными.* И эта психологическая природа современных ему людей представляла собою не случайное, а необходимое явление. Да и что такое случайность, если не

необходимость, ускользающая от нашего внимания? Конечно, мы не можем представлять себе необходимость в. виде греческого *рока.* Но ведь ее можно представить себе совсем иначе. В наше время вряд ли кто станет приписывать, например, гибель Гракхов воле «рока», силе «судьбы» и т. д. Всякий, или почти всякий, согласится с тем, что она была подготовлена *ходом развития римской общественной жизни.* Но если этот ход развития был необходим, то ясно, что и знаменитые народные трибуны погибли в силу «необходимого сцепления обстоятельств». Это вовсе не значит, что мы должны равнодушно относиться к гибели таких людей. Мы можем от всей души

желать им победы. Но это не мешает нам понимать, что их победа возможна при наличности таких-то и таких-то общественных условий и невозможна при отсутствии этих условий. Вообще противоположение желательного необходимому не выдерживает критики и представляет собою лишь частный случай того дуализма, — осужденного, между прочим, и Фейербахом, учителем Чернышевского,— того дуализма, который разрывает связь между субъектом и объектом. Всякая *монистическая философия,* — а философия Чернышевского не без основания объявляла себя таковой, — обязана стремиться к тому, чтобы объяснить желательное необходимым, *понять возникновение данных желании у данного общественного человека, как законообразный, и потому необходимый, процесс.* Чернышевский — да и сам Фейербах — признал за своей философией эту обязанность, поскольку указанная нами задача представлялась ему в своей *общей отвлеченной формулировке.* Но ни Фейербах, ни Чернышевский не понимали, что эта задача неизбежно встает перед каждым из тех, которые хотят понять человеческую историю вообще и историю идеологии в частности. Этим и объясняется неудовлетворительность изложенного в диссертации Чернышевского взгляда на трагическое. Гегель, рассматривавший судьбу Сократа, как драматический эпизод из истории внутреннего развития афинского общества, глубже понимал трагическое, нежели Чернышевский, которому судьба эта, по-видимому, представлялась просто-напросто ужасною случайностью. Чернышевский только тогда

сравнялся бы с Гегелем в понимании трагического, если бы он, подобно великому немецкому идеалисту, стал на точку зрения развития, которая, к сожалению, почти вполне отсутствует в его диссертации. Слабая сторона взгляда Гегеля на судьбу того же Сократа заключается в стремлении убедить нас в том, что гибель афинского мудреца была необходима для примирения кого-то с чем-то и для удовлетворения требований высшей справедливости, которые будто бы были отчасти нарушены Сократом. Но это стремление Гегеля не имеет ничего общего с его диалектикой. Оно было внушено тем метафизическим элементом, который был свойствен его философии и который придавал ей столь заметный отпечаток консерватизма. Задача Фейербаха и его учеников, критиковавших философию Гегеля, заключалась в беспощадной борьбе с этим метафизическим элементом, устранение которого должно сделать ее *алгеброй процесса.* Последовательно держась точки зрения развития, Чернышевский сумел бы, с одной стороны, понять трагическое положение Сократа, как результат перелома внутренней жизни Афин, а с другой — не только обнаружить

слабую сторону предложенной Гегелем теории трагического,— представление о гибели героя, как о необходимом условии уже известного нам «примирения»,— но и показать, откуда собственно она явилась. т. е., иначе сказать, применить орудие диалектики к рассмотрению самой философии Гегеля. Но ни сам Чернышевский, ни его учитель Фейербах не в состоянии были сделать этого. Диалектическая критика Гегелевской философии была дана лишь Марксом и Энгельсом.

В учении о комическом наш автор мало разошелся с «господствующей эстетической системой». Это произошло по той простой причине, что с принятого идеалистами определения: *«комическое есть перевес образа над идеей»,* он мог без больших диалектических усилий стереть всякий след идеализма. Он говорит, что комическое есть «внутренняя пустота и ничтожность, имеющая притязание на содержание и реальное значение». И он прибавляет, что эстетики-идеалисты слишком суживали понятие комического, противополагая его лишь понятию возвышенного: «комическое мелочное и

комическое, глупое или тупоумное, конечно, противоположно возвышенному; но комическое уродливое, комическое безобразное противоположно прекрасному, а не возвышенному».

VIII.

Произведение искусства по своей красоте гораздо ниже создания природы. Искусство выросло вовсе не из стремления людей устранить недостатки прекрасного, как оно существует в действительности. Чернышевский твердо убежден в этом. Но если мы допустим, что он прав, то у нас неизбежно возникает вопрос: откуда же взялась у людей мысль о превосходстве произведений искусства над созданиями природы? Чернышевский предвидит этот неизбежный вопрос и старается на него ответить.

Человек вообще склонен ценить трудность дела и редкость вещи. Так, например, мы, русские, нисколько не удивляемся тому, что французы хорошо говорят по-французски: им это ничего не стоит. Но мы готовы удивляться иностранцу, хорошо говорящему на этом языке. В сущности иностранец, наверное, никогда не сравняется в этом отношении с французами; но мы очень охотно простим ему недостатки его французской речи и даже вовсе их не заметим. Мы небеспристрастные судьи и в этом случае. Нас подкупает сознание превзойденной иностранцем трудности. То же мы видим и в отношениях эстетики

к созданиям природы и искусства; малейший истинный или мнимый недостаток произведения природы, — и эстетика толкует об этом недостатке, шокируется им, готова забывать о всех достоинствах, о всех красотах: стоит ли ценить их, в самом деле, когда они явились всякого усилия! Тот же самый недостаток в произведении искусство сто раз больше, грубее и окружен еще сотнями других недостатков — и мы не видим всего этого, а если видим, то прощаем и восклицаем: и на солнце есть пятна!.. Чернышевский находит, что мы очень хорошо поступаем, ценя трудность дела. Но он требует справедливости. «Не должно забывать и существенного, внутреннего достоинства, которое независимо от трудности; мы делаемся решительно несправедливыми, когда трудность исполнения предпочитаем достоинству исполнения».

Чтобы доказать, как высоко ценятся трудности исполнения и как много теряет в глазах человека то, что делается само собой, Чернышевский указывает на дагерротипные портреты: «В числе их найдется много не только верных, но и передающих в совершенстве выражение лица — ценим ли мы их? Странно даже услышать апологию дагерротипных портретов».

Другим источником нашего пристрастия к произведениям искусства служит то обстоятельство, что они представляют собой дело рук человека. Они свидетельствуют о человеческих способностях, и потому мы дорожим ими. «Все народы, кроме французов, очень хорошо видят, что между Корнелем или Расином и Шекспиром неизмеримое расстояние; но французы до сих пор еще сравнивают их; трудно дойти до сознания: «наше не совсем хорошо»; между нами найдется очень много людей, готовых утверждать, что Пушкин всемирный поэт; есть даже люди, думающие, что он выше Байрона: так высоко человек ставит свое. Как отдельный народ преувеличивает достоинство своих поэтов, так человек вообще преувеличивает достоинство поэзии вообще».

Третья причина предпочтительной нашей любви к *искусству* заключается в том, что оно льстит нашим искусственным вкусам. Мы понимаем теперь, как искусственны были нравы, привычки и весь образ мыслей людей XVII века; мы теперь ближе к природе, мы лучше понимаем и ценим ее, но мы все еще очень далеки от нее и все еще больны искусственностью. У нас искусственно все, начиная с нашей одежды и кончая нашими кушаньями, которые приправляются всевозможными примесями, совершенно изменяющими естественный вкус пищи. Произведения искусства льстят нашей любви к искусственности, и именно потому мы предпочитаем их созданиям природы.

278

Первые две причины нашего пристрастия к произведениям искусства заслуживают, по словам Чернышевского, уважения, потому что они естественны: «как человеку не уважать человеческого труда, как человеку не любить человека, не дорожить произведениями, свидетельствующими об уме и силе человека?». Но что касается

третьей причи-ны, то он относится к ней с порицанием, возмущаясь тем, что произведения искусства льстят нашим мелочным требованиям, происходящим от любви к искусственности. Чернышевский не хочет останавливаться на вопросе о том, до какой степени мы еще любим до сих пор «умывать» природу; по его словам, это завлекло бы его в слишком, длинные рассуждения о том, что такое «грязное» и до какой степени оно допустимо в произведениях искусства. «Но до сих пор в произведениях искусства господствует мелочная оценка подробностей, которой цель не приведение подробностей в гармонию с духом целого, а только то, чтобы сделать каждую из них в отдельности интереснее или красивее, почти всегда во вред общему впечатлению произведения, его правдоподобию и естественности; господствует мелочная погоня за эффектностью отдельных слов, отдельных фраз и целых эпизодов, расцвечивание не совсем натуральными, но резкими красками лиц и событий. Произведение искусства мелочнее того, что мы видим в жизни и в природе, и вместе с тем эффектнее — как же не утвердиться мнению, что оно прекраснее действительной природы и жизни, в которых так мало искусственности, которым чуждо стремление заинтересовать?» Искусственно развитой человек имеет много искусственных, мелочных и часто исказившихся до фантастичности требований, которые правильнее назвать прихотями. Угождать прихотям человека вовсе не значит удовлетворять его потребностям, между которыми первое место занимает его потребность в истине.

Чернышевский указывает еще несколько других причин предпочтения, отдаваемого искусству пред действительностью. Мы не станем перечислять их здесь и ограничимся тем замечанием, что все они, по его мнению, только объясняют, а не оправдывают это предпочтение. Не соглашаясь с тем, чтобы искусство стояло выше действительности, Чернышевский естественно не мог согласиться и с господствовавшим в его время идеалистическим взглядом на то, из каких потребностей возникает оно, в чем состоит его назначение. Идеалисты говорили: человек имеет непреодолимое стремление к прекрасному, но не находит истинно прекрасного в объективной действительности; не осуществля-

емая объективной действительностью, идея прекрасного осуществляется

произведениями искусства. Чернышевский возражает на это, что если под прекрасным понимать полное согласие идеи и формы, то из стремления к прекрасному надо выводить не искусство в частности, а всю вообще деятельность человека, основное начало которой — полное осуществление известкой мысли. «Стремление к единству идеи и образа — формальное начало всякой техники, стремление к осознанию и усовершенство-ванию всякого произведения или изделия». Чернышевский утверждает, что под прекрасным должно понимать то, в чем человек видит жизнь. Отсюда он делает тот очевидный для него вывод, что из стремления к прекрасному происходит радостная любовь ко всему живому и что это стремление в высочайшей степени удовлетворяется живою действительностью. «Если бы произведения искусства возникали вследствие нашего стремления к совершенству и пренебрежения всем несовершенным, человек должен был бы давно покинуть, как бесплодное усилие, всякое стремление к искусству, потому что в произведениях искусства нет совершенства; кто недосолен действительною красотою, тот еще меньше может удовлетвориться красотою, создаваемою искусством». Не соглашаясь с идеалистическим объяснением значения искусства, Чернышевский находит, однако, что в нем есть намеки на правильное истолкование дела.

Идеалисты правы, говоря, что человек не удовлетворяется прекрасным в действительности, но они ошибаются при указании тех причин, вследствие которых происходит его неудовлетворенность. Чернышевский понимает этот вопрос совсем иначе.

Когда мы любуемся морем, то нам в голову не приходит желание чем-нибудь дополнить или исправить представляемую им картину. «Но не все люди живут близ моря, многим не удается ни разу в жизни взглянуть на него; а им хотелось бы полюбоваться на море — и для них являются картины, изображающие море». Цель большей части произведений искусства заключается в том, чтобы дать возможность познакомиться с действительностью тем людям, которые почему-либо не

могли познакомиться с нею на самом деле. Искусство воспроизводит природу и жизнь так же, как гравюра воспроизводит картину. «Гравюра не думает быть лучше картины, она гораздо хуже ее в художественном отношении; так и произведение искусства никогда не достигает красоты или величия действительности; но картина одна, ею могут любоваться только люди, пришедшие в галерею, которую она украшает; гравюра расходится в сотнях экземпляров по всему свету, каждый может любоваться ею, когда ему угодно, не выходя из своей комнаты, не

вставая с своего дивана, не скидывая своего халата; так предмет прекрасного в действительности доступен не всякому и не всегда; воспроизведенный (слабо, грубо, бледно, это правда, но все-таки воспроизведенный) искусством, он доступен всякому и всегда».

Чернышевский спешит заметить, однако, что словами — искусство есть воспроизведение действительности — определяется только формальное начало искусства. Для определения же существенного содержания искусства он напоминает о том, что оно далеко не ограничивается областью прекрасного. Искусство обнимает все то, что «в действительности (в природе и в жизни) интересует человека, не как ученого, а просто как человека». Прекрасное, трагическое, комическое представляют собою лишь три наиболее определенных элемента из множества тех элементов, от которых зависит интерес человеческой жизни. Но почему же прекрасное считается единственным содержанием искусства? Только вследствие смешения прекрасного, как предмета искусства, с прекрасной формой, составляющей необходимую принадлежность всякого произведения искусства. Прекрасная форма получается благодаря взаимному соответствию, единству идеи и образа. Но эта формальная красота не составляет, по мнению Чернышевского, такой особенности, которая отличала бы произведения искусства от других отраслей человеческой деятельности. «Действование человека всегда имеет цель, которая составляет сущность дела; по мере соответствия нашего дела с целью, которую мы хотели осуществить им, ценится достоинство самого дела; по мере совершенства выполнения оценивается

всякое человеческое произведение. Это общий закон и для ремесла, и для промышленности, и для научной деятельности, и т. д.; он применяется и к произведениям искусства». Смысл слов: гармония идеи и образа — сводится к той простой мысли, что всякое дело должно быть выполнено.

Выше мы сказали, что, кроме воспроизведения жизни, искусство имеет, по мнению Чернышевского, еще и другое значение: объяснение этой жизни. Человек, интересуясь явлениями жизни, не может не судить о них так или иначе. Поэтому и художник не может отказаться от произнесения своего приговора над теми явлениями, которые он изображает. В этом состоит другое назначение искусства, благодаря которому «искусство становится в число нравственных двигателей человека». Чем сознательнее относится художник к изображаемым им явлениям, тем более он становится мыслителем и тем более его произведения, оставаясь в области искусства, приобретают научное значение.

Резюмируя все им сказанное по этому поводу, Чернышевский дает следующую окончательную формулировку своего взгляда на искусство: «Существенное значение искусства — воспроизведение всего, что интересно для человека в жизни; очень часто, особенно в произведениях поэзии, выступает также на первый план объяснение жизни, приговор о явлениях ее».

IX.

Насколько прав наш знаменитый автор? Чтобы ответить на этот вопрос, мы рассмотрим сначала его определение прекрасного. Прекрасное есть жизнь, — говорит он,— и, основываясь на этом определении, он старается объяснить, почему мы любим, например, цветущую растительность. «В растениях, — говорит он, — нам нравится свежесть цвета и роскошь, богатство формы, обнаруживающие богатую силами, свежую жизнь. Увядающее растение не хорошо; растение, в котором мало жизненных соков, не хорошо». Это очень остроумно сказано и в известных пределах совершенно правильно. Но вот в чем затруднение. Известно, что

первобытные племена, например, бушмены, австралийцы и другие «дикари», стоящие на одинаковой с ними ступени развития, никогда не украшают себя цветами, хотя живут в местностях, очень богатых ими. Современная этнология твердо установила тот факт, что указанные племена заимствуют мотивы своей орнаментики исключительно из животного мира. Выходит, стало быть, что эти дикари совсем не интересуются растениями и что к их психологии совершенно не применимы только что приведенные нами остроумные соображения Чернышевского. Спрашивается, почему же не применимы? На это можно ответить, что они (дикари) еще не имеют вкусов, свойственных нормально развитому человеку. Но это не ответ, а отговорка. В чем заключается тот критерий, с помощью которого мы определяем, какие вкусы людей нор-мальны и какие ненормальны? Чернышевский сказал бы, вероятно, что этот критерий надо искать в природе человека. Но природа человека сама изменяется вместе с ходом культурного развития: природа первобытного охотника совсем не то, что природа парижанина XVII века, а природа парижанина XVII века имела такие существенные особенности, которых мы тщетно стали бы искать в природе современных нам немцев, и т. д. Да и это еще не все. В каждое данное время природа людей одного класса общества во многом не похожа на природу людей другого класса. Как же тут быть? Где же искать выхода? Поищем его сначала в разби-раемой нами диссертации.

ных забот, ищут «сильных ощущений, волнений, страстей», которыми придается цвет, разнообразие, увлекательность светской жизни, без того монотонной и скучной. А от сильных ощущений, от пылких стра-стей человек скоро изнашивается: как же не очаровываться томностью, бледностью красавицы, если томность и бледность ее служат признаком, что она много жила?»

Что же выходит? Выходит, что искусство воспроизводит жизнь, а жизнь, «хорошая жизнь, жизнь, как она должна быть», у различных классов различна.

Почему же различна? Только что приведенная нами длинная вы-писка не оставляет никакого сомнения на этот счет: она различна по-

тому, что различно экономическое положение этих классов; Чернышевский очень хорошо разъяснил это. Стало быть, мы имеем право сказать, что представление людей о жизни, а потому их понятие о красоте, меняются в связи с ходом экономического развития общества. Но если это так, то спрашивается: прав ли был Чернышевский, когда так решительно оспаривал эстетиков-идеалистов, утверждавших, что прекрасное, встречающееся в действительности, оставляет человека неудовлетворенным и что в этой неудовлетворенности надо искать причины, которые побуждают его заниматься художественным творчеством? Чернышевский возражал им, что прекрасное в действительности превосходит прекрасное в искусстве. В известном смысле это — неоспоримая истина, но только в известном смысле. Искусство воспроизводит жизнь; это так. Но мы видели, что, согласно Чернышевскому, представление о жизни, «о хорошей жизни, о жизни, как она должна быть», неодинаково у людей, принадлежащих к различным классам общества. Как же будет относиться человек низшего общественного класса к той жизни, которую ведет высший класс, и к тому искусству, которое воспроизводит эту жизнь высшего класса? Надо думать, что он, — если только в нем уже начала работать мысль, соответствующая его собственному классовому положению, — отнесется и к этой жизни и к этому искусству отрицательно. Если он имеет какое-нибудь отношение к художественному творчеству, то он захочет реформировать господствующие понятия об искусстве, — а господствуют обыкновенно до поры до времени понятия высшего класса, — он станет «творить» на свой особый, новый лад. Тогда и окажется, что его художественное творчество обязано своим происхождением тому обстоятельству, что его не удовлетворяло прекрасное, встречаемое им в действительности. Можно, конечно, сказать, что его собственное творчество будет лишь воспроизводить ту

жизнь, ту действительность, которая хороша по понятиям его собственного класса. Но ведь господствует не эта жизнь и не эта действительность, а та жизнь и та действительность, которые созданы высшим классом и которые отражаются в господствующей школе искусства.

Значит, если прав Чернышевский, то не совсем неправа и оспариваемая им идеалистическая школа. Возьмем пример. Во французском обществе времен Людовика XV господствовали известные понятия о жизни, как она должна быть, нашедшие свое выражение в различных отраслях художественной деятельности. Эти понятия были понятиями клонившейся к упадку аристократии. Их не разделяли духовные представители среднего сословия, стремившегося к своей эмансипации; напротив, эти предста-вители подвергали их резкой, беспощадной критике. И когда эти представители сами взялись за художественную деятельность, когда они создали свои художественные школы, то они сделали это потому, что их не удовлетворяло прекрасное, встречавшееся в той действительности, которую создал, представлял и защищал высший класс. Стало быть, тут дело происходило несомненно так, как его изображали в своих теориях эстети-ки-идеалисты. Мало того, даже художники, принадлежавшие к этому же высшему классу, могли не удовлетворяться прекрасным, встречаемым ими в действительности, потому что жизнь не стоит на одном месте, потому что она развивается и потому, что ее развитие вызывает несоответствие между тем, что есть, и тем, что, по мнению людей, долж-но быть. Значит, в этом отношении идеалисты-эстетики вообще не ошибались. Ошибка их состояла совсем в другом. Для них прекрасное было выражением абсолютной идеи, развитие которой, по их понятиям, лежало в основе всего мирового, а следовательно, и всего общественного процесса. Когда Фейербах восстал против идеализма, он был совершенно прав. Точно также, когда его ученик Чернышевский восстал против идеалистического учения об искусстве, он совсем не ошибался. Он говорил совершенную правду, когда утверждал, что прекрасное есть жизнь, «как она должна быть», и что искусство вообще занимается воспроизведением «хорошей жизни». Его ошибка заключалась лишь в том, что он не достаточно выяснил себе, каким образом развиваются в истории человеческие представления о «жизни». «Воззрение на искусство, — говорил он, — нами принимаемое, проистекает из воззрений, принимаемых новейшими немецкими эстетиками, и возникает из них чрез

диалектический процесс, направление которого определяется общими идеями современной науки». Это так. Но эстетические взгляды Черны-шевского были *только зародышем* того правильного воззрения на

искусство, которое, усвоив и усовершенствовав диалектический метод старой философии, в то же время отрицает ее метафизическую основу и апеллирует к конкретной общественной жизни, а не к отвлеченной абсолютной идее. Чернышевский не сумел утвердиться на диалектической точке зрения; поэтому в его собственные представления о жизни и об искусстве проник очень значительный элемент метафизики. Он разделял человеческие потребности на естественные и искусственные; сообразно с этим и «жизнь» представлялась ему частью нормальной, — поскольку она соответствовала естественным потребностям, — а частью, и притом большею частью, ненормальной, — поскольку ее склад обусловливается искусственными потребностями человека. Пользуясь таким критерием, нетрудно было придти к тому выводу, что жизнь. всех высших классов общества ненормальна. А отсюда было рукой подать до того вывода, что искусство, выражавшее в различные эпохи эту ненормальную жизнь, было ложным искусством. Но общество разделилось на классы уже в то отдаленное время, когда оно стало выходить из состояния дикости. Стало быть, Чернышевскому нужно было признать ошибочной, ненормальной всю историческую жизнь человечества и объявить более или менее ложными все те представления о жизни, которые в течение этого длинного периода времени возникали на этой ненормальной почве. Такой взгляд на историю и на развитие человеческих понятий мог быть, и действительно бывал, могучим *орудием борьбы* в эпохи общественных перемен, в эпохи *«отрицания».* И неудивительно, что за него крепко держались наши просветители 60-х годов. Но он не мог послужить орудием научного *объяснения исторического процесса.* По этому самому он не мог лечь в основу научной эстетики, о которой мечтал некогда Белинский и которая *не осуждает,* — это вообще не дело «теоретического разума», — а *объясняет.* Чернышевский правильно называл искусство воспроизведением «жизни». Но именно

потому, что искусство воспроизводит «жизнь», научная эстетика, — вернее сказать, правильное учение об искусстве, — могла лишь тогда встать на твердую почву, когда возникло правильное учение о *«жизни».* Философия Фейербаха заключала в себе только некоторые намеки на такое учение. Поэтому и основанное на ней учение об искусстве лишено было твердой научной основы.

Таковы те общие замечания, которые мы хотели сделать об эстетической теории Чер-нышевского. Что касается частностей, то мы отметим здесь только вот что.

286

В русской литературе не раз возмущались тем, — приведенным нами выше, — сравнением, согласно которому искусство относится к жизни, как гравюра к картине, и которое Чернышевский сделал для пояснения той своей мысли, что люди дорожат прекрасным в искусстве не потому, что прекрасное в действительности не удовлетворяет их, а потому, что они не имеют к нему доступа по той или другой причине. Но эта мысль далеко не так неосновательна, как это думают критики Чернышевского. В живописи можно указать множество таких созданий искусства, цель которых заключается в том, чтобы дать людям возможность насладиться хотя бы только *снимком* с привлекательной для них действительности. Чернышевский указывал на картины, изображающие морские виды. И он был в значительной степени прав. Многие такие картины обязаны были своим существованием тому, что люди, — например, голландцы, — любили море и хотели наслаждаться его видами даже тогда, когда оно было далеко от них. Нечто подобное мы видим и в Швейцарии. Швейцарцы любят свои горы, но и они не имеют возможности постоянно наслаждаться настоящими альпийскими видами: огромное большинство населения этой страны живет в долинах и в предгориях; поэтому там существует много живописцев, — Люгардон и другие, — воспроизводящих эти виды. Ни публике, ни самим живописцам при этом и в голову не приходит, что эти произведения искусства прекраснее действительности. Но они *напоминают* о ней, и этого достаточно для того, чтобы они нравились, для того, чтобы ими дорожили. Мы видим, стало быть, неоспоримые факты, ясно говорящие в

пользу Чернышевского. Но есть другие факты, говорящие против него, и на них стоит остановиться.

Знаменитый французский живописец-романтик Делакруа замечает в своем дневнике, что картины не менее знаменитого Давида представляют собою своеобразную смесь реализма с идеализмом [1]). Это совершенно верно, и, — что для нас здесь всего важнее, — это верно не только по отношению к Давиду. Это верно вообще по отношению к искусству, выражающему собою стремление новых общественных слоев, стремящихся к своему освобождению. Жизнь господствующего класса представляется новому, — восходящему и недовольному, — классу ненормальной, достойной осуждения. А потому и приемы художников, воспроизводящих эту жизнь, не удовлетворяют его, кажутся ему *искусственными.* Новый класс выдвигает своих художников, которые,

[1]*)* См. Journal d'Eugène Delacroix , Paris 1893, t. III, p. 382.

в борьбе со старой школой, апеллируют к жизни, выступают как реалисты. Но жизнь, к которой они апеллируют, есть «хорошая жизнь, как она должна быть»... согласно понятиям нового класса. А эта жизнь еще не совсем сложилась — ведь новый класс только еще стремится к своему освобождению; — она в значительной степени сама остается еще *идеалом.* Поэтому и искусство, созданное представителями нового класса, будет представлять собою «своеобразную смесь реализма с идеализмом». А об искусстве, представляющем собою такую смесь, нельзя сказать, что оно стремится к воспроизведению прекрасного, существующего в действительности. Нет, художники такого рода не удовлетворяются и не могут удовлетворяться действительностью; им, как и всему представляемому ими классу, хочется частью *переделать,* а частью *дополнить* ее сообразно своему *идеалу.* По отношению к *таким* художникам и к *такому* искусству мысль Чернышевского была ошибочна. Но замечательно, что само русское искусство времени Чернышевского представляло собою своеобразную, — очень привлекательную, — смесь реализма с идеализмом. Это обстоятельство объясняет нам, почему в применении к этому искусству теория Чернышевского, требовавшая строгого реализма, оказывалась *слишком узкой.*

Но Чернышевский сам был сыном — и еще каким сыном! — своего времени. Он сам не только не чуждался передовых идеалов своего времени, но был их преданнейшим и сильнейшим защитником. Поэтому его теория, защищая строгий *реализм,* все-таки отводила место и *идеализму.* Чернышевский говорит, что искусство не только воспроизводит жизнь, но также истолковывает ее, служит ее учебником. Сам он интересовался искусством, главным образом, как учебником жизни, и в своих критических статьях он задавался целью помогать художникам в истолковании жизненных явлений. Так же поступал его литературный последователь Добролюбов: достаточно вспомнить его знаменитую и поистине превосходную статью «Когда же придет настоящий день», написанную по поводу повести Тургенева «Накануне». В этой статье Добролюбов говорит: «Писатель-художник, не заботясь ни о каких общих заключениях относительно состояния общественной мысли и нравственности, всегда умеет, однако же, уловить их существеннейшие черты, ярко осветить и прямо поставить их пред глазами людей размышляющих. Вот почему и полагаем мы, что как скоро в писателе-художнике признается талант, т. е. умение чувствовать и изображать жизненную правду явлений, то уже в силу этого самого признания произведения его дают законный повод к рассуждениям о той среде жизни, о той эпохе, кото-

рая вызвала в писателе то или другое произведение. И меркою для таланта писателя будет здесь то, до какой степени широко захвачена им жизнь, в какой мере прочны и многообразны те образы, которые им созданы». Сообразно с этим Добролюбов ставил главной задачей литературной критики «разъяснение тех явлений действительности, которые вызвали известное художественное произведение». Таким образом эстетическая теория Чернышевского и Добролюбова сама была своеобразной смесью реализма с идеализмом. Разъясняя жизненные явления, она не довольствовалась констатированием того, что *есть,* а указывала также, — и даже главным образом, — то, что *должно быть.* Она *отрицала* существующую действительность и в этом смысле служила выражением тогдашнего «отрицательного» направления. Но она не сумела «развить идею отрицания», как

выразился когда-то о самом себе Белинский; она не сумела поставить эту идею в связь с объективным ходом развития русской общественной жизни, — короче, она не сумела дать ей социологическую основу. В этом заключался главный ее недостаток. Но, оставаясь на точке зрения Фейербаха, нельзя было ни устранить, ни даже заметить этот недостаток. Он становится заметным только с точки зрения учения Маркса.

Место не позволяет нам критиковать отдельные положения Чернышевского. Поэтому мы ограничимся еще одним только замечанием. Чернышевский решительно отвергал идеалистическое определение возвышенного, как выражения идеи бесконечного. Он был прав, потому что под идеей бесконечного идеалисты понимали абсолютную идею, для которой не было места в учении Фейербаха-Чернышевского. Но он ошибался, говоря, что хотя содержание возвышенного и может наводить нас на различные мысли, усиливающие то впечатление, которое мы от него получаем, но что сам по себе предмет, производящий такое впечатление, остается возвышенным, независимо от этих мыслей. Отсюда логически следует тот вывод, что возвышенное существует само по себе, независимо от наших о нем мыслей. По мнению Чернышевского, возвышенным нам представляется самый предмет, а не вызываемое им настроение. Но его опровергают им самим приводимые примеры. Он говорит, что Монблан и Казбек величественные горы, но никто не скажет, что они бесконечно велики. Это так; но никто не скажет также, что они величественны сами по себе, независимо от производимого ими на нас впечатления. То же приходится сказать и о прекрасном. По Чернышевскому выходит, с одной стороны, что прекрасное в действительности прекрасно само по себе; но, с другой стороны, он сам же объяс-

няет, что прекрасным нам кажется только то, что соответствует нашему понятию о «хорошей жизни», о «жизни как она должна быть». Стало быть, предметы прекрасны не сами по себе.

Эти ошибки нашего автора объясняются — кратко говоря — уже указанным нами отсутствием у него диалектического взгляда на вещи. Он не умел найти истинную связь между объектом и субъектом,

объяснить ход идей ходом вещей. Поэтому он по необходимости пришел к противоречию с самим собой и, вопреки всему духу своей философии, придал объективное значение некоторым идеям. Но и эта ошибка могла быть замечена только тогда, когда философия Фейербаха, лежащая в основе эстетической теории Чернышевского, стала уже «превзойденной ступенью». А для своей эпохи диссертация нашего автора все-таки была в высшей степени серьезным и замечательным произведением.

Н. Г. Чернышевский [1])

Николай Гаврилович Чернышевский родился 12 июня 1828 г. в Саратове, где отец его был священником; учился он сначала в тамошней семинарии, куда поступил, благодаря хорошей домашней подготовке, прямо в класс риторики в сентябре 1844 г. Уже в бытность свою в семинарии он обнаружил блестящие способности, так что начальство стало смотреть на него как на будущую славу духовенства. Но уже в конце декабря 1845 г. он подал прошение об увольнении его из семинарии, а в августе следующего года был зачислен в студенты Петербургского университета. По окончании университетского курса в 1850 г. он вернулся в Саратов, где получил место старшего учителя в гимназии. В Саратове он познакомился с дочерью местного врача Ольгой Сократовной Васильевой и женился на ней 29-го апреля 1853 г. Вскоре после женитьбы ему пришлось опять переехать в Петербург. Там он сначала продолжал свою преподавательскую деятельность во втором кадетском корпусе, а после всецело перешел к литературному труду. Писал он сперва (в 1853 г.) в «Отечественных Записках», потом (с 1854 г.) также и в «Современнике». В 1855 г. он стал писать исключительно для этого последнего журнала. Мы знаем только два отступления от этого общего правила: в 1858 г. появилась в «Атенее» (кн. 3) его статья «Русский человек на rendez vous», и в том же году он в течение некоторого времени редактировал «Военный Сборник». В первый год своего пребывания в Петербурге он, как видно, много работал также над своей магистерской диссертацией «Эстетические отношения искусства к действительности». Рассмотрение этой

диссертации затянулось, однако, до 1855 года и, насколько нам известно, кончилось неблагоприятно

[1]) Эта статья составлена на основании печатаемого в настоящее время нашего исследования «Н. Г. Чернышевский». *Г. П.*

для молодого ученого. Направление его мыслей не понравилось властям, и он не получил звания магистра. Но это же направление сблизило его с редакцией «Современника», предоставившей ему широкую свободу действий, так что вскоре журнал этот перешел в полное его распоряжение. Всем известно, какое огромное значение приобрел вскоре «Современник», благодаря Чернышевскому и привлеченному им Добролюбову. Именно это значение и оказалось роковым для нашего автора. Его стали считать опасным «коноводом» революционеров, и от него решили избавиться во что бы то ни стало. Арестованный 7 июля 1862 г., он был посажен в Петропавловскую крепость и приговорен к ссылке на 14 лет в каторжные работы. Император Александр II сократил срок каторжных работ на половину. Дело Чернышевского очень подробно изложено г. М. Лемке в мартовской, апрельской и майской книжках журнала «Былое» за 1906 год [1]). К этой во всех отношениях добросовестной работе г. М. Лемке мы и отсылаем читателя.

В конце 1864 года наш знаменитый писатель уже прибыл в Кадаю, в Забайкальи, куда разрешено было приехать для трехдневного свидания с ним его супруге с малолетним сыном Михаилом. Через три года его перевели на Александровский завод Нерчинского округа, а по окончании срока каторги он был поселен в Вилюйске. В Россию ему позволили вернуться лишь в 1883 г., назначив местом его пребывания Астрахань. В июне 1889 г. он получил разрешение поселиться в родном Саратове, где и скончался в ночь с 16 на 17 октября того же года. Между многочисленными венками, возложенными на его могилу, особенно выделялись, говорят, два соединенных вместе венка от русских и польских студентов Варшавского университета и ветеринарного института.

Привычка к труду не оставила нашего автора ни в крепости, ни в Сибири. В крепости им написан, между прочим, знаменитый роман

«Что делать?». Из того, что он написал в Сибири, уцелело не все, но то, что уцелело, составляет большой том в 757 страниц [2]).

Этот том наполнен преимущественно беллетристикой; там есть даже стихи, например «Гимн деве неба», появившийся первоначально в «Русской Мысли» (1885 г., № 7). Чтобы не возвращаться к этим произведениям Чернышевского, скажем о них сейчас же вот что. Сам

[1]) Перепечатано в его книге «Политические процессы М. И. Михайлова, Д. И. Писарева и Н. Г. Чернышевского». (Спб. 1907).

[2]) См. изданное его сыном, Михаилом Николаевичем, полное собрание ег« сочинений, т. X, ч. I.

он в одном из своих писем к А. Н. Пыпину говорит о себе на основании этих сочинений, что беллетристический талант у него «положительно есть. Вероятно, сильный». Выражаясь так, он, разумеется, подшучивал над собой, по своему обычаю. Но несомненно и то, что он не стал бы тратить свое время на беллетристику, если бы не думал, что у него в самом деле есть некоторое художественное дарование. В другом месте он говорит, что он издавна готовился быть беллетристом. Это тоже было бы невозможно без некоторой уверенности в своем таланте. Однако надо признать, что за исключением романа «Пролог», чрезвычайно интересного уже по одному тому, что он является чем-то вроде личных воспоминаний автора, облеченных в беллетристическую форму, сибирская беллетристика Чернышевского вышла очень неудачной. Она представляет теперь интерес лишь потому, что все-таки прибавляет новую черту к нашему представлению о духовной физиономии нашего автора.

Совсем не таково значение написанного в крепости романа «Что делать?». Он имел огромный успех и такое же огромное влияние на «молодое поколение» того времени. Художественными достоинствами он тоже не блещет, хотя и не правы критики, совершенно отрицающие в нем такие достоинства: в нем много юмора и наблюдательности; характер Марьи Алексеевны Розальской, матери героини романа Веры Павловны, очерчен довольно удачно. Но главным его достоинством надо, без сомнения, признать пламенный и совершенно неподдельный энтузиазм, захватывающий читателя и заставляющий его с неослабным вниманием следить за судьбою главных действующих лиц.

Чтобы правильно судить об этом, во всяком случае замечательном, литературном произведении, надо сравнивать его, разумеется, не с художественными произведениями Тургенева, Достоевского или Толстого, а, например, с философскими романами Вольтера. При таком сравнении вопрос об его достоинствах представится в совершенно другом свете.

По возвращении из Сибири Чернышевский взялся за обработку материалов для биографии Добролюбова и перевел одиннадцать томов «Всеобщей истории» Вебера, сделав к некоторым из них интересные и довольно объемистые приложения. Нам не раз придется цитировать их ниже, при изучении его исторических взглядов.

Наконец, к тому же периоду относятся две, или, если угодно, *три* его статьи философского характера: первая была напечатана в «Русских Ведомостях» (1885 г., №№ 63 и 64) и называется «Характер человеческого знания»; вторая появилась в сентябрьской книжке «Русской

Мысли» за 1888 г. и озаглавлена: «Происхождение теории благотворности борьбы за жизнь (Предисловие к некоторым трактам по ботанике, зоологии и наукам о человеческой жизни)». Она подписана: *Старый трансформист.* Третьей статьей того же рода можно назвать предисловие к предполагавшемуся, но несостоявшемуся по цензурным условиям, третьему изданию его «Эстетических отношений искусства к действительности». Предисловие это, написанное в 1888 г., оставалось ненапечатанным вплоть до недавнего выхода полного собрания его сочинений.

Теоретическое достоинство этих произведений неодинаково. В предисловии и в статье о характере человеческого знания яснее выступают *сильные* стороны философских взглядов Н. Г. Чернышевского, в статье о теории благотворности борьбы за жизнь более обнаруживаются их *слабые* стороны. Предисловие содержит также драгоценные свидетельства о тех влияниях, под которыми сложились эти взгляды. Как видно из появившихся в мартовской книжке «Русской Мысли» за нынешний год воспоминаний г. А. Токарского, наш неутомимый автор был полон литературных планов не далее как в 1889 году, т. е. когда смерть уже приближалась к его порогу. Он мечтал об издании

энциклопедического словаря; собирался писать *для детей* книги по политической экономии и по истории и даже надеялся, что ему удастся создать собственный журнал. Все это показывает, как много богатейших возможностей уничтожено было преследованиями, обрушившимися на этого чрезвычайно даровитого и сильного человека. В нашей литературе Н. Г. Чернышевский явился продолжателем дела Белинского, как оно определилось в последнюю эпоху умственной истории «неистового Виссариона». Поэтому, чтобы придти к полной ясности насчет идей Чернышевского, необходимо внимательно сравнивать их с теми идеями, к которым пришел Белинский *в* последнее пятилетие своей жизни

А так как в истории умственного развития Белинского философия играла в высшей степени важную роль, то читатель не удивится, что мы начнем здесь с философии, которая к тому же всегда очень интересовала и Чернышевского.

В последнее пятилетие своей жизни Белинский все дальше и дальше уходит от *идеалистической философии Гегеля,* так сильно увлекавшей его когда-то. В его двух последних годичных обзорах русской литературы не трудно открыть влияние *материалиста Фейербаха.* Этот же переход от Гегеля к Фейербаху совершил и Чернышев-

ский, но только в гораздо более раннюю эпоху своей жизни. В этом отношении о нем можно сказать, что он *начал* тем, чем Белинский *закончил.* Нужно только прибавить, что, раз придя к Фейербахову материализму, Чернышевский оставался верен ему до гробовой доски.

В упомянутом выше предисловии к несостоявшемуся третьему изданию своей диссертации, Чернышевский следующим образом рассказывает историю своего философского развития, говоря о себе, — страха ради цензурна, — в третьем лице.

«Автор брошюры, к третьему изданию которой я пишу предисловие, получил возможность пользоваться хорошими библиотеками и употреблять несколько денег на покупку книг в 1846 году. До этого времени он читал только такие книги, какие можно доставать в провинциальных городах, где нет порядочных библиотек. Он был знаком с русскими изложениями системы Гегеля, очень неполными.

Когда явилась у него возможность ознакомиться с Гегелем в подлиннике, он стал читать эти трактаты. В подлиннике Гегель понравился ему гораздо меньше, нежели ожидал он по русским изложениям. Причина состояла в том, что русские последователи Гегеля излагали его систему в духе левой стороны Гегелевой школы. В подлиннике Гегель оказывался более похож на философов XVII века и даже на схоластиков, чем на того Гегеля, каким он являлся в русских изложениях его системы. Чтение было утомительно по своей явной бесполезности для сформирования научного образа мыслей. В это время случайным образом попалась желавшему сформировать себе такой образ мыслей юноше одно из главных сочинений Фейербаха. Он стал последователем этого мыслителя; и до того времени, когда житейские надобности отвлекали его от ученых занятий, он усердно перечитывал сочинения Фейербаха».

Это показание Чернышевского как нельзя более важно; оно характеризует, между прочим, его отношение к Гегелю [1]). Знание

[1]) Эта статья была уже набрана, когда появилась статья г. *Е. Ляцкого:* «Н. Г. Чернышевский в университете» («Совр. М.» 1909, № 3). Г. Ляцкий вносит некоторые поправки в это показание Чернышевского о ходе своего умственного развития. Он говорит: «Имея в своем распоряжении Дневник 1848-1849 г., мы можем установить, что с Гегелем Чернышевский расстался не так скоро; некоторые томы его он дочитывал в 1849 г. Правда, Гегель не производит на него особенно сильного впечатления, но свой приговор он произносит не ранее, как сделав пометку: дочитал такой-то том». Вторая неточность касается Фейербаха: «Чернышевский позна-

этого отношения дает нам возможность сравнить характер ума Чернышевского с характером ума Белинского.

На философию Гегеля Белинский взглянул, прежде всего, как на *теоретический критерий,* с помощью которого он мог подвергнуть оценке свои *практические стремления.* Мы уже знаем [1]), к чему привела эта оценка. Белинский — по собственному его выражению, употребленному им впоследствии — не сумел *развить* идею *отрицания.* А его из ряда вон выдающаяся теоретическая требовательность делала, — по крайней мере, на короткое время, пока не остыло еще первое и самое сильное впечатление от великих теоретических запросов, выдвинутых философией Гегеля, — совершенно неприемлемым для него идеал, основанный на поверхностном, отвлеченном отрицании действительности. Вследствие этого «идея отрицания» была реши-

тельно отвергнута им, и он не менее решительно «примирился с действительностью». Само собою понятно, что это отвержение «идеи отрицания» и это примирение с действительностью не могли быть продолжительны. Они слишком противоречили всей нравственной природе Белинского. Вскоре он опять пришел к «отрицанию»; но необходимо помнить, что «идея *отрицания»* так и не получила у него того *«развития»,* которые представлялось ему — и совершенно правильно-необходимым с точки зрения Гегелевой философии. Ему не удалось показать себе и другим, что его субъективное «отрицание действительности» выражает собою лишь отражение в субъекте ее собственного диалектического (т. е. объективного) развития. Все, на что он мог опереться в своем новом восстании против «гнусной расейской действительности», сводилось к отвлеченному принципу *человеческой личности.* И сообразно с этим он в своем восстании апеллировал уже не к Гегелю, а к «благородному адвокату человечества» — Шиллеру. Но Шиллер очень слаб как руководитель в деле *теоретической* оценки общественных отношений. Вот почему нельзя не признать, что хотя разрыв Белинского с Гегелевым «философским колпаком» делал, *при тогдашних обстоятельствах, большую* честь его *сердцу,* но он в то же время знаменовал собою весьма значительное понижение той тео-

комился с ним годами двумя позже, и Фейербах, действительно, оказал решительное влияние на отношение Чернышевского к Гегелю». Как видит читатель, эти поправки, касаясь частностей, не изменяют сущности дела.

[1]) См. нашу статью о Белинском, напечатанную в этом же издании; ср. также нашу книгу «Н. Г. Чернышевский».

ретической требовательности, о которой свидетельствовала, например, очень односторонняя и потому *в общем* неудачная, но все же весьма замечательная статья, посвященная Бородинской годовщине. *Отрицание данной действительности во имя того или другого отвлеченного принципа остается, — как бы ни был благороден этот принцип, — отвлеченным, т. е. поверхностным, т. е. теоретически неудовлетворительным отрицанием, как бы «гнусна» ни была эта действительность.* Такому отрицанию недостает *конкретной основы,* которая одна только и может быть признана удовлетворительной.

Белинский, для которого продолжительное «примирение» с нашими тогдашними общественными порядками было нравственной невозможностью, *вынужден* был, в конце концов, удовлетвориться хотя бы и поверхностным их отрицанием: слишком еще не развиты были те элементы наших общественных (преимущественно *производственных)* отношений, на которые могло бы опереться, и действительно оперлось впоследствии, когда они развились, удовлетворяющее требованиям теории отрицание «расейской действительности». Но у Белинского — в его переписке, как и у Герцена в его дневнике — очень заметно мучительное сознание того, что отвлеченное отрицание не только *не удовлетворительно в теории,* — с этим без очень большого труда помирились бы Белинский и Герцен, как люди более всего стремившиеся к практическому делу, — *но и бессильно на практике.* Казалось бы, что перед Чернышевским, который выступил, как продолжатель дела Белинского, должна была с первых же шагов его литературной деятельности встать такая дилемма: или сделать то, чего не мог сделать Белинский, т. е. развить «идею отрицания» сообразно требованиям теории, или же окончательно убедиться в практическом бессилии отвлеченного отрицания. Вышло не так.

Хотя в первое время по окончании Чернышевским университетского курса наша действительность стала, пожалуй, еще более мрачной, чем была она в тридцатых и сороковых годах, но он, как мы покажем это ниже, довольно спокойно ждал окончания реакционной непогоды, уверенный в том, что рано или поздно перед ним откроется желанная арена общественной деятельности. Эта его уверенность имела под собой лишь ряд весьма отвлеченных соображений. Но факт тот, что она была налицо и что Чернышевского уже не терзало сознание слабости отвлеченного идеала. В этом отношении его дневник не заключает в себе ничего подобного тем стонам, которые слышатся, можно сказать, на каждой странице дневника Герцена и в каждом письме

Белинского. При внимательном чтении дневника Чернышевского легко убедиться в том, что будущему продолжателю дела Белинского

совсем не бросалась в глаза ни теоретическая неосновательность, ни практическая слабость отвлеченного отрицания, унаследованного им же от того же Белинского, равно как и от других людей сороковых годов. Это происходило отчасти потому, что как ни велики были дарования Чернышевского, но по глубине теоретических запросов он все-таки уступал гениальному Белинскому. А кроме того, тут сказалось, вероятно, и различие исторического момента. Глубокая ночь реакции, ознаменовавшей собою последние годы царствования Николая I, все-таки позволяла, должно быть, чувствовать инстинктом практического деятеля, если не различать умом теоретика, признаки, показывавшие неизбежность более или менее скорого рассвета. Вот эти-то несомненные для практического инстинкта, хотя и неуловимые для теоретического ума, признаки и позволили нашему автору избежать столкновения с вышеуказанной дилеммой. Гегель, вызвавший в душе Белинского столько поистине трагических сомнений, первоначально явился в глазах Чернышевского мыслителем, философия которого *не только не подрывала веры в отвлеченный идеал, но значительно укрепляла ее.* Это произошло потому, что русские изложения системы Гегеля, с которыми Чернышевский познакомился сначала, были, во-первых, «неполны», а, во-вторых, сделаны были, как это мы узнаем от него самого, «в духе левой стороны Гегелевой школы». Известно, что эта сторона как в России, так и в Германии сильно грешила — *вплоть до появления Маркса* — отвлеченностью своих общественных теорий. Но замечательно, что когда Чернышевский познакомился с Гегелем в подлиннике, то немецкий идеалист не очень понравился ему и даже показался более похожим на схоластиков, нежели на того мыслителя, каким он являлся в изображении своих левых учеников. Отсюда видно, что величайшее достоинство Гегелевой философии, — ее диалектический метод, требовавший анализа явлений в том процессе их развития, который обусловливается присутствием в них противоречивых элементов, — отсюда видно, говорим мы, что *эта сторона философии Гегеля* не произвела на нашего автора никакого или почти никакого впечатления. Говорим: «почти» потому, что Чернышевский не совсем пренебрегал диалектикой Гегеля. В своих «Очерках Гоголевского

периода русской литературы», он отзывается о ней с похвалой; но она и там изображается им в одностороннем виде. На этом полезно остановиться.

298

II

Вот что мы читаем в названных «Очерках» о диалектическом методе.

«Сущность его состоит в том, что мыслитель не должен успокаиваться ни на каком положительном выводе, а должен искать, нет ли в предмете, о котором он мыслит, качеств и сил, противоположных тому, что представляется этим предметом на первый взгляд; таким образом мыслитель был принужден обозревать предмет со всех сторон, и истина являлась ему не иначе, как следствием борьбы всевозможных противоположных мнений. Этим способом вместо прежних односторонних понятий о предмете мало-помалу являлось полное всестороннее исследование, и составлялось живое понятие о всех действительных качествах предмета. Объяснить действительность стало существенной обязанностью философского мышления. Отсюда явилось чрезвычайное внимание к действительности, над которою прежде не задумывались, без всякой церемонии искажая ее в угодность собственным односторонним предубеждениям. Таким образом добросовестное, неутомимое изыскание истины стало на месте прежних произвольных толкований. Но в действительности все зависит от обстоятельств, от условий места и времени, — и потому Гегель признал, что прежние общие фразы, которыми судили о добре и зле, не рассматривая обстоятельств и причин, по которым возникало данное явление, что эти общие, отвлеченные изречения не удовлетворительны: каждый предмет, каждое явление имеет свое собственное значение, и судить о нем должно по соображению той обстановки, среди которой оно существует; это правило выражалось формулой: «отвлеченной истины нет; истина всегда конкретна», т. е. определительное суждение можно произносить только об определенном факте, рассмотрев все обстоятельства, от которых он зависит».

Эту характеристику диалектического метода Чернышевский поясняет примерами.

«Благо или зло дождь? Это вопрос отвлеченный; определительно отвечать на него нельзя: иногда дождь приносит пользу, иногда, хотя реже, приносит вред; надобно спрашивать определительно: после того, как посев хлеба окончен, в продолжении шести часов шел сильный дождь, — полезен ли был он для хлеба? Только тут ответ ясен и имеет смысл: этот дождь был очень полезен».

Другой пример: «Пагубна или благотворна война? Вообще нельзя отвечать на это решительным образом; надо знать, о какой войне идет дело, все зависит от обстоятельств, времени и места... Для образованных народов война приносит обыкновенно менее пользы и более вреда. Но, например, война 1812 г. была спасительна для русского народа; Марафонская битва была благодетельнейшим событием в истории человечества».

Все это очень умно и очень важно, как материал для изучения взглядов самого выдающегося из наших «просветителей». Потому-то мы и не побоялись сделать эти длинные выписки. Но читатель, знакомый с философией Гегеля, уже и сам заметил, разумеется, что в приведенной нами длинной выписке диалектический метод великого немецкого идеалиста представляется не вполне точно. По словам Чернышевского Гегель считал объяснение действительности важнейшею обязанностью философского мышления. И это, конечно, так. Но это не все. *Главный вопрос состоит здесь в тот, каким путем должен идти мыслитель к объяснению действительности.* По Чернышевскому, путь этот состоял во всестороннем исследовании предмета: истина должна была явиться мыслителю не иначе, как *следствие борьбы всевозможных мнений.* Но тут-то и находится слабая сторона изложения Чернышевского. Для Гегеля дело *было не во мнениях мыслителей, изучающих данное явление, а в объективном* ходе *развития этого явления, обусловливаемом борьбой заключающихся в нем противоположных элементов.* И точно так же дело не в том, чтобы открыть в предмете другие качества и силы, помимо тех, которые открываются при первом взгляде на него, а в том, что и качества

предмета, и силы, ему свойственные, *изменяются внутренней логикой его собственного развития.* Только тот, кто понял это, способен в самом деле отказываться от субъективных пристрастий в суждении о предмете. В противном случае этим пристрастиям всегда будет принадлежать последнее слово. Возьмем пример. Иное дело убедиться в том, *что система наемного труда* противоречит интересам огромного большинства членов капиталистического общества, а иное дело обнаружить те свойственные этому обществу экономические элементы, которые в своем дальнейшем развитии должны привести к устранению названной системы. Человек, обнаруживший такие элементы, нашел бы для своей борьбы с этой системой незыблемую *объективную опору,* между тем как человек, таких элементов не видящий, мог бы опираться в этой борьбе лишь на *отвлеченные соображения* о том, что люди

когда-нибудь должны будут познать, наконец, истину. Это огромная разница. Социализм перестал быть *утопическим* только тогда, когда он сумел перейти от абстрактных соображений к анализу объективного хода развития капитализма. Поэтому можно сказать, что диалектический метод Гегеля подготовлял целый переворот в социализме. Но Чернышевский не обратил надлежащего внимания на эту сторону предмета, и потому его понимание диалектики осталось односторонним. Как мы сейчас увидим, это наложило свою печать на весь его образ мысли.

Чернышевский был прав, утверждая, вопреки разнородным и разноцветным хулителям Гегеля, что этот последний завещал своим ученикам большое внимание к действительности. Но истолковывал он этот завет скорее в духе Фейербаха и последних годовых литературных обзоров Белинского, нежели в духе самого Гегеля. Это, впрочем, и не удивительно, так как от Гегеля он перешел именно к Фейербаху. Под влиянием Фейербаха была написана, между прочим, и его магистерская диссертация. Он сам говорит в том же предисловии, что, принимаясь за нее, он «не имел ни малейшего притязания сказать что-нибудь новое, принадлежащее лично ему», а только желал «быть истолкователем идей Фейербаха в применении к эстетике».

И то же самое он мог бы сказать, например, о своей знаменитой статье «Антропологический принцип в философии».

III

Статья эта была напечатана в 4-й и 5-й книжках «Современника» за 1860 г. Чернышевский объясняет в ней, чтó значит «антропологический принцип». Согласно этому принципу, «на человека надобно смотреть, как на одно существо, имеющее только одну натуру». Каждая сторона его деятельности представляет собою или деятельность всего организма его, взятого в целом, или же, — если она связана с каким-нибудь особенным органом — отправление этого органа, в свою очередь тесно связанного с организмом. Иначе сказать: антропологический принцип есть принцип современного *материалистического монизма.* Чернышевский, как и его учитель. Фейербах, решительный противник всех *дуалистических философских систем.* Он говорит, что истинная философия видит в человеке то же, что видят в нем естественные науки: «эти науки доказывают, что никакого дуа-

лизма в человеке не видно, а философия прибавляет, что если бы человек имел, кроме реальной своей натуры, другую натуру, то эта другая натура непременно обнаружилась бы в чем-нибудь, а так как она не обнаруживается ни в чем, так как все происходящее и« проявляющееся в человеке происходит по одной реальной его натуре, то другой натуры в нем нет». Но известно, что в организме человека наблюдается два ряда явлений: те явления, которые обыкновенно называются *материальными,* и те, за которыми Чернышевский оставляет название *нравственных.* На существовании этих двух родов явлений и основываются дуалистические учения в философии. Но Чернышевский утверждает, что эта *свойственность явлений* в организме отнюдь не свидетельствует против *единства его природы.* «Нет предмета, — говорит он, — который имел бы только одно качество, напротив, каждый предмет обнаруживает бесчисленное множество разных явлений, которые мы для удобства суждения о нем подводим под разные разряды, давая каждому разряду имя качества, так что в каждом. предмете очень много разных качеств». Это опять

согласно с Фейербахом, учившим, что организм есть «субъект», а мышление *«предикат»,* т. е. качество субъекта, и что поэтому мыслит *не отвлеченное* «я», с которым оперировала идеалистическая философия, а существо конкретное, тело. Это положение Фейербаха заставляет вспомнить о Спинозе и его *единой* субстанции с ее *различными атрибутами.* И такое воспоминание о Спинозе мы находим у самого Чернышевского, относящего Спинозу к числу тех очень немногих мыслителей, которые держались антропологического принципа в философии, хотя и употребляли другую терминологию. За это на нашего автора обрушились некоторые критики, упрекавшие его в незнании истории философии. Однако своими нападками на него критики эти показали только то, что сами они привыкли, под влиянием идеализма, истолковывать монизм Спинозы в *идеалистическом* смысле. Такое истолкование ошибочно. Монизм Спинозы есть *материалистический* монизм, как это давно уже было отмечено еще Фейербахом [1]).

Но что же такое эта единая человеческая природа? Что такое человеческий организм, одним из «предикатов» которого является мышление? Это — «очень многосложная химическая комбинация, нахо-

[1]) Кроме Спинозы, Чернышевский понимает в материалистическом смысле и Аристотеля. Это, конечно, неправильно. Но известно, что попытки материалистического объяснения философии Аристотеля делались уже в древности и притом его же собственными учениками.

дящаяся в очень многосложном химическом процессе, называемом жизнью». Чернышевский совсем не думает, что наука уже изучила все стороны этого процесса. Очень многое в нем еще остается темным. Это правда. «Но противники научного направления в философии делают из этой правды выводы вовсе не логические, когда говорят, что пробелы, остающиеся в научном объяснении натуральных явлений, допускают сохранение каких-нибудь остатков фантастического миросозерцания. Дело в том, что характер результатов, доставленных анализом объясненных наукой частей и явлений, уже достаточно свидетельствует о характере элементов, сил и законов, действующих в остальных частях и явлениях, которые еще

не вполне объяснены: если бы в этих необъясненных частях и явлениях было бы что-нибудь иное, кроме того, что найдено в объясненных частях, то и объясненные части имели бы не такой характер, какой имеют».

Смысл этого рассуждения тот, что наука в своем объяснении явлений природы постоянно наталкивается на огромные трудности. Но как бы ни были велики эти трудности, ни одна из них не может быть устранена ссылкой на вмешательство того или другого сверхъестественного существа. Дарвин многого не мог объяснить в истории происхождения видов. Но смешно было бы звать на помощь Дарвину Моисея. Цензура запрещала «вредное» учение материализма. Поэтому Чернышевский, обладавший драгоценным даром ясного и общедоступного изложения самых трудных вопросов теории, по временам вынужден был при изложении материалистической философии Фейербаха выражаться с умышленной неясностью.

Этой вынужденной неясностью изложения пользовались его противники, навязывавшие ему такие взгляды, которых он не имел. Так, Юркевич упрекал его в том, что он отождествлял *психические* явления организма с *материальными.* Но мы уже видели, что Чернышевский был весьма далек от *их отождествления.* Он только утверждал, что нет никаких оснований для того, чтобы относить психические явления на счет особого, не *материального* фактора. Вот почему нелеп и вопрос Юркевича о том, каким образом *движение* переходит в *ощущение.* Еще Д. Пристли говорил, что иное дело *вибрации,* совершающиеся в мозговых тканях, а иное дело *восприятия.* Вибрации *не переходят* в восприятия. «Но мозг, кроме своей способности к вибрациям, имеет также способность воспринимать или чувствовать».

При этом мозг, *способный воспринимать,* становится мозгом, *воспринимающим на самом деле* только тогда, когда *его частицы нахо-*

дятся *в состоянии движения.* Совершенно так же думал Фейербах, а с ним и Чернышевский.

Человеческий организм очень сложен. Поэтому изучением его жизни занимается особая наука — физиология человека. Но сложность человеческого организма не мешает ему быть *частью природы.* По мнению Чернышевского, физиология человека относится к химии так же, как наша отечественная история — ко всеобщей. «Разумеется, русская история составляет только часть всеобщей; но предмет этой части особенно близок нам, потому она сделана как будто особенною наукой. Но не следует забывать, что эта внешняя раздельность служит только для практического удобства, а не основана на теоретическом различии характера этой отрасли знания от других частей того же самого знания!» Иначе и не мог, конечно, смотреть на этот вопрос последовательно мыслящий человек, раз признавший основные посылки философии Фейербаха.

Взгляд на человека, как на часть природы, естественно дополнялся у Чернышевского совершенно отрицательным отношением к тем философским системам, которые так или иначе утверждали непознаваемость внешнего мира. В упомянутой выше статье «Характер человеческого знания» он приводит учение об этой непознаваемости к абсурду. Он справедливо говорит, что оно должно вести к отрицанию реальности человеческого тела. Он называет его *иллюзионизмом* и считает «новом формой средневековой схоластики». Происхождение этого учения он — совершенно в духе Фейербаха — объясняет тем, что философы вместо человека, т. е. *материального организма,* берут *отвлеченное существо,* «я», о котором нам известно только то, что оно имеет *представления.* А если мы знаем о нем только то, что оно имеет представления, то совершенно естественно, что мы остаемся в сомнении насчет того, обладает ли оно телом. Но защитники «иллюзионизма» обыкновенно не решаются прямо сказать: «мы не имеем организма». Поэтому они прибегают к двусмысленным выражениям, в которых через схоластический туман проглядывает только логическая возможность сомнения в существовании человеческого тела. Во всей теории познания, основывающейся на такого рода сомнении, нет ничего, кроме схоластической силлогистики и софизмов.

Ввиду этого позволительно спросить: почему же теория эта имеет успех? Почему же к ней склоняются даже многие естествоиспытатели?

304

Чернышевский отвечает на это так: «Масса образованных людей вообще расположена считать наиболее соответствующим научной истине те решения вопросов, какие приняты за истинные большинством специалистов по науке, в состав которой входит исследования этих вопросов. И натуралистам, как всем другим образованным людям, мудрено не поддаваться влиянию господствующих между специалистами по философии философских систем».

А почему же склоняются к «иллюзионизму» специалисты по философии?

Наш автор говорит, что характер философии, господствующей в каждое данное время, определяется общим характером умственной и нравственной жизни передовых наций.

Этим характером приходится, стадо быть, объяснять и современное господство «иллюзионизма» в среде ученых, специально занимающихся философией. К сожалению, Чернышевский не указывает тех черт этого характера, которые вызывают расположение к «иллюзионизму». Но, зная его отрицательный взгляд на иллюзионизм, легко понять, что и причины, способствующие успеху иллюзионизма, относились им на счет *отрицательных сторон* нынешней общественной жизни. Всего вернее, что причины эти сводились им к «трусости», т. е. к опасениям, вызываемым в образованных представителях господствующих классов развитием самосознания в среде класса, угнетаемого нынешним общественным порядком. Ниже мы увидим, что иногда он хорошо умел находить причинную связь между ходом общественной жизни и течением общественной мысли.

Статья «Характер человеческого знания» относится, как уже сказано, к половине восьмидесятых годов, между тем как статья, посвященная изложению и защите «антропологического принципа», напечатана была в 1860 г. Но в течение четверти века, разделяющей эти две статьи, философские взгляды Чернышевского не испытали ни одного существенного изменения. Поэтому его критика

«иллюзионизма» должна быть рассматриваема, как гносеологическое дополнение к статье «Антропологический принцип в философии».

Наши знания — человеческие знания. Познавательные силы человека ограничены, как и все его силы. В этом смысле характер нашего знания обусловливается характером наших познавательных сил. Если бы эти силы были больше, то наши знания были бы обширнее нынешних. И понятно, что их расширение сопровождалось бы видоизменением прежнего их запаса. Но их существенный характер остался бы неизмен-

ным, поскольку они были бы *знаниями фактов.* Чернышевский берет для примера воду. Теперь мы знаем, при какой температуре она замерзает и при какой закипает. Прежде не знали этого. Запас знаний о воде расширился. Но изменился он только в том смысле, что стал определеннее. Точно так же нам известен теперь химический состав воды, о котором люди не имели прежде никакого понятия. Но вода не перестала быть водою от того, что мы ознакомились с ее химическим составом, и все знания о ней, которые были у людей до открытия ее состава, остались верны и после него. Видоизменение запаса знаний о воде ограничилось его расширением.

«The proof of the pudding is in the eating» [1]), — писал Ф. Энгельс, критикуя агности-ков. Воздействуя на окружающий нас мир, мы проверяем правильность наших о нем представлений. Чернышевский безусловно согласился бы с этим взглядом. Да оно и неудивительно. В философском отношении он был очень близок к Энгельсу и Марксу. *Они,* подобно *ему,* были учениками Фейербаха, к которому пришли через Гегеля. *Их* мысль работала в том же самом направлении, в каком работала его мысль, но они *подвергли материализм Фейербаха существенной переработке,* — правда, удержав его теорию познания, напр., учение об отношении субъекта к объекту, — между тем как Черны-шевский, вообще говоря, ограничился *распространением взглядов своего учителя.* Это совсем не значит, что он был его «рабом», как любят выражаться в таких случаях люди, желающие во что бы то ни стало быть «ориги-нальными». Нам уже известно, что маги-стерская диссертация

Чернышевского была попыткой, — и по-своему очень удачной, — применить Фейербахово учение в эстетике, которой сам Фейербах никогда не зани-мался. Но Чернышевский применял учение Фейербаха, не замечая его коренного недостатка и потому не задумываясь об устранении этого недостатка; а Маркс и Энгельс заметили и устранили его, что дало им возможность сделать целый переворот в общественной науке и особенно в социализме.

Недостаток этот заключается в том, что Фейербах, борясь со спекулятивной философией Гегеля, не обратил должного внимания на ее сильную сторону, состоявшую в том, что она рассматривала явления с *диалектической точки зрения,* — с точки зрения их развития, их возникновения и уничтожения. В Фейербаховом материализме почти со-всем не было отведено места диалектике, вследствие чего он оказывался

[1]) Пуддинг доказывается (или «испытывается»), тем, что его едят.

слабым всюду, где ему приходилось сталкиваться с *процессами развития.* Именно с этой стороны и подошли Маркс и Энгельс к критике философии Фейербаха. Но Чернышевский, как мы уже видели, сам имел односторонний взгляд на диалектический метод; он упустил из виду то, что составляло душу этого метода: обнаружение внутренней логики явлений. Поэтому главный недостаток Фейербахова материализма дает себя чувствовать и в его собственном миросозерцании. Подобно своему учителю, Чернышевский тоже плохо справлялся с вопросами развития. Вот яркий пример.

IV

Статья «Антропологический принцип философии» посвящена была не только защите *основных теорем* философии Фейербаха, но также указанию тех важных *следствий,* которые получаются, благодаря применению этих теорем к «нравственным» наукам. По словам Чернышевского, первым из этих следствий явилось устранение некоторых старых взглядов на поступки людей. Прежде поступки людей объяснялись их *«волей»:* человек поступает дурно потому, что обладает *злой волей;* он поступает хорошо потому, что *«хочет»* поступить так. Теперь приходится взглянуть на дело иначе.

Чернышевский утверждает, что дурной поступок, равно как и хороший, производится непременно каким-нибудь нравственным или материальным фактом или сочетанием фактов, а «хотение» является только субъективным впечатлением, которым сопровождается в нашем сознании возникновение мыслей, поступков или внешних фактов. Человеческий характер складывается под влиянием общественных отношений. «Вы вините человека, — говорит Чернышевский, — всмотритесь прежде, он ли в том виноват, за что вы его вините, или виноваты обстоятельства и привычки общества; всмотритесь хорошенько, быть может, тут вовсе не вина его, а только беда его». Против этого высокогуманного вывода возражать трудно. В нем сказывается *сильная* сторона Фейербахова материализма [1]). Столь же трудно возражать и против той мысли Чернышевского, что человек не добр и не зол по своей природе, а делается добрым или

[1]) Взгляд Чернышевского на этот вопрос сложился тоже под сильным влиянием Р. Оуэна. Но влияние этого последнего шло здесь *параллельно* влиянию Фейербаха. Притом же Р. Оуэн заимствовал свой взгляд на образование человеческого характера у французских материалистов XVIII в., преимущественно у *Гельвеция.*

злым в зависимости от обстоятельств. Если мы хотим, чтобы люди стали добрыми, то мы должны стараться поставить их в такие условия, которые способствовали бы развитию и упрочению в них добрых наклонностей. Чернышевский указывает на материальную нужду — даже прямо на недостаток в пище, как на главнейшую причину порчи человеческого характера. Здесь мы опять видим *сильную сторону* материалистической философии Фейербаха-Чернышевского. Но едва переходит наш автор к дальнейшему изложению своих верных мыслей, как перед нами обнаруживается *слабая сторона* его взгляда.

«При внимательном исследовании побуждений, руководящих людьми, — говорит он, — оказывается, что все дела хорошие и дурные, благородные и низкие, геройские и малодушные происходят во всех людях из одного источника: человек поступает так, как приятнее ему поступать, руководится расчетом, велящим отказываться от меньшей выгоды или меньшего удовольствия для получения большей выгоды, большего удовольствия». В подтверждение этой своей мысли Чернышевский приводит несколько примеров. И все они доказывают,

— т. е. собственно *должны* доказывать, — что человек всегда думает о себе, всегда руководится расчетом выгоды. Человек эгоист. И на эгоизме же основаны его суждения о добре и зле. «Отдельный человек называет добрыми поступками те дела других людей, которые полезны для него; во мнении общества добром признается то, что полезно для всего общества и для большинства его членов. Наконец, люди вообще, без различия наций и сословий, называют добром то, что полезно для человека вообще». Это так. Но, говоря это, Чернышевский подрывает свою собственную теорию эгоизма.

В самом деле, тут перед нами уже *два вида* эгоизма: эгоизм отдельного лица и эгоизм общества. И эти два эгоизма борются один с другим. Что же выходит? Руководясь своим *эгоизмом целого,* общество старается ослабить эгоизм своих составных *частей — эгоизм отдельных лиц.* Оно стремится воспитать своих членов так, чтобы они ставили общественный интерес выше своего частного интереса. И чем больше поступки данной личности будут удовлетворять этому требованию, тем самоотверженнее, нравственнее будет эта личность. А чем больше ее поступки будут противоречить этому требованию, тем своекорыстнее, тем безнравственнее она окажется. Вот критерий, который всегда — хотя и не всегда одинаково сознательно — применялся людьми в их суждениях о том, *эгоистичен* или же *альтруистичен* поступок данного лица. Конечно, целое, предъявляющее индивидууму свои тре-

бования не всегда одно и то же. Иногда его составляет все общество, иногда — отдельный класс, сословие, каста, племя и т. п. Но этим отнюдь не изменяется сущность дела. Эгоизм целого совсем не исключает альтруизма составных частей. Напротив, он обусловливает его собою.

Когда общество применяет свой критерий к оценке поступков отдельных лиц, оно хочет, чтобы действие, выгодное для интересов целого, было совершено отдельным лицом (или группой отдельных лиц) под влиянием его (или их) привязанности к целому, а не под влиянием его (или их) соображений о своей собственной пользе. Лицо, совершающее полезный для общества поступок под влиянием соображений

этого последнего рода, поступает, может быть, *умно,* но в его действии еще *нет нравственного элемента.* Воспитание человека в духе нравственности состоит именно в том, что для него становятся инстинктивной потребностью поступки, полезные для общества. И чем сильнее эта потребность, тем нравственнее это лицо. Героями называют таких людей, которые не могут не повиноваться такой потребности даже в тех случаях, когда ее удовлетворение идет вразрез с их самыми существенными личными интересами, — например, грозит им нищетою или смертью. Люди не делаются героями по расчету; героизм инстинктивен. Но всякий инстинкт есть плод длинного процесса развития. Нравственность, господствующая в данном обществе, создана длинным процессом общественного развития. Поэтому непременно должен держаться точки зрения общественного развития всякий, кто хочет разобраться в вопросах нравственности. Это обыкновенно забывали так называемые просветители: греческие просветители эпохи Сократа, французские просветители XVIII столетия и наши просветители шестидесятых годов [1]).

В романе «Что делать?» Лопухов утверждает, что у человека свое «я» всегда на первом месте. И это верно; но это еще ничего не доказывает. Когда человек размышляет о своих действиях; то он, конечно, не может отвлечься от *своего я;* но из этого еще не следует, что его действия непременно эгоистичны. То «я», которое видит свое удовольствие в благе людей, есть альтруистичное, а не эгоистичное «я». Черны-

[1]) В статье «О губернских очерках Щедрина» Чернышевский сам говорит «привычки и правила, руководящие обществом, возникают и сохраняются вследствие каких-нибудь фактов, независимых от воли человека, им следующего: на них надобно смотреть непременно с исторической точки зрения» (Соч.. III, 214). В своем учении о нравственности он, к сожалению, упустил из виду это действительно необходимое правило.

шевский хочет затушевать эту разницу. Но это удается ему лишь посредством паралогизма, который приводит его самого ко многим противоречиям.

В «Заметках о журналах» («Современник», январь 1857 года) он, определяя разницу между Печориным и Рудиным, говорит: «один

эгоист, не думающий ни о чем, кроме своих личных наслаждений; другой — энтузиаст, совершенно забывающий о себе и весь поглощаемый общими интересами; один живет для своих страстей, другой — для своих идей. Это люди... составляющие совершенный контраст один другому». Это опять так. Но ведь не по расчету же Рудин жил для своих идей, а Печорин для своих страстей?

Другой пример. Героиня романа «Что делать?» возмущается людьми, «привыкшими понимать слово «интерес» в слишком узком смысле обыденного расчета» (Сочинения, IX, с. 169). Выходит, стало быть, что расчет расчету рознь. Чем же отличается *необыденный* расчет от *обыденного?* На этот вопрос отвечает то же место романа: люди, придерживающиеся *необыденного* расчета, руководятся интересами своей совести.

Итак, все люди — эгоисты; но есть эгоисты, имеющие совесть, и есть эгоисты бессовестные. Это различение, как две капли воды, похоже на обычное различение эгоистов от альтруистов.

Учение Чернышевского о нравственности грешит излишней рассудочностью. Тот же грех и по той же общей, указанной выше, причине заметен и в его *исторических взглядах.*

V

В своей статье о Грановском Чернышевский указывает на отсталость исторической науки. «Антропология, — говорит он, — только еще начинает утверждать свое господство над отвлеченною моралью и одностороннею психологией» (Соч., II, 410).

Далее в той же статье он утверждает, что со временем влияние естественных наук на историю «должно сделаться неизмеримо сильным». Иначе он и не мог смотреть на этот вопрос: недаром же он говорил в статье «Антропологический принцип», что философия видит в человеке то же самое, что видят в нем естественные науки. Известно, что естественные науки видят в человеке животное, организм которого подчинен известным физиологическим законам. Вот отсюда и исходил Чернышевский в своих исторических рассуждениях.

Физиология говорит, что для нормального хода жизни животного необходимо нормальное удовлетворение потребностей его организма: «она строго различает хороший ход функций организма от дурного; аппетит и результат его, своевременное принятие пищи в количестве, соответствующем надобности организма, она относит к разряду фактов жизни, полезных для организма; голод и его результаты — к разряду фактов, вредящих организму» (Соч., т. X, ч. 2, отд. IV, стр. 217).

Чернышевский применяет этот общий взгляд к вопросу о культурном развитии человечества. Существуют факторы, содействующие хорошему ходу функций человеческого организма. Это — факторы, которыми обусловливается в последнем счете культурный прогресс. И, наоборот, есть факторы, вредно влияющие на указанные функции. Ими объясняются, в последней инстанции, регрессивные явления в области культуры. Если человечество все-таки довольно далеко ушло вперед по пути прогресса, то это объясняется тем, что факторы, *благоприятные* для правильного отправления функций организма, оказались сильнее факторов неблагоприятных.

Тут Чернышевский имеет в виду тот период в истории развития человечества, который надо назвать не только *доисторическим,* но, пожалуй, даже *докультурным,* — в настоящем смысле этого выражения, — потому что прогресс этого периода приводит лишь к умению делать каменные орудия труда, т. е., те орудия, которые составляют одно из самых первых культурных завоеваний человечества. И тут рассуждения нашего автора сохраняют строго материалистический характер, хотя его материализм обнаруживает подчас слишком мало диалектической гибкости. Но как только наш автор переходит к *истории* собственно так называемой, он покидает материалистическую точку зрения и становится идеалистом, очень нередко вызывающим, правда, глубокие материалистиче-ские мысли.

Чтобы понять, в силу чего совершается этот переход Чернышевского от материализма к идеализму, достаточно принять в соображение то обстоятельство, что факторы, обусловившие собою прогресс человеческой культуры, вызвали сильное развитие человеческого *мозга.* Мозг — *орган мысли.* Чем больше развивался

мозг, тем сильнее становилась мысль. Чем сильнее становилась мысль, тем правильнее делались *понятия людей.* Чем правильнее становились их понятия, тем более улучшался их *общественный строй.*

«Собственно превосходством ума и объясняется, — говорит Чернышевский, — весь прогресс человеческой жизни» (Там же, 182—183).

В основе свойственного Чернышевскому понимания истории лежит знаменитое положение Фейербаха: «человек есть то, что он ест (Der Mensch ist, was er iβt)». Хорошим питанием человеческого организма обеспечивается развитие мозга, которым, в свою очередь, обусловливается развитие правильных понятий, составляющих главную пружину исторического движения. *Это уже чистейший исторический идеализм.*

Таким образом Чернышевский остается материалистом до тех пор, пока не выходит из области вопросов «общего физиологического содержания». А как только перед ним возникают вопросы, «специально относящиеся к человеческой жизни», он немедленно становится идеалистом. Философия Фейербаха, имевшая чисто материалистический характер там, где речь шла об отношении субъекта к объекту, еще не способна была дать материалистическое объяснение истории. Поэтому сам Фейербах был, подобно Чернышевскому, идеалистом в своих исторических взглядах. То же приходится сказать и о французских материалистах XVIII столетия. Только Маркс сумел применить материализм к объяснению исторического движения человечества, и потому с Маркса начинается новая эпоха в развитии общественной науки.

При изучении исторических взглядов нашего автора легко впасть в ошибку вследствие некоторого *внешнего* сходства их со взглядами, характерными для исторического материализма.

Мы уже знаем, что в своем учении о нравственности он придавал преувеличенное значение человеческой расчетливости. То же мы видим и в его исторических рассуждениях. Он слишком склонен объяснять исторические события *сознательным расчетом их участников.* Такое объяснение может иногда показаться чисто

материалистическим. Но при несколько внимательном отношении к делу немедленно обнаруживается нечто прямо-противоположное. Видеть в исторической деятельности людей лишь следствие их сознательного расчета — значит обеими ногами стоять на почве того исторического идеализма, согласно которому *«мнение правит миром».* И чем чаще прибегал Чернышевский к объяснению исторического движения ссылкой на человеческую расчетливость, тем решительнее обнаруживался идеалистический характер свойственного ему понимания истории.

VI

Кто смотрит на историю с идеалистической точки зрения, тот, естественно, склонен придавать преувеличенное значение так назы-

ваемой у нас *интеллигенции,* т. е., собственно тем людям, специальность которых состоит в обращении с идеологиями. Это мы замечаем и у Чернышевского. Как велика была та роль, которую он приписывал интеллигенции, лучше всего видно из его рецензии на книгу Новицкого «Постепенное развитие древних философских учений в связи с развитием языческих верований» («Совр.», 1861 г., № 6, перепечатано в полном собрании сочинений).

В этой рецензии Чернышевский сравнивает историю человечества с военными походами. При военных походах появляются обыкновенно отсталые, число которых все более и более увеличивается по мере того, как все более и более подвигается вперед армия со своим генеральным штабом. При быстрых наступлениях бывает иногда так, что большинство солдат остается позади. Эти отсталые уже не участвуют в битвах и только обременяют собою своих, находящихся в строю товарищей, на плечи которых и падает вся тяжесть борьбы. Но когда их борьба оканчивается победой, когда враги приводятся к покорности, а победи- тели получают возможность отдохнуть, тогда отсталые мало-помалу нагоняют передовых, и, в конце концов, вся армия опять соединяется под своими знаменами, как это было в начале похода. То же самое заметно и в умственном развитии человечества. «Дело начинается постепенным выделением людей

высшего умственного развития из толпы, которая все дальше и дальше отстает от их быстрого движения. Но по достижении очень высоких степеней развития умственная жизнь передовых людей получает характер все более и более доступный простым людям, все больше и больше соответствующий простым потребностям массы, и вторая высшая половина исторической умственной жизни состоит по своему отношению к умственной жизни простолюдинов в постепенном возвращении того единства народной жизни, которое было при самом начале и которое разрушалось в первой половине движения».

Так происходит дело в истории умственного развития человечества, и тому, кто считает это развитие последней причиной исторического движения, лежащей глубже всех остальных его причин, вопрос должен представляться исчерпанным без остатка. Но исторический материалист взглянет на это дело совсем другими глазами.

Отсталая масса мало-помалу нагоняет интеллигенцию, постепенно усваивая истины, открытые этой последней. Хорошо. Но почему же она нагоняет интеллигенцию? Почему она усваивает эти истины? Приводимый Чернышевским пример с армией совсем не отвечает на эти во-

просы. Существуют вполне определенные причины, заставляющие отсталых солдат,— если они не окончательно развратились,— догонять действующую армию. Излишне было бы перечислять эти причины, так как они более или менее известны всякому. Но какие же причины заставляют отсталую массу догонять ушедшую вперед интеллигенцию? Чернышевский говорит: то обстоятельство, что истина, завоеванная интеллигенцией, сообразна с потребностями массы. А чем определяются эти потребности. Ясно, что не вновь открытою истиной, потому что их существование предшествует ее открытию. Чем же? Потребности всякого данного класса определяются его общественным положением. Стало быть, прежде чем говорить о соответствии завоеванной истины с потребностями массы, нам нужно определить общественное положение этой последней. А ее общественное положение определяется, как известно, общественно-экономическими отношениями. Таким образом вопрос о соответствии завоеванной

истины с потребностями массы вплотную приводит нас к вопросу об *экономике данного общества.* Но это еще не все. Общественная экономика не стоит на одном месте. Она развивается, и ее развитие имеет свою внутреннюю логику, в силу которой оно приобретает то или иное направление и идет более или менее быстрым ходом. Чем быстрее совершается экономическое развитие общества, тем скорее пробуждается масса от своей умственной спячки и тем доступнее делается она влиянию новых понятий. Значит, если отсталая масса более или менее быстро догоняет интеллигенцию, то на это есть совершенно определенная совокупность экономических причин. Но и это не все. Почему интеллигенция данной страны и данного времени сосредоточивает внимание на теоретических вопросах одного рода, а интеллигенция другой страны и другой эпохи обращается к вопросам совершенно другого порядка? Ответа и здесь нужно искать не в отвлеченных свойствах истины, а в преобладающем характере существующих в данной стране и в данную эпоху общественных (в последней инстанции — экономических) отношений. Наконец, интеллигенция далеко не всегда занимается вопросами, имеющими наиболее близкое отношение к потребностям массы. Иногда, напротив, она принимает гораздо ближе к сердцу вопросы, наиболее важные с точки зрения интересов тех, которые эксплуатируют и угнетают массу. Почему в одном случае бывает так, а в другом иначе, это опять объясняется не отвлеченными свойствами истины, а конкретными общественными отношениями данной страны и данной эпохи.

314

Мы видим теперь, что вопрос об отношении массы к интеллигенции, точно так же, как и дополнительный вопрос об отношении этой последней к массе, принимает при свете исторического материализма вид несравненно более сложный, нежели тот, в каком он представлялся Чернышевскому. Чернышевский и этот вопрос решал ссылкой на человеческую расчетливость: расчет заставит массу усвоить открытую интеллигенцией истину. «Мнение» — и главным образом расчет — «правит миром». Это — опять чисто идеалистический взгляд.

Но мы уже сказали, что в исторических рассуждениях нашего автора нередко встречаются очень глубокие *материалистические* мысли. Вот пример. В 1855 году в статье о «Пропилеях» Леонтьева он писал, оспаривая мнение Куторги, считавшего земледельческий быт первоначальным бытом человечества.

«Предания всех народов свидетельствуют о том, что прежде, нежели узнали они земледелие и сделались оседлыми, они бродили, существуя охотой и скотоводством. Чтобы ограничиться греческими преданиями и относящимися именно к Аттике, укажем на миф о Церере и Триптолеме, которого научила она земледелию — очевидно, что по воспоминаниям греческого народа нищенское и грубое состояние дикарей-охотников было первым, а с благоденствием оседлой земледельческой жизни познакомились люди уже впоследствии. Такие общие всем народам предания совершенно подтверждаются для всего европейского отдела индоевропейских племен исследованиями Гримма, которые справедливо считаются безусловно верными в своих главных выводах. То же самое прямым образом доказывают положительные факты, записанные в исторических памятниках: мы не знаем ни одного народа, который, став раз на степень земледельческого, ниспал потом в состояние одичалости, не знающей земледелия; напротив того, у многих из европейских народов достоверная история записала почти с самого начала весь ход распространения земледельческого быта» (Соч., I, 389). С фактической стороны тут есть некоторые неточности (племена, недавно перешедшие к земледелию, иногда покидают это занятие и возвращаются к охоте). Но это не важно. Во всяком случае верно то, что земледелие не есть первый шаг в развитии общественных производительных сил. Прав Чернышевский и в следующих строках: «У пастушеских народов, беспрестанно перекочевывающих с места на место, личная поземельная собственность недостаточна, стеснительна и потому не нужна. У них только община (племя, род, орда, улус, юрта) хранит границы своей области, которая остается в нераздельном пользовании у всех ее чле-

нов; отдельные лица не имеют отдельной собственности. Совершенно не то в земледельческом быте, который делает необходимостью личную поземельную собственность. Потому-то от кочевого состояния ведет начало связь земли с племенными и впоследствии с государственными правами» (Там же, 389). Тут очень хорошо указана причинная зависимость правовых учреждений общества от его экономического строя. А вот место, показывающее, что наш автор умел связать с экономикой всю внутреннюю жизнь.

В своих «Очерках политической экономии» он, дав анализ существующего в современном обществе «трехчленного распределения продуктов», писал: «Мы видели, что интересы ренты противоположны интересам прибыли и рабочей платы вместе. *Против сословия, которому выделяется рента, средний класс и простой народ всегда были союзниками.* Мы видели, что интерес прибыли противоположен интересу рабочей платы. Как только одерживают в своем союзе верх над получающим ренту классом сословие капиталистов и сословие работников, история страны получает главным своим содержанием борьбу среднего сословия с народом» (Курсив наш. Соч., VII, 415).

История идей местами тоже освещается у Чернышевского ярким светом материализма. Это особенно видно на его рассуждениях об истории политической экономии. По его словам, экономисты школы А. Смита были представителями стремлений среднего класса (или, как он выражается, *сословия).* Нынешние экономические отношения выгодны для этого класса. «Потому школа, бывшая представительницей ею. и находила, что формы эти — самые лучшие по теории; натурально, что при господстве такого направления являлись многие писатели, высказывавшие общую мысль еще с большею резкостью, называвшие формы эти вечными, безусловными» (Соч., VIII, 137). Когда о вопросах политической экономии стали задумываться люди, бывшие представителями массы, тогда явилась в науке другая экономическая школа, которую зовут, неизвестно на каком основании, как замечает Чернышевский, школой утопистов. С появлением этой школы экономисты, представлявшие интересы среднего класса, увидели себя в положении консерваторов. Когда они выступали против средневековых учреждений, противоречащих ин-

тересам среднего класса, они взывали к разуму. А теперь к разуму стали взывать, в свою очередь, представители массы, не без основания упрекавшие представителей среднего класса в непоследовательности. «Против средневековых учреждений, — говорит Чернышевский, — разум был для школы Адама Смита превосходным орудием, а на борьбу с новыми про-

тивниками это оружие не годилось, потому что перешло в их руки и побивало последователей школы Смита, которым прежде было так полезно» (Там же, стр. 139). Вследствие этого ученые представители среднего класса перестали ссылаться на разум и начали ссылаться на историю. Так возникла историческая школа в политической экономии, одним из основателей которой был Вильгельм Рошер.

Чернышевский утверждает, что такое объяснение истории экономической науки несравненно более правильно, нежели обычное ее объяснение с помощью ссылок на больший или меньший запас знаний у той или другой школы. Он насмешливо замечает, что это второе объяснение похоже на тот способ, каким оценивают учеников на экзаменах: такую-то науку данный ученик знает хорошо, такую-то плохо. Дело не в сведениях, а в том, каковы чувства данного мыслителя или той группы людей, которую он представляет. Фурье знал историю не лучше, нежели Сей, а между тем пришел совсем к другим, нежели он, выводам.

С этим охотно согласится всякий последователь исторического материализма. Не «сознание» определяет собою «бытие», а «бытие» определяет собою «сознание». Это положение, составляющее основу гносеологии Фейербаха, применяется Чернышевским к объяснению внутренней жизни новейшего европейского общества, существующих в нем экономических теорий и даже (в другом месте, нами здесь не приводимом) к его философии. Но мы уже знаем, что в объяснении истории *материализм* очень скоро превращается у Чернышевского, как и у самого Фейербаха, *в идеализм.* И замечательно, что материализм Фейербаха-Чернышевского тем скорее уступает в исторической области место идеализму, чем более он хочет оставаться верным самому себе.

Чернышевский объясняет внутреннюю жизнь европейского общества и его умственную историю (по крайней мере, некоторые страницы этой истории) господствующими в ней экономическими отношениями. Но эти отношения представляются ему под углом экономического «интереса»; а «интерес» отождествляется им со знакомым уже нам *«расчетом»,* который, как операция рассудка, немедленно возвращает нас к той идеалистической теории, согласно которой «мнение правит миром». Когда Чернышевский ищет разгадки общественных явлений в экономике, он не покидает того убеждения, что мир управляется мнениями, а только точнее определяет, какой именно категории мнений принадлежит руководящая роль в истории мира; он думает, что эта категория составляется из *тех мнений,* которые имеются у людей насчет их собственного *«интереса».* Таким образом его философия истории сближается с его учением

о нравственности: и там и тут мы находим замечательные зародыши материалистического объяснения; но и там и тут зародыши эти остаются неразвитыми.

VII

Совершенно то же самое видим мы и в эстетической теории нашего автора.

По учению Фейербаха предмет в его истинном смысле дается лишь ощущением.

Фейербах говорит: «чувственность, или действительность, тождественна с истиной». Он утверждает также, что чувства говорят все, но, чтобы уметь читать их показания, надо уметь связывать эти показания одно с другим. «Думать — значит уметь связно читать евангелие чувств».

Идеалистическая философия пренебрежительно относилась к свидетельству наших органов чувств. Она полагала, что представления о предметах, основанные лишь на чувственном опыте, не соответствуют действительной природе предметов и должны быть проверены с помощью чистого мышления. Фейербах решительно восстал против этого. Он находил, что если бы наши

представления о предметах основывались лишь на нашем чувственном опыте, то они, наоборот, вполне соответствовали бы истине. Но беда в том, что наша фантазия часто искажает наши представления, которые поэтому приходят в противоречие с чувственным опытом. Задача философии заключается в том, чтобы изгнать фантастический элемент из наших представлений. «Сначала люди видят вещи не такими, каковы они на самом деле, а такими, какими они кажутся, — говорит Фейербах; — люди видят не вещи, а то, что они вообразили о них, приписывают им свою собственную сущность, не различают предмета от своего представления о нем. Только в самое последнее время человечество начинает возвращаться к неискаженному фантазией объективному созерцанию чувственного».

И тем самым оно возвращается к самому себе. Потому что люди, занимающиеся лишь вымыслами и абстракциями, сами могут быть только фантастическими и абстрактными, а не действительными существами.

Примените это учение Фейербаха (изложенное в 43 § его «Grundsätze») к эстетике, и вы получите эстетическую теорию Чернышевского. Если сущность человека — «чувственность», т. е. действительность, а не вымысел и не абстракция, то всякое превознесение вымысла и аб-

стракции над действительностью не только ошибочно, но и вредно на практике. И если задача философии заключается в реабилитации действительности, то в такой же реабилитации заключается и задача эстетики, как особой отрасли философского мышления. Этот неоспоримый вывод и составляет главную мысль диссертации Чернышевского об «Эстетических отношениях искусства к действительности».

Теория эстетики, выросшая на почве Гегелевского идеализма, доказывала, что искусство имеет своим источником стремление людей освободить прекрасное, существующее в действительности, от недостатков, мешающих ему вполне удовлетворять человека.

Чернышевский, опираясь на материализм Фейербаха, держится прямо противоположного взгляда. Он думает, что прекрасное в действительности всегда выше прекрасного в искусстве. Для доказательства этого он подробно разбирает все «упреки, делаемые прекрасному в действительности» Фишером, который был тогда самым видным представителем идеалистической эстетики в Германии. И он приходит к тому выводу, что прекрасное, как оно существует в живой действительности, или совсем не имеет недостатков, находимых в нем идеалистами, или же имеет их в слабой степени. К тому же от таких недостатков несвободны и произведения искусства. Напротив, все недостатки прекрасного, существующего в действительности, принимают в произведениях искусства гораздо бóльшие размеры. Чернышевский доказывает, что ни один род искусства не может соперничать с действительностью по красоте своих произведений. А это значит, что искусство, и не могло иметь своим источником стремление освободить прекрасное от недостатков, будто бы присущих ему в действительности и будто бы мешающих людям наслаждаться им. Произведения искусства — суррогат прекрасного в действительности: они знакомят с прекрасным явлением тех, которые его не видали; они вызывают воспоминание о нем у тех, которые его видели.

Цель искусства состоит не в исправлении, а в воспроизведении прекрасного, существующего в действительности. К этому надо прибавить, что сфера искусства гораздо шире, нежели сфера прекрасного. Искусство воспроизводит все те явления действительной жизни, которые почему-либо интересны для людей. Чернышевский поясняет, что под действительной жизнью надо понимать не только отношение человека к предметам и существам внешнего мира, но и его внутреннюю жизнь: «иногда человек живет мечтами — тогда мечты имеют для него... значение чего-то объективного; еще чаще человек живет в мире своего чув-

ства; эти состояния, если достигают интересности, также воспроизводятся искусством».

Многие произведения искусства не только показывают нам жизнь, ко и объясняют нам ее. Поэтому они служат для нас учебником жизни. Чернышевский находит, что «особенно следует сказать это о поэзии».

Наконец, наш автор приписывает искусству еще значение «приговора мысли о воспроизводимых явлениях». Художник, если он мыслящий человек, не может не судить о том, что он воспроизводит, и его суждение непременно отразится на его творчестве. Заметим мимоходом, что это третье значение искусства трудно отграничить от второго: художник не может произнести перед нами свой приговор над явлениями жизни, оставляя нас в неизвестности насчет того, как он их понимает, т. е. не объясняя их.

В своей знаменитой статье «Разрушение эстетики» Писарев говорит, что Чернышевский взялся за свою диссертацию с коварной целью погубить эстетику, разбить ее всю на мелкие кусочки, потом все эти кусочки превратить в порошок и развеять этот порошок на все четыре стороны. Это совсем не верно. Принимаясь за свою диссертацию, Чернышевский вовсе не собирался погубить эстетику. Наоборот. Цель его заключалась в том, чтобы дать ей твердое философское (или, что для него было то же самое,— научное) основание. Поэтому он совсем не лицемерил, когда в своей статье о «Пиитике» Аристотеля, напечатанной в IX кн. «Современника» за 1854 г., горячо защищал эстетику от ее недоброжелателей, утверждавших, что не следует заниматься ею, как наукой отвлеченной и потому неосновательной. И не трудно понять, почему он не мог согласиться с «недоброжелателями» эстетики. Он дорожил ею, как орудием *реабилитации действительности,* как средством борьбы с теми мечтами, которыми «иногда живет человек» и которые мешают ему смотреть трезвыми глазами на действительность. Иначе сказать, он хотел воспользоваться эстетикой, — предварительно поставленной на твердое научное основание, — для своих целей пропагандиста передовых идей — *«просветителя».*

Взгляд на эстетику, как на орудие реабилитации действительности, сближал Чернышевского с Белинским, который к концу своей жизни тоже пришел к философии Фейербаха и тоже ставил перед

литературой задачу точного изображения действительной жизни (особенно в двух своих последних годовых обзорах русской литературы). Подобно Чернышевскому, Белинский в последний период своей литературной деятельности отрицал теорию искусства для искусства и весьма сочувствен-

но относился к тем художникам, принадлежавшим к так называвшейся тогда натуральной школе, которые не отказывались произносить свой «приговор» над явлением действительности и произведения которых могли служить «учебником жизни». Вообще Чернышевский был в нашей литературе лишь наиболее законченным представителем того типа просветителей, родоначальником которого в значительной степени являлся в последние годы своей деятельности Белинский. В некоторых литературных суждениях Белинского замечается та же рассудочность просветителя, которая особенно дает себя чувствовать в критических статьях Чернышевского и которая дала повод ко многим, очевидно ошибочным, но по-своему логичным, выводам Писарева. Если назначение искусства заключается в том, чтобы служить «учебником жизни», то, находясь в известном настроении, можно спросить себя, какие учебники скорей достигнут своей цели: те ли, которые будут написаны *художниками,* или же те, за составление которых возьмутся талантливые *публицисты.* Писарев — сам человек большого публицистического таланта — решил этот вопрос в пользу публицистов и провозгласил «разрушение эстетики».

Взяв за точку исхода материалистическую философию Фейербаха, Чернышевский и в эстетике скоро пришел к идеалистическим выводам. Его диссертация говорит не о том, почему у людей одной эпохи и одного общественного класса существуют одни эстетические понятия, а у людей другого времени и другого общественного положения — другие. Она не занимается обнаружением причинной связи между условиями жизни людей и их эстетическими вкусами. Ее внимание сосредоточивается не на том, что есть, и не на том, что было, а на том, что должно было бы быть, и на том, что в самом деле было бы, если бы люди стали прислушиваться к голосу «разума».

Но зато в эстетике Чернышевского — опять как и в его исторических взглядах — мы встречаем много зачатков совершенно материалистического понимания явлений. В его диссертации есть блестящие страницы, относящиеся к тому вопросу, который, вообще говоря, обходится в ней, как второстепенный или даже третьестепенный: к вопросу о причинной зависимости эстетических вкусов от условий общественной жизни. Если бы он захотел обдумать этот вопрос со всех его сторон, то он оказался бы, по крайней мере, на пути к тому, чтобы совершить величайший переворот в эстетике, т. е. окончательно изгнать из нее идеализм и сделать ее материалистической. Но тот материалистический метод, которого он держался, был еще недостаточно разработан. А

кроме того, Чернышевский в качестве «просветителя» интересовался не столько теорией, сколько вытекавшими из нее практическими выводами. Поэтому, бросив мимоходом несколько ярких лучей света на вопрос о зависимости *«сознания»* от *«бытия»* в области эстетики, он отворачивался от этого теоретического вопроса и спешил дать своим читателям побольше практических советов по части разумного отношения к действительности.

Мы не можем входить здесь в подробности изложения взглядов Чернышевского на отдельных русских писателей. Отметим только его отношение к Пушкину, которого он вслед за Белинским (см. статьи этого последнего «О Пушкине») считал *поэтом формы.*

С Гоголя начался, по его мнению, новый литературный период, главная особенность которого заключается в том, что *форма* уже не имеет преобладающего значения, так как теперь выступает на первый план содержание. Эту смену хорошо выяснил Белинский, взгляды которого Чернышевский подробно и с величайшим сочувствием изложил в своих замечательных «Очерках Гоголевского периода русской литературы». Продолжая деятельность Белинского, как родоначальника наших просветителей, Чернышевский особенно дорожил теми произведениями художественной литературы, которые могли служить «учебниками жизни». И под его влиянием наша литературная критика в течение многих лет усердно исполняла роль

педагога, объясняющего читателю смысл таких «учебников». Известно, что наиболее блестящим представителем «публицистической» критики был у нас Добролюбов. Говоря о нем, Чернышевский всегда ставил его выше себя. На самом же деле Добролюбов превосходил его разве лишь силою литературного таланта, да и то не во всех отношениях: Добролюбов никогда не был таким могучим полемистом, как Чернышевский. Что же касается теоретической силы ума, то в этом отношении Чернышевский стоял несомненно выше Добролюбова.

Литературная критика, в особенности дорожащая такими художественными произведениями, которые могли бы служить «учебниками жизни», естественно, должна требовать от беллетристики *возможно более точного воспроизведения действительности.* И Чернышевский в самом деле требовал от нее такого воспроизведения. В этом случае он опять шел за Белинским. Но для его настроения как нельзя более характерно то, что его уже не удовлетворяла та манера изображения действительности, какою отличалась *«натуральная школа».* Эта манера казалась ему все-таки недостаточно правдивой. Вот почему он с таким большим сочувствием встретил вышедшее в 1861 г. отдельное издание

рассказов Н. В. Успенского. По его поводу он поместил в ноябрьской книжке «Современника» за тот же год чрезвычайно характерную для него статью «Не начало ли перемены?». Он хвалил рассказы Н. В. Успенского за то, что в них не было того «прикрашивания народных нравов и понятий», какими грешили посвящаемые народу произведения натуральной школы, например, очерки Тургенева и Григоровича. В лице Н. В. Успенского Чернышевский приветствовал появление нового слоя писателей, смотрящих на крестьянина такими же трезвыми глазами, как на людей всех других сословий. Чернышевский доказывает своим читателям, что так и должно быть. «Забудемте же,— говорит он, — кто светский человек, кто купец или мещанин, кто мужик; будемте всех считать просто людьми и судить о каждом по человеческой психологии, не дозволяя себе утаивать перед самими собой истину ради мужицкого звания».

Критика 70-х годов не поняла этого отношения Чернышевского к Н. В. Успенскому, да кстати не поняла и самого Н. В. Успенского; рассказы этого последнего представля-лись ей каким-то бесцельным издевательством над крестьянином. На самом деле Н. В. Успенский был далек от такого издевательства. Наша «передовая» критика 70-х годов в своих общественных взглядах стояла на точке зрения народничества, хотя и не всегда сознавала это. А народничество искало в крестьянском быту таких условий, которые могли бы послужить объективной опорой для социалистических стремлений интеллигенции. Естественно поэтому, что народникам, равно как и литературной критике, находившейся всецело или отчасти под их влиянием, не нравились такие произведения, в которых народ, по выражению Чернышевского, изображался *простофилей.* Но то, что не нравилось народникам, очень по душе пришлось нашим «просветителям» 60-х годов.

Рассказы Н. В. Успенского нимало не смущали «просветителей». Правда, крестьянин, выводимый в этих рассказах, очень бестолков. «Но какой же мужик превосходит нашего быстротою понимания? — спрашивает Чернышевский. — Огромное большин-ство людей всех сословий и всех стран живет рутиною и обнаруживает крайнюю несо-образительность, едва только случится ему выйти из круга своих обычных представ-лений. Думает своим умом разве только один человек на тысячу».

Тут перед нами уже знакомый нам взгляд на массу, как на отсталую часть «действующей армии». И может показаться непонятным, каким образом люди, державшиеся такого взгляда, могли приурочивать

к самодеятельности народа хоть одно из своих революционных упо-ваний. Это недоумение разъясняется следующими словами Чернышев-ского:

«Рутина господствует над обыкновенным ходом жизни дюжинных людей и в простом народе, как во всех других сословиях; в простом на-роде рутина так же тупа, пошла, как во всех других сословиях... Но не спешите выводить из этого никаких заключений о состоятельности или несостоятельности ваших надежд, если вы желаете улучшения

судьбы народа, или ваших опасений, если вы до сих пор находили себе интерес в народной тупости и вялости. Возьмите самого дюжинного, самого бесцветного, слабохарактерного человека: как бы апатично и мелочно ни шла его жизнь, бывают в ней минуты совершенно другого оттенка: минуты энергических усилий, отважных решений. То же самое встречается и в истории каждого данного народа».

Таковы были общие соображения, позволявшие в начале 60-х годов Чернышевскому и его единомышленникам считать вполне возможным и даже вероятным взрыв в среде крестьянства, ждавшего себе «настоящей» воли и неудовлетворенного тем, что давало ему 19-е февраля. Нельзя не признать, что эти общие соображения были весьма отвлеченны.

Для характеристики образа мыслей Чернышевского полезно будет сопоставить с только что приведенными отрывками статьи «Не начало ли перемены?» некоторые места из второй части его написанного в Сибири романа «Пролог».

Там Левицкий (Добролюбов) после свидания с Волгиным (Чернышевским) заносит в свой дневник: «Он не верит в народ. По его мнению, народ так же плох и пошл, как общество» (Соч., X, ч. 1, отд. II, 215—216). Если мы не ошибаемся, это значит, что, согласно воспоминаниям самого Чернышевского, его взгляд на народ показался Добролюбову полным «неверием». И нельзя удивляться такому взгляду: он сложился у Чернышевского в эпоху, последовавшую за крушением всех надежд, вызванных революцией 1848 года. Эта эпоха характеризуется полной подавленностью западноевропейского пролетариата. Нечего и прибавлять, что русское крестьянство тоже не давало тогда никаких оснований рассчитывать на его самодеятельность. Ввиду этого Чернышевскому, как и всем людям его образа мыслей, оставалось уповать лишь на отдельных мыслящих людей, принадлежавших к интеллигенции. Это не помешало ему, как мы знаем, бодро смотреть в будущее: он верил в торжество разума, носительницей которого и представля-

лась ему интеллигенция. Но когда он делал попытку представить себе тот путь, каким разум придет к своему торжеству, то его предполо-

жения сразу становились весьма неопределенными. Его исторические ожидания не связывались с ростом какой-нибудь определенной общественной силы или нескольких общественных сил. Потому в них отводилось слишком большое место *случайности.* Чтобы убедиться в этом, достаточно прочесть следующее место из цитированной уже II части романа «Пролог» (Дневник Левицкого). Читатель должен помнить, что в этом месте Левицкий (Добролюбов) записал слова, обращенные к нему Волгиным (Чернышевским), и рассказ ведется от лица Левицкого:

«Придет серьезное время. Когда? Я молод, потому для вопроса обо мне все равно, когда оно придет: во всяком случае оно застанет меня еще в полном цвете сил, если я сберегу себя. Как придет?

«Шансы будущего различны. Какой из них осуществится? Не все ли равно? Угодно мне слышать его личное предположение о том, какой шанс вероятнее других? Разочарование общества и от разочарования новое либеральничание в новом вкусе, по-прежнему мелкое, презренное, отвратительное для всякого умного человека с каким бы то ни было образом мыслей... И будет развиваться, развиваться все подло и трусливо, пока где-нибудь в Европе,— вероятнее всего, во Франции,— не подымется буря и не пойдет по всей Европе, как было в 1848' г. В 1830 году буря прошумела только по Западной Германии; в 1848 году захватила Вену и Берлин. Судя по этому, надобно думать, что в следующий раз захватит Петербург и Москву».

Тут Волгин гадает о тех бурях, которые предстоит пережить Левицкому. Надобно полагать, что в том же роде гадал он и о самом себе. Если он по окончании университетского курса на несколько лет удалился в Саратов, то это произошло, вероятно, потому, что глухое затишье последних лет царствования Николая I справедливо казалось ему неблагоприятным для выступления на арену общественной деятельности. Он решил ждать более благоприятных *«шансов»,* работая лично над собой и над теми преимущественно молодыми людьми, с которыми ему приходилось сталкиваться. Саратов он оставил в 1853 году лишь потому, что женитьба заставила его искать в столице лучшего заработка. «Передряга Крымской войны» открыла перед ним более широкие перспективы; но и после нее он в течение

нескольких лет продолжал смотреть на положение дел глазами скептика, не верившего в возможность у нас широкого народного движения. Только крестьянские

волнения, сопровождавшие отмену крепостного права, сделали такое движение вполне возможным, а может быть, даже и неизбежным в его глазах. Но не следует думать, что он в свои молодые годы предпочитал *революционный* путь *мирному.* Из «Дневника Левицкого» видно, что, по тогдашнему мнению Чернышевского, было бы гораздо лучше, если бы все обошлось у нас «тихо, мирно».

VIII

Таким его мнением в значительной мере и объясняются многие его публицистические статьи названной эпохи. Вот, например, что писал он в статье «Борьба партий во Франции при Людовике XVIII и Карле X» (Современник», 1858 г., №№ 8 и 10):

«У либералов и демократов существенно различны коренные желания, основные побуждения. Демократы имеют в виду по возможности уничтожить преобладание высших классов над низшими в государственном устройстве, с одной стороны, уменьшить силу и богатство высших сословий, с другой — дать более веса и благосостояния низшим сословиям. Каким путем изменить в этом смысле законы и поддержать новое устройство общества, для них почти все равно. Напротив того, либералы никак не согласятся предоставить перевес в обществе низшим сословиям, потому что эти сословия по своей необразованности и материальной скудости равнодушны к интересам, которые выше всего для либеральной партии, именно к праву свободной речи и конституционному устройству. Для демократа наша Сибирь, в которой простонародье пользуется благосостоянием, гораздо выше Англии, в которой большинство народа терпит сильную нужду. Демократ из всех политических учреждений непримиримо враждебен только одному — аристократии; либерал почти всегда находит, что только при известной степени аристократизма общество может достичь либерального устройства. Потому либералы обыкновенно питают к демократии смертель-

ную неприязнь, говоря, что демократизм ведет к деспотизму и гибелен для свободы».

Тут необходима одна терминологическая поправка. *Для демократа, стремящегося к «народоправству», совсем не безразличен вопрос о политическом устройстве.* Как человек очень образованный, Чернышевский, разумеется, знал это. Поэтому надо предположить, что, говоря о «демократах», он имел в виду не их, а социалистов: мы уже знаем, что цензура нередко принуждала его говорить эзоповским языком. Те со-

циалисты, учения которых были известны Чернышевскому (так называемые теперь социалисты-утописты), в самом деле были, за весьма немногими исключениями, равнодушны к политике, и им в самом деле было «почти все равно», при каких политических условиях не началось бы осуществление их реформаторских планов. Чернышевский — который сам стоял на почве утопического социализма — мог, под влиянием выше указанного своего настроения, нисколько не изменяя своим взглядам, отодвигать вопросы политического устройства на задний план и даже предпочитать Сибирь Англии. Но все, что говорится им на этот счет, имеет смысл именно только в применении к социалистам-утопистам, а не к демократам.

Далее он развивает свою мысль с помощью доводов, еще лучше освещающих политическую сторону его миросозерцания. Народ не имеет возможности пользоваться политической свободой, так как во всех странах большинство его безграмотно. С какой же стати будет он дорожить правом свободной речи? Нужда и невежество осуждают его на полное непонимание государственных дел. С какой же стати будет он интересоваться парламентскими прениями? Чернышевский категорически утверждает, что «нет такой европейской страны, в которой огромное большинство народа не было бы совершенно равнодушно к правам, составляющим предмет желаний и хлопот либерализма». Вот почему либерализм везде бессилен.

Это те самые положения, с которыми на каждом шагу встречается человек, изучающий историю утопического социализма. Утопический

социализм никогда не мог разрешить ту антиномию, первая половина которой гласит, что народная масса, по своей бедности и по своему невежеству, не может интересоваться политикой, а вторая констатирует, что все серьезные политические преобразования совершались лишь при серьезной поддержке со стороны народной массы. Поэтому ни один из основателей утопических систем не имел *политической* программы. По той же причине практические планы социалистов - утопистов никогда не обладали широким — национальным, как говорят теперь на Западе — характером: все они сводились к основанию частными средствами земледельческих колоний, производительных ассоциаций и т. п. Спустя совсем немного лет после появления статьи «Борьба партий во Франции» европейский пролетариат, в лице наиболее сознательных своих элементов, громко заявил, что смотрит на политическую борьбу как на средство для осуществления своих экономических целей. Первый же манифест Международного товарищества рабочих гласит, что «первый долг

рабочего класса заключается в завоевании политического могущества». Скажем больше. В то время, когда началась литературная деятельность Чернышевского, даже некоторые социалисты - утописты — например, некоторые французские ученики Фурье — поставили перед собой уже довольно определенные политические задачи. Но Чернышевский, как видно, еще не дал себе отчета в этом, тогда еще мало заметном, повороте социалистической мысли. Он продолжал смотреть на политику глазами человека, совершенно не верящего в политическую самодеятельность массы. Пока он считал возможным заставить русское правительство прислушаться к голосу «демократов», он готов был совершенно игнорировать те стороны общественного быта, которыми *Англия* далеко превосходит *«нашу Сибирь».* А когда он убедился, что правительство останется глухо к доводам «демократов»,— к большой чести его приходится заметить, что он убедился в этом раньше всех остальных выдающихся публицистов того времени, например, Герцена и Бакунина, — тогда ему оставалось одно: обратиться к «действующей армии» человечества, т. е. к интеллигенции.

Но, обращаясь к ней, он не мог не сознавать, что ее силы слишком слабы для непосредственного политического действия. Поэтому, когда ему приходилось заводить с нею разговор о политических вопросах, — преимущественно в «Политических обозрениях», печатавшихся в том же «Современнике»,— он старался осветить эти вопросы *гораздо больше с отвлеченной точки зрения теории, нежели с точки зрения* непосредственной задачи минуты. И это нередко подавало повод к большим недоразумениям. Наши тогдашние либералы искренне считали его защитником абсолютизма.

Вот пример. В апреле 1862 г. Чернышевский, говоря о столкновении правительства с палатой депутатов в Пруссии, насмехается над прусскими либералами, наивно удивлявшимися, по его словам, тому, что правительство не делает им добровольных уступок. «Мы находим, — говорит он, — что прусскому правительству так и следовало поступить». Наивный читатель, которого наш Чернышевский окрестил в своем романе «Что делать?» именем *проницательного читателя,* недоумевал: как же это «следовало поступить»? Стало быть, Чернышевский ополчается на защиту деспотизма? Но само собой понятно, что на защиту деспотизма Чернышевский никогда не ополчался, а только хотел воспользоваться прусскими событиями для сообщения более догадливым из своих читателей правильного взгляда на то главнейшее условие, от кото-

рого зависит в конечном счете исход всех крупных политических столкновений. А это условие заключается вот в чем:

«Как споры между различными государствами ведутся сначала дипломатическим путем, точно так же борьба из-за принципов внутри самого государства ведется сначала средствами гражданского влияния или так называемым законным путем. Но как между различными государствами спор, если имеет достаточную важность, всегда приводит к военным угрозам, точно так и во внутренних делах государства, если дело немаловажно».

Сила есть последняя инстанция во всех крупных исторических тяжбах. Это не значит, что всякий тяжущийся должен немедленно прибегать к силе. Но это значит, что всякий тяжущийся должен

стараться увеличить свою силу. Так смотрел Чернышевский. И он был прав, говоря, что прусские либералы хотели, чтобы конституционный порядок утвердился сам собою. Они не только не прибегли к решительным действиям, — за это нельзя было бы их винить, так как при тогдашнем соотношении общественных сил такие действия, наверно, привели бы их к поражению, — но в принципе осуждали всякую мысль о таких действиях. А это значит, что они препятствовали такой перемене в соотношении общественных сил, которая позволила бы им прибегнуть к решительным действиям даже и в будущем. И этим ясно обнаруживается их политическая несостоятельность.

Замечательно, что именно в то время, когда Чернышевский осмеивал прусских либералов в «Современнике», Лассаль громил их в своих речах. И еще более замечательно, что германский агитатор, иногда теми же словами, что и Чернышевский, указывал на соотношение общественных сил, как на истинную основу политического строя каждого данного государства.

Отмечая это замечательное сходство, мы считаем, однако, нужным сказать и то, что взгляд Лассаля на «Сущность конституции» далеко не во всем совпадает со взглядом Чернышевского. Когда Лассаль определял понятие: «общественная сила», он не довольствовался ссылкой на взгляды людей. Он анализировал те общественные причины, которыми определяется развитие этих взглядов, и в конце концов приходил к *общественной экономике.* Не то у Чернышевского. На вопрос: «что такое сила?» он отвечал, что в теории сила дается логикою, а на практике она зависит от того, на чьей стороне большинство, которое живет рутиной и мысли которого представляют совсем не логическую связь взаимно противоречивых принципов. Вот почему в конституционных государ-

ствах власть принадлежит так называемым умеренным людям, т. е. людям непоследовательного образа мыслей. Стало быть, анализ Чернышевского останавливается на *образе мыслей людей,* не углубляясь в те общественные причины, которыми он определяется. Чернышевский и тут не идет далее идеалистического принципа:

«мнение правит миром», между тем как Лассаль доходит до исторического материализма.

Когда Чернышевский еще верил в то, что правительство может последовать его указаниям, его публицистические статьи имели совершенно другой характер. Тогда ему нужно было разъяснять не общие принципы, а известные практические возможности. И он внимательно, почти педантично, рассматривал эти возможности. Так было, например, когда он обсуждал крестьянский вопрос и когда он взвешивал возможные на практике условия выкупа наделов. Тут он сразу предлагал иногда по нескольку до мелочей разработанных планов выкупав. Относящиеся сюда статьи его очень важны для характеристики приемов его мысли, напоминающих в этом случае приемы мысли Р. Оуэна, который тоже любил до мелочей разрабатывать свои практические планы.

Раз заговорив об относящихся к крестьянскому вопросу статьях Чернышевского, мы находим полезным напомнить читателю о знаменитых статьях в защиту общины. Самой замечательной из этих статей является блестящая статья «Критика философских предупреждений против общинного землевладения». Обыкновенно она принимается как безусловная защита нашей крестьянской общины. Но это ошибка. В этой статье надо различать два элемента: во-первых, теоретические принципы, говорящие, по мнению Чернышевского, в пользу общественной собственности на все средства производства (а не на одну только землю); во-вторых, соображения, относящиеся к вероятной судьбе поземельной общины в России. Что касается общих принципов, то Чернышевский с большим жаром и с непоколебимым убеждением защищает их, опираясь на Гегеля, утверждавшего, что третья и конечная фаза развития походит на первую его фазу: первой фазой развития собственности был коммунизм диких народов; поэтому надо думать, что последней его фазой будет коммунизм, опирающийся на все приобретения цивилизации. Что же касается соображений о вероятной судьбе общины в России, то Чернышевский говорит о ней совершенно другим тоном, и уже в начале его статьи мы встречаем горькие, полные разочарования строки.

Это странное на первый взгляд обстоятельство объясняется не силой доводов, выставленных его противниками, а причинами совершенно другого свойства.

«Предположим, — говорит Чернышевский, обращаясь к своему любимому способу объяснения посредством «парабол», — предположим, что я был заинтересован принятием средств для сохранения провизии, из запаса которой составляется вам обед. Само собой разумеется, что если я это делал собственно из расположения к вам, то моя ревность основывалась на предположении, что провизия принадлежит вам и что приготовляемый из нее обед здоров и выгоден для вас. Представьте же себе мои чувства, когда я узнаю, что провизия вовсе не принадлежит вам и что за каждый обед, приготовленный из нее, берутся с вас деньги, которых не только не стоит самый обед, но которых вы вообще не можете платить без крайнего стеснения. Какие мысли приходят мне в голову при этих столь странных открытиях?.. Как я был глуп, что хлопотал о деле, для которого не обеспечены условия! Кто, кроме глупца, может хлопотать о сохранении собственности в известных руках, не удостоверившись прежде, что собственность достанется в эти руки и достанется на выгодных условиях?.. Лучше пропадай все дело, которое приносит вам только разорение! Досада за вас, стыд за свою глупость — вот мои чувства».

В этих горьких словах сказывается ясное сознание Чернышевским того, что его надежда на благоразумие правительства в деле решения крестьянского вопроса была совершенно не основательна. Земля доставалась крестьянам на таких тяжелых для них условиях, которые делали ее не источником их благосостояния, а, наоборот, новой тяготой для них. Поэтому Чернышевский считал бесполезным спорить о том, каковы будут у нас формы крестьянского землевладения. Более того. Он даже стал находить, что лучше было бы, если бы крестьян освободили совсем без земли. Это видно также из первой части романа «Пролог» («Пролог пролога»; разговоры Волгина с Нивельзиным и Соколовским) [1]).

Чернышевский говорил о себе, что не принадлежит к числу людей, готовых жертвовать нынешними интересами народа ради будущих его

интересов. И он говорил правду. Если он защищал общинное владение землею, то это происходило оттого, что оно уже в настоящее время

[1]) Мы обращаем на это обстоятельство внимание тех историков нашей публицистики, которые хотели бы сделать из Чернышевского родоначальника народников.

было, по его мнению, выгодно крестьянам при наличности известных практических предпосылок, указанных выше его собственными словами. Но это не мешало ему смотреть на общину и с другой стороны, а именно — видеть в ней такую форму экономического быта, которая облегчит распространение между крестьянами социалистических идей.

«Введение лучшего порядка дел чрезвычайно затрудняется в Западной Европе безграничным расширением прав отдельной личности... Не легко отказываться хотя бы от незначительной части того, чем привык уже пользоваться, а на Западе отдельная личность привыкла уже к безграничной полноте частных прав. Пользе и необходимости взаимных уступок может научить только горький опыт и продолжительное размышление. На Западе лучший порядок экономических отношений соединен с пожертвованиями, и потому его учреждение очень затруднено. Он противен привычкам английского и французского поселянина» (Соч., III, 183).

Взгляд на общину, как на учреждение, приучающее к ассоциации, привел Чернышевского в начале его деятельности к некоторому сближению со славянофилами. Сочувственное отношение славянофилов к общине ставило их во мнении Чернышевского «выше многих и самых серьезных западников». Так было тогда, когда он еще надеялся, что община может быть поставлена в условия, благоприятные для ее развития. Когда он потерял эту надежду, тогда его взгляд на русскую поземельную общину сделался гораздо более скептическим. Тогда же изменилось и его отношение к славянофилам, против которых он стал выступать с большой резкостью, как это было, например, в статье «Народная бестолковость», напечатанной в X кн. «Современника» за 1861 г., или в статье «О причинах падения Рима (подражание Монтескье)» («Современник», 1861 г., кн. V). В этой статье, — в которой есть несомненные полемические выпады против Герцена с его полуславяно-

фильским взглядом на будущее крестьянской России, — он говорит, что хотя община могла бы принести известную долю пользы в дальнейшем развитии нашей страны, однако смешно гордиться ею перед Западом, потому что она все-таки есть признак нашей экономической отсталости.

Чем больше разочаровывался Чернышевский в возможности непосредственного влияния на экономические отношения современной ему России, тем более литературная деятельность его направлялась на пропаганду общих принципов социализма. Мы уже говорили, что его мысль оставалась в пределах того, что называется утопическим социализмом. Теперь пора подробнее остановиться на этом.

IX

Эпитет *утопический* отнюдь не имеет под нашим пером смысла порицания. Он просто обозначает у нас ту точку зрения, с которой социализм смотрел на общественную жизнь в первой фазе своего развития. Эта его точка зрения стала неудовлетворительной с тех пор, как он перешел, благодаря Марксу и Энгельсу, на точку зрения науки. Но в свое время утопический социализм оказал огромные услуги делу развития общественной мысли, и в числе его представителей мы встречаем поистине гениальных людей, например, Сен-Симона, Фурье и Р. Оуэна. Утопический социализм был *идеалистичен,* между тем как в основе научного социализма лежит *материалистический* взгляд на общественную жизнь. Социалисты - утописты были, подобно французским просветителями XVIII века, убеждены, что «мнение правит миром»; научный социализм подверг своему исследованию те общественные экономические причины, от которых зависит развитие «мнения». Ручательство за осуществление своего идеала социалисты - утописты видели в отвлеченной правильности и красоте этого идеала; научный социализм ищет такого ручательства в экономической необходимости.

Общественно-исторические взгляды Чернышевского достаточно известны читателю для того, чтобы он без труда понял, почему мы называем социализм нашего автора утопическим. Во всех своих социалистических рассуждениях Чернышевский всегда стоял на точке

зрения исторического идеализма. Если он был твердо убежден в будущем торжестве социализма, то единственно потому, что, по его мнению, отсталая масса населения должна была рано или поздно нагнать «действующую армию» человечества, т. е. интеллигенцию, додумавшуюся до социалистического идеала. В деле осуществления этого идеала главная роль опять принадлежала интеллигенции. Чернышевский очень мало рассчитывал на самодеятельность пролетариата, который, впрочем, сливался в его представлении о нем с общей массой «простолюдинов».

Правда, Чернышевский относился довольно отрицательно к некоторым представителям утопического социализма, например, к сенсимонистам (см. статью «Процесс Менильмонтанского семейства». «Современник», 1860 г., кн. V). Но в его критике сенсимонизма яснее, чем где-либо, обнаруживается идеалистический характер его собственных социалистических взглядов. Сенсимонисты были, по его мнению, фантазерами, даже и не подозревавшими, что экономический расчет является

главным двигателем в истории. Нам уже известно, как тесно связано было это представление о роли экономического расчета с историческим идеализмом нашего великого просветителя.

Чем абстрактнее была социалистическая точка зрения Чернышевского, тем легче ему было отвлекаться от индивидуальных особенностей каждой данной социалистической системы и защищать только то, что составляло общее содержание всех этих систем. И тем естественнее было для него с одинаковым сочувствием относиться к практическим планам различных социалистических писателей. Так, в статье «Капитал и труд» он изложил план Луи Блана. Главной особенностью этого плана явилось в изложении Чернышевского то обстоятельство, что его осуществление не стеснило бы ничьей свободы: «кто чем хочет тот тем и занимается» (Соч., т. VI, 47); «живи где хочешь, живи как хочешь, только предлагаются тебе средства жить удобно и дешево и, кроме обыкновенной платы, получать дивиденд. Если и это стеснительно, никто не запрещает отказываться от дивиденда» (Там же, 49). А в другом месте он поясняет, отчего ему

«вздумалось взять в пример Луи Блана» Он говорит: «Мы хотели только сказать, что по особенному историческому случаю его мысли приобрели историческую важность, которой иначе бы и не имели, потому, что оригинального в них мало» (Соч., VII, 64).

В статье «Капитал и труд» он называет план Луи Блана «собственным» планом.

В другом случае он, как видим, мог бы применить то к плану какого-нибудь другого социалиста. Ему, как уже сказано, было важно не то, что составляет *особенность* того или другого из этих планов, а то, что принадлежало *им всем:* отрицательное отношение к существующему экономическому порядку и убеждение в том, что возможен экономический строй, основанный на товарищеском труде работников. Конечно, по характеру своего ума, в котором преобладала *рассудочность,* он склонен был более сочувствовать тем из великих основателей социалистических школ, которые меньше поддавались увлечениям *фантазии.* Так, например, Р. Оуэн был, несомненно, ближе к нему, нежели Фурье; однако у Фурье он тоже заимствовал очень много.

При своем трезвом уме и при своем всегдашнем стремлении к практической деятельности Чернышевский не мог принадлежать к числу тех утопистов, которые требуют, чтобы человечество приняло *целиком* их построения, и пренебрегают всеми *частными реформами.* Таковы анархисты. Чернышевский не походил на них. «Во имя высших иде-алов

отвергать какое-нибудь, хотя бы и не вполне совершенное, улучшение действительности,— говорит он,— значит слишком уже идеализировать и потешаться бесплодными теориями». Он утверждал, что у людей, склонных к таким «потехам», дело кончается большею частью тем, что после напряженных усилий подняться до своего идеала они опускаются так, что уже вовсе не имеют перед собой никакого идеала».

При всем том остается неоспоримым, что программа желательных для Чернышевского частных реформ отличается довольно большой неопределенностью. В общем можно, однако, сказать, что так как иде-

алом Чернышевского был товарищеский труд производителей, то он всегда был готов поддерживать все, в чем видел хотя бы намек на принцип ассоциации. Известно, что устройством ассоциации занимается и Вера Павловна в романе «Что делать?». Первый муж ее, Лопухов, горячо хвалит ее за это: «Мы все говорим и ничего не делаем. А ты позже нас всех стала думать об этом и раньше всех решилась приняться за дело». Очевидно, что устройство ассоциации и было тем практическим делом, о котором «говорили» и «думали» в кружке Лопухова и его друзей.

Проповедь ассоциации велась тогда одновременно в России и Германии. «Гласный ответ» Лассаля — послуживший началом его агитации — появился в 1863 г., когда Чернышевский писал свой роман «Что делать?». Но у Лассаля план устройства ассоциации предполагает *политическую самодеятельность рабочего класса:* завоевание им всеобщего избирательного права. У Чернышевского о политической самодеятельности *пролетариата* нет и речи. Почин дела и главное его ведение принадлежит *интеллигенции* — этой уже так хорошо знакомой нам «действующей армии» человечества. Эта существенная разница объясняется, конечно, тем, что в социально-политическом отношении Россия была отсталой страной даже сравнительно с тогдашней Германией.

Выше было уже замечено нами, что Чернышевский отстаивал общинное землевладение, между прочим, и с точки зрения большей легкости устройства в России ассоциаций.

Насколько нам известно, сам Чернышевский никогда не приступал к устройству таких ассоциаций. Но зато тем энергичнее он вел литературную пропаганду принципов, которые должны были лечь в основу товарищеского труда производителей. Блестящий полемист, он горячо отстаивал эти принципы в спорах с «экономистами отсталой школы». Об экономистах этой школы он говорил, что каждый из них «скорее согласится пойти в негры и всех своих соотечественников тоже отдать

в негры», нежели сказать, что в том или другом социалистическом плане нет ничего слишком дурного или неудобоисполнимого. С своей стороны, Чернышевский хотел показать, что принципы, общие всем

социалистическим системам, и хороши, и удобоисполнимы. С этой целью была написана им статья «Капитал и труд». И с этой же целью он переводил и комментировал «Основания политической экономии» Дж. Ст. Милля.

В предисловии к своему переводу этого сочинения он писал: «Книга Милля признается всеми экономистами за лучшее, самое верное и глубокомысленное изложение теории, основанной Адамом Смитом. Переводя это произведение, мы хотим дать читателю доказательство, что большая часть понятий, против которых мы спорим, вовсе не принадлежит к строгой науке, а должна считаться только искажением ее. сочиненным нынешними французскими так называемыми экономистами по внушению трусости» (Соч., т. VII, стр. 1).

Имея в виду эту специальную цель, Чернышевский не раз утверждал в своих знаменитых примечаниях к сочинению Милля, что он только «повторяет слова» английского экономиста и если в чем-либо расходится с ним, то лишь в *выводах,* вытекающих из основных положений экономической теории, а не в том, что касается самих этих положений. Это могло быть удобным ввиду специальной — преимущественно *публицистиче-ской* — цели нашего автора; но это оказалось невыгодным для экономической *теории.* Чернышевский очень ошибся, приняв Дж. Ст. Милля за верного ученика Смита и Рикардо. Милль испытал на себе влияние вульгарных английских экономистов и никак не мог разобраться в основных понятиях политической экономии. Его книга была большим шагом назад в сравнении с «Основаниями политической экономии» Рикардо. Чернышевский лучше сделал бы, если бы перевел и комментировал это последнее сочинение. А еще лучше было бы, пожалуй, перевести и снабдить примечаниями книгу Уильяма Томпсона «An inquiry, into the principles of the distribution of Wealth», присоединив к ней «Лекцию о человеческом счастьи» («Lecture on human happiness») Джона Грэя. Эти авторы были наиболее выдающимися между теми английскими социалистами двадцатых годов, которые, стоя на почве экономической теории Рикардо, делали из этой теории «эгалитарные», как выразился о них Маркс, выводы. Едва ли можно сомневаться в том, что знакомство с английскими экономистами этой школы было бы полезнее для

русских читателей и даже привело бы к устранению многих из неясностей, свойственных экономическим взглядам нашего автора.

336

Не имея никакой возможности вдаваться здесь в подробное изложение и критику этих взглядов [1]), мы заметим, что наш автор оставался утопистом и в своих экономических рассуждениях. Различные исторические формы экономического быта рассматривались им, как и всеми социалистами утопического периода, не с точки зрения собственной логики их развития, а с отвлеченной точки зрения их соответствия или несоответствия социалистическому идеалу. Происхождение всех этих форм — очень неудовлетворительных, разумеется, с точки зрения идеала — относилось им на счет разного рода исторических *случайностей* и главным образом на счет *завоевания.* Так как он считал их несогласными с «требованиями экономической науки», то он не придавал большой цены их внимательному изучению. Исторический метод в экономической науке, знакомый ему лишь по трудам В. Рошера и других таких же окаменелостей, казался ему плодом теоретической реакции против освободительных стремлений пролетариата. Чернышевский противопоставлял ему свой собственный метод, носивший у него название *гипотетического.* «Гипотетический метод» состоит в том, что при исследовании того пли иного экономического явления берется такое «гипотетическое» общество, в котором это явление выступает с наибольшей выпуклостью. Задача исследователя, бесспорно, упрощается, а следовательно, и облегчается таким приемом. Но упрощение задачи необходимо вносит в нее элемент ошибки, так как явление изучается не при тех условиях, в которых око существует на самом деле, а при тех, в которые ставит его «гипотеза» исследователя. Этот элемент ошибки вообще дает себя чувствовать в работах Чернышевского по теоретической экономии. Но едва ли не с наибольшей силой сказался он в его знаменитом и по-своему чрезвычайно остроумном разборе *«Мальтусовой теоремы».*

Главная задача исследователя и здесь заключалась для Чернышевского не в изучении того, *что было* и что есть, а в указании того, что *должно быть,* при чем то, что должно быть, выводилось им не из того,

что было и что есть, а из того, что подсказывалось отвлеченными требованиями идеала. В заключительных строках своих «Очерков политической экономии» он сожалеет о том, что в очерки эти не вошла та часть, которая кажется ему самой важной, т. е. изложение главных от-

[1]) Это сделано нами во второй части указанной выше книги нашей о Чернышевском.

личительных черт будущего общественного устройства. Этим достаточно характеризуется его общая точка зрения в политической экономии.

Чернышевский считал главной заслугой Гегеля то, что он, следуя своему диалектическому методу, чуждался абстракций. «Все зависит от обстоятельства времени и места», — говорил по этому поводу наш автор. Надо признать, что его «гипотетический» метод слишком часто заставлял его забывать это золотое правило и довольствоваться абстракциями.

Но, при всех своих неоспоримых недостатках, экономические исследования нашего автора имели огромное значение в истории нашей общественной мысли. Они обратили на «социальный вопрос» внимание нашей, преимущественно разночинной, интеллигенции и приучили ее рассматривать этот вопрос с *точки зрения интересов народа.* Уже одно это должно быть признано огромной заслугой. Но это далеко не главная заслуга Чернышевского.

Главная заслуга его заключается в том, что его теоретическая мысль работала в том самом направлении, в каком совершалась главная работа *передовой* общественной мысли Запада. Правда, общая отсталость России и неблагоприятно осложнившиеся условия его собственной жизни привели к тому, что его мысль *отставала* в своем движении от передовой западноевропейской мысли. Он явился у нас проповедником философии Фейербаха в то время, когда на Западе логическое развитие этой философии уже привело к появлению *научного миросозерцания Маркса и Энгельса.* Но до тех пор, пока это миросозерцание оставалось неизвестным в России, взгляды Чернышевского являлись самым важным приобретением русской философской и общественной мысли. И поскольку эта мысль

отказывалась от этого своего приобретения, как она сделала это в лице П. Лаврова и его последователей, постольку она шла назад в своем развитии. В настоящее время взгляды Чернышевского должны считаться «превзойденной ступенью». *Но его нельзя было «превзойти» иначе, как развивая дальше основные положения его собственного миросозерцания.* Плодотворная критика Чернышевского возможна лишь с точки зрения Маркса, прошедшего ту же самую школу, в которой с огромным успехом учился автор примечаний к Миллю, — школу Гегеля и Фейербаха.

Н. Г. Чернышевский

(К двадцатилетию со дня кончины)

17-го октября текущего года исполнилось двадцать лет со дня смерти Н. Г. Чернышевского.

Добролюбов писал когда-то о Белинском:

«Что бы ни случилось с русской литературой, как бы пышно ни развилась она, Белинский всегда будет ее гордостью, ее славой, ее украшением. До сих пор его влияние чувствуется на всем, что только появляется у нас прекрасного и благородного; до сих пор каждый из лучших наших литературных деятелей сознается, что значительною частью своего развития обязан непосредственно или посредственно Белинскому... Во всех концах России есть люди, исполненные энтузиазма к этому гениальному человеку, и, конечно, это — лучшие люди России».

То же можно сказать и о Чернышевском, который был непосредственным продолжателем дела Белинского. Что бы ни случилось с нашей литературой, как бы пышно ни развилась она, Чернышевский всегда будет принадлежать к числу тех, которые составляют ее гордость, ее славу, ее украшение. До сих пор влияние этого замечательного человека сказывается на всем том, что есть прекрасного и благородного в сердцах передовых русских людей. И до сих пор передовые русские люди, как бы ни расходились они с Чернышевским в тех или иных вопросах теории или практики, относятся к нему с величайшим благоговением. Я не сомневаюсь в

том, что чувство это найдет свое выражение в нашей печати ввиду двадцатилетия со дня смерти нашего великого просветителя.

Я недаром называю Чернышевского просветителем. В литературе всего мира немного можно найти таких выдающихся деятелей просвещения, каким был он. И он сам смотрел на себя именно как на просветителя, т. е. как на человека, задача которого заключается не в том, чтобы добывать новые истины, а в том, чтобы ознакомить своих совре-

менников с истинами, уже открытыми общественной мыслью передовых стран. К этому надо прибавить, что Чернышевский очень основательно взялся за дело распространения истин, открытых его, — как он выражался, — великими западноевропейскими учителями. Он был широко, глубоко и очень разносторонне образованным человеком. Он был, между прочим, хорошим знатоком философии, и это обстоятельство весьма выгодно отличает его от передовых деятелей нашей литературы семидесятых или восьмидесятых годов: известно, что эти почтенные деятели, с полным презрением относясь к «метафизике», не имели о ней никакого понятия.

Чернышевский был в философии последователем Фейербаха, в лице которого немецкая философская мысль в первый раз достигла, по словам нашего автора, положительных решений, «сбросила свою прежнюю схоластическую форму метафизической трансцендентальности и, признав тождество своих результатов с учением естественных наук, слилась с общей теорией естествоведения и антропологиею». Но в то же время он умел оценить и заслуги великих немецких идеалистов, особенно Гегеля. Он говорил, что ошибки Гегеля не имели важных последствий, между тем как здоровая часть его учения действовала очень плодотворно. Известно, что те, весьма многочисленные, «критики» Гегеля, которые не дали себе труда ознакомиться с его великой системой, видели главный отличительный признак этой последней в ее, будто бы, полном невнимании к действительности. Чернышевский хорошо понимал вздорность подобных упреков. В философии Гегеля он видел прежде всего ее диалектический метод, благодаря которому мыслитель прину-

жден был обозревать предмет со всех сторон, и истина являлась ему не иначе, как следствием борьбы всевозможных противоположных влияний. «Этим способом, — говорит Чернышевский, — вместо прежних односторонних понятий о предмете мало-помалу являлось полное и всестороннее исследование и составлялось живое понятие о всех действительных качествах предмета. Объяснить действительность стало существенною обязанностью философского мышления». Я не скажу, чтобы в этих словах заключалась вполне безупречная характеристика диалектического метода. Но все-таки нельзя не признать, что, написав эти слова, Чернышевский обнаружил хорошее понимание Гегеля. И когда вспомнишь, какой вздор говорили впоследствии наши субъективисты, наивно сожалевшие о пристрастии Маркса к Гегелевой диалектике, невольно приходишь к тому печальному выводу, что, когда Чернышевский сошел *с* литературной сцены, тогда очень сильно понизился уровень нашей

передовой общественной мысли. Реакционеры, насильственно удаливши его с этой сцены, хорошо понимали, с кем они имеют дело.

Чернышевский до самой своей смерти остался верным последователем Фейербаха. Неудивительно поэтому, что он совершенно отрицательно относился к попыткам воскрешения философского идеализма, делавшимся в нашей литературе в восьмидесятых годах. «Характер человеческого знания», напечатанная им в «Русских Ведомостях» 1883 г., заключает в себе едкую критику идеалистического «иллюзионизма». Эту статью и теперь можно рекомендовать тем читателям, которые, не получив правильного философского образования, хотели бы, однако, уметь разбираться в современных наших фи-лософских течениях.

Чернышевский был, как известно, горячим поклонником Лессинга. У него было много общего с этим великим писателем. Его мысль всегда отличалась такою же поразительною ясностью, какая была свойственна мысли Лессинга. В этом заключалась, конечно, великая сила. Но нет добра без худа. Читатели очень редко умеют ценить по ее достоинству ясность литературного изложения. То, что благодаря этой ясности становится легко понятным для них, очень нередко кажется

им недостаточно глубоким. Чернышевский хорошо знал эту читательскую слабость, и очень остроумно шутил над нею в своих «Полемических красотах». Но его репутация, как писателя, значительно пострадала от этой жалкой слабости. Так, например, многие до сих пор считают философские статьи П. Л. Лаврова гораздо более основательными и содержательными, нежели статьи Чернышевского. Но это огромная и, можно сказать, непростительная ошибка. Чернышевский гораздо выше Лаврова, *между прочим, и в философии.*

Материалистическая философия Фейербаха наложила глубокую печать на все миросозерцание Чернышевского. Я показал, что знаменитая в свое время диссертация «Эстетические отношения искусства к действительности» была результатом применения философских взглядов Фейербаха к основным вопросам эстетики [1]). Теперь никакое сомнение на этот счет не возможно, благодаря собственному признанию Чернышевского. Но к этому следует прибавить, что взгляд Фейербаха на «действительность» служил Чернышевскому руководящим, принципом во всех его литературно-критических суждениях. И тот факт, что он был верным последователем Фейербаха, дает нам воз-

[1]) См. мою статью: «Эстетическая теория Чернышевского» в сборнике «За 20 лет». Ср. также мою книгу: «Н. Г. Чернышевский».

можность определить его отношения к современным ему великим течениям западноевропейской мысли.

Из философии Фейербаха вышел диалектический материализм Маркса-Энгельса. По всему видно, что наш автор совершенно не был знаком с сочинениями этих двух писателей, взгляды которых, впрочем, и на Западе были еще очень мало распространены в то время, когда складывалось его миросозерцание. Но поскольку он усвоил себе философию Фейербаха, — а он усвоил ее во всей ее глубине, — постольку он шел нога в ногу с передовыми представителями западноевропейской мысли. Разумеется, можно жалеть о том, что ему остались неизвестными те чрезвычайно важные поправки, которые сделаны были Марксом и Энгельсом в материализме Фейербаха. Но

несправедливо было бы упрекать его в этом. Не бытие определяется мышлением, а мышление бытием. Маркс и Энгельс, вероятно, тоже не пошли бы дальше усвоенной философии Фейербаха, если бы им пришлось жить в тогдашних русских условиях [1]). Приняв во внимание эти условия, удивляешься не тому, что Чернышевский отстал от Маркса и Энгельса, а тому, что он так мало отстал от них. В самом деле, ведь, от них несравненно больше отстали Лавров и Михайловский, игравшие такую выдающуюся роль, в нашей передовой литературе семидесятых и восьмидесятых годов.

Взгляды Чернышевского относятся ко взглядам Маркса-Энгельса так же, как материализм Фейербаха относится к диалектическому материализму этих последних. Только выяснив себе это отношение, можно понять как сильные, так и слабые стороны миросозерцания Чернышевского. В последнее время в нашей литературе обнаруживается стремление представить Чернышевского чем-то вроде предтечи научного социализма. Но он был таким предтечей лишь в тех пределах, в каких был им его учитель Фейербах: не больше и не меньше. В материализме Фейербаха сильной стороной было учение об отношении мышления к бытию, субъекта к объекту; а его слабой стороной являлось объяснение истории, в котором Фейербах, нередко сам того не замечая, переходил на идеалистическую точку зрения. Однако это не мешало Фейербаху и в этой последней области делать подчас чрезвычайно удачные материалистические замечания. И совершенно то же самое мы видим в воззрениях Чернышевского: их сильной стороной

[1]) Наполеон I в самом лучшем для него случае дослужился бы до чина «генералиссимуса», если бы родился в России.

надо признать материалистический взгляд на природу, включая сюда и человека, как одну из ее частей. А их слабой стороной оказывается объяснение истории, в которой Чернышевский, — вопреки своей материалистической точке исхода, — часто сближается с французскими просветителями XVIII века, думавшими, что миром правит мнение. Чтобы убедиться в этом, достаточно сопоставить статью: «Антропологический принцип философии» со статьей: «О причинах падения

Рима». В первой из них Чернышевский рассуждает, как материалист, а во второй переходит на идеалистическую точку зрения. И вот почему первая статья до сих пор сохранила большое значение, между тем как точка зрения второй представляется теперь совершенно устарелой. И по той же причине Чернышевский-философ гораздо ближе к научному социализму, нежели Чернышевский-историк и экономист.

Как социалистический писатель, Чернышевский обнаружил чрезвычайно много ума, таланта и знаний. Однако и на социалистических его взглядах отразилась только что указанная мною слабая сторона его миросозерцания: так как он не умеет последовательно применять материализм к объяснению истории, то он, в общем и целом, не идет дальше утопического социализма, несмотря на то, что в некоторых частностях он делает замечания, сближающие его с основателями научного социализма. Такие-то замечания и вводят в ошибку тех исследователей, которые — подобно Ю. М. Стеклову, автору недавно вышедшей книги: «Н. Г. Чернышевский, его жизнь и деятельность» — недостаточно выяснили себе отношение исторического материализма Маркса-Энгельса к «Антропологии» Фейербаха.

Исследователи, подобные Ю. М. Стеклову, как будто стесняются признать Чернышевского социалистом-утопистом. Но это совсем напрасно. Быть в такой компании, к которой принадлежат Роберт Оуэн, С.-Симон и Фурье, отнюдь не зазорно. Пора же понять, что выражение «утопический» не заключает в себе, в применении к социализму, ровно никакой укоризны, а только означает известную фазу в развитии социалистической мысли.

В своем качестве убежденного материалиста Чернышевский навлек на себя не мало грубых упреков и нелепых подозрений со стороны тех людей, которые под словом материализм понимают «волокитство, обжорство, игру» и вообще всякого рода «разнуздание плоти». Но едва ли нужно говорить, что мнения людей этого разряда заслуживают внимания, разве только как образец более или менее вопиющих нелепостей. На самом деле ни Чернышевский, ни его последова-

тели никакой «разнузданной плоти» не проповедовали, хотя, как материалисты, они были, разумеется, очень далеки от взгляда на «плоть», как на элемент, заслуживающий пренебрежения. В этом вопросе они держались взгляда греков времен Перикла, доказывая необходимость всестороннего развития человека. В своем учении о нравственности, — а Чернышевский и в этой области был их главным теоретиком, — «люди шестидесятых годов» отстаивали, подобно французским просветителям XVIII века так называемый «разумный эгоизм». В теоретическом смысле «разумный эгоизм» несостоятелен потому, что слишком грешит рационализмом. Но в своей практической жизни лучшие представители эпохи шестидесятых годов отличались таким редким альтруизмом, что все многочисленные нападки на их, будто бы, безнравственность должны быть отнесены единственно на счет нравственной неразвитости и умственной тупости их обличителей.

Приблизительно то же следует заметить и об их отношении к искусству. Им приписывали тот нелепый взгляд, что «сапоги выше Шекспира». Но хотя и тут в рассуждениях людей шестидесятых годов могут быть указаны некоторые логические погрешности, однако в рассуждениях этих видно несравненно больше уважения к высшим требованиям человеческой природы, нежели в доводах сторонников «чистого искусства». Люди шестидесятых годов совсем не пренебрегали искусством. Чернышевский прямо называет эстетическую потребность одною из основных потребностей человека. Но они утверждали, что при нынешней организации общества удовлетворение этой потребности у одних (т. е. у высших классов) предполагает обыкновенно жестокую эксплуатацию других (т. е. трудящейся части населения). Поэтому они нередко отказывали себе в нравственном праве на удовлетворение своей эстетической потребности. Теоретически и тут есть некоторая «нехватка»: как же отказывать себе в удовлетворении одной из основных потребностей человека? Но, ведь, эта «нехватка» вызывалась чрезвычайно сильно развитым сознанием своих нравственных обязанностей перед ближними, иначе сказать — высоко развитым чувством гражданского долга. Поэтому объяснять ее нравственной грубостью людей шестидесятых годов опять-таки значило показывать свою собственную

грубость. Батюшков в послании к Д. В. Дашкову, описав разрушение Москвы в 1812 г., с упреком говорит:

А ты, мой друг, товарищ мой,
Велишь мне петь любовь и радость,
Беспечность, счастье и покой

И шумную за чашей младость!
Среди военных непогод
При страшном зареве столицы
На голос мирные цевницы
Сзывать пастушек в хоровод!
Мне петь коварные забавы
Армид и ветреных Цирцей
Среди могил моих друзей,
Утраченных на поле славы!
Нет, нет! Талант погибни мой
И лира, дружбе драгоценна,
Когда ты будешь мной забвенна,
Москва, отчизны крест златой!

Насколько я знаю, еще никому ни приходило в голову обвинить Батюшкова на этом основании в неспособности понять эстетическую потребность человека. А, ведь, в этом его стихотворении сказалось то же самое настроение, которое так сильно давало себя чувствовать в статьях литературных критиков шестидесятых годов.

Почему же к Батюшкову были снисходительнее, нежели к этим критикам? Да единственно потому, что у Батюшкова настроение это имело более элементарный и потому более доступный для малоразвитых людей вид патриотического негодования против иностранного врага (т. е. против французов), между тем как у критиков шестидесятых годов оно превратилось в решимость не отвлекаться никуда в сторону до тех пор, пока не будет положен конец всякой эксплуатации человека человеком, т. е., стало быть, — и даже прежде всего,— и эксплуатации одного класса (или сословия) другим. Для понимания критиков шестидесятых годов требовалось гораздо больше умственного и нравственного развития, нежели для понимания Батюшкова. В этом вся разница. Но не очевидно ли, что разница эта говорит не против людей шестидесятых годов, а в их пользу?

Излишне указывать на великие заслуги людей шестидесятых годов и, особенно, Чернышевского в деле освобождения крестьян. Теперь ясно, что было бы великим благом для России, если бы интересы освобождаемого крестьянства были ограждены так, как этого хотел Чернышевский. Но в том-то и заключалась беда нашего отечества, что в

нем не оказалось, налицо такой общественной силы, на которую могли бы опереться наши просветители.

Чернышевский сам хорошо видел это. Хотя он в своем объяснении истории очень часто переходил, подобно Фейербаху, на идеали-

стическую точку зрения, однако он прекрасно понимал ту истину, что политическая жизнь всякой данной страны определяется соотношением ее общественных сил. «Все на свете, — говорил он, — требует для осуществления своего силы; дурное и хорошее одинаково ничтожно, когда бессильно». Известно, что он относился к либералам с величайшим презрением. И это презрение вызывалось у него именно тем обстоятельством, что либералы не понимали или не хотели понять, по его мнению, этой бесспорной истины и потому не находили нужным развивать ее сознание в народной массе. В одном из своих политических обозрений он едко смеялся над прусскими либералами, наивно ожидавшими, как говорил он, что желательные для них конституционные гарантии упадут с неба. Некоторые нынешние публицисты наши полагают, что подобную насмешливость могут обнаруживать только легкомысленные «бунтари», всегда готовые лезть в воду, не спросясь броду. Но наш великий просветитель к таким «бунтарям» совсем не принадлежал. Он относился к ним едва ли не с таким же презрением, как и к трусливым либералам. Достаточно припомнить его отзыв о восстании бланкистов 12 мая 1839 года: «Это была великая ошибка, страшный урок — и остался бесполезным, натурально. В первые годы Людовика-Филиппа республиканцы подымали несколько восстаний неудачно, — рассудили: «Подождем, пока будет сила». — Ну, и держались несколько лет смирно; и набирали силы; но опять не достало рассудка и терпения; подняли восстание; ну, и поплатились так, что долго не могли оправиться»... «Ох, нетерпение! Ох, иллюзии! Ох, экзальтации!»

У нас до сих пор многие думают, что если ты не склонен повторять великие ошибки французских бланкистов, то ты непременно должен сделаться трусливым либералом, а если ты не трусливый либерал, то должен повторять указанные ошибки. Внимательное чтение политических статей Чернышевского могло бы содействовать

уяснению того, что эта мнимая альтернатива до последней степени нелепа.

Не буду распространяться о суде над Чернышевским: всякий знает теперь, какой это был суд.

В. Г. Короленко рассказывает, что когда, по своем возвращении из Сибири, Чернышевский, встретившись впервые с его женой, поцеловал у нее руку, то она поцеловала его в лоб, и это неожиданно произвело на него тяжелое впечатление. Он сказал: «Нет, не надо! Сожаление... не надо этого!». Тут уже его самого с полным правом можно было упрекнуть в великой ошибке. Не сожаление, а восторженное, благоговейное удивление вызывают подобные ему люди!

Еще о Чернышевском

Ю. М. Стеклов, Н. Г. Чернышевский, его жизнь и деятельность (1828 — 1889 гг.). С.-Петербург. 1909

> «И так, отдавая справедливость великому мужу... мы не ищем здесь вменить ему и то в достоинство, чего он не сделал или на что не действовал; или только распложая неистовое слово, вождасмся изтуплением и пристрастием. Цель наша не сия».
>
> А. Н. Радищев «Слове о Ломоносове».

I

Книга Ю. М. Стеклова производит чрезвычайно выгодное для ее автора впечатление тем благородным энтузиазмом, с которым он относится к Н. Г. Чернышевскому. К сожалению, есть в ней один весьма серьезный недостаток, на который я и хочу обратить внимание читателей в этой статье.

Недостаток этот состоит в неправильном освещении некоторых основных взглядов нашего великого просветителя. Дело в том, что Ю. М. Стеклов ни за что не хочет отнести Чернышевского к числу социалистов-утопистов и старается опровергнуть «некоторых», причислявших его к ним. Поэтому книга его представляет собою в очень значительной своей части полемическое сочинение. И полемика эта, — тоже в очень значительной своей части, — направляется именно против меня, еще в начале девяностых годов выступившего с

четырьмя статьями, в которых указывалось, что точка зрения Чернышевского была точкой зрения утопического социализма. Правда, возражая мне, Ю. М. Стеклов меня не называет. Я решительно не понимаю, зачем понадобилась ему такая недосказанность, но это и не интересно. Вопрос в том, удалось ли нашему автору удовлетворительно обосновать свой

взгляд на Чернышевского. К рассмотрению этого вопроса я и перехожу, сделав, однако, предварительно следующее частное замечание.

На стр. 252 своей книги Ю. М. Стеклов говорит, что над «гипотетическим» методом «впоследствии не мало издевались». Это, очевидно, не относится ко мне, так как, во-первых, сам Ю. М. Стеклов очень хорошо знает, что я никогда не издевался над Чернышевским, а во-вторых, в своем взгляде на гипотетический метод наш автор, по-видимому, вполне сошелся со мною. Так, на стр. 248 он говорит: «Для научного анализа действительных отношений этот метод арифметических выкладок может пригодиться лишь в качестве иллюстраций к положениям, полученным путем точного исследования реальных экономических явлений. И во многих случаях против него ничего нельзя было бы сказать, если бы вопросы при этом слишком не упрощались и если бы автор смотрел на него, только как на вспомогательный прием, имеющий целью помочь читателю следить за ходом мысли, но не претендующий на самостоятельное значение». Это как раз то, что я писал о «гипотетическом» методе около двадцати лет тому назад. И этот взгляд на него, — кто бы его ни высказал и кто бы его ни повторил, — разумеется, не имеет ничего общего с издевательством. Отсюда следует, что, говоря об издевательстве, наш автор имел в виду не меня, а кого-то другого.

Теперь возвращаюсь к самому главному недостатку книги Ю. М. Стеклова.

Важнейшая отличительная черта утопического социализма в его сравнении с социализмом научным может быть характеризована так: представители утопического социализма в своем объяснении *истории* оставались *идеалистами* даже тогда, когда им удавалось доработаться

до *материалистического* взгляда на *природу.* И если мы хотим найти толковый ответ на вопрос, принадлежал ли Чернышевский к числу социалистов-утопистов, мы должны прежде всего выяснить себе, каково было его понимание истории. Я утверждал двадцать лет тому назад и утверждаю теперь, что это его понимание было, — *говоря вообще,* — проникнуто идеализмом, но что в *частностях* Чернышевский нередко доходил до чрезвычайно удачных объяснении исторических событий. И я прибавлял и прибавляю теперь, что иначе и быть не могло, так как Чернышевский был последователем Фейербаха, который, дойдя до материалистического взгляда на *природу,* далеко не дошел, однако, до *исторического* материализма. Ю. М. Стеклов с этим не согласен. Он пишет, что Чернышевский «основным положениям Фейербаха пытался дать

такое же толкование и применение, как Маркс» (стр. 125). И эту свою мысль наш автор поясняет так: «Тезисы Маркса о Фейербахе относятся к 1845 году: материалистическая философия истории выражена отчасти в «Нищете философии» 1847 г. и вполне в «Коммунистическом Манифесте» 1848 г. Наконец, она ясно и определенно сформулирована в предисловии к «Критике политической экономии» 1859 г. Чернышевский, который был моложе Маркса на 10 лет, выступил на литературное поприще только в 1853 г., т. е. тоже десятью годами позже Маркса. Первая крупная его работа появилась только в 1855 г. («Эстетич. отношения»). И вот в рецензии на свою книгу Чернышевский уже высказывает мысли, довольно близкие к тезисам Маркса о Фейербахе, а затем, в ряде статей и заметок по всевозможным злободневным вопросам (1856, 1857 и сл.), он развивает взгляды, все более приближающие его к определенной формулировке материалистической философии истории» (стр. 125—126).

Остановимся сначала на рецензии, в которой Чернышевский разбирал свою собственную книгу. Что находим мы в ней? Ю. М. Стеклов отвечает: «В рецензии на «Эстетические отношения» Чернышевский спрашивает: «Где искать критерии для различения мнимых и ложных стремлений от действительных и законных?» — и отвечает: «Приговор

дает сам человек своею жизнью; практика, этот непреложный пробный камень всякой теории, должна быть руководительницей нашею и здесь». Дело есть истина мысли. «Практика — великая разоблачительница обма-нов и самообольщений не только в практических делах, но также в делах чувства и мысли. Потому-то в науке ныне принята она существенным критериумом всех спорных пунктов. Что подлежит спору в теории, на чистоту решается практикою действительной жизни». Итак. Чернышевский, как и Маркс в своем втором тезисе, признает за практикой решающую роль в деле проверки «объективной истинности» нашего мышления» (стр. 127).

Второй тезис Маркса о Фейербахе гласит: «Вопрос о том, способно ли человеческое мышление познать предметы в том виде, как они существуют в действительности,— вовсе не теоретический, а практический вопрос. Практикой должен доказать человек истину своего мышления, т. е. доказать, что он имеет действительную силу и не останавливается по сю сторону явлений. Спор же о действительности пли недействительности мышления, изолирующегося от практики, есть чисто схоластический вопрос».

Если мы сопоставим этот тезис с той выпиской из Чернышевского, которую делает Ю. М. Стеклов, то мы в самом деле поразимся сходством взгляда Маркса со взглядом нашего великого просветителя. Но это несомненное сходство не должно вводить нас в заблуждение. Оно («Уясняется не тем, что Чернышевский будто бы пошел *дальше Фейербаха* в том же самом направлении, по какому шли Маркс и Энгельс, а *только тем,* что он, подобно Марксу и Энгельсу, хорошо усвоил себе основные положения материалистической философии Фейербаха. В самом деле, сказать, что практика должна быть «непреложным пробным камнем всякой теории» — еще не значит отметить слабую сторону Фейербахова материализма. Сам Фейербах, который, по справедливому замечанию Маркса, ограничивался рассматриванием действительности «в форме созерцании» и не дошел до ее рассматривания «в форме практики», не только не отказался бы признать эту мысль Чернышевского правильной, но объявил бы ее

одной из своих собственных мыслей, и у него было бы для этого совершенно достаточное основание. Фейербах утверждал, что «чувственность или действительность тождественна с истиной». Он доказывал, что если бы наши представления о предметах основывались на нашем чувственном опыте, то они вполне соответствовали бы истинной природе этих предметов. Отсюда неизбежно следует, что если мы хотим проверить истинность наших представлений о предметах, то мы должны апеллировать к чувственному опыту, т. е. к практике. Этот вывод и был усвоен всеми немецкими последователями Фейербаха [1]). Некоторые из них пытались построить на нем целую философию («философию дела» — Philosophie der That). Чернышевский обосновал с его помощью свою эстетическую теорию и отчасти свою теорию нравственности (классификация человеческих по-

[1]) Сам Фейербах, конечно, тоже не раз повторял его. Вот пример: «Nur das sinnliche Wissen ist gewisses, zweifelloses Wissen. Der Sinn braucht keinen Beweis, er ist selbst der Beweis. Der Sinn ist das vorzüglichste Licht, nur er klärt alle Dunkelheiten und Zweifel auf. Niemand fragt, disputiert und räsoniert jetzt noch darüber, ob es eine Neue Welt gibt, nachdem sie von Columbus entdeckt worden».

(Только чувственное знание есть достоверное, несомненное знание. Чувство не нуждается ни в каком доказательстве, оно само есть доказательство. Чувство есть самый яркий свет, только оно освещает всякую темноту и разрешает все сомнении. Никто теперь не спрашивает, не рассуждает и не спорит о том, существует ли Америка, после того как она была открыта Колумбом).

Делая разбираемое здесь сопоставление, Ю. М. Стеклов ссылается на одно место моей брошюры: Основные вопросы марксизма». Но он, как видно, не совсем правильно понял это место.

требностей). Но ни сам Фейербах, ни Чернышевский и ни кто другой из учеников Фейербаха, кроме *Маркса и Энгельса,* не воспользовался этим выводом для обоснования материалистического взгляда на историю. И вот почему только Марксу и Энгельсу суждено было стать «основоположниками» *научного социализма.* Все же остальные ученики Фейербаха, не исключая и нашего великого Чернышевского, продолжали,— поскольку они склонялись к социализму, — придерживаться точки зрения *социализма утопического.*

Ю. М. Стеклов продолжает: «Что Чернышевский обеими руками подписался бы под положением: «философы только различным образом объясняли мир, но задача состоит в том, чтобы его изменить», — это само собою разумеется. В иных словах он сам

неоднократно высказывал эту мысль» (стр. 127). Это, в самом деле, само собою разумеется: но «само собою разумеется» и то, что с этой мыслью безусловно согласились бы все социалисты-утописты XIX столетия, начиная с Фурье и Сен-Симона, поставивших себе совершенно определенную задачу «изменения мира». Доказывает ли это, что социалисты-утописты не были социальными утопистами? Едва ли!

Странным кажется мне и следующее соображение Ю. М. Стеклова: «Как просветителя, Чернышевского естественно тянуло к возвеличению личности, к познанию определяющей роли исторических героев, и некоторая слабость в этом отношении иногда у него проявляется. Но присущий ему реализм, основанный на материалистическом понимании мира, удерживал его от естественных увлечений и заставлял решать вопрос о роли личности в истории в смысле, очень близком к марксистскому пониманию этого вопроса. Личность есть продукт истории и общества, — говорит он и показывает это на примере Белинского. Кто вникнет в обстоятельства, среди которых должна была действовать критика Гоголевского периода, тот, — замечает Чернышевский, — ясно поймет, что характер ее совершенно зависел от нашего исторического положения» (стр. 128 — 129).

В примечании на стр. 129 он прибавляет: «В этом смысле он (т. е. Чернышевский, *Г. П.)* говорил, что вины почти никогда не бывает, а бывает только беда».

Признаюсь, это одно из тех соображений, которые хоть кого поставят в тупик своей полнейшей неожиданностью. Та мысль, что «вины почти никогда не бывает на свете, а бывает только беда», — есть основная мысль Роберта Оуэна о человеческом характере; того самого Оуэна, которого так хорошо знал и так высоко ставил Чернышевский. И эта

же мысль, — в той ее более общей форме, что человек есть продукт общественных отношений, — на все лады развивается всеми утопистами-социалистами XIX столетия, как на это верно указано еще Марксом в его полемике с Бруно Бауэром. Нежели Ю. М. Стеклов позабыл об этом? А если не позабыл, то неужели он думает, что,

усваивая (от материалистов) эту мысль, социалисты-утописты переставали быть социалистами-утопистами?

Та мысль, что личность есть продукт общественных отношений, сама по себе верна, хотя и не при всяком ее истолковании. Но то обстоятельство, что она верна, еще не доказывает, что человек, ее разделяющий, дошел до исторического материализма.

Маркс говорит: «Материалистическое учение о том, что люди представляют собою продукт обстоятельств и воспитания, — и что, следовательно, изменившиеся люди являются продуктом изменившихся обстоятельств и другого воспитания, — забывает, что обстоятельства изменяются именно людьми и что воспитатель сам должен быть воспитан. Оно необходимо приводит, поэтому, к разделению общества на две части, из которых одна стоит *над* обществом (напр., у Роберта Оуэна)» (Третий тезис о Фейербахе).

Под материалистическим учением, забывающим о том, что «воспитатель сам должен быть воспитан», Маркс понимает здесь учение материалистов и вообще просветителей, остававшихся, как уже сказано мною выше, идеалистами в истории. Материалисты этого рода (повторяю: идеалисты в истории) в самом деле смотрели на общество, как на целое, состоящее из двух частей, при чем одна часть представляет собою продукт обстоятельств и воспитания, а другая переделывает или, по крайней мере, старается переделать данные обстоятельства и данные способы воспитания согласно требованиям разума. Фейербах принадлежал к числу материалистов этого рода. Критикуя материализм Фейербаха, Маркс с гениальной проницательностью указал на свойственное этому материализму противоречие: с одной стороны, человек, — а следовательно, и воспитатель, — создается обстоятельствами, с другой — обстоятельства должны представлять собою продукт деятельности воспитателя, направляющейся по указаниям разума. В истории противоречие это разрешалось тем, что требования разума, согласно которым «воспитатель» направлял свою деятельность, сами возникали под влиянием известных обстоятельств. Другими словами, в истории противоречие это разрешалось тем, что *бытие* определяло собой сознание вообще и сознание «воспитателя», — т. е., просветителей

и всех других реформаторов и революционеров, — в частности. Понять и обнаружить эту *историческую* зависимость сознания от бытия и значило перейти от *идеалистического* объяснения истории — к *материалистическому.* Фейербах не сумел решить эту задачу. Ее решение выпало на долю Маркса и Энгельса. Но, решая эту задачу, Маркс и Энгельс только применяли к истории основное положение Фейербахова материализма, состоявшее именно в том, что не бытие определяется сознанием (как это было у Гегеля и других идеалистов), а, наоборот, сознание бытием. Поэтому можно сказать, что исторический материализм заключался в материализме Фейербаха, как дуб заключается в желуде: в зародыше, an sich, чтобы употребить здесь выражение Гегеля [1]). И именно потому, что исторический материализм заключался an sich в материалистической философии Фейербаха, мы подчас встречаем у этого последнего такие замечания об исторической и общественной жизни человечества, которые имеют совершенно материалистический характер. Уже Энгельс отметил некоторые из таких замечаний: «Во дворцах мыслят иначе, чем в хижинах». — «Если у тебя от голода и по бедности нет питательных веществ в теле, то и в голове твоей, в твоих чувствах и в твоем сердце нет материала для нравственности». — «Политика должна быть нашей религией». Я прибавляю здесь еще некоторые. Фейербах говорит: «Die Menschen sind da Menschen, wo es mit ihren Interessen übereinstimmt Menschen zu sein, oder wo sie keine ihren Standes. Ihr Stand ist Standpunkt, von dem aus sie alle Dinge mit ihrem Eigennutz, ihrem Egoismus Mensch sein können, sind sie lieber Bestien». По русски: «Люди только тогда люди, когда в их интересах быть людьми, или когда у них нет никакого интереса быть не людьми. А там, где они могут быть людьми лишь в противоречии со своей пользой, они скорее становятся зверями» [2]). А вот еще: «Der Verstand der Standespersonen reicht ins gemein nicht über die Grenzen ihres Standes. Ihr Stand ist Standpunkt, von dem aus sie alle Dinge anschauen». В этих строках заключается непереводимый каламбур, осно-

[1]) А применяя к нему его собственное выражение, употребленное им, конечно, по совершенно другому поводу, надо сказать так: Фейербах знает и настойчиво повторяет, что не бытие определяется сознанием, а сознание бытием, но «er bleibt

bei dem Allgemeinen dieses Gedankens stehen» («эта мысль остается у него в своем общем, т. е. не развитом, виде»).

[2]) «Ludwig Feuerbach in seinem Briefwechsel und Nachlas sowie in seiner Philosophischen Charakterent-wicklung, durchgestellt von Karl Grün», Zweites Band, Leipzig und Heidelberg 1874, S. 317.

ванный на созвучии слов: Verstand (рассудок), Stand (сословие или вообще более или менее высокое общественное положение) и Standpunkt (точка зрения). Но смысл этих строк может быть с полной точностью передан и по-русски. Фейербах говорит в них, что рассудок людей, принадлежащих к высшим сословиям (или вообще занимающих высокое общественное положение), обыкновенно не идет дальше границ их сословия (или общественного положения). Их сословие (или общественное положение) есть та точка зрения, с которой они смотрят на все вещи [1]). Или: «Nur die «Lumpen» sind Revolutionäre! Natürlich, mit einem schweren Geldsack auf dem Buckel kannst du keine hohen Sprünge machen». По-русски: «только «голыши» — революционеры! Это есте-ственно: с тяжелым денежным мешком на спине трудно прыгнуть высоко» [2]). Наконец: «Ich denke nur als ein durch die Geschichte erzogenes, verallgemeinertes, mit dem Ganzen, der Gattung, dem Geist der Weltgeschichte vereinigtes Subjekt; meine Gedanken haben ihren Anhang und Grund nicht unmittelbar in meiner besonderen Subjektivität, sondern sind Resultate; ihr Anfang und Grund ist der Anfang und Grund der Weltgeschichte selbst». Это значит: «Я думаю, лишь как воспитанный историей, обобщенный, связанный с целым, с родом, с духом всемирной истории субъект; мои мысли имеют свое начало и свое основание не непосредственно в моей особенной субъективности, но представляют собою результаты: их начало и основание есть начало и основание самой всемирной истории» [3]). Этого, кажется, довольно! Это чрезвычайно похоже на то, что говорил впоследствии Маркс: тут и материализм, тут и «историзм» (выражение Ю. М. Стеклова). Следуя методу, которым пользуется автор интересующей меня здесь книги, надо сказать, что ошибаются «некоторые», утверждающие, что Фейербах стоял на точке зрения Фейербаха, так как на самом деле взгляды Фейербаха представляют собой переход от... Фейербаха к Марксу, т. е. к научному социализму, и притом они ближе к этому последнему, чем...

к Фейербаху. И на эту тему можно было бы даже написать целое сочинение, которое, наверно, не лишено было бы пикантности. Но так поступить можно было бы, именно только пользуясь методом автора интересующей меня здесь книги. А в действительности Фейербах был Фейербахом, и взгляды его были взглядами Фейербаха, а вовсе не представляли собой перехода от Фейербаха

[1]) Там же, стр. 325.
[2]) Там же, та же стр.
[3]) Ludwig Feuerbach, I Band, S. 309.

к Марксу. И, оставаясь Фейербахом, Фейербах, которому удалось высказать несколько блестящих и глубоких материалистических мыслей об «общественном человеке», был идеалистом в своем взгляде на историю. И в этом все дело.

II

Я уже указал на то, что книга Ю. М. Стеклова представляет собою отрадное литера-турное явление. Но именно потому я буду говорить с ним «напрямик», скажу «без изгиба» все то, что я думаю о том, как и почему ошибся он в своей оценке исторического значения Чернышевского.

Он знает Фейербаха лишь по изложениям. Но кто излагал в последнее время философию Фейербаха? Писатели из буржуазного лагеря мало занимались им; для них, бесповоротно склонившихся к идеализму, этот материалист был мало интересен. О нем говорили преимущественно писатели-социалисты, работавшие над вопросом о развитии научного социализма. Этим писателям по необходимости приходилось с наибольшим вниманием останавливаться на том, в чем заключалось отличие взглядов Фейербаха от взглядов Маркса, т. е. подчеркивать *идеалистический* характер свойственного Фейерба-ху понимания истории. И хотя писатели эти не забывали прибавлять, что в рассуждениях Фейербаха об «общественном человеке» встречается много отдельных взглядов чисто материалистического характера, но у их читателей, незнакомых в подлиннике с Фейербахом, все-таки могло составиться неправильное представление об исторических взглядах этого последнего: они могли подумать, что в них совсем отсутствует

элемент материализма. А когда им случалось потом встретить у того или другого из учеников Фейербаха те или другие материалистические мысли об истории, им естественно должно было казаться, что ученик этот покинул точку зрения своего учителя и самостоятельно пошел по той дороге, по которой с таким успехом прошли Маркс и Энгельс. Именно это случилось с Ю. М. Стекловым. Этим и объясняется главный недостаток его книги.

В действительности Чернышевский до конца жизни продолжал стоять на точке зрения Фейербаха, между прочим, и в своем понимании истории. Что в его рассуждени-ях о жизни и истории человеческого общества встречается много блестящих и глубоких материалистических замечаний, это не подлежит ни малейшему сомнению, и это указа-но

было мною двадцать лет тому назад. Но мы знаем теперь, что и у Фейербаха можно найти не мало таких замечаний. А что в общем и целом Чернышевский, *подобно своему учителю* Фейербаху, держался исторического идеализма, — это, казалось бы, должно быть ясно всякому, со вниманием прочитавшему хотя бы его полемику с Герценом о причинах падения Рима. Напомню для примера рассуждения, противопоставляемые им той мысли, что Западная Римская империя погибла вследствие своей внутренней неспособности к дальнейшему прогрессивному развитию, а варвары, ее разрушившие, принесли с собою новые семена прогресса.

«Да подумайте только, что такое значит прогресс и что такое значит варвар, — восклицает он. — Прогресс основывается на умственном развитии: коренная сторона его прямо и состоит в успехах и развитии знаний... Развивается математика, от этого развивается и прикладная механика; от развития прикладной механики совершен-ствуются всякие фабрикации, мастерство и т. д. ... Разрабатывается историческое знание, от этого уменьшаются фальшивые понятия, мешающие людям устраивать свою общественную жизнь, и она устраивается успешнее прежнего. Наконец, всякий умственный труд развивает умственные силы человека, и чем больше людей в стране выучивается читать, получает привычку и охоту читать книги, чем

больше в стране становится людей грамотных, просвещенных, тем больше становится в ней число людей, способных порядочно вести дела, какие бы то ни было, — значит, улучшается и ход всяких сторон жизни в стране. Стало быть, основная сила прогресса — наука; успехи прогресса соразмерны степени совершенства и степени распространенности знаний. Вот что такое прогресс — результат знания. Что же такое варвар? — Человек, еще погрязший в глубочайшем невежестве, человек, который занимает середину между диким зверем и человеком сколько-нибудь развитого ума... Какая польза для общественной жизни, если учреждения, дурные или хорошие, но все-таки человеческие, все-таки имеющие в себе хоть что-нибудь, хоть несколько разумное,— заменяются животными обычаями?» [1]).

В чем состоит взгляд, лежащий в основе всего этого рассуждения? В том, «что мнение правит миром», как выражались французские просветители XVIII века. Кажется, что это не подлежит ни малейшему сомнению. А если — не подлежит, то спрашивается: на что же похожа

[1]) Сочинения, т. VIII, стр. 158.

эта философия истории: на исторический *материализм* Маркса или же на исторический *идеализм* французских просветителей? Кажется, что и тут трудно колебаться в ответе!

В статье «Полемические красоты» Чернышевский говорит о Бокле, как о человеке, на которого лишь по смешному недоразумению могли ссылаться люди, нападавшие на статью «Антропологический принцип в философии». И это в известном смысле верно. Но не менее верно и то, что в своем понимании истории Бокль был, — говоря вообще, — чистым идеалистом, у которого все дело сводилось к успехам разума. Его историческая философия, как две капли, похожа на ту, которую мы находим в статье Чернышевского: «О причинах падения Рима».

Неужели Ю. М. Стеклов позабыл об этой статье? Нет, не позабыл. Он пишет о ней вот что:

«Но мы и не говорим, что он (конечно, Чернышевский. *Г. П.)* создал цельную и законченную систему исторического материализма: он только близко подошел к ней. Так, например, в статье: «О причинах

падения Рима» он говорит, что прогресс — результат знания, и успехи прогресса прямо пропорциональны степени совершенства и степени распространенности знаний. Но этих положений Чернышевского нельзя истолковывать в смысле прямолинейного и узкого рационализма, так как во всех других случаях, когда Чернышевскому приходилось говорить о движущих силах истории, он указывал их в экономических факторах и в борьбе классов» [1]).

Мы сейчас увидим, как надо понимать в данном случае «экономические факторы» и «борьбу классов», а теперь я спрошу Ю. М. Стеклова, опровергает ли кого-нибудь его замечание о том, что приведенные мною положения Чернышевского «нельзя истолковывать в смысле прямолинейного и узкого рационализма»? По моему — ровно никого! И это по той, как нельзя более простой, но вполне достаточной, причине, что, ведь, речь-то у нас идет о том, был ли Чернышевский, по своим историческим взглядам, *рационалистом* (т. е. идеалистом), а вовсе не о том, был ли он *«прямолинейным и узким* рационалистом». Зачем же подставлять вместо одного вопроса другой, на него совершенно не похожий? При правильной же постановке вопроса, дело представляется так: я писал и пишу, что в своем понимании истории Чернышевский оставался рационалистом, несмотря на то, что ему, — совершенно

[1]) «Н. Г. Чернышевский», стр. 141.

так же, как и Фейербаху,— нередко случалось высказывать материалистические взгляды об отдельных исторических и общественных явлениях, а Ю. М. Стеклов доказывает, что в этом случае «некоторые» заблуждаются, т. е., я не прав. Читатель видел, насколько убедительны были те доводы Ю. М. Стеклова, которые мы рассмотрели до сих пор. Теперь мы идем дальше:

«Этот рационалист, — продолжает он, — определенно высказывал, что «рассудок чуть ли не совершенно бессилен в истории» [1]).

Что правда, то правда! Наш великий рационалист в самом деле очень «определенно высказывал» это. Но, ведь, столь же «определенно» высказывали это и французские (тоже чуждые

«прямолинейности и узости») просветители XVIII столетия [2]). Значит ли это, что они чужды рационализма?

В своей книге: «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю» я показал, что французские просветители XVIII века не могли, — благодаря недостаткам своего метода, — справиться, между прочим, с такой антиномией:

«Положение. Очень ошибаются те, которые думают, что религиозная мораль, — например, заповедь о любви к ближнему, — хотя отчасти содействовала нравственному улучшению людей. Такого рода заповеди, как и вообще идеи, совершенно бессильны над людьми. Все дело в общественной среде, в общественных отношениях [3]).

«Противоположение. Исторический опыт показывает нам «que les opinions sacrées furent la source véritable des maux du genre humain» [4]), и это совершенно понятно, потому что, если мнения вообще управляют миром, то ошибочные мнения управляют им, как кровожадные тираны».

Ю. М. Стеклов без труда может убедиться в том, что мысль, заключающаяся здесь в тезисе, и есть та мысль Чернышевского, согласно которой «рассудок чуть ли не совершенно бессилен в истории» и которая ввела его, Ю. М. Стеклова, в заблуждение при оценке точки зрения Чернышевского.

[1]) Там же, стр. 135.

[2]) У Кондильяка, в его «Исторических уроках принцу Пармскому», Ю. М. Стеклов найдет весьма красноречивые рассуждения о бессилии рассудка в истории.

[3]) Назван. соч., четвертое издание, стр. 8. В одном из примечаний к этой странице я подтверждаю мои слова ссылкой на Гольбаха, Гельвеция, Гримма и Вольтера. К этому примечанию я и отсылаю Ю. М. Стеклова, которому, разумеется, известна моя книга. Сравни также стр. 139 и 140 того же издания.

[4]) По-русски это значит, что религиозные взгляды были истинными источниками бедствий человеческого рода.

Читатель позволит мне сделать еще две выписки из того же моего сочинения. В них указываются еще две из тех антиномий, в которых путались французские просветители, благодаря недостаткам своего (метафизического) метода.

Первая антиномия.

«Положение. Человек, со всеми своими *мнениями,* есть плод *среды* и преимущественно общественной среды. Это — неизбежный вывод из

основного положения Локка: no innate principles, нет *врожденных идей.*

«Противоположение. Среда, со всеми своими свойствами, есть плод *мнений.* Это неизбежный вывод из основного положения исторической философии французских материалистов: c'est l'opinion qui gouverne le monde (миром правит мнение)» [1]).

Метод, находившийся в распоряжении Чернышевского, тоже не давал ему возможности разрешить эту антиномию. Но у него, — как и у всех социалистов-утопистов, — встречаются обе составные части этой антиномии, т. е. и положение (мнения — плод среды) и противоположение (среда — плод мнений). Мы уже видели, как ошибся Ю. М. Стеклов, встретившись у Чернышевского с той мыслью, что человек со всеми своими мнениями создается средою.

А, может быть, французские просветители XVIII века тоже переросли Фейербаха и приближались к Марксу? Пусть ответит на это Ю. М. Стеклов.

Вторая антиномия (производится от предыдущей).

«Положение. Человек считает хорошими те общественные отношения, которые для него полезны, он считает дурными те отношения, которые для него вредны. *Мнения людей определяются их интересами.* «L'opinion chez un peuple est toujours déterminée par un intérêt dominant», — говорит Сюар (мнение данного народа всегда определяется господствующим в его среде интересом) (Suard, t. III, p. 401). Это даже не вывод из учения Локка, это — простое повторение его слов: «No innate practical principles... Virtue generally approv'd not because innate, but because profitable... Good and Evil... are nothing but Pleasure or Pain or that which occasions or procures Pleasure or Pain to us». Нет врожденных нравственных идей... Добродетель одобряется людьми не потому, что она

[1]) Стр. 7.

врождена им, а потому, что она им выгодна. Добро и зло... суть не что иное, как удовольствие или страдание или то, что причиняет нам удо-

вольствие или страдание («Essay concerning human understanding» B. I, ch. 3; B. II, ch. 20, 21, 28).

«Противоположение. Данные отношения кажутся людям полезными или вредными в зависимости от общей системы мнений этих людей. По словам того же Сюара, всякий народ «ne veut, n'aime, n'approuve que ce qu'il croit être utile» («всякий народ любит, поддерживает и оправдывает лишь то, что считает полезным»). Следовательно, в последнем счете все опять сводится к «мнениям, которые управляют миром» [1]).

Эта антиномия не была разрешена ни материалистической философией XVIII века, ни утопическим социализмом XIX столетия. Но как у материалистов XVIII столетия, так и у социалистов - утопистов XIX века мы одинаково часто встречаемся с обеими составными частями этой антиномии, т. е. как с той мыслью, что понимание человеком своих интересов определяется его мнениями, так и с тою, что мнения людей определяются их интересами. Это непременно должен знать и помнить всякий историк общественной мысли, потому что, при отсутствии такого знания, он может стать жертвой большого и, — скажу опять прямо, — даже смешного недоразумения. Так, например, прочитав Сюара, что «мнения данного народа всегда определяются господствующим в его среде интересом», он может вообразить, что Сюар был «экономическим материалистом» и в качестве такового перерос точку зрения Фейербаха и приближался к научному социализму. Да что Сюар! Что восемнадцатое столетие! Жертва большого и смешного недоразумения, такой историк выдаст, пожалуй, за экономического материалиста самого Локка; ведь, говорил же этот последний, что «добродетель одобряется людьми не потому, что она врождена им, а потому, что она им выгодна».

Смысл басни сей таков, что с понятиями «интерес», «выгода», а также и с родственным им понятием «экономический фактор», следует обращаться очень осторожно. А я боюсь, что Ю. М. Стеклов не обнаружил большой осторожности в обращении со всеми этими понятиями. Ю. М. Стеклов повторяет: «Чернышевский безусловно был объективистом» [2]); итак, зачислить Чернышевского в ряды

субъективистов «никак не удается» [3]). Тут он прав. Но беда в том, что понятие рациона-

[1]) Там же, стр. 7—8.
[2]) Там же, стр. 132.
[3]) Там же, стр. 134.

лист отнюдь не покрывается понятием субъективист. Второе понятие несравненно уже первого. Чтобы выразиться словами Ю. М. Стеклова, я скажу, что субъективист есть «прямолинейный и узкий рационалист», каким Чернышевский никогда не был. Субъективисты явились у нас уже *после* Чернышевского и показались большими именно потому и только потому, что великий человек был удален с нашей литературной сцены. Чернышевский стоял на точке зрения Фейербаха, а субъективисты, — как я показал в той же книге об историческом монизме,— ведут свою родословную от Бруно Бауэра и К°. Это — «две большие разницы».

Очень ошибается Ю. М. Стеклов и тогда, когда считает Чернышевского родоначальником нашего народничества. Народничество явилось в истории нашего социализма первой апелляцией от «сознания» к «бытию», т. е. первой попыткой найти в нашей общественной экономии ручательство за торжество социалистического идеала. Таким ручательством была в глазах народников наша поземельная община. Чернышевский, как известно, не только не игнорировал общины, но очень удачно защищал ее от нападок наших вульгарных экономистов. Однако это еще не дает основания считать его народником. В противность народникам, он вовсе не считал общины *необходимым* ручательством за торжество у нас социализма: подобно всем просветителям, он был убежден, что необходимым и достаточным ручательством этого торжества служит *сила идеи.* И эта сторона его миросозерцания с особенной яркостью обнаружилась тогда, когда ему пришлось вступить в спор с настоящим родоначальником нашего народничества, т. е. с Герценом. Я уже сказал, — да и сам Стеклов согласен с этим, — что в своей статье: «О причинах падения Рима» Чернышевский рассуждал, как человек, всецело стоявший на точке зрения исторического идеализма.

Ю. М. Стеклов цитирует (из дневника Левицкого) такие замечания Левицкого (Добролюбова) о Волгине (Чернышевском): «Он не верит в народ». Какой же народник не верил в народ? Или: «По его мнению, народ так же подл и пошл, как общество» [1]). Какой народник согласился бы повторить и эти слова?

III

Характеризуя экономические взгляды Н. Г. Чернышевского, Ю. М. Стеклов говорит: «Конечно, в настоящее время многие взгляды Чернышевского на экономические вопросы устарели, да и вся его система в

[1]) Там же, стр. 343.

целом, поскольку можно говорить о такой системе, является страшно отсталой сравнительно с системой научного социализма. Но в свое время работы Чернышевского сыграли значительную роль, а некоторые его взгляды до сих пор выдерживают строгое испытание научной критики» [1]).

Справедливо то, что в свое время экономические сочинения Чернышевского имели у нас огромное значение [2]). Но удивительно, что Ю. М. Стеклову и в голову не приходит спросить себя, почему же «являются страшно отсталыми сравнительно с системой научного социализма» экономические взгляды такого писателя, который, по его же, Ю. М. Стеклова, словам, приближался к научному социализму — и приближался именно тем, что понимал преобладающую в истории роль «экономического фактора»? Я могу уверить Ю. М. Стеклова, что его книга много потеряла от того, что он не задумался над этим вопросом.

Наш автор продолжает: «Как ни странно это может показаться на первый взгляд, но именно в области экономических вопросов, разработкой которых Чернышевский наиболее интересовался и наиболее прославился, взгляды нашего автора оказываются наиболее уязвимыми. Здесь сказалось влияние исторической эпохи и социальной среды, окружавшей Чернышевского и заставившей его устремлять свое главное внимание не столько на анализ существующего, сколько на исследование желательного ему

общественного уклада. А это придало особенную окраску его экономическим воззрениям и не могло не оказать сильнейшего влияния на результаты его работ в этой области» [3]).

Я не стану повторять, что это в самом деле как нельзя более странно. Но я прибавляю, что странно это не только «на первый взгляд». Наоборот! Если бы Ю. М. Стеклов подумал об этом явлении, то оно тем более казалось бы ему странным, чем более он старался бы объяснить его себе и привести в логическую связь со своим общим взглядом на Чернышевского, как на человека, покинувшего точку зрения утопического социализма и приблизившегося к социализму научному. И так продолжалось бы до тех пор, пока он не убедился бы, что нельзя объяснить это странное явление, не опровергнув его общего взгляда на Чернышевского.

И что это за доводы! «Здесь сказалось влияние исторической эпохи и социальной среды, окружавшей Чернышевского». Конечно, «сказа-

[1]) Там же, стр. 218—219.

[2]) И именно потому, что они имели такое значение, непонятно, отчего Ю. М. Стеклов не нашел нуж-ным заняться внимательным их рассмотрением.

[3]) Там же, стр. 219.

лось»! Этого никто не оспаривает. Весь вопрос в том, каковы были результаты названного влияния, т. е. не привело ли оно Чернышевского на анализ существующего, сколько на исследование желательного ему. Именно потому, что указанное Ю. М. Стекловым влияние привело Чернышевского на точку зрения социалиста-утописта, он не только мог, но и должен был — это подтверждается примером решительно всех социалистов-утопистов! — «устремлять свое главное внимание не столько на анализ существующего, сколько на исследование желательного ему общественного уклада». Кроме того, неужели Ю. М. Стеклов думает, что другие социалисты-утописты не подвергались влиянию окружавшей их среды?

По словам Ю. М. Стеклова, задача экономической системы, изложенной Чернышевским в его «Примечаниях к Миллю», заключалась, — благодаря влиянию «исторического момента», — «в том, чтобы найти и выставить общие принципы, применимые ко всем историческим укладам экономической жизни, и вместе с тем дать в

виде общего абриса основы «рационального» экономического устройства, удовлетворяющего интересы всего общества. Так что и в основе его анализа существующих экономических отношений обыкновенно лежит задняя мысль: обнаружить противоречие этих данных отношений постоянным экономическим принципам и их убыточность для общества» [1]).

Почему же это? Ясно — почему. Потому, что Чернышевский смотрел на экономическую жизнь общества глазами рационалиста. Ну, а мог ли бы он смотреть на экономическую жизнь общества глазами рационалиста, если бы он был близок к материалистическому объяснению истории?

Ю. М. Стеклов сам изменяет «историзму», когда пытается определить исторические взгляды Чернышевского. Он пишет: «Маркс в первых своих работах говорит о «гра-жданском обществе», как совокупности известных экономических и социальных отношений. Эти термины употребляются и Чернышевским. Если мы проследим историю каждой из европейских наций, говорит он, то мы увидим, что весь ее современный быт, все ее наклонности объясняются влиянием тех гражданских учреждений, под влиянием которых она жила и живет» [2]).

Но разве же эта мысль Чернышевского встречается только у Маркса? Нет, она встречается у французских историков и социалистов *го-*

[1]) Там же, стр. 235.
[2]) Там же, стр. 142.

раздо раньше его. Так, например, Сен-Симон в своем письме к редактору «Journal général de France» *от 12 мая 1818* года (заметьте, Ю. М. Стеклов: 1818 года!) писал: «La loi qui constitue la propriété est la plus importante de toutes; c'est elle qui sert à l'édifice social». По-русски: «Закон, определяющий собственность, важнее всех прочих: на нем покоится общественное здание». В этом же смысле не раз высказывался и Виктор Консидеран. Так же смотрели Гизо, Минье, Токвилль. Токвилль утверждал, что на отношения собственности можно смотреть, как на «первую причину законов, обычаев и идей, определяющих собою деятельность народов». Поэтому, чтобы понять законодательство и нравы данного народа, необходимо изучить господствующие у него отношения собственности [1]).

Два последние тома сочинений Токвилля об Америке всецело посвящены исследованию того, как существующие в Соединенных Штатах Америки отношения собственности влияют на умственные и даже эстетические привычки и потребности тамошних граждан. Ю. М. Стеклов, как видно, не знал этого или позабыл об этом.

Но этим еще не исчерпывается его грех против историзма. Он говорит:

«Чернышевский делает блестящее замечание относительно происхождения абсолютной монархии в результате классовой борьбы между высшими и низшими классами... В Греции тираны были предводителями демократов и добивались власти, низвержения аристократического устройства тогдашних обществ. Императоры в Риме тоже вышли из предводителей демократической партии. То же самое было во всех новых государствах Западной Европы. Особенно ясно, по словам Чернышевского, это наблюдается в истории Франции: вся сила королей была приобретена борьбою против феодалов, в которой короли опирались на массу народа. Подобное явление, говорит Чернышевский, продолжается до сих пор в тех государствах Западной Европы, где сохраняется неограниченная монархия. Австрия победила конституционные стремления только тем, что в 1848—1849 годах была поддержана демократическими слоями своих восточных областей против аристократических венгров, составлявших главную силу конституционной партии. Таких фактов, когда австрийский абсолютизм торжествовал над своими внутренними врагами только силою низших сословий, бесчисленное множе-ство в его истории» [2]).

[1]) «De la démocratie en Amérique», т. I, стр. 74. Изд. 1836 г.
[2]) «Н. Г. Чернышевский», стр. 118-149.

Замечания Чернышевского, приводимые здесь Ю. М. Стекловым, в самом деле следует признать блестящими. Но, вопреки мнению того же Ю. М. Стеклова, они вовсе не доказывают, что Чернышевский был очень близок к историческому материализму. Точно такие же блестящие замечания мы можем встретить и у французских историков времен реставрации: Гизо, Минье, Огюстена Тьерри. И не только у историков. Г-жа Сталь в своем посмертном сочинении: «Considérations

sur la revolution française», вышедшем в 1818 году, говорит о французской революции, как об одной из великих эпох в развитии «социального строя», и делит историю Европы, после падения Западной Римской империи, на различные периоды сообразно тому, какой вид принимает в каждом из них борьба классов. Ю. М. Стеклова особенно, как видно, поразила та мысль Чернышевского, что во Франции вся сила королей была приобретена борьбой против феодалов, в которой короли опирались на массу народа. Если он потрудится прочитать названное мною сочинение г-жи Сталь, то он, вероятно, еще более поразится, встретив ту же мысль в этом сочинении. По мнению г-жи Сталь, третий период европейской истории (после падения Рима) характеризуется усилением королевской власти, очень умело воспользовавшейся борьбою классов в европейском обществе. «Постоянные войска уменьшили для королей необходимость в поддержке их дворянством, а нужда во взимании налогов заставила монархов, наоборот, обратиться к третьему сословию. Чтобы получить возможность непосредственно облагать это сословие налогами, нужно было более или менее высвободить его из-под влияния феодальных сеньоров» [1]). Если монархия извлекала пользу из борьбы третьего сословия с феодалами, то и это сословие, в свою очередь, получало немалую выгоду от союза своего с монархией. Обогащаемое своей торгово-промышленной деятельностью, оно постепенно стало самым влиятельным классом в европейском обществе. «Второй класс общества (т. е. то же третье сословие, иначе городская буржуазия, «les bourgeois des villes») овладел (s'empara) науками, литературой, изучением законов и торговлей; его влияние возрастало каждый день» [2]). Этот непрерывный рост третьего сословия привел и не мог не привести к кризису, т. е., к революции.

Английская революция тоже явилась, по словам г-жи Сталь, результатом борьбы, которую вело третье сословие («ou pour mieux dire la

[1]) Названное сочинение, изд. 1818 г., т. I, стр. 9.
[2]) Там же, стр. 10.

nation») с феодальной аристократией [1]). Вообще, английская революция была вызвана теми же причинами, что и французская.

Скажет ли Ю. М. Стеклов, что г-жа Сталь была очень близка к материалистическому пониманию истории?

А Сен-Симон, которого Ю. М. Стеклов без малейшего колебания относит к числу социалистов-утопистов и который в своем. «Catéchisme politique des industriels» пространно доказывал, что королевская власть во Франции окрепла благодаря тому, что поддерживала народ в его борьбе с феодалами? Неужели и Сен-Симон очень близко подошел к материалистическому пониманию истории?

Наконец, укажу на «Histoire des dix ans» Луи Блана. Принадлежал ли он к числу социалистов-утопистов? Ю. М. Стеклов решительно отвечает, что — да. А, между тем, Луи Блан во введении к своей, только что названной, «Истории десяти лет» повторяет тот самый взгляд на роль борьбы классов в социальной и политической истории Франции, который мы встречаем у г-жи Сталь, Сен-Симона, Консидерана, а также у историков времен реставрации. Что Чернышевский хорошо знал Луи Блана, — так же, впрочем, как и всех других, перечисленных мною авторов, — это, конечно, знает и отмечает в книге сам Ю. М. Стеклов. Описывая те цензурные препятствия, с которыми приходилось бороться Чернышевскому, он говорит: «и даже в статьях о июльской монархии Чернышевский не решился сразу указать свой источник, только в примечании (на третьем печатном листе) он осторожно намекает на «Историю десяти лет», но имени автора, Луи Блана, так и не приводит» [2]). Прибавлю еще вот что: упоминаемая здесь Стекловым статья о июльской монархии составляет непосредственное продолжение статьи: «Борьба партий во Франции», в которой Ю. М. Стеклов нашел поразившую его мысль о борьбе классов, как об одном из главных исторических условий роста монархии, во Франции и других странах.

Ввиду всего этого можно сказать, что сделал бы большую несправедливость тот читатель, который упрекнул бы Ю. М. Стеклова в излишнем «историзме». Нет, «историзмом» наш автор не грешит!

Но я еще не кончил. Чтобы, со своей стороны, не погрешить против «историзма», я оставлю иностранных авторов и обращусь к русским.

В первой книжке «Москвитянина» за 1845 год М. П. Погодин напечатал свою статью: «Параллель Русской истории с историей Запад-

[1]) Там же, стр. 12.
[2]) «Н. Г. Чернышевский», стр. 23—24.

ных Европейских государств относительно начала». В этой статье он доказывал, что западные государства произошли вследствие завоевания, которое наложило свою печать на всю их последующую историю. История эта характеризуется взаимной борьбой классов. Сначала средний класс боролся с аристократией, а теперь низшие классы борются со средним: «В наше время низшие классы, вслед за средним, являются на сцену, и точно как в революции среднее сословие боролось с высшим, так теперь низшие готовятся на Западе к борьбе со средним и высшим вместе. Предтечей этой борьбы уже мы видим: сенсимонисты, социалисты, коммунисты соответствуют энциклопедистам, представившим пролог к Французской революции»

Я нахожу, что это довольно выразительно. А строки, которые я сейчас приведу, еще выразительнее

Погоди« имеет свою «формулу прогресса», как выражались потом Лавров и Михайловский. Она гласит так:

«Завоевание, разделение, феодализм, города с средним сословием, ненависть, борьба, освобождение городов, это — первая трагедия европейской трилогии. Единодержавие, аристократия, борьба среднего сословия, революция, это — вторая. Уложения (т. е., европейские конституции, как результат борьбы классов. *Г. П.),* борьба низших классов... — будущее в руце божией».

Оставляя в стороне будущее, нельзя не заметить, что Погодин высказывает здесь тот самый взгляд на борьбу классов, который впоследствии вошел, как одна из составных частей, — но только как одна из таких частей, — в материалистическое объяснение истории. И заметьте, что названная статья Погодина появилась в 1845 году, т. е. в том самом году, когда Маркс писал свои тезисы о Фейербахе.

Следуя методу Ю. М. Стеклова, можно на этом основании совершить целый переворот в истории социализма... Я не имею ни малейшей охоты совершать подобный переворот. Я тем меньше

расположен к этому, что по поводу исторической «Параллели» Погодина Герцен в том же 1845 году сделал в «Отечественных Записках» следующее поразительно верное замечание: «Параллель Русской истории с историей Западных государств» написана ясно, резко и довольно верно, даже в ней было бы много нового, если бы она была напечатана лет двадцать пять назад» [1]).

[1]) Не имея под руками «Москвитянина» и «Отечественных Записок», я цитирую Погодина и Герцена по Барсукову: «Жизнь и труды М. П. Погодина», книга восьмая, С.-Петербург 1894 г., стр. 114—115.

Вычтите двадцать пять из сорока пяти — получится двадцать. Стало быть, замечание Герцена переносит нас в двадцатые годы, в ту эпоху, когда начинали распространяться идеи г-жи Сталь, Гизо, Минье, Огюстена Тьерри и т. д. Герцен совершенно прав! В лето от Р. Х. 1845-ое взгляд Погодина на борьбу классов был уже далеко не нов. Но почему же Ю. М. Стеклов нашел его новым, встретив его в статье Чернышевского, написанной в конце *пятидесятых* годов?

Ю. М. Стеклов сделал большой промах. Но если мы захотим вдуматься в вопрос о том, почему он промахнулся, то увидим, что тут, — по выражению Чернышевского, —«не вина его, а беда его».

Тут виноват «субъективизм», свирепствовавший у нас в продолжение целой четверти века (годы семидесятые, восьмидесятые и половина девяностых). Субъективизм довел идеалистический взгляд на историю до нелепостей, до карикатуры, и, благодаря ему, «бедная русская мысль» весьма основательно позабыла то, что она знала уже в сороковых годах. В числе многих позабытых мыслей оказалась и мысль об историческом значении борьбы классов. Так объясняется промах Стеклова, если взглянуть на него с точки зрения «историзма».

В подготовляемой теперь мною к печати статье: «Погодин и борьба классов» я покажу, как относится точка зрения Погодина к точке зрения научного социализма. Читатель увидит там. что знакомый нам теперь взгляд на историческое значение борьбы классов нисколько не мешал ему оставаться идеалистом. И я надеюсь, что Ю. М. Стеклов оспаривать меня не станет.

На Западе, под влиянием реакции, вызванной событиями 1848—1849 гг., появился свой исторический «субъективизм», больше всего

боявшийся именно мысли о борьбе классов. Поэтому западноевропейские историки второй половины XIX века совсем позабыли великое открытие, сделанное историками первой половины того же XIX века и заключавшееся в том, что, — по энергичному выражению Гизо, — вся история Европы была «сделана войною классов» [1]). И это обстоятельство не осталось без сильного влияния даже на представления социалистов. До сих пор на Западе нередко можно встретить сторонника научного социализма, наивно думающего, что Маркс был первым писателем, понявшим великое историческое знание борьбы классов. В статье «Augustin Thierry et la conception materialiste de l'historie», напечатан-

[1]) Употребляя это выражение, Гизо говорил собственно о Франции, но в других местах он очень ясно давал понять, что этот взгляд применяется у него ко всей истории Западной Европы после падения Рима.

ной в парижском журнале «Ere nouvelle» за 1895 год [1]), я, на примере французских историков реставрации, показал, что это большая ошибка. По-русски я сделал то же отчасти в своей книге: «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю» (глава II: «Французские историки времен реставрации») и в особенности в предисловии ко второму изданию моего перевода «Манифеста Коммунистической Партии». Ю. М. Стеклову известны эти работы, по крайней мере те, которые писаны по-русски. Если бы он не был увлечен предвзятой мыслью насчет воображаемой им неправильности моего суждения о месте, занимаемом Чернышевским в истории развития социалистической теории, то он принял бы во внимание эти работы и не сделал бы только что отмеченного' мною огромного промаха.

Очень возможно, что мои ссылки на г-жу Сталь, Гизо, Погодина, Герцена и пр. привели в недоумение некоторых читателей, не окончательио разорвавших с идеалистическими традициями. Такие читатели спросят меня; в чем же заключается отличительная черта научного социализма, если не во взгляде на огромное значение борьбы классов и вообще «экономики»? На этот вопрос я позволю себе ответить ссылкой на одну из своих прежних статей.

«Дело в том, что как Сен-Симон, Консидеран и другие социалисты-утописты, так и историки, видевшие в отношениях собственности важнейшую основу общественного здания, а в развитии этих отношений — главную причину общественного движения, были все-таки *идеалистами.* Они понимали общественное значение экономики, но они не видели той коренной причины, от действия которой зависит экономический строй всякого данного общества» [2]).

Какою же коренной причиной определяется этот строй? *Развитием производительных сил.* На это и указал Маркс. В этом и заключается его величайшая заслуга как основателя исторического материализма и научного социализма [3]). Те социалистические писатели, которые не понимали решающей важности этой причины, оставались, — как бы ни

[1]) Не помню сейчас, в какой именно книжке, и не могу справиться, не имея под руками этого, давно уже прекратившегося, журнала. По правде сказать, я даже не вполне уверен, что названная статья появилась в 1895, а не в 1896 году. Но ведь это и не важно

[2]) См. мою статью: «Белин:кий и разумная действительность» в сборнике: «За двадцать лет».

[3]) Подробнее см. мою книгу: «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю».

были проникнуты материализмом встречающиеся у них отдельные исторические или социологические взгляды,— *идеалистами в истории.* Но, оставаясь идеалистами в *истории,* они, естественно, были *утопистами в социализме:* ведь не трудно понять, что одно вытекало из другого.

А Чернышевский? Как смотрел он на вопрос об историческом значении развития производительных сил?

Ю. М. Стеклов отвечает: «Единственный серьезный пробел в историко-философских воззрениях Чернышевского заключается в том, что он не указал определенно на решающее значение развития производительных сил, как основного фактора исторического процесса» [1]).

Легко сказать: «единственный пробел». Но дело в том, что этим единственным пробелом весь спорный вопрос решается окончательно и бесповоротно.

Ю. М. Стеклов сам чувствует это. И вот, в другом месте своей книги, он пытается уменьшить вес этого своего признания. Он показывает, что Чернышевский не боялся промышленного развития (как боялись его впоследствии наши народники). И это так. Но это дело даже не другое, а «десятое», как выражался Базаров. Промышленного развития не боялся ни один либеральный экономист. Но значит ли это, что все либеральные экономисты смотрели на развитие производительных сил глазами Маркса? Значит ли это, что они были историческими материалистами?

Если Чернышевский не боялся промышленного развития, то это еще не значит, что он близко подошел к историческому материализму. Это значит только то, что очень ошибаются Ю. М. Стеклов и г. Иванов-Разумник, считающие Чернышевского родоначальником нашего народничества.

Еще одно слово. Знает ли Ю. М. Стеклов, каким образом анархист В. Черкезов «доказал», что Маркс и Энгельс были не более, как плагиаторы? Он взял нередко встречающиеся у социалистов-утопистов материалистические мысли о важном значении экономики и борьбы классов, сопоставил эти мысли с указаниями тех же писателей на эксплуатацию пролетариата буржуазией, на рост общественного неравенства и т. п. и решил, что Маркс и Энгельс были воронами в павлиньих перьях, что они все накрали у других. И нашелся даже один (петербургский) профессор политической экономии, которому «труд» В. Черкезова показался заслуживающим серьезного внимания.

[1]) «Н. Г. Чернышевский», стр. 176.

Но профессор дал ошибку: на самом деле «труд» В. Черкезова ровнехонько никуда не годится. Мне, разумеется, и в голову не приходит сравнивать этого анархиста с Ю. М. Стекловым. Тем не менее, я не могу не видеть, что Ю. М. Стеклов не вполне убережся от того методологического недостатка, который привел В. Черкезова к его смешному абсурду: он тоже не выяснил себе, что собственно сделал Маркс и что сделано его предшественниками. Отсюда главный недостаток его книги.

Некоторые христианские писатели, высоко чтя Аристотеля, пытались доказать, что он был христианином. Они не могли помириться с той мыслью, что хороший человек и глубочайший мыслитель мог оставаться язычником. Ю. М. Стеклов немножко напоминает мне этих добрых почитателей Аристотеля. Он никак не может помириться с той мыслью, что Н. Г. Чернышевский, обладавший глубоким умом и отличавшийся благородным характером, оставался на точке зрения утопического социализма. Однако история показывает, что в этом нет ничего невозможного: между представителями утопического социализма было не мало гениальных умов и светлых личностей. Если бы Ю. М. Стеклов вспомнил об этом, приступая к своему сочинению о Чернышевском, то он наверно меньше погрешил бы против «историзма».

Усваивая идеи Фейербаха, мысль Чернышевского шла по тому пути, идя по которому нельзя было не придти, при новых исторических условиях, к точке зрения научного социализма. Этого достаточно, чтобы обеспечить ему одно из самых почетных мест в истории русской общественной мысли.

Чернышевский в Сибири

Чернышевский в Сибири. Переписка с друзьями. Выпуск I (1865—1875). Выпуск II (1876—1877). Статья Е. А. Ляцкого. Примечания М. Н. Чернышевского. Спб. 1912 г. Изд. т-ва «Огни».

Передо мною лежат два тома писем Н. Г. Чернышевского к своим родным, — главным образом, к жене и детям, — из Сибири. Письма, заключающиеся в этих двух томах, доходят до 1877 г. включительно и представляют собою, в полном смысле этого слова, драгоценные «человеческие документы». Люди, сочувствовавшие литературной деятельности Чернышевского, так безвременно прерванной его арестом и ссылкой, всегда смотрели на него, как на личность, очень выдающуюся не только в умственном, но и в нравственном отношении. Они очень склонны были идеализовать его. Идеализация весьма естественна в подобных случаях. Однако она далеко не безопасна: лучшее знакомство с идеализованной личностью ведет иногда к разочарованию в ней. Но в данном случае о такой опасности не может

быть и речи. Письма Чернышевского из Сибири показывают, что его очень трудно было идеализовать в надлежащей степени. И чем больше русская читающая публика будет знакомиться с этими письмами, тем больше станет расти ее уважение к этому изумительно благородному и непоколебимо-твердому человеку. Надо только, чтобы она побольше читала их. Но за это «по нонешнему времени» не так легко поручиться.

По закону жена осужденного на каторгу имеет право следовать за ним. Н. Г. Чернышевский очень любил свою жену; разлука с нею, несомненно, была для него источником больших страданий. Но он боялся, что жизнь в далекой и нездоровой окраине будет очень тяжела для нее. И вот, попавши в Сибирь, он начинает придумывать, как бы устроить так, чтобы его жена не только не ехала за ним, но и вообще как можно скорее забыла о нем. В письме к А. Н. Пыпину из Ви-

люйска от 8 марта 1875 г. он делает на этот счет чрезвычайно поучительное признание.

«Несколько лет тому назад, при свидании за Байкалом, я упрашивал Ольгу Сократовну выйти за кого-нибудь из благородных людей, которых было много, не смевших, разумеется, и думать ни о чем подобном, но из которых каждый считал бы себя счастливейшим на свете человеком, если бы услышал от нее то, что я просил ее сказать кому-нибудь из них...

Не мог я убедить ее. — Дал пройти нескольким месяцам и перестал писать ей. Не писал целый год. Она не могла выдержать этого. Как быть? — Я нашел себя в необходимости опять начать переписку с нею» (Выпуск I, стр. 140).

Но, возобновив переписку с женою, Н. Г. Чернышевский не покинул своего плана, а только отсрочил его исполнение. Его задача по отношению к своей жене осталась прежней. «Дело лишь в том, — пишет он к тому же Пыпину, — чтобы не иметь расположения ко мне. Тогда можно жить хорошо, как требует здоровье» (стр. 141), т. е. как ее здоровье. В 1875 г. он пытается решить эту задачу посредством притворной ссоры с А. Н. Пыпиным. Дело в том, что у несколько раздражительной по характеру Ольги Сократовны Чернышевской иногда

выходили размолвки с семьей Пыпина, не переставшего заботиться о ней и об ее двух сыновьях после ссылки Н. Г. Чернышевского. Об этих своих размолвках с Пыпиными она доводила до сведения мужа. К ним-то и придрался он, намереваясь сделать так, чтобы Ольга Сократовна утратила всякое расположение к нему. Он сделал вид, что всецело становится на сторону своей жены, и потребовал от своего сына Александра разрыва всяких сношений с Пыпиными, у которых он жил. Затем... Но пусть рассказывает сам Чернышевский.

«Продолжению следовало быть таким:

Когда по расчету времени стало бы резонным, — то есть, еще месяца через два после нынешнего, — я обратился бы к сыну, Саше, в таком вкусе:

«Ты не разорвал сношений с ними?» — А я знаю, что это невозможно даже и материально, не только нравственно; что, не говоря о чувствах и рассудке самого Саши, не может быть это допущено и Ольгой Сократовной; ...ни Саша не мог бы, я знал, исполнить требования, с которыми я обращался к нему, ни Ольга Сократовна допустить этого. — А в апреле, в мае, я уже имел бы, по расчету времени, резон обратиться к Саше с такими словами:

«Ты не слушаешься? Ты, когда так, не сын мне!» — и это в выражениях еще более грубых, чем обращенные к вам.

Это была вторая часть. А третью, и самую важную для меня, написала бы для меня уж Ольга Сократовна:

«Когда ты стал таким скверным человеком, то — ты перестал существовать для меня и для моих детей». — она написала бы так; это верно, как 2 × 2 = 4.

А в этом и было для меня самое важное облегчение моей совести. Совесть у меня есть. Хотелось бы перестать быть вредным для близких ко мне» (Выпуск I, стр. 139—140).

Как и следовало ожидать, этот своеобразный маккиавелизм привел вовсе не к тому, чего хотел Чернышевский. А. Н. Пыпин написал ему письмо, в котором старался оправдаться от обвинений со стороны Ольги Сократовны. Письмо это делает ему величайшую честь своим содержанием и благородством тона. Чернышевский ответил ему так:

«Милый Сашенька,

Прошу прощенья у Тебя, у сестер и у Сережи за то, что напрасно огорчил вас.

С каждым словом Твоего письма я совершенно согласен. Все Твои суждения чистая правда. Но я знал, что все это так, когда писал те грубые обиды вам: Я знал, чтó такое пишу. Теперь ясно Тебе? У меня просто-напросто было намерение искоренить из ваших чувств всякое расположение ко мне.

Жалею, что не удалось» (Вып. I, стр. 139).

Как мало вводили его в заблуждение размолвки Ольги Сократовны с Пыпиными, видно из следующих строк:

«Милый друг, ее характер вспыльчив. Но и сама она умеет судить об этих вспышках. — В ее письмах ко мне очень часто бывают «ссоры» *с* вами, жалобы на вас. — «Это писано было в минуту досады, — говорит она о таких местах своих писем: — мне тогда так показалось; но ты знаешь мой характер; я сердилась напрасно». — Милый мой, конечно, я безгранично предан ей. Но это не мешает мне, разумеется, находить ее серьезные чувства к вам и ее серьезные отзывы о ваших отношениях к ней совершенно справедливыми. Ее серьезные чувства к вам — нежные; ее серьезные суждения об отношениях ваших к ней — совершенно те же, как Твои» (Вып. I, стр. 154—155).

Убедившись в том, что его попытка поссориться с А. Н. Пыпиным неосуществима, Н. Г. Чернышевский не знает, как загладить ту непри-

ятность, которую он причинил ему. Глубокое и поистине трогательное впечатление производят следующие строки, обращенные к А. Н. Пыпину:

«Письмо Твое исполнено высокого благородства души. За него стоило бы поцаловать и Твою руку; это неприлично; но я с некоторыми , людьми не стеснялся в этом, когда был молод» (Вып. I, стр. 147).

Эти нежные строки почти целиком повторяются в письме к А. Н. Пыпину от 28 марта того же года:

«Твое письмо, мой милый, письмо чрезвычайно благородное. Я писал Тебе в первом моем ответе на него, что стоило бы поцаловать за него Твою руку. Разумеется, это лишняя церемония. То и забудь, что

я, не стесняясь приличиями, в мыслях своих исполнил ее» (Вып. I, стр. 159).

Уже эти немногие отрывки дают полную возможность судить о том, каков был Н. Г. Чернышевский в сношениях со своими близкими.

Как бы кто ни судил о целесообразности делавшихся им попыток заставить их разлюбить его, несомненно одно: Н. Г. Чернышевский, бывший самым ярким представителем тех передовых людей 60-х годов, которых обвиняли, между прочим, в проповеди эгоизма, выступает перед нами в своих письмах преисполненным самого высокого благородства, самых чистых альтруистических чувств. А это лишний раз показывает, что крайне плохо понимали людей 60-х годов те, которые, по той или другой причине, не разделяли их взглядов.

И не одним альтруизмом пропитаны письма Чернышевского из Сибири. В них сильно слышится также стоическая нота. Свое положение в ссылке он характеризует, например, так:

«Я, по своему прекрасному обычаю, совершенно здоров. Живу очень хорошо. Денег и всяких необходимых вещей у меня много, и ничего мне не нужно. Прошу Тебя и детей: не присылайте мне ничего» (Вып. II, стр. 71).

И это повторяется почти во всех письмах его к жене. Читая его отзывы о своем положении, можно подумать, что его, по окончании каторги, в самом деле, водворили в местности, если не благословенной, то, по крайней мере, сносной. Его отзывы о ней изменяются только тогда, когда он начинает убеждать свою жену не приезжать к нему.

«Да, моя Радость, — пишет он ей в письме от 17 мая 1872 г.,— путь сюда далек и очень труден; да, самая почта почти круглый год не в силах идти сюда без страшных опасностей и долгих промедлений. От половины апреля до конца года — восемь с половиной месяцев; переезд от Иркутска до Якутска — тяжелое и очень рискованное предприятие; труднее, чем какие-нибудь путешествия по внутренней Африке.

От Иркутска сюда в эти месяцы езда положительно невозможна для людей, непривычных вести якутский образ жизни… пустыня; пищи не

найдешь; никакой помощи, в случае какого-нибудь обыкновенного дорожного приключения; станция — громадные расстояния... Прибавь: ужасные якутские юрты вместо станций. В этих юртах несравненно хуже, нежели в порядочных конюшнях» (Вып. 1, стр. 38—39).

Такова дорога в Вилюйск. А что говорит теперь Чернышевский о жизни в Вилюйске? Описав жалкое материальное положение вилюйских обывателей, он продолжает:

«Я присмотрелся к нищете; очень присмотрелся. Но к виду этих людей я не могу быть холоден; их нищета мутит и мою заскорузлую душу. Я перестал ходить в город, чтобы не встречать этих несчастных; избегаю тропинок, по которым бродят они на опушке леса» (Вып. I, стр. 39).

Желая дать Ольге Сократовне понятие о Вилюйском климате, Н. Г. Чернышевский приводит в споем письме такой диалог:

«Бывают здесь убийства?» — «Нет, народ смирный; но самоубийства часты». — «Отчего же?» — «От солитера; здесь почти у всех солитер, и наводит такую меланхолию, что человек возьмет, да повесится» (Вып. I, стр. 41).

Теперь у нашего автора выходит, что «климат Петербурга — идеал здорового климата сравнительно со здешним». А в конце письма ясно сказывается его главная мысль, его лейтмотив:

«Это все я пишу, чтобы Ты, моя Радость, поняла серьезность моей мольбы к Тебе: не приезжай сюда, заклинаю, не приезжай. Подожди, пока переведут меня жить куда-нибудь, где больше возможности жить и Тебе». При чтении этого письма сами собою приходят на память те слова, которые говорит губернатор княгине Трубецкой в «Русских женщинах» Некрасова:

Тот климат вас убьет;
Я вас обязан убедить:
Не ездите вперед!
Ах! Вам ли лить в стране такой,
Где воздух у людей
Не паром - пылью ледяной
Выходит из ноздрей?
Где мрак и холод круглый год,
А в краткие жары
Не просыхающих болот
Зловредные пары?

Да... страшный край! Оттуда прочь
Бежит и зверь лесной,
Когда стосуточная ночь
Повиснет над страной... [1])

Чернышевский льстил себя надеждой, что его скоро переведут в такую местность, где Ольга Сократовна могла бы жить, не подвергаясь слишком большим лишениям, и где он сам получил бы возможность заниматься литературным трудом. Этой надежде не суждено было осуществиться. Он оставался в Вилюйске вплоть до 1883 г., когда ему позволили вернуться в Европейскую Россию и поселиться в Астрахани. Но это случилось за несколько лет до смерти. Должно быть, ему не нужно было много времени для того, чтобы понять несбыточность своей надежды: он хорошо понимал своих врагов. Если в письмах к Ольге Сократовне он продолжал высказывать надежду на скорое переселение в более удобную местность, то он делал это, вероятно, только для ее успокоения.

Привычка к труду не покинула его и в Вилюйске. Он очень много читал и писал там, но, лишенный возможности печатать свои произведения, уничтожал написанное. Судьба русского писателя вообще никогда не была завидной. В истории нашей литературы очень мало встречается славных имен, не навлекавших на себя преследования со стороны попечительного начальства. Но во всей истории этой литературы нет ничего трагичнее судьбы Н. Г. Чернышевского. Трудно даже представить себе, сколько тяжелых страданий гордо вынес этот литературный Прометей в течение того длинного времени, когда его так методически терзал полицейский коршун.

В письмах Чернышевского из Сибири находится богатый материал, между прочим, и для суждения об его миросозерцании. Внимательно и

[1]) В письмах жене ссыльный стоик неизменно повторял, что, собственно, ему совсем не вредит страшный климат Вилюйска. Но в одном из писем к Пыпину он как-то проговорился об истинном состоянии своего здоровья. Оказывается, что *у* него был ревматизм но всему телу, было малокровие, были остатки скорбута, и в довершение, рос зоб (См. вып. I, стр. 156—157). К этому следует прибавить, что совершенно невозможно было рассчитывать в Вилюйске на сколько-нибудь серьезную медицинскую помощь. Да и серьезная медицинская помощь не много значила при страшном Вилюйском климате. Так и понимал это Чернышевский. В письме к своему сыну Александру от 14 августа 1877 г. он говорит: «Против ревматизма, поддерживаемого климатом, никакие лекарства не помогут» (Вып. II, стр. 192). В том же письме мы встречаем весьма существенную оговорку: «Не подумай, впрочем, что я чрезмерно слаб; нет, я слаб, это правда; но не очень слаб» (Вып. II, стр. 193).

не один раз перечитав их, я могу сказать, что они дали мне новое доказательство справедливости той характеристики этого миросозерцания, которая была сделана мною в моей книге «Н. Г. Чернышевский». Вот яркий пример.

В названной книге я изображал его убежденным последователем Фейербаха. Хотя, как я думаю, и трудно было усомниться в правильности такого изображения, но все-таки мне приятно привести теперь вот эти строки из письма Н. Г. Чернышевского к своим сыновьям от 11 апреля 1877 г.

«... Если Вы хотите иметь понятие о том, что такое, по моему мнению, человеческая природа, узнавайте это из единственного мыслителя нашего столетия, у которого были совершенно верные, по-моему, понятия о вещах. Это — Людвиг Фейербах. Вот уж пятнадцать лет я не перечитывал его. И раньше того, много лет уже не имел досуга много читать его. И теперь, конечно, забыл все, что знал из него. Но в молодости я знал целые страницы из него наизусть. И, сколько могу судить по моим потускневшим воспоминаниям о нем, остаюсь верным последователем его.

Он устарел? — Он устареет, когда явится другой мыслитель такой силы. Когда он явился, то устарел Спиноза. Но прошло более полутораста лет прежде, чем явился достойный преемник Спинозе.

Не говоря о нынешней знаменитой мелюзге, вроде Дарвина, Милля, Герберта Спенсера и т. д., — тем менее говоря о глупцах, подобных Огюсту Конту, ни Локк, ни Юм (Hume), ни Кант, ни Гольбах, ни Фихте, ни Гегель не имели такой силы мысли, как Спиноза. И до появления Фейербаха надобно было учиться понимать вещи у Спинозы,— устарелого ли или нет, например, в начале нынешнего века, но все равно: единственного надежного учителя. — Таково теперь положение Фейербаха: хорош ли он или плох, это как угодно; но он безо всякого сравнения лучше всех» (Вып. II, стр. 126).

Эти строки достойны большого внимания во многих отношениях. И прежде всего интересны и важны для истории мысли сопоставления Фейербаха со Спинозой. Чернышевский видел в Спинозе философского предшественника Фейербаха. И это как нельзя более

справедливый взгляд. Но теперь этот, как нельзя более справедливый, взгляд чаше всего приводит в изумление людей, интересующихся историей философии. Под влиянием господствующей в настоящее время идеалистической реакции, на Спинозу смотрят так же неправильно, как и на Фейербаха.

Неудивительно, что не понимают и взаимного отношения этих двух мыслителей.

Столь же характерно для Чернышевского и его отношение к Огюсту Конту. В настоящее время в немецкой философской литературе обнаруживается стремление изображать философские взгляды Фейербаха, как одну из разновидностей позитивизма [1]). Но между позитивизмом Конта и материалистическим «антропологизмом» Фейербаха огромная разница. Фейербах отнюдь не отрицал познаваемости мира. А Конт, если не совершенно отрицал ее, то слишком суживал представление о ней. Вот почему Чернышевский, в самом деле, до конца своих дней остававшийся верным учеником Фейербаха, был весьма невысокого мнения о пресловутом «Cours de philosophie positive» Конта.

«В сущности, — говорит он в письме к своим сыновьям от 27 апр. 1876 г., — это какой-то запоздалый выродок «Критики чистого разума» Канта. Творение Канта объясняется тогдашними обстоятельствами положения науки в Германии. Это была неизбежная сделка научной мысли с ненаучными условиями жизни. Как быть! Канту нельзя ставить в вину. что он придумал нелепость (т. е. даже и не придумал, а вычитал из Юма, которого — вот смех-то! — воображает он опровергать, перефразируя): надобно же было хотя как-нибудь преподавать хоть что-нибудь не совершенно гадкое. И он решил: «Что ложь и что истина, этого мы не знаем и не можем знать. Мы знаем только наши отношения к чему-то неизвестному. О неизвестном не буду говорить: оно неизвестно». Но во Франции, в половине нынешнего века, эта нелепая уступка — нелепость, совершенно излишняя. А Огюст Конт преусердно твердит: «не-известно», — «неизвестно». Но для мыслителей, которым не хочется

искать или высказывать истину, это решение очень удобное. В этом и разгадка успеха системы Огюста Конта» (Вып. II. стр. 27—28).

Полезно будет отметить, что Чернышевский относит Милля, политическую экономию которого он когда-то переводил и комментировал, к «нынешней знаменитой мелюзге». К той же мелюзге причислены у него Дарвин и Герберт Спенсер. В других своих письмах он признает, однако, колоссальные научные сведения и выдающийся ум Дарвина. Если здесь Дарвин именуется «мелюзгою», то это одно из тех слишком сильных выражений, которые нередко встречаются в письмах Чернышевского и против которых он сам предостерегает своих сыновей.

[1]) См., напр., «Geschichte der Ethik, als philosophischer Wissenschaft» Фридриха Иодля, 2-е изд., II B., erstes Buch. VIII Kapitel, II Abschnitt: «Deutscher Positivismus».

Тем не менее, совершенно неоспоримо, что у нашего великого писателя всегда было значительное предубеждение против Дарвина. Мне уже приходилось говорить о нем в своей книге «Н. Г. Чернышевский». Теперь скажу кратко. Чернышевский был неправ по отношению к Дарвину. Но чтобы понять происхождение его неправильного взгляда на Дарвинову теорию, необходимо вспомнить, как нелепо пользовались многие натуралисты в своих рассуждениях об общественной жизни учением Дарвина о борьбе за существование. Справедливое негодование против нелепых ошибок учеников делало Чернышевского несправедливым по отношению к учителю.

Читатель заметил, надеюсь, что имя Гольбаха стоит у Чернышевского рядом с именами Локка, Юма, Канта, Фихте и Гегеля. Это опять очень характерно для него, как для материалиста. Восторженный последователь Фейербаха, он не мог пренебрегать теми, которых он считал предшественниками своего учителя. Положим, сам по себе Гольбах не был гениальным философом. Его, конечно, невозможно поставить на одну доску с Гегелем. Но, говоря о Гольбахе, Чернышевский, вероятно, имел в виду автора знаменитого сочинения «Système de la nature». А сочинение это написано целым кружком наиболее выдающихся материалистов того времени, между которыми был такой яркий светоч, как Дидро. И, конечно, только идеалистическими предрассудками нынешних историков философии

может быть объяснено то, что господа эти говорят о «Système de la nature», лишь мимоходом сопровождая свои краткие замечания о ней презрительным пожатием плеч. Чернышевский, наверно, хорошо понимал «реальные мотивы» столь незаслуженного пренебрежения.

В своих взглядах на природу II. Г. Чернышевский был и остался последовательным материалистом. «Я с первой молодости был, — говорит он. — твердым приверженцем того строго научного направления, первыми представителями которого были Левкипп, Демокрит и т. д.» (Вып. II, стр. 26). На Фейербаха он смотрел как на высшего представителя строго-научного, т. е. материалистического, направления в истории человеческой мысли. В письме к своим сыновьям от 21 июля 1876 г. Чернышевский так излагает «в нескольких словах» свои общие понятия о природе:

«То, что существует, называется материей. Взаимодействие частей материи называется проявлением качеств этих разных частей материи. А самый факт существования этих качеств мы выражаем словами «материя имеет силу действовать», — или, точнее, «оказывать влия-

ние». Когда мы определяем способ действия качеств, мы говорим, что находим «законы природы». О каждом термине тут ведутся споры. Но реальное значение этих споров — нечто совершенно иное, чем серьезное сомнение относительно фактов, обозначаемых сочетаниями слов, в которые входят эти термины. Это или пустая схоластика, щегольство грамматическими и лексикографическими знаниями и талантами и силлогистиче-скими фокусами; а если не так, то в оспаривающих эти термины и эти сочетания терминов (эти, или равнозначительные им) управляет словами какое-нибудь не научное, а житейское желание, обыкновенно своекорыстное; а у защищающих эти термины и их сочетание — охота вести спор об этих терминах не больше, как наивность, не догадывающаяся, что спор — или пустословие, или должен быть перенесен от этих терминов и их сочетаний на анализ реальных мотивов, по которым нападают на эти термины и эти их комбинации противники их» (Вып. II, стр. 45—46).

Это замечание о реальных мотивах, вызывающих нападки на материалистические термины и на «их комбинации» (т. е. на обозначае-

мые ими понятия), не только справедливо, но глубоко продумано и хорошо изложено. Идеологи господствующего класса, в самом деле, восстают теперь против материализма, повинуясь вполне «реальным мотивам»: идеализм представляется им единственным надежным духовным оружием в борьбе с «разрушительными» стремлениями современного пролетариата. И не подлежит никакому сомнению, что мыслящий человек, который захотел бы понять происхождение нынешней идеалистической реакции в философии, должен был бы начать с анализа тех «реальных мотивов», по которым нынешние буржуазные (и подчинившиеся буржуазному влиянию) любомудры всех стран считают долгом чести презрительно отворачиваться от материализма. Указывая на необходимость такого анализа, Чернышевский становился на точку зрения материалистического объяснения истории. Но, вообще говоря, будучи последовательным материалистом в своем понимании природы. Чернышевский оставался идеалистом в своем взгляде на историю. Его письма из Сибири убедят в этом, вероятно, даже Ю. М. Стеклова. Да и неудивительно, что верный ученик Фейербаха держался идеалистического взгляда на историю: его держался сам Фейербах, и его же держались все немецкие последователи Фейербаха. Взгляд этот весьма характерен для всей домарксовой эпохи в истории материализма.

Сохранился листок с перечнем книг, посланных Чернышевскому в Сибирь в 1872 г. В их числе мы видим и «Капитал» Маркса (см.

182 стр. I выпуска). Но в тех письмах Чернышевского из Сибири, которые опубликованы до сих пор, нет ни малейшего указания на то, какое впечатление произвела на него знаменитая книга Маркса. Приемы же рассуждений его о ходе исторического развития показывают, что, каково бы ни было это впечатление, око нисколько не поколебало его исторического идеализма. Таким образом я, на основании писем Чернышевского, могу с полным убеждением повторить теперь тот вывод, к которому я в своей книге о нем пришел на основании его сочинений: мысль Чернышевского шла по тому же самому пути, который привел западноевропейскую мысль к марксизму; но неблагоприятные условия русской общественной жизни сделали то, что мысль нашего

великого писателя не дошла до конца этого пути, остановившись на предпоследнем этапе, т. е. на философии Фейербаха.

В течение долгого времени русская читающая публика левого лагеря придавала огромнейшее значение политико-экономическим трудам Чернышевского, мало задумываясь, а лучше сказать, совсем не задумываясь о его философских взглядах. В своей книге о нем я указал на то, что философские взгляды Чернышевского до сих пор сохранили несравненно больше значения, нежели его политико-экономические теории. Верность этого указания, совершенно неожиданным для меня и вообще весьма своеобразным образом, подтверждается письмами Чернышевского из Сибири. Из них видно, что сам Н. Г. Чернышевский, сохраняя непоколебимую уверенность в правильности своих философских взглядов, начал во время пребывания своего в Сибири относиться довольно критически к своей главной политико-экономической работе: к примечаниям на книгу Милля. «Там есть удивительные вещи», — говорит он в письме от 21 апреля 1877 г. к своим сыновьям. Как на одну из таких вещей он указывает на ту свою мысль, что, по коренным законам своей фонетики, новоперсидский язык занимает середину между верхним немецким и нижним немецким. В эту ошибку он был введен, по его словам, Лейбницем, свидетельство которого было принято им слишком спешно (Вып. II, стр. 140). Но этот промах Н. Г. Чернышевского интересует меня гораздо меньше, нежели другой его недосмотр, имеющий непосредственное отношение к политической экономии. Вот что говорит он сам об этом последнем недосмотре.

«Припоминается мне из тех же заметок на Милля другой курьез. Есть там расчеты о действии земледельческих усовершенствований на урожай хлеба. Целые колонны цифр. Все вычислено посредством лога-

рифмов. Но вот штука! — колонна результатов вычислена по масштабу, который я бросил, вычеркнул, а основная колонна вычислена по другому масштабу. И выходит нечто в таком вкусе:

$$2 \times 2 = 0$$
$$3 \times 2 = 7\tfrac{1}{2},$$
$$4 \times 2 = 9\,{}^{2}\!/_{9}.$$

Этот курьез в моих ученых трудах открыл не сам я, а один из моих знакомых, имевший терпение проверять все мои рассуждения по таблицам логарифмов. Он был очень огорчен таким моим недосмотром» (Вып. II, стр. 140—141).

Эту ошибку Чернышевского я тоже отметил в своей книге о нем (см. стр. 508 и следующие). Пусть читатель извинит меня, если я позволю себе обратить его внимание на это. Мое собственное умственное развитие совершилось под огромнейшим влиянием Чернышевского, разбор его взглядов был целым событием в моей литературной жизни, и я не могу оставаться равнодушным к вопросу о том, насколько удался этот разбор. Тем меньше могу, что его с различных сторон называли неудачным и даже пристрастным. Мне как нельзя более приятно было убедиться в том, что истина была не на стороне моих строгих критиков [1]).

В письмах от 15 июня 1877 г. к своему сыну Александру Н. Г. Чернышевский, сообщив о получении им «Жизни Белинского» А. Н. Пыпина, «Русской истории в жизнеописаниях» Костомарова и книги Васильчикова «Землевладение и земледелие», прибавляет:

«За третью из них в особенности много благодарен Тебе, потому что присылка ее — дело заботливости Твоей выбрать книгу именно по моему вкусу. Так. Но — прости за невежливую прибавку — это очень давний мой вкус, и давно он прошел у меня. Эти предметы перестали занимать меня. Я увидел, что они мелочны. Важность не в этих специальностях, а в общем характере обычаев. У дикарей, как ни устраивай какую-ни-будь сторону быта, быт будет все-таки плохой. У народов, желающих

[1]) Один строгий критик, — если не ошибаюсь, покойный Антонов,— особенно возмущен был моим указанием на арифметические ошибки в критических замечаниях Чернышевского на теорию Мальтуса. Он утверждал, что указание это есть плод самого полного, самого постыдного незнания арифметики. Я надеюсь, что если бы мой беспощадный критик имел возможность прочитать указанные выше страницы II выпуска писем Чернышевского из Сибири, то он бы значительно смягчился и понизил тон.

жить, как живут люди, а не дикие животные, всякий частный недостаток бытового устройства исправляется без больших хлопот собственно о его исправлении. Итак: все сводится к вопросам не

материального, а нравственного порядка. — Не подумай, что я не хвалю книгу князя Васильчикова. Она прекрасна. И автор ее — человек истинно благородной души. Но предмет книги не занимателен для меня» (Вып. II, стр. 181— 182). Едва ли можно найти более яркое выражение для исторического идеализма: чем эти слова «все сводится к вопросам не материального, а нравственного порядка». На самом деле нравственное развитие человечества находится в тесной причинной зависимости от его материального, т. е. экономического, развития. И это гораздо более согласно с философией Фейербаха, по общему и точному смыслу которой не сознание определяет собою бытие, а бытие определяет собою сознание [1]). Но дело здесь не в этом: излишне повторять, что в своем взгляде на ход развития человечества Чернышевский не был верен философии Фейербаха, как не был ей верен и сам Фейербах. Только что приведенный отрывок заслуживает внимания той горечью, которая так сильно сказывается в нем. «У дикарей, как ни устраивай какую-нибудь сторону быта, быт будет все-таки плохой». Это замечание, очевидно, относится к России и показывает, что он довольно пессимистически смотрел на нашу тогдашнюю общественную жизнь. Но мне кажется несомненным, что оно явилось плодом лишь временного настроения. Вообще говоря, в его исторических взглядах преобладал и в то время здоровый оптимизм. В письме от И апреля 1877 г. он признает, что зло имеет громадную силу в общественной жизни людей. «Но что ж из того для нашего мировоззрения? — спрашивает он. — Выбивался же понемножку разум людей из-под ига их слабостей и пороков, и, силою разума, улучшались же понемножку люди даже в те времена, когда были еще наполовину обезьянами. Тем меньше мы имеем право мрачно смотреть на людей теперь, когда они, все-таки, уж гораздо разумнее и добрее, чем горилла и орангутанг. Понемножку мы учимся. И научаемся понемножку быть добрыми и жить рассудительно. Тихо идет это дело? — Да. Но мы существа очень слабые. Честь нашим предкам и за то, что они дошли и довели нас хоть до тех результатов труда, которыми пользуемся мы. И наши потомки отдадут нам ту же справедливость;

[1]) Не довольствуясь этим обиды положением, Фейербах нередко возвращался в последние годы своей жизни к той мысли, что нравственность людей находится в теснейшей зависимости от их материального положения. Да и сам Н. Г. Чернышевский часто повторял эту мысль в своих сочинениях.

скажут о нас: «они были существа слабые, но, все-таки, не вовсе без успеха трудились на свою и нашу пользу» (Вып. II, стр. 131).

Полицейскому коршуну не удалось вырвать из сердца русского литературного Прометея отрадную веру в лучшее будущее человечества. Чернышевский, конечно, так и умер с этой верой.

Огромный интерес представляет также находящаяся в письмах от 11 апреля 1877 г. оценка Чернышевским самого себя, как писателя. Обращаясь к своим детям, он пишет:

«Вам известно, я надеюсь, что собственно, как писатель-стилист, — я писатель до крайности плохой. Из сотни плохих писателей разве один так плох, как я. Достоинство моей литературной жизни — совсем иное; оно в том, что я сильный мыслитель» (Вып. II, стр. 123).

Как это само собою разумеется, нет ни малейшей надобности доказывать, что Н. Г. Чернышевский вовсе не был таким плохим стилистом, за какого он себя здесь выдает: его манера изложения не лишена своеобразной прелести; в ней нет блеска, но очень много ясности и редкой простоты. Но совершенно неоспоримо, что он был гораздо сильнее в качестве мыслителя, нежели в качестве стилиста. Что же касается его деятельности как мыслителя, то она во многом напоминает деятельность наиболее выдающихся энциклопедистов XVIII века. Ее главнейшая цель заключалась в просвещении читающей публики. Но для того, чтобы получить возможность просвещать читающую публику, нужно было, прежде всего, привести в более или менее стройную систему свои собственные взгляды. Каждое отдельное сведение, приобретаемое Чернышевским, было дорого ему только в той мере, в какой оно помогало ему выработать себе цельное миросозерцание. Как и выдающиеся французские энциклопедисты, он имел очень много знаний. Но он никогда не стремился сделаться специалистом. В том же письме он говорит: «только латинскому языку я учился, как учатся юноши или дети: со вниманием ко всем подробностям данной отрасли знания, без разбора, какие из этих

подробностей серьезны, какие — пусты. Всему остальному я учился, как человек взрослый, с самостоятельным умом: разбирая, какие факты заслуживают внимания, какие — не достойны его. Поэтому во всякой отрасли знаний, которой я занимался, я не хотел втискивать себе в голову многих фактов, которыми щеголяют специалисты: это факты пустые, бессмысленные» (Вып. II, стр. 124). Читатель помнит, может быть, что по той же системе работал Рахметов в романе «Что делать?». Система эта имеет свои слабые стороны. Но ее сильная сторона заключается в том, что она устра-

няет ограниченность понятий, столь свойственную огромнейшему большинству специалистов. Чернышевский с полным основанием и с большим неодобрением указывал на господство такой ограниченности, как в общественных науках, так и в естествознании. Он пишет: «Вообще, естествознание — достойно всякого уважения, сочувствия, одобрения. Но и оно подвержено возможности служить средством к пустой и глупом болтовне. Это случается с ним в очень большом размере, очень часто; потому что огромное большинство натуралистов, как и всяких других ученых, — специалисты, не имеющие порядочного общего ученого образования, и поэтому, когда вздумается им пофилософствовать, философствуют вкривь и вкось, как попало; а философствовать они почти все любят» (Письмо от 15 сент. 1876 г. Вып. II, стр. 57). Для примера Чернышевский чаще всего указывал на то, как неудачно применяют материалисты понятие о борьбе за существование к учению об общественном развитии. Другим примером служил у него так называемый закон Бэра, гласящий, что степень совершенства организма пропорциональна его дифференциации (так формулирует Чернышевский этот закон). По мнению нашего автора, думать так — значит, без критики применять политико-экономические понятия к биологии. Он утверждает, что не дифференциация должна служить критерием совершенства организма:

«Как скоро в организме есть нервная система, главная норма для определения степени совершенства этого организма — степень развития нервной системы. А степень развития нервной системы —

легко ли определить анатомическими или вообще морфологическими способами? — Нет, это во многих случаях труд, еще превышающий наши силы. Но — функции нервной системы наблюдать легко; и сущность достоинства нервной системы данного животного — в этих функциях. — Выше ли дифференцирован организм слона или лошади, чем организм барана или коровы? — Нет, я полагаю. Но лошадь умнее барана; лошадь — организм более совершенный. Это — главный критериум. Придаточный критериум: степень способности всего остального организма служить требованиям нервной системы. Из двух пород лошадей, равных по уму, та порода совершеннее, которая имеет мускулы более сильные и неутомимые. — Второстепенных критериев много, не одни мускулы: тоже и способность желудка переваривать пищу, и способность органов движения передвигать организм (у лошади это будет степень крепости копыт), и степень здоровости всего организма (это, вообще, будет, я полагаю, степень устойчивости крови в нормальном своем составе), и т. д., и т. д. — Но все это — критериумы физиологические, а не морфо-

логические, которые одни захватываются законом Бэра и которые находятся, правда, в связи с физиологическими, но прямого значения ровно никакого не имеют ни для кого, кроме живописцев и всяческих других любителей артистического созерцания» (Вып. И, стр. 58).

Чернышевский делает при этом ту оговорку, что указанная им норма для определения степени совершенства организма не применима к ботанике. Очевидно, это потому, что у растений отсутствует нервная система. Но ведь она отсутствует и в весьма значительной части животного царства. Поэтому и в зоологии ока могла бы быть применима лишь с весьма немаловажной оговоркой. Но рассмотрение этого вопроса завело бы нас слишком далеко. Я хочу указать лишь на то, что норма, принимаемая Чернышевским для определения степени совершенства организма, имеет в его глазах не только биологическое значение. Она тесно связана с его историческими взглядами. Прогресс заключается в улучшении человеческих понятий и привычек. Улучшение это зависит от роста умственной силы. А рост умственной силы определяется развитием

органа мысли, т. е. мозга (см. «Полное собрание сочинений Н. Г. Чернышевского», т. X, ч. 2, отд. IV, стр. 182—183). Таким образом указанная норма объединяет собою *историческое* развитие человеческого рода с его *зоологическим* развитием. И есть полное основание думать, что если наш автор был недоволен невниманием зоологов к этой норме, то это происходило от того, что он особенно дорожил ею в качестве историка.

Недовольный ограниченностью понятий, господствующей в среде натуралистов, Чернышевский резко восстает также против «старых пошлых понятий», в изобилии встречающихся, по его словам, в исторических книгах. «Столько их, — пишет он в письмах от 17 марта 1876 года, — что перечислять их — считать звезды млечного пути, песок на морском берегу. Но общая характеристика их всех, и старых и новых: они противны правилам чести и чувствам добра. Добро и разумность — это два термина, в сущности равнозначащие. Это одно и то же качество одних и тех же фактов, только рассматриваемое с разных точек зрения; чтó с теоретической точки зрения разумность, то с практической точки зрения — добро, и наоборот: чтó добро, то непременно и разумно. — Это основная истина всех отраслей знания, относящихся к человеческой жизни; потому это основная истина и всеобщей истории. Это коренной закон природы всех разумных существ. И если на какой-нибудь другой планете живут разумные существа, это непреложный закон и их жизни, все равно, как непреложны наши зем-

ные законы механики или химии для движения тел и для сочетания элементов и на той планете. Критериум исторических фактов всех веков и народов — честь и совесть» (Вып. II, стр. 19).

Если бы мы, усвоив эту «основную истину всех отраслей знания, относящихся к человеческой жизни», захотели построить на ней метод исследования общественных явлений, то нам предстояло бы большое разочарование. Задача научного исследования заключается в том, чтобы обнаружить те причины, которыми вызван был данный ход данного прогресса развития. С этой точки зрения добро и разумность, наблюдаемые нами в общественной жизни людей, сами представляются следствиями, которые вызываются причинами, не

подлежащими оценке с помощью понятий добра и разумности. Но Чернышевский смотрел на общественные явления преимущественно с практической точки зрения. Его интересовало не столько *то, что было,* — хотя и это очень сильно интересовало его, как чрезвычайно умного человека, — сколько то, *чему следовало бы быть.* Он сам говорит это в последних строках своих «Очерков из политической экономии». «Не успела войти в наши очерки та часть теории,— читаем мы там,— которая, по нашему мнению, наиболее важна в науке». Это взгляд практического реформатора, точка зрения непосредственного действия. А с точки зрения непосредственного действия, слова Чернышевского о добре и разумности в общественной жизни приобретают огромное значение. В качестве практического правила, которым должен руководствоваться передовой общественный деятель, мысль Чернышевского почти дословно совпадает с тем, что говорил знаменитый Интернационал в своем первом Манифесте ко всемирному пролетариату. Указывая на международную политику Манифест утверждал, что пришла пора провозгласить «простые законы нравственности и права» нормами, долженствующими определять взаимные отношения не только отдельных лиц, но и целых народов.

Чрезвычайно характерно для Чернышевского его отношение к Некрасову. В письме от 14 августа 1877 г. А. Н. Пыпину он говорил:

«В «Отечеств. Записках» я, разумеется, читал стихи Некрасова, говорившие, что он, хилый и страдающий тяжкой болезнью, ждет смерти. Я видел, что это не прикрасы для поэтичности мыслей, а фактическая истина. Но я желал сохранить надежду, и отчасти успел было убедить себя, что он еще поправится: я думал, это просто старческая хилость; она для него еще преждевременна; и, быть может, медикам удастся сладить с нею. Глубоко скорблю, прочитав, что смерть была уже неотвратима и близка, когда Ты писал Твое второе письмо; если

когда Ты получишь мое письмо, Некрасов еще будет продолжать дышать, скажи ему, что я горячо любил его, как человека, что я благодарю его за его доброе расположение ко мне, что я цалую его, что я

убежден: его слава будет бессмертна, что вечна любовь России к нему, гениальнейшему и благороднейшему из всех русских поэтов.

«Я рыдаю о нем. Он, действительно, был человек очень высокого благородства души и человек великого ума. И как поэт он, конечно, выше всех русских поэтов» (Вып. II, стр. 200).

А. Н. Пыпин передал умиравшему Некрасову эти слова Чернышевского, и они, конечно, доставили большую отраду этому человеку, навлекшему на себя много несправедливых обвинений. Что касается взгляда на Некрасова, как на величайшего из русских поэтов, то его разделяла в то время вся наша радикальная интеллигенция. Когда Достоевский в своей речи у могилы Некрасова сказал, что он «должен прямо стоять вслед за Пушкиным и Лермонтовым», то из некоторых групп присутствовавшей на кладбище революционной молодежи закричали: «Он был выше их, да, выше». Пишущий эти строки сам принадлежал к числу кричавших.

В заключение еще два слова вот о чем. В последнее время у нас много носились с покойным Л. Н. Толстым, изображая его чем-то вроде неподражаемого «учителя жизни». Но достаточно сравнить письма Чернышевского из Сибири с доступными читающей публике письмами Толстого, чтобы понять, у кого из этих двух писателей надо учиться жизни.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Вступительное замечание

Первая из четырех статей Плеханова о Чернышевском, появившаяся в «Социал-Демократе», воспроизведена нами полностью в пятом томе. Плеханов для своей большой книги использовал только несколько страниц — главным образом в первой части, которая написана им заново. Наоборот, вторая часть, которая в нашем собрании занимает шестой том, за исключением двух — трех глав в первом отделе, представляет перепечатку второй, третьей и четвертой статей из «Социал-Демократа» с пропусками и изменениями, о которых я говорил в предисловии к пятому тому.

Во второй статье, напечатанной в «Социал-Демократе», около восьмидесяти страниц (62—142). Начало статьи (стр. 62—82) использовано в главе второй второго отдела (в издании «Шиповника» стр. 289—299, в нашем — стр. 16—25 этого тома), но с большими пропусками, которые ниже восстановлены.

Остальная часть второй статьи, начиная с 82 стр. (в «Социал-Демократе») составляет теперь пять первых глав второго отдела (Политико-экономические взгляды Н. Г. Чернышевского) — в издании «Шиповника» от 343 до 421 стр., в нашем — от 65 до 135 стр. Для начала первой главы Плеханов использовал еще несколько страниц из первой статьи, так что перепечатка второй статьи начинается собственно с четвертого абзаца (в издании «Шиповника» — с 346 стр., у нас — с 68). Если читатель присоединит к заключению пятой главы (в издании «Шиповника» — с 421, в нашем — с 135 стр.) воспроизведенные нами ниже стр. 140—142 из второй книги «Социал-Демократа», то в его распоряжении будет полностью вся вторая статья.

Третья статья в «Социал-Демократе» (декабрь 1890, стр. 71—110) вошла целиком в большую книгу и составляет в ней главы шестую и седьмую (в издании «Шиповника» стр. 421—471, в нашем стр. 135—181). Главные — количественно совершенно незначительные — пропу-

ски указаны ниже. Вместо слова «нелепый» по адресу Чернышевского теперь употребляется слово «ошибочный».

Четвертая статья («Социал-Демократ», 1892, стр. 144—194) перепечатана в книге Плеханова, как главы восьмая — одиннадцатая (в издании «Шиповника» стр. 471—535, в нашем — стр. 181—239). Как я уже указал в предисловии к пятому тому, заключение четвертой статьи вошло отчасти, но в значительно переработанном виде, в большое заключительное примечание к книге Плеханова.

Д. Рязанов.

Из статей о Чернышевском, напечатанных в «Социал-Демократе» за 1890—1892 гг.

(«Социал-Демократ», 1890 г., август. Статья вторая.)

Буржуазным экономистам доброго старого времени, например, Давиду Рикардо, окружавшие их экономические отношения казались не только самыми лучшими и справедливыми, но и единственно возможными отношениями. Они знали, конечно, из истории, что не всегда люди жили и работали при одинаковых условиях производства. Античное рабство, средневековый строй с его цехами и крепостничеством, наконец, административная регламентация промышленности в XVII и XVIII столетиях, — все подобные примеры экономических отношений, значительно или даже совершенно расходившихся с требованиями школы Смита, не могли быть неизвестны буржуазным экономистам. Но экономисты нимало не смущались ими; они считали их случайными отклонениями от нормы, плодом насилия или невежества. Рикардо, приводя в пример первобытных охотников, заставляет этих дикарей обменивать свои продукты согласно законам товарного обращения в буржуазном обществе. Если бы ему сказали, что так не бывает в действительности, то он в ответ на это, вероятно, только пожал бы плечами. «Мне это решительно все равно, — сказал бы он: — я знаю, что много глупостей совершают дикари по своему невежеству. Но если бы они получили возможность устраивать свои отношения сообразно требованиям здравого смысла, они, наверное, завели бы у себя порядки, подобные нашим. Именно такой случай я и предполагаю в своем гипотетиче-ском примере товарного обмена между дикарями». Вообще буржуазные экономисты обращались с историческими фактами так же бесцеремонно, как обращались с ними «просветители» XVIII века: что подходило под готовую теорию — считалось действием вечных и неизменных «естественных законов», что противоречило ей — считалось про-стою случайностью.

Такая точка зрения была очень наивна. Но она до поры до времени не мешала добросовестному, хотя, правда, в то же время поверхностному, изучению экономической жизни буржуазного общества, точно так же, как не мешало до поры до времени успехам зоологии убежде-

ние ученых в неизменяемости животных видов. До известной степени она имела даже свою полезную сторону, так как обусловливала спокойное и беспристрастное отношение экономистов к предмету их изучения. У них не было основания опасаться за будущее окружающего их порядка вещей, а следовательно, не было и причины бояться логических выводов науки, не было надобности обходить те щекотливые вопросы, которые впоследствии получили название «проклятых». «Проклятые» вопросы выступают на очередь, обыкновенно, лишь тогда, когда наивная вера в незыблемость существующих общественных отношений оказывается утраченной. Но пока эти отношения всеми считаются выражением вечных и неизменных «естественных законов», — для проклятых вопросов нет места. Конечно, экономисты в своих изысканиях могли приходить к некоторым не весьма отрадным выводам насчет общественных последствий того или другого «естественного закона». Так, Рикардо видел, что введение машин уменьшает спрос на рабочие руки и тем создает излишнее рабочее население. Как честный и беспристрастный ученый, он не считал себя вправе замалчивать это печальное для него явление, он даже сожалел о том, что прежде, хотя бы только путем устных бесед, содействовал распространению в обществе другого, противоположного взгляда на этот вопрос. Но к чему обязывал его на практике печальный взгляд относительно борьбы машины с работником? Ровно ни к чему. Ни одна страна не может безнаказанно препятствовать введению у себя машинного производства, — рассуждал он, — если бы какая-нибудь страна вздумала поступить так, то она не только не подняла бы благосостояния рабочих, но принесла бы им огромный вред. Остается, значит, безропотно подчиниться действию «естественного закона», который из всех возможных зол все-таки приносит нам наименьшее. То же и относительно распределения продуктов. Рикардо понимал, что доход высших классов создается трудом работников. И он высказывал это без обиняков, так как ему и в голову не приходило, что эта истина может быть положена в основание каких-нибудь «вредных» учений. Прибыль предпринимателя и рента землевладельца представляют

собою продукт неоплаченного труда работника,— это бесспорно, но ведь иначе и быть не может, ведь нельзя же обойтись без землевладельцев и предпринимателей. А если без них нельзя обойтись, то нет ничего опасного для них в указании истинного источника их дохода.

Мы вовсе не хотим сказать, что такой честный мыслитель, как Рикардо, выражал открываемые им научные истины лишь с беспрестанной оглядкой на интересы высших классов. Если бы он поступал так, он не был бы честным мыслителем. Мы говорим лишь, что спокойная уверенность в незыблемости буржуазного порядка вещей вызывала в буржуазных экономистах спокойное и беспристрастное отношение к научным вопросам. Интересы и предрассудки того класса, к которому они принадлежали, еще не могли помешать успешному ходу их научных исследований. Правда, в спорах с защитниками старых, добуржуазных отношений они не могли оставаться и не оставались беспри-

страстными; напротив, они очень горячо защищали экономические интересы буржуазии. Но ко времени Рикардо, т. е. к тому времени, когда буржуазная экономия достигла наивысшей точки своего развития, дело буржуазии почти окончательно восторжествовало, и ее споры с ее реакционными противниками не могли иметь большого влияния на развитие науки. Притом же, в спорах с реакционерами истина была в огромном большинстве случаев на стороне буржуазных экономистов, а горячая защита истины никогда не мешает, как известно, ученым «высоко нести знамя науки».

Появление рабочего вопроса придало делу совершенно другой оборот. Защитникам интересов пролетариата буржуазный строй не мог казаться ни справедливым, ни разумным. Наивный взгляд на этот строй, как на вечный и неизменный, уступил место критике всех его основании. Возникли социалистические учения, которые казались буржуазии очень «вредными» и «разрушительными» и которые, действительно, были «вредны» для нее во многих отношениях. Между прочим, успехи социализма очень «вредно» повлияли на буржуазную политическую экономию. Они положили конец ее плодотворному

развитию. Из спокойных ученых, для которых научная истина была дороже всего, они — или, лучше сказать, их эпигоны — превратились в адвокатов существующего общественного порядка, для которых главною целью являлась уже не научная истина, а победа над социалистами. С тех пор, как борьба буржуазии с пролетариатом приняла значительные размеры, теоретики «третьего сословия» уже не делали первостепенных вкладов в экономическую литературу. Некоторые из них, не довольствуясь ролью сикофантов, исследовали второстепенные, частные вопросы, но великие открытия, проливающие новый свет на всю совокупность добытых истин науки, навсегда сделались для них невозможными. С этих пор начинается очевидный упадок буржуазной экономии. После Рикардо в ней явился только один замечательный мыслитель, — Сисмонди. Но устами Сисмонди классическая буржуазная экономия произнесла свой собственный приговор. Я знаю, что существующий экономический порядок из рук вон плох, но не вижу возможности заменить его лучшим порядком — вот вывод, к которому пришел Сисмонди и который, разумеется, не мог сообщить буржуазным экономистам отрадной веры в важное общественное значение их науки. Таким образом развитие общественной жизни привело к застою мысли в среде буржуазии, т. е. в среде класса, который до сих пор еще остается господствующим.

Люди прямолинейных взглядов на вещи, конечно, найдут наш вывод парадоксальным и вовсе «не научным». Прямолинейные люди вообще никак не хотят допустить, чтобы *успехи жизни* могли отражаться, в какой бы то ни было среде, в виде *застоя мысли.* Но не мы виноваты в том, что история человечества никогда не шла прямолинейно.

Впрочем, в утешение прямолинейным людям, мы скажем, что застой буржуазной мысли еще не означал застоя мысли вообще. Наука продолжала идти вперед, но теперь она подвигалась, главным обра-

зом, трудами *социалистов.* Враги буржуазного строя, социалисты смело разоблачали все его недостатки. Прежде и больше всего их

заботила участь бедствующей массы народа, и они не боялись выводов, указывающих на причины народной бедности. Предрассудки буржуазии редко останавливали социалистов. Их чувство не связывало их ума, а, наоборот, постоянно толкало его на новые и новые исследования. И великие социалистические писатели, основатели знаменитых социалистических школ, Сен-Симон, Фурье, Р. Оуэн, очень много сделали для всей общественной науки и для политической экономии в частности. История европейской литературы до сих пор еще не воздала им должного, не представила справедливой оценки их блестящих открытий, распространяющихся почти на все области знания, так или иначе прикосновенные к вопросам человеческого общежития. Но и теперь уже всем образованным людям известно, по крайней мере, в общих чертах, что социалисты имели большое и благотворное влияние на политическую экономию (Сен-Симон. Фурье, Р. Оуэн), на историю и на философию (Сен-Симон) и даже на психологию (Р. Оуэн и Фурье). Нас интересует здесь преимущественно отношение социалистов к политической экономии.

II

Пока экономисты смотрели на буржуазный порядок, как на «ordre naturel et essentiel des sociétés policées», о серьезном изучении экономической истории человечества не могло быть и речи. Так называвшиеся тогда «естественные законы народного хозяйства» были в действительности законами экономической жизни буржуазного общества. Буржуазная экономия занималась изучением этих законов и только одних этих законов. Для их изучения экономисты сделали много, но еще далеко не все, что было нужно. Некоторые из открытых ими законов были исследованы односторонне, многие из введенных ими в науку понятий были частью неполны, частью неясны, частью противоречили другим понятиям той же науки. Даже такие важные отделы буржуазной экономии, как учение о товаре, о деньгах, о меновой стоимости, о капитале, о прибыли и заработной плате, — нуждались еще в строгой проверке, в разъяснениях и пополнениях. В таком виде еще не совсем законченной, даже в главных своих

основаниях, науки находилась политическая экономия в то время, когда появились социалисты. Дальнейшие ее успехи зависели от правильного решения социалистами двух задач: во-первых, пополнения указанных пробелов в учении о законах буржуазного хозяйства; во-вторых,— установления правильного научного взгляда на всю экономическую историю человечества, а следовательно, и на историческую роль буржуазных экономических отношений.

По многим причинам, о которых нам придется сказать несколько слов ниже, нельзя было решить первую из этих задач, не решив предварительно второй. А эта вторая задача не только далеко оставила за

собою по своей трудности все то, с чем имели дело буржуазные экономисты, но и вообще не могла привлечь к себе внимание социалистических школ тотчас по их возникновении. Уже только для того, чтобы открыть существование этой задачи, социалисты должны были сделать огромный шаг вперед в смысле научного отношения к общественным явлениям *(стр. 62 — 66).*

Точки зрения утопистов до сих пор держатся очень многие из таких общественных деятелей, которые снисходительно посмеиваются над утопиями или даже боятся их. Чтобы быть утопистом, вовсе не нужно фантазировать насчет подробностей будущего общественного устройства. Утопистом является всякий, кто за исходную точку своей общественной деятельности берет не объективные исторические условия народного существования, а свои собственные «идеалы» или так называемые идеалы народа. Можно быть утопистом и вовсе не придерживаясь никакой утопии. Покойный М. А. Бакунин был несомненным утопистом, а между тем он выработку форм будущего общественного устройства всецело предоставлял естественному ходу революционного движения. Наши современные «субъективные социологи» все без исключения принадлежат к числу утопистов без утопий. Да, строго говоря, в наше время утописты с утопиями уже невозможны. Успехи общественной науки настолько

дискредитировали теперь утопии, что их чуждаются даже те социальные реформаторы или революционеры, которые в своих взглядах на основные причины общественного развития не ушли дальше социалистов-утопистов. Притом же не забудем еще и вот чего: утописты с утопиями отличались во всяком случае большою смелостью и последовательностью мысли. Они предлагали реформы, представлявшие собою стройно выработанную систему. Самый процесс построения плана будущего общественного устройства должен был разоблачать, по крайней мере, некоторые из противоречий, закрадывавшихся в программы утопистов. Известно, что противоречие противоречию рознь: есть вещи и понятия, взаимное противоречие которых очевидно уже с точки зрения формальной логики. Так, например, формальная логика без труда открывает, что крепостная зависимость человека несовместна с его свободой. Но есть другие вещи и понятия, которые вполне согласимы между собою с точки зрения формальной логики, и приводят в непримиримые взаимные столкновения лишь на практике, в процессе развития действительной жизни. «Права человека и гражданина» нимало не противоречат одно другому на бумаге; но история буржуазного общества ясно показывает, как трудно согласить их одно с другим в действительности. Социалистические утопии в большинстве случаев чужды были, по крайней мере, противоречий первого рода. И, наоборот, ими переполнены программы современных утопистов без утопий. Этих людей, опирающихся лишь на свои «идеалы», поминутно побивает несокрушимая объективная логика общественных отношений. Они отрицают действительность, но

не умеют сделать ее соумышленницей своего отрицания. Поэтому с каждым годом, с каждым днем «идеалы» их все более и более кажутся им самим неосуществимыми. Утописты без утопий готовы удовольствоваться хотя бы самым маленьким, самым незаметным приближением жизни к «идеалу»: кусочек реформы здесь, кусочек реформы там,— вот все, чего требуют эти рыцари несомненно благородного, но вместе с тем и очень печального образа. Жизнь не исполняет обыкновенно и этих микроскопических требований; вместо хлеба она дает

современным утопистам камень, Жаль благородных рыцарей, но приходится сознаться, что жизнь права, а они ошибаются: желательные для них кусочки реформ не только не имеют никакого практического значения, но прямо исключают друг друга...

Но бог с ними, с современными утопистами без утопий. Вернемся к настоящим, великим утопистам, к утопистам с утопиями. Мы сказали, что нас особенно интересует здесь их отношение к политической экономии. Отношение это логически вытекает из общей точки зрения утопического социализма.

Случайно попавший в Лондон негр укротил дикую лошадь, с которой не могли справиться лучшие наездники Англии. Фурье не даром рассказал этот факт и назвал его эмблемой того отношения, в которое он сам стал к представителям буржуазной общественной науки. В самом деле, черному удальцу не было никакой надобности учиться у английских наездников или даже вообще вникать в принятые ими правила верховой езды: он на опыте увидел, что его собственные правила гораздо целесообразнее. Точно также и Фурье, имея свою готовую систему идеального общественного устройства, не мог придавать никакого положительного значения теориям буржуазных экономистов. К чему послужит систематическое изучение той науки, которая лишь сбивала с толку людей и на которую падает главная ответственность за дурное экономическое устройство нынешнего общества? Теперь, когда открыты истинные принципы общежития, людям полезнее всего было бы вовсе позабыть ошибочные и односторонние теории этой науки. Правда, влияние политико-экономических теорий до сих пор еще очень сильно, а потому люди до сих пор крепко держатся за свои старые отношения. Поэтому реформатор обязан бороться с экономистами, уличать их фактами, ловить их на противоречиях. Но эта цель достигается с помощью критики общественных учреждений. Раз доказана их несостоятельность, — несостоятельность политической экономии, считающей их нормальными, становится очевидной сама собою. Экономисты спорят между собою о законах движения того общественного механизма, который целиком должен быть уничтожен и заменен другим, несравненно более совершенным. Какая же польза вникать в эти устарелые схоластические споры? Зачем нам знать,

какие именно законы управляют заработной платой, когда мы убедились, что производитель не должен быть *наемным* работником, и что продажа рабочей силы на рынке, это низведение человека на степень товара, представляет собою безнравственное и ненормальное явление? Также без-

различны для нас и законы обмена, раз мы узнали, что в правильно устроенном обществе продукты будут обмениваться и распределяться совсем не так, как обмениваются и распределяются они в настоящее время. Еще менее поучительным кажется нам учение о деньгах, о кредите, о государственном долге, налогах и т. п. Деньги и кредит получают совершенно новые основания, а налоги и государственный долг и вовсе не будут существовать в нашем обществе. Вообще, все так называемые категории политической экономии теряют почти всякий теоретический интерес в наших глазах, с тех пор как мы расстались с предрассудками экономистов.

Таково было отношение Фурье и других социалистов-утопистов к буржуазной экономии. Читатель понимает, что они и не могли относиться к ней иначе. Но он понимает также, что при подобном отношении к ней, ее *теории,* вообще говоря, должны были оставаться в том же незаконченном виде, в каком застигло их появление социалистов. И действительно, после Рикардо и Сисмонди вплоть до Маркса *теоретическое* изучение законов буржуазного хозяйства мало подвинулось вперед. Социалисты-утописты, ведя непрерывную и непримиримую борьбу с буржуазной экономией, в то же самое время нередко разделяли самые грубые теоретические промахи экономистов. Французские социалисты вообще плохо знакомы были с учениями английской политико-экономической школы; для них буржуазная экономия сводилась к водянистой болтовне Ж. Б. Сэя. Все это, разумеется, в свою очередь, отражалось на социалистических утопиях, внося в них новые элементы ошибки.

Но поверхностное отношение к теориям буржуазной экономии не мешало социалистам критиковать *практику* буржуазного хозяйства. Критическое изучение этой практики было теснейшим образом связано с критикой всех буржуазных «учреждений», которая, как мы

видели, составляла существенную часть задачи утопистов. Утописты были как бы контролерами буржуазного хозяйства. Можно быть прекрасным контролером, оставаясь поверхностным теоретиком. Это мы и видим на примере утопического социализма. Нет той области хозяйства, которой не коснулся бы контроль социалистов-утопистов. Они везде нашли упущения, везде обнаружили громадные убытки. Фурье, фантазия которого до сих пор продолжает доставлять пищу дешевому остроумию филистеров: был неутомим в этой работе контролера. Его критика практики буржуазного хозяйства приготовила богатейший материал для теоретических изысканий последующего времени. Впрочем, ему и самому удалось сделать некоторые важные теоретические открытия. Так, например, он показал, что в буржуазном обществе, или, по его терминологии, в «цивилизации», люди пользуются и могут пользоваться далеко не всеми теми производительными силами, которые уже готовы теперь к их услугам. Он показал далее, что даже и те производительные силы, которые употребляются в дело «цивилизацией», — употребляются самым невыгодным, нерасчетливым и противоречивым образом. «Цивилизованные» страдают от бедности, бедность является главной причиной большинства их несчастий, они должны стремиться и всеми силами стремятся от нее из-

бавиться. А в то же самое время и те же «цивилизованные» сами создают и упрочивают свою бедность посредством того избытка, к которому они приближаются путем тяжелого, однообразного, отупляющего и потому непривлекательного для них труда. Это видно ко время кризисов, когда рабочие лишаются работы и голодают вследствие переполнения рынков товарами, т. е. *вследствие избытка.* «В цивилизации бедность рождается избытком», — это положение строго соответствует действительности, а между тем, как далека от него была буржуазная политическая экономия, показывает то обстоятельство, что еще долго после Фурье экономисты не могли понять его, наивно повторяя вслед за Сэем: продукты обмениваются на продукты, а следовательно, избыток продуктов не может препятствовать их обмену и дальнейшему производству. Буржуазные

экономисты смотрели на вещи метафизически, они рассуждали по формуле, в которую укладываются все приемы метафизического мышления: «нет — нет, да — да, что сверх того, то от лукавого» [2]). Фурье показал им, что явления действительной жизни не подходят под эту формулу, что в действительности да является из *нет, нет* ведет за собою *да,* из сладкого рождается горькое, из горького — сладкое, бедность из избытка, избыток из бедности. И Фурье не ограничил своих исследований диалектикой экономических явлений: он связал эту диалектику с диалектикой чувств и наклонностей. Он показал, как поверхностны, односторонни и отвлеченны ходячие суждения о *«хороших»* и *«дурных»* сторонах человеческого характера; как в действительности так называемые порочные склонности человека составляются из самых привлекательных элементов, не только не имеющих в себе ровно ничего вредного для общества, но очень полезных для него, и как, с другой стороны, чувства безусловно почтенные, — например, семейное чувство, приводят к самым некрасивым психологическим результатам. Все, написанное Фурье по этим поводам, и теперь еще остается очень интересным и чрезвычайно поучительным. Буржуазные экономисты могли уже очень многому научиться у Фурье и у других социалистических писателей того времени.

III

Но самое главное дело социализма еще не было сделано. Мы видели, что историческое происхождение и историческая роль буржуазных экономических отношений еще не были и не могли быть выяснены в то время. Социалисты еще продолжали держаться старого, метафизического взгляда на общественное развитие, а вернее сказать еще и не пробовали взглянуть на общественные учреждения с точки зрения развития. Экономическая история человечества оставалась незатронутым вопросом. Чтобы направить свое внимание на эту сторону дела, социализм предварительно должен был сблизиться с философией.

[1]) См. «Развитие Научного Социализма», стр. 17. Второй выпуск «Библиотеки Современного Социализма».

Читатели помнят, может быть, как характеризовал Н. Г. Чернышевский отношение Гегеля к *действительности (стр. 71— 75).*

Идеалистическая немецкая философия совсем почти не затрагивала вопросов об экономических отношениях общества. Но она выработала тот метод, который, будучи освобожден от своих идеалистических элементов, оказал величайшие услуги экономической науке. Мы уже говорили об этом диалектическом методе в первой статье, но так как сказанное нами не всеми было правильно понято, то мы вынуждены сказать о нем еще несколько слов.

Немецкая философия рассматривала все явления в процессе их развития, в процессе их возникновения и уничтожения. Мы охотно назвали бы ее диалектический метод методом *эволюции,* если бы эволюция не понималась многими буржуазными учеными как нечто, исключающее *революции* и противоположное им. Точно также можно было бы назвать этот метод *историческим,* если бы многие «мыслители» не злоупотребляли понятием об историческом методе для осуждения всякого восстания против завещанной историей действительности. Но ввиду подобных злоупотреблений приходится держаться старой терминологии и называть диалектический метод по-прежнему диалектическим. Еще Гегель прекрасно выяснил в своей «Логике», что под развитием (эволюцией) понятий и явлений ни в каком случае нельзя разуметь одно только медленное, постепенное их изменение, так охотно выдаваемое теперь многими за эволюцию. Взятое само по себе, медленное и постепенное изменение еще ровно ничего не объясняет, так как оно вовсе даже и не касается вопроса о *происхождении* понятий или явлений: изменение явления или понятия предполагает уже его существование. Точно также не касается оно и перехода одного явления или понятия в другое [1]). Этот переход совершается в силу того закона, по которому *количественные* изменения, дойдя до известного предела, превращаются в *качественные.* А благодаря качественным изменениям, медленно изменявшиеся явления или понятия перестают быть самими собою и

являются уже в виде других, существенно различных от них понятий, или явлений. Вот эти-то качественные изменения не мыслимы без скачков *и резких, внезапных переходов,* столь страшных для многих современных эволюционистов. Резкие скачки и внезапные переходы кажутся эволюционистам *ненаучными;* но так как они беспрерывно совершаются и в природе, и в логике, и в общественной жизни, то отрицающая их «наука» сама оказывается *ненаучною,* т. е., поверхностною, отвлеченною и одностороннею. Вот почему мы и не хотим отождествлять современного учения об эволюции с диалектическим взглядом на вещи. Чувствуя непреодолимый страх перед революциями, многие из современных эволюционистов стараются, с помощью всех возможных и невозможных формул «научного» заклинания, остано-

[1]) Само собою разумеется, что мы говорим здесь о *логическом,* а не о *психологическом* происхождении и переходе понятий из одного в другое.

вить то проявление общественной эволюции, которое носит название *борьбы классов.* Но борьба классов является следствием и выражением взаимного противоречия классовых интересов, взаимное же противоречие классовых интересов создается тем самым *прогрессом,* за который распинаются господа эволюционисты. Все вообще диалектическое (если хотите, в известном смысле — *прогрессивное)* движение понятий и явлении совершается в силу противоречий, возникающих в этих явлениях или понятиях по их внутренним законам. *Противоречие* является силой, благодаря которой и происходит всякое развитие, где бы мы его ни наблюдали: в природе, в логике, или в истории. Следовательно кто действительно стоит за прогресс, и кто знает, что это за штука тот не боится ни взаимного противоречия классовых интересов, ни классовой борьбы. Классовая борьба гонит современные общества вперед спасая их от застоя; и ни один искренний и мыслящий сторонник прогресса не отступит перед логикой классовой борьбы, не будет пытаться примирить непримиримое. Наоборот, он примет деятельное участие в ней и поможет ей, насколько это зависит от него, дойти до ее ло-

гического конца, который означает торжество всего того, что люди называют в настоящее время *добром, истиной и справедливостью.*

Таким образом философия устраняла старый метафизический взгляд на общество, одинаково свойственный как социалистам-утопистам, так и их предшественникам — просветителям прошлого века — и их противникам, представителям буржуазной экономической науки Социализм должен был или усвоить себе эти новые завоевания человеческой мысли, или уступить свое место учениям, более сообразным с современным состоянием науки.

IV

Маркс применил диалектический метод к изучению общественных явлений и тем примирил *философию с социализмом.* По справедливому замечанию Энгельса, новей-ший социализм ведет свою родословную не только от Сен-Симона и Фурье, но также от Канта и Гегеля. Но о Марксе недостаточно сказать, что он применил диалектический метод к изучению общественных явлений. В качестве *материалиста* Маркс смотрел на диалектику совсем не так, как смотрел на нее *идеалист* Гегель. «Мой диалектический метод — справедливо говорит о себе автор «Капитала» — в основе своей не только отличается от гегелевского, но составляет прямую его противоположность. Гегель считает процесс мышления демиургом действительности, которая составляет лишь его внешнее проявление. Процесс мышления представляется Гегелю самостоятельным субъектом и получается от него имя идеи. Напротив, для меня идеальное является не чем иным, как отражением в человеческой голове *материального.* Мистифицирующую сторону гегелевской диалектики я критиковал уже около 30 лет тому назад, когда она была еще модной (эти строки писаны Марксом в январе 1873 г.)... В своей мистической форме диалектика

была немецкой модой, потому что она, казалось, оправдывала существующие отношения. В своем рациональном виде она ненавистна для буржуазии и для буржуазных доктринеров, так как вместе с положительным пониманием существующих отношений

диалектика заключает в себе также и понимание их отрицания, так как она ни перед чем не останавливается и является критической, революционной по существу, рассматривая каждую готовую форму с точки зрения движения, т. е. показывая, что каждая данная форма имеет лишь преходящее значение» [1]).

Если уже для Гегеля философия была лишь теоретическим выражением своего времени, то у Маркса этот взгляд на философию и на все вообще формы человеческого сознания принял гораздо более определенный и притом строго материалистический характер. Маркс был родоначальником материалистической философии истории. «Не сознание людей определяет их общественные отношения, — говорит он, — а, наоборот, их общественные отношения определяют их сознание». Развитие же общественных отношений совершается под влиянием материальных условий их существования. Чтобы жить, люди должны прежде всего считаться со своими материальными потребностями, для удовлетворения которых служат предметы внешнего мира, добытые и более или менее видоизмененные целесообразною деятельностью, называемою трудом. Люди живут обществами (т. е. живут так в действительности, в сказках бывает иногда иначе), а потому производительный труд их должен иметь общественный характер. Занимаясь производством продуктов, «люди вступают в определенные взаимные связи и отношения, и только внутри и через посредство этих общественных связей и отношении возникают те воздействия людей на природу, которые необходимы для производства» [2]). Взаимные отношения людей в производстве продуктов нимало не зависят от их воли или от их понятий, а обусловливаются характером находящихся в их распоряжении производительных средств. Но так как характер этих средств изменяется по мере того, как люди приобретают все большую и большую власть над природой, то изменяются и те взаимные отношения, в которые люди становятся при производстве продуктов. Здесь происходит то же самое, что мы видим в военном деле. «С изобретением нового военного орудия, огнестрельного оружия, необходимым образом изменилась вся внутренняя организация армии, равно как все те взаимные отношения, в которых стоят входящие в

состав армии личности, и благодаря которым она представляет собою организованное целое; наконец, изменились также и взаимные отношения целых армий». Общественные отношения про-изводителей или, иначе, общественные условия производства «образуют то, что назы-вается общественными отношениями, обществом, и притом обществом, находящимся на определенной исторической ступени развития, — обществом определенного характера. Такие своеобразные совокупности отношений про-

[1]) См. предисловие ко второму изданию «Капитала».

[2]) «Наемный труд и капитал» Карла Маркса. Четвертая книга «Русской Социально-Революционной Библиотеки», Женева 1883 г., стр. 17.

изводства представляют собой — античное общество, средневековое общество, буржуазное общество, и каждый из этих видов общественной организации соответствует, в свою очередь, известной ступени развития в истории человечества» [1]). Совокупность общественных отношений производства составляет «экономическую структуру общества, реальный базис, на котором возвышается юридическая и политическая надстройка и которому соответствуют определенные общественные формы сознания. Способ производства материальной жизни вообще обусловливает собою процесс социальной, политической и умственной жизни. На известной ступени их развития материальные производительные силы общества приходят в противоречие с существующими отношениями производства, или, говоря юридическим языком, с отношениями собственности, внутри которых они до тех пор развивались. Отношения эти перестают содействовать развитию производительных сил и становятся препятствием для него. Тогда наступает эпоха социальной революции. С изменением экономической основы изменяется также с большею или меньшею быстротою и вся огромная держащаяся на них надстройка. При изучении подобных переворотов всегда надо различать материальный переворот в экономических условиях производства, который можно определить с естественнонаучной точностью, от тех юридических, политических, религиозных, художественных или философских форм, которые принимает сознание этого переворота в головах переживающих его людей. Об отдельной личности нельзя су-

дить на основании того, что она о себе думает. Точно также и об эпохе переворота нельзя судить по ее сознанию; ее сознание само объясняется существующим противоречием между общественными производительными силами и общественными отношениями производства. Ни одна общественная формация не сходит со сцены раньше, чем разовьются все те производительные силы, которым она предоставляет достаточный простор, и новые, высшие отношения производства не могут явиться раньше, чем созреют в недрах старого общества материальные условия их существования. Поэтому можно сказать, что человечество ставит себе только разрешимые задачи, так как при ближайшем рассмотрении оказывается, что самые эти задачи являются лишь там, где материальные условия их решения уже существуют в наличности, или, по крайней мере, находятся в процессе возникновения»[2]). Такова философия истории Маркса, в немногих словах выраженная самим Марксом. Соответствует или не соответствует она действительному ходу исторического развития? Прав ли был Маркс или, напротив, правы те, до сих пор многочисленные «мыслители», которые упрекают его в грубо-материалистической узкости понятий? Мы не станем теперь входить в рассмотрение этих вопросов, хотя и думаем, что Маркс был безусловно прав и что его философия истории гораздо *«шире»* и бесконечно больше соответствует современному состоянию

[1]) *Маркс,* ibid., стр. 17 — 18.
[2]) Zur Kritik etc., Vorwort, S.S. V — VI.

науки, чем тот поверхностный, эклектический идеализм, который сводит знаменитое положение Анаксагора — *разум правит миром* — к крайне *«узкому»* и совсем уже неглубокому положению: *рассудок правит историей.* Относительно приведенных взглядов Маркса мы можем и должны ограничиться несколькими частными замечаниями.

Философско-исторические взгляды Маркса представляют собой ключ к пониманию всех остальных его взглядов. Не понимая их, нельзя ровно ничего понять в марксизме. Между русскими «интеллигентами» часто попадаются люди, которые, усвоив себе отдельные страницы «Капитала»,— например, учение о прибавочной

стоимости или о рабочем дне, или о законе заработной платы,— воображают, что они поняли знаменитого социалистического мыслителя и даже называют себя марксистами. Но с их стороны это есть не более, как «пленной мысли раздражение». «Капитал» представляет собой, если вам угодно так выразиться, очень, очень странное литературное произведение. Сократ говорил когда-то о книге Гераклита: то, что я понял в ней, уже очень глубоко, а чего я не понял, то, вероятно, еще глубже. Совершенно так должен был бы отзываться о книге Маркса и русский «интеллигент», если бы только он обладал скромностью Сократа. В «Капитале» изложена вся философия истории Маркса. Но она изложена так, что, читая это сочинение, неподготовленный читатель может пройти мимо нее, даже не заподозрив ее присутствия. Вот почему у нас много «марксистов», держащихся старых *идеалистических,* то есть *метафизических* взглядов на общественные явления. Русский «марксист» может быть всем, чем угодно: утопистом, бланкистом, либералом, даже последователем Бакунина, этого злейшего и вреднейшего врага марксизма. Но трудно русскому человеку стать истинным последователем *Маркса,* трудно проникнуться ему *материалистическим* взглядом на историю. Русский человек предпочитает так называемый «субъективный метод в социологии», который представляет собою не что иное, как буржуазную реакцию против научного материалистического понимания общественных явлений. «Я марксист, но не социал-демократ» — говорит «интелли-гент», не дерзающий оспаривать Маркса, но в то же время совершенно неспособный сделать надлежащие практические выводы из плохо понятых им теоретических положений современного социализма... Марксист, но не социал-демократ! Это то же, что дарвинист, не признающий происхождения видов путем естественного подбора в борьбе за существование. «Бедная русская мысль», сбиваемая с толку путаницей нашей действительности, отличается поразительным отсутствием последовательности!

Но как бы поверхностно ни понимали марксизм так называющие себя «русские социалисты», несомненно, что учение это все более и более распространяется между западными пролетариями. Теперь на

Западе уже нет иных социалистов, кроме марксистов. Этого достаточно для нас, чтобы объяснить некоторые, очень важные особенности социалистической литературы нашего времени *(стр. 76 — 82).*

406

Социалистам-утопистам необходимо было предвидеть все подробности предлагаемого ими общественного устройства. Малейшая ошибка в расчете могла, по их мнению, повести к порче нового порядка. Для социалиста-материалиста важно предвидеть общее направление экономического развития. Подробности будущих общественных отношений не интересуют его уже по той простой причине, что эти подробности определятся со временем такими частностями экономии, предвидеть которые совершенно невозможно. Притом же, помня, что не сознание людей обусловливает формы общественных отношений, а общественные отношения обусловливают формы сознания, социалист-материалист спокойно полагается, так сказать, на вразумляющую силу экономической необходимости. Человечество вообще задается только теми задачами, для разрешения которых уже зреют необходимые экономические условия. Следовательно, так пугавшая утопистов человеческая несообразительность не может испортить дела социалистического переворота. Мысль всегда сумеет понять практические требования жизни. По мере того, как будут зреть материальные условия нового общества, станут выясняться и необходимые частности его устройства. Теперь же задача социалистов сводится к организации пролетариата и к выяснению ему общих экономических условий его освобождения *(стр. 83).*

V

«Однако, это удивительно! — восклицает читатель. — Вы собирались писать вторую статью о Чернышевском, но вот уже на многих и многих страницах вы говорите обо всем и обо всех, кроме Чернышевского! Неужели вы так-таки и не перейдете к делу?» — Подождите, читатель, мы именно теперь и переходим к делу. Что же касается предыдущих страниц, то вы, пожалуй, и правы, смотря на них, как на нечто совершенно не относящееся к предмету нашей

статьи. Но вы не должны забывать, что русские писатели вообще любят отклоняться от своего предмета. Сам Чернышевский сознавался, что он писал часто вовсе не о том, о чем ему следовало писать. А с другой стороны, следя за дальнейшим изложением, вы, может быть, и сами согласитесь, что наше длинное введение не до такой уже степени лишено всякой связи с нашей задачей, как это кажется на первый взгляд.

Мы уже знаем, что целью литературной деятельности Н. Г. Чернышевского было распространение в России «высоких идей правды, науки, искусства», выработанных передовыми мыслителями Запада. В своих экономических статьях он излагал обыкновенно взгляды западноевропейских социалистов. Но он совершенно не был знаком с учением Маркса. В то время, к которому относятся годы, решительные для развития Чернышевского (конец сороковых и начало пятидесятых годов), учение Маркса было сравнительно мало оценено даже в самой Германии, за границей же о нем знали только очень не многие.

Учителями Николая Гавриловича в социализме были утописты. Этим обстоятельством и объясняются почти все особенности его политико-экономических взглядов *(стр. 81).*

VI

После этих предварительных замечаний, характеризующих общую точку зрения нашего автора, мы можем перейти к рассмотрению его отдельных экономических взглядов. Но рассматривать их в той последовательности, в которой он излагал их, следуя за Миллем, было бы и ненужно и неудобно. Для более легкого сравнения взглядов Чернышевского с новейшей социалистической критикой политической экономии мы предпочитаем держаться по возможности того порядка, в котором анализировал экономическую жизнь буржуазного общества автор «Капитала».

Начнем с учения о стоимости *(стр. 92).*

XII

Мы далеко еще не покончили с изложением и разбором экономических взглядов Чернышевского, а между тем наша статья приняла

уже слишком большие размеры. Приходится отложить окончание нашей работы до другого времени. Это неудобно, и мы с сожалением отказываемся от первоначального плана предложить читателям свой критический опыт в виде одной цельной статьи. Но это намерение оказалось неосуществимым. Излагая и критикуя учение Милля, Чернышевский написал обширный трактат по политической экономии, подробная оценка которого во всяком случае потребовала бы не мало места. А мы должны были, к тому же, взяться за эту оценку при довольно исключительных обстоятельствах. До сих пор наш автор еще не был предметом критики ни в России, ни за границей. Было время, когда его читали у нас очень внимательно, и когда можно было, по крайней мере, ожидать, что его экономические взгляды хорошо знакомы публике. Но это время, кажется, уже прошло. Теперь молодая русская «интеллигенция», если мы не ошибаемся, более «уважает» знаменитого писателя, чем изучает его сочинения. Это поставило нас в самое неудобное положение. Не желая ограничиться простым панегириком, не имеющим ничего общего с критикой; решившись беспристрастно разобрать взгляды Чернышевского и не молчать о том, что нам покажется в них ошибочным, мы должны были приводить подробные доказательства в защиту даже таких замечаний своих, которые мы высказывали мимоходом, и по поводу которых, при других обстоятельствах, не возникло бы ни малейшего сомнения у читателя. Нам нельзя было скупиться на выписки, *потому* что иначе нас могли обвинить в голословных нападках на писателя, по-видимому, всем известного, но в действительности хорошо знакомого теперь уже только немногим. В осо-

бенности в тех случаях, когда мы указывали слабые стороны нашего автора, мы считали нужным приводить его собственные слова, чтобы изложить его взгляды так, как он сам считал нужным изложить их. Ввиду всего этого неудивительно, что наш очерк очень разросся. Конечно, стараясь избежать одного упрека, мы рисковали навлечь на себя другой: нас могли упрекнуть в растянутости. Но мы готовы заранее признать справедливость этого и заметим только, что

растянутость казалась нам злом неизбежным в нашем положении. Мы уже подвергались обвинению в несправедливом отношении к Чернышевскому после появления в печати первой нашей статьи о нем. Некоторые читатели объясняли наше критическое отношение к нему не чем иным, как нашею, частью личною, частью всем социал-демократам свойственною, злонамеренностью. Другие удивлялись, как это мы могли поставить Чернышевского *«ниже Маркса».* Мы не видим надобности распространяться о своем уважении к писателю, которого мы ставим наряду с Белинским. Людям же, негодующим на наше излишнее пристрастие к Марксу, мы дадим искренний и дружеский совет — никогда вперед не высказывать вслух своего негодования. Оно имеет одну неудобную сторону, именно оно предательски обнаруживает полнейшее незнакомство их с тремя, не совсем маловажными вещами: 1) с историей политической экономии, 2) с историей социализма и 3) с вопросом об историческом отношении русской литературы к литературам Западной Европы. Кто знает историю политической экономии и социализма, и кто в добавок хоть раз и хотя бы с небольшим вниманием прочел экономические сочинения Чернышевского, — тот понимает, как относится критик Милля к автору «Капитала». Во-первых, эти люди должны быть отнесены к двум совершенно различным эпохам в истории науки; а во-вторых, Чернышевский занимает между европейскими писателями своей эпохи совсем не то место, которое занимал Маркс по отношению к своим научным современникам. Первый принадлежит к числу социалистов-утопистов, и заслуга его заключается в том, что он энергично и талантливо распространял в России *социальные* идеи своих западных *учителей* (его собственное выражение), подобно тому, как Белинский распространял *литературные* идеи западноевропейских мыслителей. Маркс не только принадлежит к эпохе научного, чуждого утопических элементов социализма, но именно его сочинения и начинают собою эту новую эпоху. Как же сравнивать одного с другим? А если уже вам угодно сравнивать их, то припомните, как хорошо выяснял Белинский различие между гением и талантом: гений делает великие открытия; талант распространяет в публике гениальные идеи. Вот именно это различие и существует

между Марксом с одной стороны и Чернышевским — с другой. Один был *гениальным,* другой — *чрезвычайно талантливым* человеком. Вы обижаетесь за Чернышевского? Это как вам будет угодно, но мы не сказали ничего обидного для него, и желали бы только, чтобы русская литература побольше имела деятелей, одаренных тем качеством, которое обижает вас, будучи приписано Чернышевскому. О, тогда она наверное ушла бы далеко!

409

Беда не в том, что в экономической и социалистической литературе Чернышевскому должно быть отведено место очень талантливого ученика, а не гениального учителя. У него была другая беда. Она заключалась в том, что когда он стал распространять у нас идеи своих западных учителей, эти идеи уже не соответствовали более тогдашнему состоянию общественной науки. Утопический социализм уже вытеснялся в то время научным социализмом Маркса. Чернышевский даже не подозревал этого нового научного движения, начавшегося еще с половины сороковых годов. Это было большим несчастием для него, а вместе с ним и для всей русской литературы. Но это несчастие было неотвратимо по самым условиям нашей общественной жизни. Оно являлось следствием нашей отсталости. Русская литература, вообще говоря, всегда относилась к западным литературам, как ученик к учителю. Пока задача передовых русских писателей ограничивалась распространением у нас общих литературных идей Запада, нам легче было догонять западноевропейских мыслителей. При Белинском мы совсем догнали их, и некоторое время, правда, в лице очень немногочисленных образованных людей, были духовными современниками западных европейцев. Но когда, после севастопольского погрома, русские писатели перешли от чисто литературных вопросов к общественным, наша экономическая и политическая отсталость помешала им удержаться на уровне умственного движения Запада. Это сказалось уже на сочинениях Чернышевского, который распространял в России социальные идеи, уже начавшие отживать свое время в передовых странах Европы. По отношению к социальным идеям Чернышевский был менее передовым человеком, чем Белинский по отношению к литературным. Но Чер-

нышевский, по крайней мере, по своим философским взглядам, принадлежал к той школе, которая пришла к научному социализму. Он был последователем Фейербаха. После ссылки Чернышевского мы простились со всякого рода стройными философскими воззрениями, заменив их крайне поверхностным и эклектическим миросозерцанием, которое носило у нас название реализма. В области социальных идей нашими учителями стали Прудон и Бакунин. Из смеси прудонизма, бакунизма и славянофильства вышло народничество, до сих пор, в том или другом виде, господствующее в нашей литературе. Народничество уже бесконечно далеко отстоит от передовых умственных движений Западной Европы. Оно не имеет ничего общего с ними и наивно гордится своею самобытностью. Таким образом, если в лице Чернышевского и вообще кружка «Современника» экономическая и политическая отсталость России выразилась в некоторой отсталости воспринимавшихся нами западных идей, то в лице народников она привела к полному разрыву с Западом. По сравнению с народниками Чернышевский до сих пор остается самым передовым человеком. Теперь наша «бедная русская мысль» спит глубоким сном, лишь изредка прерываемым бешеными воплями реакционеров. Но подобные перерывы непродолжительны, да притом они остаются без всяких благодетельных последствий. Пробудившись в испуге, мы немедленно ложимся на другой бок и опять

сладко засыпаем, прошептав с юности затверженную молитву: «с нами русская самобытность, да исчезнет капитализм, реакция и прочая гадость!». А если нас, носителей «бедной русской мысли», столь много кричавшую о себе русскую «интеллигенцию», принимается расталкивать кто-нибудь из наших друзей, напоминая нам, что полусонные шептания не одолеют ни капитализма, ни реакции, — мы разражаемся целыми филиппиками против беспокойных личностей, которые по своей прирожденной сварливости не хотят убаюкивать нас сладкими комплиментами. Не далеко уйдем мы при подобной сонливости, но зато, несомненно, хорошо выспимся. А это тоже очень хорошее дело! *(стр. 140—142).*

(«Социал-Демократ», 1890 г., декабрь. Статья третья.)

Не знавшая ни феодальных, ни старозаветных крепостнических отношений, Америка представляет одно из тех исключений, которые только подтверждают общее правило [1]). На девственной американской почве земледельческий капитализм сделал не менее, если не более успехов, чем и мануфактурная промышленность. Но зато американцы справед-ливо гордятся успехами своего земледелия, и отсталый русский крестьянин, при всей красоте своих «устоев», все сильнее и сильнее чувствует непосильную для него тяжесть американского соперничества *(стр. 109).*

III

Теперь нам остается разобрать учение Чернышевского о кризисах, о народонаселении, чтобы покончить с важнейшими экономическими взглядами его. Как смотрим мы на возражения, сделанные Мальтусу им, это мы скажем в следующей статье. В настоящее же время место позволяет нам сделать лишь одно заключительное замечание. Нам часто приходилось оспаривать нашего автора, доказывать несо-стоятельность, а местами и противоречивость его взглядов. Это может обрадовать русских охранителей. «Так вот он идол, бог нигилистов! воскликнут они. Вот он, учитель, ссылка которого объявлялась вели-чайшим преступлением нашего правительства перед наукой. Теперь оказывается, что экономические взгляды его не выдерживают критики. Очень приятное открытие!» — На такие и подобные возгласы мы заранее отвечаем следующее. Нет ничего удивительного в том, что экономическая наука сделала большие успехи со времен Чернышевского, и что, поэтому, взгляды его значительно устарели теперь. Притом же новейшими успехами своими экономическая наука обязана социалистам,

[1]) Рабство черных в южных штатах само было продуктом капитализма (мы сказали бы *колониального* капитализма). Но и это рабство было преградой для успехов земледелия. Только с окончанием междоусобной войны началась для Се-верной Америки эпоха неслыханного земледельческого процветания.

а не гг. охранителям, которые везде употребляли в дело самые бес-стыдные софизмы, для того, чтобы задержать ее развитие. Правда, и

для своего времени Чернышевский не был большим знатоком политической экономии. Но он все-таки понимал в ней несравненно больше, чем гг. русские охранители. Его заживо похоронили в сибирской пустыне, но ни разу, ни один из реакционеров даже не попытался опровергнуть хотя бы некоторую часть его учений. Отчего же это? Оттого ли, что у них не было охоты спорить с ним? Как бы не так! Им очень хотелось бы опровергнуть его, но на беду свою они умели лишь писать пошлости на тему о том, «что делали в романе: «Что делать?». Уже одно это показывает, насколько превосходил он своих врагов и умом, и талантом, и знаниями. А потому лучше молчать гг. охранителям, чтобы неосторожными и запоздалыми нападками на Чернышевского не напомнить читателям о своем собственном бессилии.

(«Социал-Демократ», 1892 г. Статья четвертая.)

Это несколько странно. Нам теперь кажется, что когда революционный пролетариат захватит политическую власть в свои руки, ему трудно будет предохранить гг. капиталистов от тяжелых впечатлений. Но представления Чернышевского о социалистической революции были очень непохожи на наши нынешние представления о ней. Это особенно ясно видно из следующих слов его о *прогрессивном налоге (стр. 192).*

Таков наш окончательный вывод. Мы не находили нужным скрывать его и не считали возможным высказывать его голословно. Нам приходилось, поэтому, шаг за шагом следовать за нашим автором в его исследованиях. Нам часто приходилось оспаривать его; иногда у нас вырывалось, может быть, слово раздражения. Пусть не ставят нам этого в вину многочисленные почитатели Чернышевского. Мы сами принадлежим к их числу, мы сами свято чтим память этого знаменитого человека, много сделавшего для русской литературы и честно постоявшего до конца за свои убеждения. Мы ставим его имя рядом с именем Белинского и мы тем менее склонны уменьшать его литературные заслуги ввиду его теоретических ошибок, что, по нашему мнению, он и не задавался целями серьезного научного

исследования. Он был образованным, убежденным и талантливым публицистом, которому надо было обратить на социальный вопрос внимание читающей публики, надо было предохранить эту публику от развращающего влияния апологетов буржуазного порядка. И эта благородная цель его была вполне достигнута. Все свежие, все живые элементы читающей публики испытали на себе его благотворное влияние. Много содействовала его страстная, подчас едкая проповедь возникновению того демократического течения в нашей литературе, которым мы обязаны своим знанием русской народной жизни; много содействовала она возникновению русского революционного движения. Он часто ошибался, когда судил об

экономических законах буржуазного общества. Но он не ошибался е своем отрицательном отношении к этому обществу; он не ошибался, призывая своих читателей работать для освобождения пролетариата. Пролетариат не забудет этой заслуги Чернышевского.

Но все хорошо в свое время. Утопическая точка зрения, много вредившая Чернышевскому в теории, не помешала ему принести огромную пользу своим современникам. Теперь, по прошествии почти тридцати лет с тех пор, как появились его «Очерки политической экономии», обстоятельства изменились. Теперь *очень вредной не только в теории, но и на практике* оказывается та утопическая точка зрения на общественную жизнь, которой все еще продолжает держаться, по старой памяти, русская революционная «интеллигенция». Теперь эта точка зрения мешает ей приобрести политическое влияние в стране и покончить с главным врагом всего народа русского — с *царизмом.* Теперь мы *должны* оставить эту точку зрения; теперь мы *можем* оставить ее.

В истории русской литературы замечается следующее интересное явление, на которое мы уже обращали внимание русских социалистов. Пока наши передовые писатели имели дело преимущественно с литературными идеями, как это было в сороковых годах, они не отставали от движения западноевропейской мысли. Критические статьи Белинского смело могут быть поставлены рядом со статьями любого из современных ему западных критиков. Но едва дело коснулось социаль-

ных идей, наши передовые писатели немедленно оказались отсталыми. Главное экономическое сочинение Чернышевского кажется написанным лет на двадцать раньше книги Энгельса о *положении рабочего класса в Англии* и *«Нищеты философии»* Маркса. В семидесятых и восьмидесятых годах дело идет еще дальше. Наши народники отстали от западноевропейских социал-демократов, по крайней мере, лет на пятьдесят. Это странное на первый взгляд явление объясняется просто-напросто отсталостью русской жизни. Известно, что ход идей определяется ходом вещей: отсталому экономическому порядку соответствуют отсталые социально-политические взгляды. В течение последнего полувека западноевропейская жизнь ушла далеко вперед. Россия двигалась гораздо медленнее; поэтому расстояние между нею и Западной Европой все более и более увеличивалось; поэтому же все более и более отсталыми оказывались идеи, господствующие в русских передовых кругах. Но быстрое развитие западноевропейской экономической жизни не осталось без влияния и на Россию. Ее старый экономический порядок рухнул, капитализм восторжествовал в ней по всей линии. Этим новым экономическим отношениям должны соответствовать новые социально-политические идеи. И они *непременно явятся.* Они *уже являются.* Но, «пока что», старые идеи продолжают отстаивать свое существование, производя на каждого свежего человека впечатление чего-то совершенно допотопного.

Наши допотопные социально-политические идеи представляют собою законное детище утопического взгляда на общественную жизнь; детище, правда, сильно зараженное в семидесятых годах специфическим

«русским духом». Содействовать распространению новых идей можно, лишь содействуя устранению утопического взгляда. Вот почему мы считали нужным подробно рассмотреть учение замечательнейшего из русских социалистов-утопистов. Мы хотели сказать нашим современным утопистам: посмотрите, как неудобно, как невыгодно, как опасно держаться утопической точки зрения; *самого Чернышевского* привела она к вопиющим противоречиям и с самим

собою и с экономической действительностью. Чего же ждать от *ваших* теоретических усилий? *(стр. 193 — 194).*

Государственное Издательство

МОСКВА — ЛЕНИНГРАД **ИНСТИТУТ К. МАРКСА и Ф. ЭНГЕЛЬСА.**

БИБЛИОТЕКА НАУЧНОГО СОЦИАЛИЗМА

Под общей редакцией **Д. Б. Рязанова**

К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Под ред. и с примечаниями Д. Рязанова.

Т. **I. К. Маркс.** Статьи и письма 1837 —1844 гг. С иллюстрациями. Стр. XXXII+564. Ц. 1 р. 80 к. в папке.

Т. II. **Ф. Энгельс.** Статьи и корреспонденции 1839—1844 гг. С иллюстрациями. Стр. 624. Ц. 4 р. 50 к. в папке.

Т. X. **К. Маркс и Ф. Энгельс.** Статьи и корреспонденции 1852—1854 гг. Письма об Англии. Восточный вопрос. Пальмерстон. Стр. 608. Ц. 3 р. 25 к.

Т. XI. **К. Маркс и Ф. Энгельс.** Статьи и корреспонденции 1854—1855 гг. Крымская война. Министерство Паль-мерстона. Джон Россель. Испанская революция. Стр. 654. Ц. 3 р. 50 к.

В Собрание сочинений Маркса и Энгельса вошли многие работы Маркса и Энгельса, до сих пор не опубликованные ни в русской, ни в иностранной литературе и впервые появившиеся в настоящем издании.

К. Каутский. Собрание сочиненнй.

Т. X. Происхождение христианства. Под ред. Д. Рязанова. Изд. 2-е, доп. Стр. 454. Ц. 2 р. 25 к.

Т. XII. Размножение и развитие в природе и обществе. Под ред. Д. Рязанова. Стр. XVI+284. Ц. 1 р. 50 к.

Настоящее издание этой книги до полнено статьями Каутского: „Чернышевский и Мальтус", „Ответ критикам", а также новым предисловием редактора.

Г. В. Плеханов. Сочинения. Под ред. Д. Рязанова.

Т. I. Статьи до 1883 г. Период народнический. Стр. 364. Ц. 2 р. 25 к.; в папке 2 р. 60 к.

Т. II. Статьи 1883—1888 гг. От основания группы „Освобождение Труда" до организации „Русского Социал-Де-мократического Союза". Стр. 404. Ц. 2 р. 50 к. в папке.

Т. III. 1888—1892 гг. На русские темы. Стр. 428. Ц. 2 р. 50 к. в папке.

Т. IV. На международные темы. 1887 — 1894 гг. Стр.332. Ц. 90 к.; в папке 1 р.

Т. V. Н. Г. Чернышевский, кн. I. Стр. XVI+363. Ц. 2 р. 25 к.; в папке 2 р. 50 к.

Т. VI. Н. Г. Чернышевский, кн. II. Стр. VIII+413. II. 2 р. 50 к. в папке.

Т. VII. Обоснование и защита марксизма. Часть первая. Стр.331. Ц. 1 р.

Т. VIII. Обоснование и защита марксизма. Ч. вторая. Стр. 411. Ц. 1 р. 40 к.

Т. IX. Против народничества. Изд. 2-е. Стр. IV+367. Ц. 2 р. 25 к.; в папке 2 р. 60 к.

Т. X. Литературно-критич. статьи (1888—1903). Стр. IV+462. Ц. 2 р. 25 к.; в папке 2 р. 75 к.

Т. XI. Критика наших критиков (1889-1902 гг.). Стр. IV+398. Ц. 1 р. 50к.

Т. XII. Вопросы программы и тактики. (1900—1903 гг.) Стр. VIII+535. Ц. 3 р.

Т. XIV. Искусство и литература. Стр. VIII+350. Ц. 2 р. 25 к.; в папке 2 р. 60 к.

Т. XVI. Вопросы социализма и рабочего движения (печ.).

Т. XVII. Против эмпириомонизма и богоискательства. Стр. VIII+347. Ц. 2р. 25 к.; в папке 2 р. 60 к.

Т. XVIII. От утопии к науке (печ.).

Т. XX—XXII. История русской общ. мысли (печ.).

П. Лафарг. Сочинения. Под ред. Д. Рязанова. Т. I. Из истории социализма во Франции и в последнюю четверть XIX ст. — Программные и тактические работы. — Воспоминания,

Д. Рязанов. Институт К. Маркса и Ф. Энгельса при ЦИК СССР. С 7 ил-люстр. Стр. 71. Ц. 60 к.

В. Ваганян. Опыт библиографии Г. В. Плеханова. Предисл. Д. Рязанова. Стр. 118. Ц. 40 к.

Государственное Издательство

МОСКВА—ЛЕНИНГРАД

ИНСТИТУТ К. МАРКСА и Ф. ЭНГЕЛЬСА

БИБЛИОТЕКА МАТЕРИАЛИЗМА

Под общей **редакцией А. Деборина и Д. Рязанова.**

Людвиг Фейербах. Сочинения,

Т. I. Избранные философские произведения. Со вступ. очерк. А. Деборина. Стр. 336. Ц. 90 к.

Т. III. Лекции о сущности религии. Со вступит. ст. А. Деборина. Стр. 400. Ц. 2 р. 75 к.; в папке 3 р. 25 к.

Гольбах, Поль. Система природы. С пред. А. Деборина и библиографией. Стр. XXV + 578. Ц. 4 р.; в папке 4 р. 50 к.

Ламеттри. Избранные сочинения. Со вступ. ст. А. Деборина. Содержание: Предварительное рассуждение. — Трактат о душе. — Изложение философских систем. — Человек-машина. — Человек-растение. — Система Эпикура. — Рассуждение о счастьи.—

Примеч., библиография, указатель имен. С портретом Ламеттри.

Печатаются:

Л. Фейербах. Сочинения. Т. **II.**— Сущность христианства. — Сущность религии. — Ответ Штирнеру.

Джон Толанд. Избранные сочинения. — Письма к Серене. — Пантеистикон.

Готовятся к печати:

Дени Дидро. Сочинения. Письмо о слепых. — Мысли об истолковании природы. — Философские принципы материи и движения. — Разговор Даламбера с Дидро. — Сон Даламбера. — Продолжение разговора. — Прибавление к „Путешествию Буженвилля". — Разговор философа с женой маршала. — Речь философа к королю. — Элементы физиологии. — Возражения на книгу Гельвеция „О человеке". **Томас Гоббс.** Сочинения. О теле. — О человеке. — О человеческой природе.

Кроме того, вышли в свет:

Архив К. Маркса и Ф. Энгельса.

Исторический журнал, в задачи которого входит исследование генезиса, развития и распространения идей научного социализма.

Книга первая: От редакции. — Статьи и исследования. — Из неопубликованных рукописей Маркса и Энгельса.— Из переписки Маркса и Энгельса.— Критика и рецензии. Стр. 497. Ц. 4 р.

А. Деборин. Людвиг Фейербах.— Личность и мировоззрение. Стр. 360. (Готовится 2-е издание.) Ц. 1 р.

А. Деборин. Книга для чтения по истории философии. Т. I. Стр. 446. Ц. 2 р. 30 к.

Печатается: А. Деборин. Книга для чтения по истории философии. Т. II. Сенсуализм и материализм XVIII века. — Классический немецкий идеализм. — Философия утопического социализма. — Философия левых гегельянцев. — Естественно-научный материализм. — Позитивизм. — Утилитарианизм. — Философия в России XIX века.

Готовится к печати: Гегель. Собрание сочинений. Под ред. А. Деборина и Д. Рязанова. В первую очередь выйдут:

1) Философия истории.

2) Философия права.

3) Энциклопедия философских наук» часть 1-я. Логика.